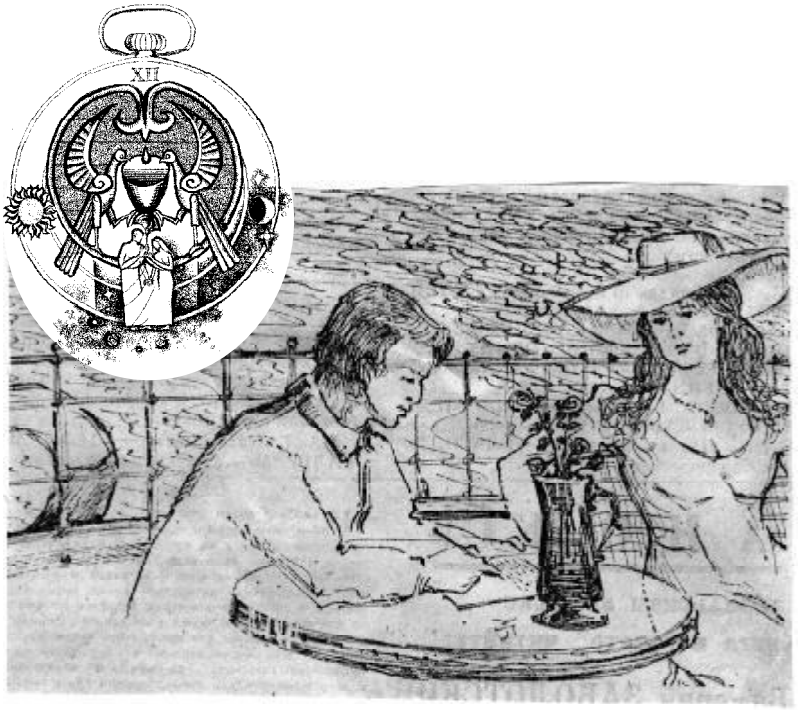
Михаил Базанков

ВЕСЕЛЬЯ ЧАС, ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ В КОСТРОМУ

Иронический
курортный
роман



Кострома
2005

Екатерине Михайловне - жене и прекрасному другу с любовью и гордостью посвящаю

АВТОР

© М.Ф.Базанков, 2005.

Лишь по коренным жителям ты сможешь судить, с каким благоговением относятся к родине подлинные ее уроженцы. Иноземцы же, словно незаконно-рожденные, с легкостью переселяются, то ли не ведая слова «отечество», то ли не дорожа им, считая, что всюду они сыщут себе пропитание, они измеряют благополучие радостями желудка.

Лукиан из Самосаты (2 в. н. э.)

В предрассветной тишине распахнулось окно и свежий ветер выхватил тяжелую розовую штору, превратил в зо— вущее облачко. Хотелось бежать на край света, чтобы ос— вежить душу и тело в неизведанной экзотичной глухомани... Но удалось вырваться только в верхневолжскую область, по— ближе к родине. Спешные и решительные были сборы. Пора, пора, сколько можно батрачить. Живется трудно в посто— янном унизительном ожидании перемен, в наивной надежде на то, что происходящее случайно и временно, украденные сбережения — остатки гонораров за две последние книги государство вернет, отвратительный быт можно будет по— кинуть сам собой выстроится давно желанный семейный уют. Терпел и утешал себя философски: не можешь изме— нить мир, меняйся сам или хотя бы переставь по другим уг— лам затрапезную мебель. Кровать, два стула, рогатую вешалку,

письменный и по совместительству обеденный стол да рас—шатанную этажерку с книгами несколько раз гонял по квад—ратной комнате до головокружения — настроение не менялось, раздражительность не прошла, вот и обрадовался любезно предложенной горящей путевке.

Сборы были короткими — уезжал из общежития, ос—точертевшего холостяцким бытом, раздражающего чужими семейными разборками на всех этажах, звоном пустых бу—тылок по утрам, хлопаньем дверей, лаем невоспитанных со—бак. Радовало предвкушение тишины и покоя, непрерывной сладостной каторги за письменным столом. Едва перебрался из вагона в автобус, почувствовал себя так, будто вырвался из—за колючей проволоки. Взлетное настроение подкреп—лялось стихами, собственными давними, но более — высокой лирикой лучших поэтов...

Утренний рейс в назначенный час дал возможность ду—мать, что все у нас не так уж плохо, не все развалилось, не все еще разворовано, кто—то заботиться о простых смерт—ных. Казалось, утомленные пассажиры тоже это ценят с надеждой: есть честные люди, скоро все образуется, встанет на свои места в должном порядке. Настроенные отдохнуть и подлечиться иначе думать просто не имеют права. Потому пассажиры спокойно переговариваются, предельно коррек—тны: ни шумливых упреков по пустякам, ни политических возмущений, ни жалоб на чиновников. Постепенно обо—значили себя ознакомительными разговорами, пустяковыми вопросами о продолжительности пути до санатория, усло—виях отдыха и лечения, прочими взаимными справками, гео—графическими и поименными знакомствами, сравнительным разговором о том, где и как разыгрывается весенняя жизнь.

Пройдя крутой поворот с магистрали, автобус притор—мозил возле неуверенно голосующих «грачей» и шофер любезно спросил, куда им нужно, тут же обратился к пасса—жирам, чтобы узнать не стеснят ли эти четверо уважаемую публику, если попутчики постоят в проходе между сидени—ями, устали они, с пересадками добираются, теперь уже не—далеко до спецсанатория Ифоныча. Конечно, возражающих не нашлось. «Пожалуйста, пожалуйста. Какой разговор! Всем ехать надо. Сейчас еще не сильно пригревает». Приветливо и сочувственно встреченные — трое мужчин, одинаково оде—тых, подтолкнули впереди себя активную спутницу, без лиш—них движений уплотнились.

Вскоре вошедшие, приглушенно покашливая, обвыкли, будто и не подсаживались в санаторный автобус, долгую до—рогу ехали вместе со всеми.

— Вот так бы всегда у нас. — Корректный сосед Меженина сказался после наблюдательного молчания, достал из потайного кармана записную книжку, просмотрел несколько страниц, отыскивая, может быть, название очередного населенного пункта, снова приклонился к окну, чтобы в рассветной мгле разглядеть придорожные дома под шиферными крышами. — Смотрю, избы другие, поставлены иначе. Легкие с виду. Северные основательнее, часто пятистенные в два этажа, — рассуждал он не для себя только. — Под одной крышей изба—зимовка, изба—летница, проходной заулок—чулан, светелка, поветь, подполы, клети, кладовки. Хороша хоромина, дом—крепость. Справные избы целый век на пригорках стоят, а то и полтора лицом красуются к реке: чернеть, правда, чернеют, а гнить — не гниют. Сохранились на берегах Пинеги кондовые строенья, правда, нежилые, даже целые деревни — будто музеи деревянного зодчества... Художников, поэтов вдохновляют на гордость и на печаль... Среди срубов столетних расстелены белой ночи льняные холсты... На моей родине тоже холсты ткали, для отбеливания выстилали по насту. Помнятся бабушкины были: она родом с верховьев волжского притока Унжи, из межевского Заречья. Оттуда мы, от тех корней.

Порадовал сосед свежим словом, Меженин проникся к нему интересом. Свою деревеньку детства Доброумово вспомнил, тоже нашел краски, зримо ее представляя, будто живую. И не признался, что прошлым летом на месте родной деревни посреди поляны памятный столбик поставил с названьем — нет уже, не вернется, не возродится.

Так и познакомились: Аркадий Федотов — собеседник не только на санаторный срок. Федор Борисович это сразу определил, потому и откровенничал легко, словно от тяжелой ноши освобождался. Тут и строки, в начале дороги вспоминаемые, пригодились — успел до пункта назначения почитать подходящее к переходу в другой образ жизни.

— Дебатам, прениям, стычкам приходит желанный конец. Я роздал себя по частичкам в усладу лукавых сердец...

Собеседник оказался подготовленным, способным предлагать строки:

— Безголосый мальчик: только два крыла да в руке отбитой тетива цела. Как ни обезглавишь — все равно крылат и звучанье клавиш все на тот же лад!

Готовность скрасить дорожную беседу иносказательным разветвлением диалогических мыслей, видимо, была замечена другими — осторожно, будто крадучись, пробрался к ним самый высокий мужчина из тех троих, что

вошли на повороте. Он подсел на корточки, кашлянул в кулак и сказал:

— Извините, конечно... Вы невольно затронули трагический вопрос. Я слышал... — Он двумя пальцами разгладил усы. — С вашего позволения, вот это... Весною ранней смутно раздраженный, иду я, безвозвратно погруженный в разгадывание словосочетаний, рождаемых умом моим усталым...

* * *

Первые заметки в новых условиях временного существования. (Из блокнота)

1. Разведывательный снежок пропархивает, свежая поросла слепящей синевой светится между берез. Тенькает синица. На проталине трещат возбужденные воробьи — разогреваются. Окликает прохожего звонкоголосая галка, немного перелетев вдоль берега, опять окликает: «Куда ты? Здесь, здесь!» И здесь хорошо — значит. Это я и сам чувствую, вижу, ощущаю, освобождаясь от меланхолии. Ухожу от необязательной повседневности, странной она отсюда кажется. Каждый шаг удаляет от всего наносного и надоедливого. Иду, пробиваюсь к себе, потому что вспомнить пора какой я на самом деле.

2. Обживаюсь. Никаких помех, вхожу без лишних претензий — привычка, столько лет колотился по общежитиям. Комната приятна уютом и светом. Через широкое окно много видно: лес, излучина, тропинки, ползущие на ближний увал, пойменные луга на левом берегу, шиферные крыши незнакомого селенья, отчетливо прочерченный горизонт. Просторно взгляду — это важно. Разумно поставлен санаторный корпус. Далеко внизу — с верхних этажей гора кажется еще круче — густое переплетение нежного ивняка. А наверху, здесь, совсем рядом — тоненькие свечки берез между высоченных сосен.

3. Через хрустальный воздух между неподвижных деревьев проглядывает зеркально вода. Штиль, покой. Но не время глубокого сна, а время пробуждения. Там, где пробуждается жизнь, невозможно обойтись без любви. Желтенькая бабочка это чувствует, ледоломочка чувствует: все только начинается. Переливчато зазвенит река. Парочка, очарованная уединением, задержится на берегу. Ласково скажет она: «Желанный мой». Он протяжно вздохнет и

ответит: «Ненаглядная моя». «Впервые такое у нас», — вместе скажут.

4. Все лучшее повторится весной, если любишь. Вздрог — нет мир вечный. И ты окликнешь сам себя. Прокатится молодое эхо в пойменном лесу, отзовутся возвратившиеся на родину журавли. И взметнется фонтанами листва, переме — нится разом пейзаж...

5. Солнечно, тихо. Охристой краской запушились бе — резы, едва заметно покачиваются прогонистые осины, все гуще и мрачнее зеленеют елки, а по стволам сосен словно бы стекает расплавленная медь, постепенно багровеющая, ближе к земле, в синеве теней, она остывает, превращаясь в окалину. Птицы неуверенно перекликаются, радио на раз — ных волнах разглагольствует, люди сообщают друг другу только приятные новости о погоде, о предстоящих поездках, встречах, свиданиях; конечно же не о политике, зарплате, ценах, инфляции, не о победах в гражданском или военном проти — востоянии — об этом теперь говорят осторожно.

6. Отсюда не очень далеко до Костромы. Можно бы съездить. Вот пойдут пароходы — пароходики туда, где не — заметно пролетели молодые годики...

Ожидание вопросительно. У каждого свои ожидания, надежды, будущие радости. По наследственной принадлеж — ности к быту и ладу давней деревни тянешься в поля на взгорья, невольно оглядываешь в первых проталинах ози — мые. Хочется определить самочувствие ржаной зелени: ка — ково перезимовали раскустившиеся перед уходом под снег посевы, не вымерзли возле борозд, не вымокли, хорошо ли распрямляются? Скрывается под этими вопросами соб — ственное самочувствие, вспоминаются перенесенные зим — ние невзгоды. Склоненный над оживающей зеленью будто бы согреваешь ее собственным дыханием. И кажется тебе, что ты в этом мире узнаваем, что природа понятливо разде — ляет твои печали. Долетает от побережья повторение со — чувственных вздохов. Это просыпается река.

7. Издалека через бледно — фиолетовый березняк на волнах теплого ветра доносится переменчивый запах — то ольхи, то смородины, то вербного цвета. Под уклон к реке ведет плотная, насухо утоптанная тропинка. Перед широ — кой водой возможно долгое уединение и молчание. Еще нет ледоходного гула, льдины пока удерживаются в лесных вер — ховьях. Но вдоль обрывистого берега шуршит и хлюпает, так по осени перед ледоставом шуршала шуга.

8. Равнодушному восприятию все кажется повторе — нием пройденного, испытанного. На первый взгляд, никаких

особенностей. Но оглядись, прислушайся к самому себе, тогда и самые малые перемены в мире коснутся твоего настроения. Ну, заметь хотя бы разницу в том, что нынешний ледоход намного спокойнее прошлогоднего. Или это в тебе самом пережитое уравновесилось ожидаемым?

9. Весна ранняя, спокойная. Чайки, правда, шумливые опять. Открылась вода — чайкам приволье. Уплывают на льдинах по течению почти на целый километр, снова летят вверх, наслаждаясь работой крыльев. Себя радуют и терпеливых наблюдателей.

Но не утешают эти наблюдения. Без напоминаний не забываешь: на Дальнем Востоке желтые осадки, землетрясение губит тысячи людей, в Сибирь везут ядерные отходы, в Палестине коварные акции возмездия, в Чечне гибнут молоденькие солдаты , в Свердловске, Ульяновске, Саратове, Москве — по всей России разборки, убийства в подъездах, пикеты на дорогах, забастовки учителей и врачей, жестоко действует отключающий рубильник, люди требуют чистой воды и тепла, милиция отлавливает бездомных детей.

10. Чайки умиротворенно переговариваются на льдине, весело возбуждаясь и ликуя, кричат в полете над фарватером. Они учат радоваться, и напоминают о давних криках чибисов над тропинками детства.

Вдруг привиделось: бежит впереди девочка первоклассница в ситцевом коротеньком платьице, очень быстро бежит, — увеличивается расстояние, но девочка будто бы растет сказочно, превращается в семиклассницу Таню Лапину и вот уже кажется, что идет навстречу задумчивая Татьяна Петровна, ставшая учительницей русского языка в центральной районной школе.

* * *

Удивительное слияние воспоминаний с мечтами о встречах, подумал Меженин: у входа в санаторий действительно ожидала его женщина. Минуты две—три, пока он выходил на асфальт, читая плакатные, в две строки, рифмованные советы отдыхающим, она смотрела с нескрываемым адресным любопытством — впервые здесь заметил такое внимание к себе. По облику ее предположил — учительница. И не ошибся. Сначала она заговорила без обращения, поясняя, что вся территория, расположенная неподалеку от бывшего пионерского лагеря, украшена такими плакатами — перенес

их сюда массовик, сочинял, вообще хороший был забавник, от него и традиция: ни один вечер отдыха без стихов не обходится, некоторые курортники стараются шутя и всерьез говорить в рифму, такие приезжают с заготовками, а врачи даже советуют, потому что помогает. Учительница, указав на плакатный совет, словно на классную доску, с расстановкой прочитала: «Чтобы всем приятно было, не веди себя уныло». И только тогда обратилась:

— Федор Борисович, здравствуйте. Мы с вами не встре-чались. Однако я вас давно знаю. По рассказам коллег. Вы приезжали в райцентр, проводили интересные уроки. Про-стите, конечно. У меня просьба... Приглашение к нам в школу. Детям будет радость. И память на всю жизнь. Недалеко, полтора часа на автобусе. Встретим. Сможете?

— Вот так сразу? Еще не огляделся, на приеме у врача не был, режим лечебный не расписан. Может быть, позднее, недельки через две. — Он виновато улыбнулся, пожал пле-чами.

— А письмо мое Вы успели получить? Извините, если что не так. Волновалась очень. Я узнала о вашем приезде от соседки, она медсестрой в процедурном, где ванны жем-чужные. Вашу книгу с автографом показывала.

Глава первая

Среди ожидающих автобус на площадке перед ажур-ными коваными воротами, отделяющими свободное жиз-ненное пространство от зоны отдыха, исправно появляется безобидный говорун, имеющий особое мнение по всякому поводу. Речь его нетороплива, рассудительна, иногда излишне расцвечена цитатами, стихами, словами из песен, поговор-ками, ссылками то на Монтеня, то на Честерфилда. Он ни-кого не встречает и не провожает, никому ничем не обязан, никому ничего не должен. Но пространные разговоры его находят слушателей заинтересованных и даже восторжен-ных: надо же какой образованный человек! Здесь он до-рабатывает просветительское предназначение. Бывший учитель закрытой сельской школы по причине окружной бездетности, из своего хуторского пенсионного одиночества приходит общаться с прибывающими на отдых. Высокий, в строгой коричневой куртке и темно-зеленых брюках, лет шестидесяти пяти, но без напряжения стройный, издалека еще напомнил о чеховской интеллигентности, даже пока-залось, взблескивает пенсне. Только вблизи стало очевидно:

обыкновенные очки в роговой оправе с выпуклыми линзами, сильно увеличивая глаза, снижают портретное сходство и делают взгляд распахнуто удивленным, отнюдь не сосредоточенно проницательным, а даже наивным — можно предположить былую легкость взаимопонимания между учителем и детьми. Такой взгляд, конечно, располагает к открытости, особенно женщин, вот они и обращаются с вопросами, за разъяснением событий, житейских ситуаций. Геннадий Васильевич сам это осознает и старается соответствовать.

Меженину он пояснил, что после многих учительских лет деревенское безлюдье и безмолвие его ошеломило, стал бояться собственного молчания, зимой в городской квартире у младшей сестры, за двумя стальными дверями и с решетками на окнах, показалось ему: затухает и блекнет голос, атрофируется слух. И потому с первым теплом выехал сюда в готовности хоть чем-то быть полезным, вот сидит на скамье и люди обращаются с вопросами: по какой тропе ближе до санатория, когда будет следующий автобус, через сколько дней прибудет первый пароход с низовьев, есть ли поблизости церковь? Да мало ли о чем люди спросят или почему захотят скоротать в разговоре свободное время. Чуть позже дружок на дачу явится. Он говорливый, с ним любая тема становится философской — не заскучаешь. Ученый, головастый. Сам говорил: студенты Марксом прозвали. А здесь отдыхающие Пансой нарекли. Появился рядом с ним высокий сухопарый учитель — сразу стал Дон Кихотом по воле шутников, которых естественно не волнуют факты и тонкости судьбы хитроумного идальго, лишь бы весело звучало. В любом очередном заезде найдется весельчак, знающий местные приметы, маршруты, плакаты, игры, достопримечательности и традиции. Все эстафетно передается с помощью молвы, даже редкие местные жители со своими приметами — как часть ландшафта. Учитель это хорошо понимает, иногда ему даже нравится чувствовать себя в роли идальго, покоряться воображению соответственно прочитанному в книгах.

— Понимаете, бывает приятно услужить простой справкой. Ответить на пустяшный вопрос и с этого завязать увлекательный разговор. Иногда помогу солидной даме или хрупкой девушке перенести тяжелые сумки, чемодан с лишними нарядами, иногда окажусь сопровождающим для прибывающей сюда впервые, чтобы вместо «Волны» не попала в «Ифоныч», не заблудилась в былой Тихой Заводи. Кажется, что все они когда-то учились в нашей сельской школе, все мои бывшие ученицы из школы села Померекино. Встречаю и радуюсь: имеют

возможность отдохнуть, подправить здоровье — значит, не затюкала жизнь, шоковая терапия не затоптала. Такие мои порывы — не филантропия и не изысканное благородство. Мне самому от этого легче: я занят, я обманываюсь, но не плесневею в отрешенности. Иногда встречаю естественных здесь, но неприметных в городской толчее людей, уставших от шумливого бездушного бомонда или от надуманной принадлежности к дворянству, от бытовой круговерти или производственной неуверенности. Вижу и понимаю кому надо сочувствовать. Я привык к сочувствию. Делаю это искренне, с готовностью помочь в меру сил, но получается, что поступаю так и для своего душевного благоденствия. Деваться мне некуда. Страшусь одиночества. — Геннадий Васильевич снял очки, чтобы протереть линзы. И глаза прищурились — смотрел на Меженина так, будто находил знакомые черты, по ним что-то припоминал. — Да, страшусь одиночества и молчания, — повторил он, прилаживая очки обеими руками. — Когда человек одинок и устал от бесполезного самопознания, он создает себе искусственную жизнь, но это все-таки жизнь среди людей, а не заплесневелый преждевременный отход в мир иной. Одни от скуки ищут приключений, другие спасают себя сочинительством, третьи рисуют развлекательные или нравоучительные плакаты, а некоторые при любом возрасте играют в любовь, немало измотанных отчаяньем — бродяжничают, пьянствуют или пишут злые воспоминания. Не осуждаю никого, даже смельчаков, способных специально создать экстремальную ситуацию, чтобы в ней реализоваться решительным поступком. Не потому ли нынче, смотрю, молодых тянет на сомнительные подвиги. Они не запрошены, не востребованы обществом, издеваются над собой, норовят нарваться на конфликт. А их по всем каналам подзуживают: не смотрите на мир сквозь догмы устоявшихся идей, входите в цивилизованный мир. Это чтобы себя, природу свою забывали. Ой, простите нудные песни, я и сам нытиков не люблю, да вот распелся.

Знаете, литература и раньше спасала и сейчас выручает, она научила угадывать человека, чувствую с кем заговорить. Вот и хожу ранней весной в дни заездов отдыхающих на эту территорию, хочется после зимы воспрянуть. Иногда учениц меня узнают, сказываются, а которых и сам предположительно угляжу — не стерплю, окликну, даже по имени назову. Бывает, ошибаюсь...

Печально все-таки: умел жить, увлекал детей чтением, спектакли ставил, был нужен. Теперь жить не умею, не знаю

что делать, а не хочется быть никчемным. Учителем русского языка и литературы на всю жизнь назвался, силы еще есть, память крепкая. Только вот разобраться, понять не могу происходящее, чтобы самому себе ответить на вопрос: что же дальше будет, если к родному слову почтения нет, если серьезные книги людям кажутся скучными? А они, школьники мои, при встрече ждут ответов на многие вопросы. Вчера две на отдых приехали, узнали меня — кричат из автобусного окна: «Ой, Геннадий Васильевич, и вы здесь отдыхаете! Вот здорово!» Отдыхаю, конечно, как же... Жду вас каждую весну. Знаю, встретимся. А у самого очки затуманило, не могу разглядеть и припомнить из какого года они, мои незабывчивые ученицы. Выбегают и прямо — обнимать, целовать. Тараторят наперебой: «Неужели помните? Меня Светлячком называли иногда... А меня — Клавиатурой, за то, что стихи разными голосами читала, под любую роль могла подстроиться...». По таким подсказкам и вспомнил какие в детстве были они, эти подружки неразлучные. Любопытно однако. Знал, что встречу кого-нибудь. И вот встретил наконец. Обещали навестить. Доберутся, эти радостно опознали, значит, слово сдержат. Другие, может быть, не узнавали, не вспоминали. Эти памятливые, придут навестить. Только вот школы нет и село наше как не бывало, один дом учительский остался: из десяти квартир одна жилая — мое убежище с весны до глубокой осени.

Геннадий Васильевич легко, непринужденно поведал о банальных причинах своего закономерного одиночества. В его голосе не было грусти, монолог завершал с улыбкой, для подтверждения рыцарской уверенности воскликнул:

— Хвала небесам за ту милость, какую они мне явили, — за то, что так скоро предоставили они мне возможность исполнить мой рыцарский долг и пожать плоды моих благих желаний! — он, видимо, не впервые вспомнил забавного испанца и, приложив ладонь к правому уху, словно бы прислушался, чтобы продолжить. — Не подлежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитный или же беззащитная, нуждающаяся в помощи моей.

Меженин выразил удивление и признался, что в недавней хандре просматривал роман Сервантеса, его назидательные новеллы, думал при этом: отдаленность во времени и пространстве, отличия национальных обычаев и традиций не мешают восприятию, произведения живут не только ради развлечения уставших. И тоже вспомнил строки из авторского пролога к десяти назидательным новеллам:

— Наступает час и для развлечений, когда наш удру-ченный дух отдыхает. С этой целью люди насаждают аллеи, ищут источники, сносят холмы и разбивают затейливые сады.

— Простите, с кем имею честь? — только теперь дели-катно спросил учитель, явно желая закрепить взаимное по-чтение. — К литературе очевиден ваш интерес.

— Неторопливый читатель и наивный сочинитель...

— Это как же понимать наивность?

— А вот и здесь хожу, созерцаю да грустно думаю о себе, о жизни других, просматриваю пережитое, оцениваю прочитанное, сочиненное и даже опубликованное раньше, записываю кое-что, словно мозаику выкладываю день за днем — привычка. Наивно надеюсь: пригодится.

Около них, предупредительно названивая, промчались два юных велосипедиста, рыжеволосые, всклокоченные азарт-ными гонками.

— Не разевай широко рот — скоро будет поворот! — крикнул ведущий.

— Ты зачем предупреждал — я и сам об этом знал, — ответил ведомый.

— Не спеши по улице — там гуляют курицы, — напом-нил ведущий.

— Курицы спасаются — видишь, разбегаются.

— Забавники такие, — Геннадий Васильевич ласково глядел им вслед. — Наловчились в рифму перекликаться, подражают. Тут с давних пор заведено — река приучила. Раньше с берега на берег кричали, с баржи на баржу.

Полагая, что Меженину полезно будет, он рассказал о давней волжской традиции, примечательной озорной по-эзией. Рождалась она в перепалках между плотогонами, мат-росами, паромщиками, рыбаками. Плавали медленно, не на подводных крыльях летали. Медлительные суда, баржи, бе-ляны, буксиры с плотами ползли вверх и вниз. Однообразие утомляло речников. Встречные суда обменивались на языке сигнальных флажков да гудками. После официального ус-тавного приветствия начиналось развлекательное. В каж-дой утомленной команде находился признанный острослов, он выпендривался на самом видном месте, сложив ладони рупором, дурным голосом орал задиристое и непристойное приветствие, ему естественно отвечали с другого борта не менее озорным двустишием или четверостишием. Разго-ралось оранье удивительно разнообразных острот, извле-каемых из неисчерпаемого запаса под любую тематику. Соревновательная перекличка бывала оснащена жестяны-ми рупорами, иногда сопровождалась звоном железок или

игрой голосистой тальянки — кто что придумает для красоты соревнования. Победитель — командный штатный избранник определялся по находчивости, богатству и разнообразию срифмованных ударов. Когда один из дуэлянтов допускал повтор остроты, на этот случай у победителя должно найтись придержанное до поры хлесткое четверостишие, чем непристойнее и оскорбительнее, тем лучше. Команда шумно ликовала. Конечно, такие дуэли острословов затягивались, суда расходились все дальше и дальше, голоса надрывались уже, крикуны перебегали на корму и подпрыгивали, содержание смазывалось — соревнование затухало без финала. Изобретательный фольклор речников оставался на память по берегам.

Меженин вспомнил исследование Соловьева по летописям, повествующим о княжеских междоусобицах: для разрешения распрей сходились в чистом поле — рать на рать. Перед началом сечи ратники распаляли противостояние перебранкой, оскорбляя и унижая настроение противника, укрепляли собственную готовность к бою. Долгое противостояние с перебранками предотвращало кровавый исход в большинстве конфликтов, даже стало обрядовым. Может быть, из тех княжеских полей этот обряд перешел на речные просторы, переродился в беззлобное, веселое взаимное приветствие матросов и плотогонов, в живописную рифмованную перебранку с использованием стародавних слов, пословиц, поговорок ради развлечения и подъема угнетенного духа. Вольная река и сейчас иногда возбуждает желание выкрикнуть нечто необычное после длительного ненастья на душе...

* * *

Из блокнота

11. Курортники в петушином стиле ведут мужской разговор: не пора ли на рыбалку, на всеобщую прогулку ради дам, не отметить ли ласковое тепло встречей у жаркого костра, не устроить ли вечер знакомств. Обсуждают: кого пригласить, чем заинтересовать прекрасную половину местного человечества, какой соорудить стол, кто ответственный за напитки, а кто — за шашлыки, в какое время собираться и под какую музыку балагурить, петь, танцевать.

12. В сиреневых сумерках по тропинкам вдоль высокого берега тихо гуляют воркующие дамы печального возраста, взвизгивают и хохочут, не утрачивая надежды еще раз

обратить на себя внимание, уверенно цокают каблуками по асфальтовым дорожкам свежо привлекательные и уверен— ные в собственной неотразимости активистки. Под стары— ми березами сосредоточенно покуривают бывалые мужчины. Под обрывом серебристо звенят ручьи, согласные в том, что именно они по всему побережью дружно сверлили и отго— няли от берега ледовые оковы, в назначенный час разбудили реку.

13. Все окружающее при участии нашей фантазии приобретает индивидуализированное содержание. Былые впечатления соединяются с новыми и позволяют воспринимать обновление в природе, в людях, в собственном самочувствии. Радует всякая подмеченная сообразность, подчиняющая и птицу, и человека, и дерево, и пеструю бабочку, и пушинку единому движению, жизненному потоку. Эта сообразность вызывает восторг, умиление, желание привстать на цыпочки и взмахнуть руками вместо крыльев. Независимому от общественных условностей становится радостно. Возможные знакомства и откровения, конечно, волнуют. Нехотя затихает санаторная республика. Надежды и предчувствия утешают каждого способного слышать музыку в колыхании близких деревьев, подметающих вершинами Млечный путь.

14. Воскресным утром раньше обычного шумели со всех сторон встревоженные хлопаньем парадной двери горластые грачи. Веселые галки увлеклись ярмарочными разговорами, напоминая по этажам пословицу: две женщины — базар, три — ярмарка. Сколько же тут, возле белого корпуса, похожего на заблудший в лесных протоках пароход, разыгралось дис— куссий. Трудно различить на какой стороне больше птичьих, а на какой — женских. Затоковало курортное человечество, поселенное в номерах отдыхающей стороны.

15. Мужику вспомнились охотничьи зори. Вообразил себя в глухариных угодьях на одной из любимых полян, где в давние годы разыгрывались отчаянные сшибки реликтовых птиц. Вот уже послышалось щелканье клювов и хлопанье крыльев. Бой усиливается, нарастает — все ближе, отчет— ливей. Охотничий азарт обостряет фантазерское зрение. Пронзительно просматриваемый с балкона уклонный бе— резняк вдруг раскрывает просторную поляну, на ней от— четливо чернеют готовые к схваткам взъерошенные петухи, а на холмиках едва заметны уютно сидящие тетерки да глу— харки, оказавшиеся вместе по природному родству. Сейчас никто не уточняет, бывают ли совместные токовища у те— теревов и глухарей, могут ли они мирно соседствовать на

поляне любви. И сами охотники на смежных балконах не задаются таким вопросом, наперебой вспоминают приду-манные и пережитые эпизоды, повторяется рассказ о том, как тяжелые оглохшие птицы садились на шалашик, разго-ряченные и ослепленные схваткой не замечали охотника, изумленно вставшего во весь рост. «Ай, забылось, зачем при-шел! Ну, прямо обомлел ротозей!»

16. Легко дышится, в нормальном ритме работают сер-дца, смягчились и самые скрипучие суставы. Еще вчера не-уверенные пенсионеры вспоминают для молодых собеседников свои былые похождения, конечно, деликатно подбирая выражения, но тематические анекдоты вставляют довольно свободной речью. Отлетели печали, невзгоды. Нет болезней, забыты повседневные унижения, чиновничьи про-волочки. Праздничное оживление лучше назойливо рек-ламируемых торгующими лекарями пилюль, микстур, бальзамов...

* * *

— Счастливого пути, мальчики! — Ласковый голос с пя-того этажа напутствует инициативно уходящую подгото-вительную бригаду. — Не забывайте про нас. Постарайтесь для комфорта!

Под гору уходят спортивно одетые «мальчики» в воз-расте от тридцати до пятидесяти лет, хорошо экипирован-ные, вооруженные необходимым инструментом, чтобы готовить дрова, удобные сиденья, общий круговой стол, хвой-ную защиту от пойменного ветра. Человек десять умелых энтузиастов — есть такие общественно заботливые и по-лезные люди. Умиленные женские голоса напутствуют: «Во-лодя, не потеряйся! Костя, будь осторожен, усы не опали! Саша, шляпу надень — макушку напечет, головка будет болеть! Виктор возвращайся сразу. Не вернешься — посуду не при-несем! Станислав, почему не взял гитару? Гитара нужна — я принесу. Леонид Иванович, не оставляй ребят без при-смотра — заблудятся! Гена, не увлекайся, разогреешься — не изображай моржа, не вздумай купаться!.. Аркадий, вы обе-щали книгу с автографом. Обязательно пригласите соседа!»

Никто не остался без внимания, названные поименно чув-ствовали спинами прицельные дамские взгляды. Легким об-лачком витали вопросы: что в этот вечер произойдет, какие состоятся знакомства, украсят ли они судьбы тех, кто еще пи-тает сердечные надежды на встречи у костра?

* * *

Согласованно и скоро образовалось сообщество. Толпились вокруг веселых огней с дымком. Вместо предполагаемых двух пришлось четыре костра ладить — для тепла и удобства. Разогрелись мужики, хорохорятся. Жарят шашлыки в четырех мангалах. Шутки, анекдоты, бывальщины. Дамочки поблизости копошатся. Картошку, лучок и прочие припасы живописно раскладывают. Легко общаются, знакомятся. Степенные граждане и гражданки вовлечены, подстроились к веселому поведению. Много наигранности, но естественность прорывается. Ей — предпочтение. А кто уединился под елками — пусть со стороны наблюдает.

— Это москвички форс держат.

— Мы тоже люди, мы не возражаем.

— Значит, можно и с картинками? — обозначил свою роль усатый активист. — Правду скажу, все как есть. Выпиваем с корешом под жареную рыбу. У него теща толковая, речистая. Ляпнет так ляпнет, хоть стой — хоть падай. Вот столуемся, а кошка Мурка около трется да муркает. Плюхнется на половичок — мур-мур! Вспрыгнет — опять та же песенка, весна дает себя знать. А хозяйка, теща эта, не долго любовалась: хвать Мурку и — за дверь. Иди, говорит, охолони ровесницу! Erзаешь перед мужиками, бесстыдница! С Васькой обгуляться не можешь, покрепче кота примуркивай. Хватит вхолостую пустовать...

С этого зачина развязались языки. Потекли наперебой бывальщины. Дамочки по своей природе не способны долго и внимательно слушать, им неповторимую привлекательность показать важнее, однако в речь самых видных мужчин благоговейно вникают. Даже невзрачный на вид деклама-тор стихами простенькими очаровать может. Простонародные бытовые ситуации, переданные умельцем сказки сказывать, тоже умиротворяют слушательниц.

Архангельский Аркадий, видимо, ловок учитывать эти особенности. В подходящий момент перехватил внимание:

— Приходит в тканевую лавку модница. Вся гнется, коверяется — нарядну походку выделыват. Руки раскинула, пальчики растопырила. Говорить почала, и голосок тоже вывертыват, — тихо начал пересказывать сюжет, который вряд ли кто из костерного сообщества слышал или читал — не в почете нынче такое чтение. — Модница хотела показать, что всегда иностранно разговариват, по-русскому только понимат и то не в большу силу, и вся она почти иностранка...

Так вот пришла модница, фасонность и ногами, и руками, и всем телом проделала, головой значительно мотнула, глазки под лоб вскинула, потом кругом повела и самую модную ма—терию требоват, чтобы сама распоследня мода. Обслужите, дескать, как подобат. Приказчик кренделем изогнулся, руки фертом растопырил, ноги колесом закрутил — вывертыва—ется подстать моднице:

— Да у нас для вас имеется ваккурат то, что вам жела—тельно—с. — Дернул с верхней полки пыльный кусок ма—терии, моднице опомнится не дает. — Вот как раз для вас, пожалте—с, особенной поол—коо—тьерс!

— А отчего эти пятна, позвольте нам знать?

— Доложу вам относительно моднючей ткани. Это цвет ле—жаа—итьин—с. К вашей личности... Извольте приста—вить. Ах, как пристало!

Разгорелась модница, очень довольна и спрашиват:

— А кака отделка к этому поол—коо—тьеру цвета ле—жаать—ин?

Приказчик достает обрывки старых кружев, которыми пыль вытирал да мух гонял. Уверенный, что наловчился го—ворить на иностранный манер, голос выгнул смачно:

— Для этой модной материи, только для вас, другим и не показывам, вот извольте—с, отделка проо—ваас—туу—р!

И что бы вы думали? Купила—таки модница полкотер, цвета лежантин, с отделкой «про вас, тур»...

Обозначилось недоумение, но рассказчик предвидел ре—акцию и потому предложил тост «за милых дам». Пошу—шукались, закусывая, вспомнили о песнях, но никто не вызвался в запевалы. И гитара была забыта. Потребовались стихи. Нашлись чтецы, выходили на лобное место между кострами.

«Мы с тобой за одною учились партой, но беда разве—ла—разлучила нас. Не кори меня золотом партии, не пиши в отживающий класс». Тот же малорослый мужичок, вышед—ший уверенно на средину, под светом четырехстороннего пламени напряженным скрипучим голосом выпевал: «Смрадная гарь по увалам витает. В холодных пенатах не можешь заснуть. Чистой воды нам везде не хватает. Си—вушным разливом кончается путь».

— Да, раньше мы бывало пели. Стройотряды, костры. — Говорящий, по—хозяйски сидит на самом удобном ме—сте — в центре стихийного круга, действительно похож на командира студенческого отряда: рубашка защитного цвета с погонами, до локтей закатаны рукава, лобастая гордели—вая голова выразительно освещена переменчивым светом.

Это он при первой встрече заявлял, что не считает себя сторонником коротких формальных знакомств, предпочитает профессиональные, деловые и капитально дружеские отношения.

— А теперь и молодые помалкивают под телевизор, песен от столицы ждут. — Клава тронула струны гитары, просит Светлану передать ее сидящему в центре. — Вспомни, Станислав.

— Плыла, качалась лодочка по Яузе реке, что ли, для общего распева? —решил он начать далеким заходом и получилось общее вступление — эту песню многие помнили. Кто не испытывал радости в плаваньях по течению сторонкою родной, когда вместе не бывает тесно в лодочке одной? За первой песней последовало еще несколько объединяющих. Все вокруг заволакивалось дымкой, посеребренной лунным светом. За этой волглой дымкой по лесным проемам кому-то, возможно, виделись бульвары и проспекты белокаменной. «А я иду, шагаю по Москве...»

Одна из явных москвичек высказалась:

— Наш огромный город — целое государство, суетное, стрессовое, судорожное, но развратно богатое. У нас безграничные развлекательные возможности — на самые изысканные вкусы индустрия эстетического и духовного обеспечения работает. Пользуйся, хочешь иметь больше — найди покровителя или выиграй миллион.

На дамочку обратил внимание хрипловатый чтец, желающий «стрельнуть» по наигранному обаянию рифмой:

— Ай, сочная толстушка! Придется взять на мушку.

— Еще один оригинал — сразу валит наповал, — парировала она.

— Есть москвички отпетые птички, есть пригодные и для жен, — разведя руки в галантном поклоне, чтец задержался возле сочной особы, чтобы теперь уже без рифмы высказать тихое учтивое признание. — Простите великодушно. Настроение сегодня такое. Благодарю за достойный ответ. Хотите, продолжим. — И прочитал. — На то и меньше мой алмаз гранитной темной глыбы, чтобы дороже во сто раз его ценить могли бы.

— Ну, оригинал, ты меня достал. Завтра днем поговорим, друг на друга поглядим, — отыгралась зацепленная чрезмерным вниманием, но в голосе чувствовалось металлическое звяканье. Наблюдательный усатый тамада, не утративший чувство ответственности за исход знакомства между первыми кострами, поспешил смягчить едва намеченные острые углы — дирижерским жестом вскинул правую руку, а

левой растопыренной пятерней сделал широкий полукруг, к единству призывая:

— Друзья, прошу я вас, давайте выпьем за алмаз. А если завтра подфартит, поднимем тост и за гранит.

Восторженно хохотал благодарный народ, сосредоточенно молчали одиночки. Костровое сообщество угнетало одних, доставляло наслаждение другим. И все-таки люди казались привлекательными. Внимание останавливалось на некоторых участниках по случайным поводам, но они, вызывающие интерес, стали частью того, что не забывается и согревает чувством жизненной сопричастности. Осуждать легко. Самоуглубленный человек не приемлет интеллигентское умничанье, он ищет одну духовную систему. «Чем клясть вселенский мрак, затеплим огонек, так думает дурак. А умным невдомек. И легче дураку. И в мире не темно. А умные стучат к нему в окно».

Обличителей хватает, бескорыстия и понимания все меньше, но усталым нужен сочувственный свет, кто-то будет благодарен этому случайному сходу незнакомых людей, объединенных стремлением расслабиться и отдохнуть от будничной гонки, мечтаньем о редких мгновениях легкой и беспечной жизни. Прорывались рифмованные реплики от желания необычности.

И снова вернулись к песням, гитара пошла по рукам, способным что-нибудь изобразить на струнах. Репертуар превращался в сборную солянку, но привлекательность его была обеспечена разнообразием стилей, голосов и содержания. Гитара добралась до Меженина, пришлось тряхнуть «стариной» — вспомнил, в давние годы получалось на вузовской сцене, даже срывал аплодисменты, вызов на бис. Почему не попробовать собственный голос в новых условиях? Инструмент зазвучал хорошо, возродил уверенность после нескольких переборов, будто бы сами собой нашлись слова:

— Во мне, и почему бог весть, когда весна еще в начале, есть что-то смутное и есть какой-то холодок печали, — начал Федор с того, что определяло его настроение, начал тихим бархатистым голосом усталого одинокого человека. — Но мысли сердце обожгут и боль сильнее обозначат. Покажется, что где-то ждут и, не дождавшись, тихо плачут. — Он пел и казалось ему: незнакомые люди сочувственно понимают давнюю печаль.

Разве можно не заметить вспыхивающие женские взгляды, не услышать вздохи, не понять тихие улыбки, скорбную замкнутость страдающих и озабоченных. Видишь, одинокая женщина грустит под березой на берегу. Видишь,

третий раз проходят стороной две любопытные дамочки в ожидании оклика — приглашения. Обрати внимание, найди деликатный способ привлечь в общество. Только не оши — бись, не вторгайся в оберегаемое одиночество, не задавай лишних вопросов, не спрашивай о причинах печали. Если тебя окликнут или осторожно спросят о чем, отзывайся. Пригласят на танец — радуйся, что заметили в сумраке вол — глой ночи, в неверном свете костров.

Так и получилось: после него никто больше не взял ги — тару, загрустило сборное общество, тайно сосредоточилось на воспоминаниях и печалях. Выручил шумливый тамада — сначала врубил нарастающий магнитофонный шум для отвлечения, а потом выстроил атмосферу обязательной по — корности — никто не должен, не имеет этического права уклоняться от приглашения. Начался ознакомительный кру — говорот: выбор, поклоны, хлопки трепетных ладошек. В та — кой ситуации попадаешь под очередное внимание смущенно, не зная какие слова сказать, — совсем одичал, что ли. Но каждая претендентка пыталась разговорить вопросами: «Вам нравится молчать? Не находите, что это не учтиво?» «По — чему мужчина бывает такой молчаливый?» «Вы хорошо пели... Вы были в ансамбле или так, солистом?» «Вы на са — мом деле такой неразговорчивый и капризный?» «Расска — жите что — нибудь новенькое, веселенькое. Ну, не сейчас можете рассказать?» Капризный Меженин отвечал: «Знаю только то, что все знают». «А люди говорят, что вы много знаете, только себе на уме — это правда?»

Единственная из всех не казалась ему праздно назой — ливой — только Светлана, почувствовав трепетную робость решительно избранного пленника, понимала его неумение и нежелание произносить дежурные слова:

— Понимаю, все понимаю. Вы такой — не такой, как все. Мне рассказывали. А сосед ваш — Аркадий, он тоже необыкновенный, очень интересный.

— Артист. С ним легко общаться.

— Вчера, в день приезда, встретились. Если бы не он, могли не заметить своего первого учителя. Аркадий этот еще в автобусе Клаве сказал, что Геннадий Васильевич опять от — дыхающих встречает.

— Учитель. Светлячка и Клавиатуру помнит.

— А вы откуда знаете? — в настороженном удивлении голос ее переменился, упал в доверительный шепот.

Быстро сформированные парочки увлеченно танце — вали, чередуя вальсы и молодежную толкотню. Наметилось постоянство предпочтений. Не хотелось расставаться, но

все — таки начали расходиться. Тщедушный хрипловатый чтец, чувствуя нереализованные способности, заботливо удерживал:

— Не спеши, говорю, не спеши. Эх бы, развернуться, как бывало! — Он даже Пушкина вспомнил. — Шипенье пени — стых бокалов и пунша пламень голубой. — Настойчиво пы — тался убедить. — Нельзя так спешно, друзья, расставаться. Чего вы, товарищи, боитесь? Здесь полная свобода и некого бояться! У нашей революции лицо Растроповича, дежурит по стране Жванецкий, первый всенародно избранный гарант счастлив, что живет в век Пугачевой, он пальцем своим всех бандитов взял на мушку. В этой стране мы свободны, другой такой страны не знаем. Споемте хором, друзья! Споемте что — нибудь патетическое! Берем сильно и храбро беду за жабры!

— Сколько ни пой, ни балагурь здесь — сердцем и ду — шой пребываешь далеко отсюда, — тихо сказал Аркадий, подошедший с предложением закурить. Федор щелкнул зажигалкой — одновременно склонились, подставляя сига — реты к яркому зеленоватому огоньку, соприкоснулись лба — ми. — Тревожно думаю о сыне. Первый год службы на исходе. Володька парень рослый, решительный, прямой. Та — ких нынче нигде не любят. В армии неладное творится... Мы уверенно служили, знали за кого и за что. Теперь вся — кое бывает, макаронники да деды порядки ставят. А я тут притворно развлекаюсь. Завтра с утра надо домой звонить.

— Мне, Аркаша, и звонить некому. Бобылем существую. А годы, годы набирают высоту.

Глава вторая

По давней привычке Меженин проснулся до восхода солнца. Много лет назад в юношеском дневнике было за — писано и он повторил: хорошо, что ночь коротка, вечерняя заря за лесом утреннюю ведет, вот и переливаются сумерки в рассвет. Сквозь сон слышится петушиная побудка. Через балконное окно светлеет бесконечное пространство. Мыс — ленно парил в далеком небе под белыми облаками. Будто детский сон повторяется, тот волнующий обзорный сон, когда очень хорошо видел себя в полете над родной деревней, над полем и рекой.

Дано повторно с двойным восприятием — из прошлого и настоящего — видеть это небо, несуществующую родную деревню, и поле на взгорье, заросшее березами, и речную

излучину, перетянутую бетонным мостом в том месте, где раньше была мельница, а потом появилась электростанция, дающая радостный свет и надежды на улучшение жизни по всей вдовьей округе. Дано вспомнить совпадающую мысль, высказанную давним поэтом: день нынешний есть резуль — тат вчерашнего. Дана возможность назидательно для себя повторить: следует изучать что желал день вчерашний, чтобы понять чего желает нынешний, без этого и будущее стоит ли загадывать, выстраивать перспективу, наивно мечтать.

Но о чем же кричали на рассвете нынешние задирис — тые петухи? Из — за реки от самой дальней отживающей свое деревни с переливами света доносилось выпеваемое сообщение: «Жи — и — ву! Живу и радуюсь!»

Встал, распахнул окно. И пробудилось в душе нечто доб — рое, что еще предназначено на эту весну. Радость незави — симого самочувствия ограждала от всяческой пошлости, напраслины и суеты, диктуемой сомнительно преуспеваю — щими, жутко обеспеченными в короткий срок. На родное взгорье выйти бы теперь босоногим мальчишкой, оглянуться на деревню. Отсюда, с территории отдыха, многое видится и понимается в естественной взаимосвязи, обусловленности. Но тревогой, жгучей печалью наполняется сердце от пони — мания невозможности что — либо изменить, помочь людям искренним словом. Не слишком обнадеживаясь, вспоминал заветы Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого, Бунина, Горького, Некрасова: по силе дарованья писательской правдой служить своему народу, защищать униженных и оскорб — ленных, просветлять леденеющую тьму обманутого созна — ния. Здесь без телевизионного домашнего плена, без долженствования и бюрократического беспредела освобо — дился из множества лукавых условностей, накрученных ве — щательными всезнайками, бойкими мастерами нравоучений, самодовольными сочинителями — конформистами. Потому дышится легче, сон был освежающим.

Рассвело. Солнце глянуло на правобережное взгорье. Свободный день будет долгим: прохождение процедур по расписанию ничуть не отвлекает от вольных размышлений, новые знакомства и незапланированные разговоры высве — тят разветвленные интересы, женские взгляды и пригла — шения позовут к нехоженым тропинкам. Случайные встречи и разговоры тоже нужны. Они хороши тем, что выстраи — ваются независимо от предыдущей, набившей оскомину, темы. Они возникают спонтанно. Начинаются с какого — нибудь пустячка. Но вызывают ассоциации. Мысль бредет без тропинок, без предварительного выбора направления.

Меженин предпочитал такие случайные диалоги; попада-лись интересные спутники на прогулочных тропинках и на полевой дороге. Некоторые высказывания звучали свежо, даже красиво — такие намеревался записывать.

Понимал, что в реальной жизни эти новые знакомые были другими, но здесь они высвечиваются в невостребованных ранее качествах. Меженин и сам себе казался иным и по-тому записал: «Буду помнить эти встречи, этих людей. Встречное течение жизни выделило их для заинтересован-ного внимания. Аркадий. Учитель. Светлана Листопадова и Клавдия Верхорубова».

Аркадий тем временем весело дискутировал — значит, успокоил его звонок на север, теперь опять можно порабо-тать на пользу другим:

— Тоже предпочитаю случайные встречи. Если бы в райцентре не ждали меня, из всех случайных выбрал бы роковую — встречу в бассейне, чтобы урезонить особу с больным самомнением. Даже купаясь, она ищет изъяны в других, в нации, в народе, в человечестве. — Может быть, уяз-вленный женской репликой у телефонной кабины теперь выступал с балкона. — Боюсь самовлюбленной меланхолии, мировой скорби. Невозможно выносить ее присутствие ря-дом, дурное настроение она хочет навязать другим.

— Но уважать себя каждому необходимо, — фальцетом отпели ему.

— До какого предела, насколько человек занят собой? — вот вопрос. Насколько захвачен амбициями, бессердеч-ными умозаключениями.

Тут же последовал ответ:

— Нынче таких умников немало среди представителей обоего пола.

— Самым невыносимым характером отличаются идеа-листы, — подпел тонкий голос — Меженин слышал од-нажды эту девицу в фойе, рисовалась она перед «недотепами», живущими без понимания свободы.

— Быть девственницей еще не значит быть ясновидя-щей, — насмешливо басил Аркадий. — Имейте в виду, и слив-ки общества прокисают. Сберегайте себя от гордыни, если хотите оказаться востребованной.

— Покорно благодарна вам, ходячий катехизис морали. — Неравнодушная к видному мужику дамочка решила уяз-вить его. — Но вы напоминаете мне Подхалюзина — знаете такого героя?

— Выходит, свои люди — сочтемся! — Быстро отреаги-ровал Аркадий — он в первых соседских беседах говорил

Меженину, что перед поездкой на Волгу перечитывал чу—десные диалоги из Островского. — Вы прежде выслушайте, Олимпиада Самсоновна, и позвольте мне называть вас Ли—почкой…

— Ну уж, нет уж.

— Тогда подберите и для меня другую роль. Чтоб уроки мне задать, можно Жадовым назвать. Я не герой, я обык—новенный, слабый человек; у меня мало воли, как почти у всех у нас. Нужда, обстоятельства, необразованность род—ных, окружающий разврат могут загнать меня, как загоняют почтовую лошадь.

— Где это ты нынче лошадей увидал?

— Было бы желание, увидеть все можно, не увидеть так вспомнить или вообразить. Вспомните былые годы, госпожа Кукушкина, вдова коллежского асессора, благородное вос—питание дочерей своих, — этим он намекал молодящейся дамочке на ее капризный возраст.

— Бесчувственный вы человек! Видала я примеры—то. Как женщины—то гибнут от бедности. Бедность—то до всего доводит. Другая бьется, бьется, ну и собьется с пути. Даже и винить нельзя. — Нашла коса на камень, не растерялась дамочка, прибывшая отдыхать во всеоружии. Бывают такие подготовленные на все случаи...

* * *

Интересно началось курортное время: прибыл с корабля на бал. Получив путевку, Меженин торопливо собрался в до—рогу, не успел даже почту просмотреть — сгреб, что под руку попало, положил в сумку. Вот и оказалось несколько непро—читанных писем, среди них — два от родственников. Тетка просила разъяснений о том, что дальше будет в стране, не пора ли выбираться из крымского Красногвардейского района? Двоюродница Дарья, наконец—то отвечающая на его осеннее письмо, благодарила за то, что отозвался, восторженно зави—довала «бьющей фонтаном деятельной жизни образованного братца». Она признавалась: «Ты, знаешь, Феденька, раньше, твоя потрясающая активность как—то раззадоривала меня, иногда вводила в состояние страшного неудовлетворения со—бой. Но это было раньше. А теперь во мне окончательно умерли все фамильные порывы, не Разгуляевой стала, а Ти—хомировой. Прочно задвинулась задвижкой полного рав—нодушия ко всему — слишком глубоко ни во что не верю, устала. Разучилась радоваться. Надоел, осточертел Алексей

Дмитриевич, дичает катастрофически. По Валдаю ехали в ав—тобусе первый раз, он рыдал до истерики от разнообразия звуков и многолюдья... Как быстро меняются люди. Попали родственники в полосу невезения, болезней, странных слу—чайностей. У тетки воспаление среднего уха, которое наши врачи—олухи не узрели и дождались, что нарыв, прорвав ба—рабанную перепонку, сам нашел выход. Каково, а? Теперь тетка почти глухая, надо делать операцию, вставлять искус—ственную перепонку. Но когда, где, на какие шиши? Если можешь, посоветуй, помоги...»

Такие житейские письма дальних родственников и рань—ше находили его, напоминали, что не один на белом свете, кто—то еще помнит и надеется получить поддержку. Только старшая сестра Лена не утратила присутствие духа, не по—тому что характер терпеливый — «нашенский», а потому что защищена иным образом жизни, привыкла к переездам, «не обросла бытовухой». Пишет с благодарностью за вес—точку. «Ликовало все наше семейство, наконец—то ото—звался, может, в гости приедет!»

Елена сообщает о новом месте жительства по службе мужа, сколько пришлось перетерпеть мытарств: Николаев, Донецк, Барнаул и так далее. Но, видно, терпение кончает—ся. «Наступил период, когда безразлично, где жить, где ра—ботать. Передохнуть бы. Тоска по отпуску нарастает, но переезды вышибли право на отдых.. А работа? Не могу видеть психов, не вижу разницы между ними и собой, между больными и здоровыми. Если на работе мало на прием, читаю спецлитературу и готовлюсь к ведению группы со—циально—психологического тренинга (набираю группу подростков), а когда идут потоком шизофреники (здесь их тьма), прихожу домой с единственной мыслью: «А в чем, соб—ственно, разница между нами?» Хорошо, что дома меня ждет забавно болтающая Ксюшка, всегда щедрая на радость и ласку. И я оттаиваю... Знаешь, мой далекий замкнутый брат, наверно, не только затюканные родители виноваты, есть и наша с тобой вина в том, что мы оказались раскиданы по свету, не имеем корней там, где родились, все выкорчевано. Получается продолжение социальной изоляции, странствия превратили нас в перекати—поле. Вот и она, охота к пере—мене мест, аукнулась (отсутствие друзей, близких в городах, где живем) — такая «изоляция». Она и меня сильно из—менила. Да еще психи, и на работе не хочется ни с кем общаться, кроме как по производственным вопросам. Мне бы отпуск сейчас. Я бы вязала, слушала музыку, читала ху—дожественную литературу (не специальные книжки про

шизофрению), ходила бы гулять туда, где много зелени, и нет людей. В общем, депрессия. А тут еще неопределенность дальнейшего существования. И надо было, идиотам, из Севастополя уезжать... О детях тревоги. Мы уже по привычке проковыляем путь, а они? Наша Даша так резво выросла, что отнимает вещи у меня, я цепляюсь за них из последних сил (правда, во многом уже не устояла). Вещей хватает, вот с обувью туго. Детской обуви нет, ботиночки и прочее. У моих дочурок ножки маленькие: ножка — крошка, вся в мамину. В магазинах менее четырнадцатого размера ботинки только войлочные, но такие не в любую погоду наденешь. Если подходящее сможешь найти, пришли, пожалуйста, — в долгу не останемся... Живем трудно и вопросы возникают давние: как дальше жить, что делать, кто виноват? Ты писал, что смотрел спектакль про героев с бешеными деньгами, нашел связь с происходящим в людях конца нашего века. Так вот, именно происходит повторение. Я нашла эту пьесу, читала и думала про твою первую любовь. Помнится, она повторяла заученную фразу: «О том, как жить, рассуждают только люди бедные, которым жить нечем». Где она теперь счастливо странствует, не интересовался? Если не забыл, не вырвал из сердца, имеешь адрес ее, то сообщи мне, хочу написать бывшей подружке...».

Еще одно непрочитанное письмо оказалось в папке с авторскими рукописями, предложенными на рецензирование. Комплиментарные читательские письма угадываются по знакомым обратным адресам, а это пришло из Глухореченска. Откровенное, без намеков на редакторское внимание, без расчетливого подтекста — отзывчивое послание. Стоит ли умиляться, получив добрые суждения, адресованные не автору в первую очередь, а тем людям, чьи судьбы впечатляют и тревожат, естественно встраиваясь в сюжеты повествований? Давно изданная книга все же нашла понимающего читателя? Выходит, именно таким она и адресована независимо от намерения или предположений сочинителя?

Письмо незнакомки удивило напоминанием о трех повестях и порадовало неравнодушием к прочитанному. Письмо начиналось признанием в том, что жизнь захлестнула передрягами, быстро угасал интерес к чтению, к современной литературе вообще, но однажды близкий человек поведал несколько житейских историй, упомянул при этом отзывы знакомых о книге и рекомендовал для прочтения повесть, напечатанную сокращенным вариантом в журнале, в сборнике — без потерь.

Через два дня незнакомка оказалась в очереди читающих. И вот ей принесли то, что было рекомендовано. Без особого любопытства, с прохладцей перелистывала страницу за страницей, останавливалась на описаниях будто бы знакомых окрестностей. Вернулась к началу, к первой из трех повестей. Тронули сердце простые слова: «Далеко-далеко за лесом была родная река, которая меня помнила». Спохватилась, осознавая: природа каждого человека помнит! Крики чибисов прилетели от утраченной деревни детства к новому месту жительства, позвали ее туда в начало жизни.

«Читала и перечитывала, забывая про сон и еду. Открылось многое из того, что нельзя забывать. Спасибо Вам за поучительное напоминание. Вы знаете, цените, любите родину, природу, сочувствуете простым людям. Ваша доброжелательность и любовь присутствуют в каждом эпизоде. Оказывается, словом можно передать мельчайшие подробности, движения чувств, рисовать живые картины, выстраивать мелодии, правдиво изображать судьбы, характеры и поведение. Читала и все казалось, что это и про меня, что и я это переживала, чувствовала, знаю, люблю. Отторгнутая от чтения телевизором в этой смутной жизненной полосе я стала черствее. И теперь думаю: такие книги выручают, помогают мне преодолевать печаль одиночества, растерянность перед новыми порядками. Если мы всерьез заботимся о воспитании подрастающего поколения, как принято говорить, если планируем, чтобы не выветривалась любовь к родине, нужно издавать такие книги, призывать к ним внимание. Жалею, что и другие учителя не опираются в каждодневных разговорах с детьми на литературные описания, на писательское виденье, понимание всего растущего, живого, окружающего человека с детства. Нравственную память, духовное равновесие тоже можно взращивать с помощью произведений, проповедующих правду, добро, справедливость, и на уроках других предметников. Кто-то из литературных героев сказал: «Сколько в человеке памяти, столько в нем и человека».

Еще и еще раз листаю трогательные страницы, вместе с автором прохожу лесами и перелесками, по взгорьям и увалам, улицами бывших деревень и малых городов. Проникаюсь сочувствием к душевным людям, понимающим себя в заботах о выстраивании общего житейского лада. Большое-пребольшое Вам читательское спасибо. Удивляюсь и преклоняюсь».

Читательские письма в последние годы Меженин получал все чаще. Удивляло содержательное совпадение писем,

получаемых через много лет после выхода книги. Впрочем, отзывы на последующее издание романа по сути тоже были сходны. Видно не перевелись понимающие читатели. Даже здесь, в зоне отдыха, сверху — из окон пятого этажа — слышатся здравые суждения о традиционной литературе. Оказывается, вопреки выводам столичных прогнозистов время читательских интересов еще не кончилось, потому рано бросать в печку собственные давние и новые рукописи.

А на улице под березами мужчины, довольные самочувствием, смеялись, шутили, окликали девушек и женщин ласковыми именами. С верхнего балкона долетал ясный, невинный и странно лукавый смех, сопровождающий вопросительные фразы:

— Почему он ведет себя так тихо, словно скрывается? — знакомый голос, ласкавший слух во время танца, опять коснулся правого уха. — Подлинное свое отношение к окружающим привык скрывать? Клава, ты как считаешь?

— Помолчи, не выступай. Дверь нараспашку.

И снова — ясный, невинный, но уже не лукавый смех.

Меженин вложил в машинку чистый лист, чтобы перед выходом на прогулку напечатать единственную строку. «Этот женский смех — зовущие огоньки среди тьмы».

— К чему такая красивость?! Для чего нужен этот запев? — резко выдернул лист, скомкав, скатал в мячик и бросил в корзину. Рассердился сам на себя. — Утыкаешься в бумаги, не видишь весны, не видишь людей.

На волю, на свежие тропинки выгнал собственную персону, словно чувствовал, что поджидает незнакомый молодой человек — он приехал из Глухореченска показать свою первую книгу и два новых рассказа. Разговорились легко. Несколько раз упоминали утверждение: в человеке прорастает только то, что заложено. Литератор и математик вспомнил судьбу известного ученого, восхищаясь его трудами, мировым значением открытий, согласно предположил, что все в судьбе гения начиналось с детства. Стоит только внимательно присмотреться и увидишь истоки научных предположений, начало начал. Родительский дом, близкие окрестности и рационализм городских улиц, дыхание некогда бурлацкой Волги, купеческие особняки, спасительный Ипатий — убежище Романовых, сусанинские леса, похождения максимовского куля с хлебом, родственные костромские линии Пушкина и Лермонтова, храмовые росписи Гурия Никитина и многое другое, наверно, вспоминалось возрастающему ученому.

Нашлось в памяти Меженина и молодого литератора немало поучительных совпадений. Говорили о живописцах

и графиках. Известный художник, мастер рисунка и жанровых картин вспомнился. Исполнилось ему девяносто три! И все еще работает, творит без суеты. Вот и рассказывал Федор Борисович ученому:

— Удивительный человек с приветливым проницательным взглядом. Спрашиваю о житье. А он, Михаил Сергеевич, и говорит: «В чем дело? Не беспокойся пока. Топчу землю. Работаю. Сегодня прямо из своего окна написал этюд. Видишь, куст сирени цветущей. Трепетно получилось, нет?» Когда спрашивают у него о том, как дожить до глубокой завидной старости, стать творческим долгожителем, охотно открывает свой секрет: работать, учиться, восхищаться да радоваться надо. Если трудовые радости с детства познал, укрепляйся на них, добро в своей судьбе ищи.

Выходит, трудное детство в многодетной семье до сих пор благотворно аукается.

Встрепенулся, загорелся литератор, но сосредоточенно молчит. Предположить можно: обретает замысел... Но в какие условия попадет эта задумка, в какой срок и на каком уровне удастся ее реализовать? Кто нынче не задается вопросами, не мучается в сомнениях, не ищет хотя бы моральной поддержки.

За разговором смогли защитить себя от прагматичной и жестокой реальности пасмурного дня. Памятливо призвали на помощь своих кумиров в заочные собеседники — тех привлекательных земляков, чьи отзывчивые сердца возрастали через все житейские передряги именно из детства. Пригодился обоим и свой субъективный опыт. Этот опыт собственного сердца каждому подсказывает: в детстве все начала, в особенном деревенском детстве, из которого ничего вредоносного до сих пор не проклюнулось. Сколько было пережито несправедливостей, козней, предательств, коварства, наветов — наговоров, открытой и тайной групповщины, а вот ни разу не захотелось так же коварно и подло поступить с обидчиками. Терпелось и прощалось.

Разговор затягивался, обрастал подробностями. Математик с детской наивностью уповал на другие добрые времена, а Меженин — на будущее, когда все встанет на свои соответствующие места и каждому воздастся... Нашлись для столь разных собеседников совпадения обстоятельств, поступков не только в прошлом. Оценили друг друга за то, что печалятся, сожалеют, умеют открыто терпеть и не искать отмщения. Прощая своих обидчиков, удивленно замечают по конкретным судьбам: все же с прощенных по прошествии времени непременно взыскивает Господь. Не потому ли

поступая искренне, благожелательно во благо других, с полной уверенностью в своей правоте надо на оскорбления обидчиков молитвенно отвечать: «Зря вы так. Никто не тронет невинного безнаказанно».

Уверенный в своей правоте бывает вынужден повторять: «Никто не тронет меня безнаказанно. Справедливость рано или поздно прорастет».

— Спешим в другой век, в другой мир, а она, справедливость, все равно прорастает для праведно и честно живущих. Слаб человек, легко чистосердечного обидеть, но, защищая себя, не возмездие обидчикам шлет, а к дальней-шей осторожности их призывает, чтобы помнили: ничто не происходит только сегодня, все когда-нибудь аукнется.

Молодой литератор высказал несколько своих выстраданных доводов. Он признался, что в качестве эпиграфа к задуманной повести, если можно, возьмет одну-две фразы из этого неожиданного диалога. Меженин пожелал творческой удачи, повторил еще раз мысль о прорастании добрых намерений, истоки которых можно отыскать в особенностях ранних лет своей жизни...

* * *

Воскресным утром жизнерадостная Светлана спросила:

— Федор Борисович, почему галкам так нравится ваш балкон? Вы не замечаете разве и не задумывались над этим? Вы любите птиц?

— И не только певчих, — ответил, заглядывая снизу вверх, но любопытная соседка лукаво затаилась, словно в прятки начала играть...

Легко и быстротечно менялась весенняя жизнь, природа своим поминутным обновлением вдыхала перемены в самочувствие и настроение, особенной музыкой для души звучали птичьи посвисты и трели, серебристое бурлюканье ручейков на склонах, учащенное хлопанье дверей и окон по утрам, веселые разговоры молодых соседей, взрывчатый смех отдыхающих на берегу, умильные возгласы вышедших на балконы. После завтрака санаторная публика собирается на солнечной стороне, чтобы принять ласкающее тепло, показаться друг другу с интересом и... подкормить птиц. Со всех этажей обильно сыплется лакомство для пернатых. Галки вылетают с чердака, пикируют на лужайку и снова наперегонки взметываются, стремясь ухватить самое привлекательное: конфету, печенье, сыр или что-нибудь яркое,

неизведанное. Кто-то додумался вместе с кусочками еды подбросить галкам круглое крохотное зеркальце — ради потехи. Схватила его на лету самая увертливая и ловкая, но такая удача заинтересовала завистливых соперниц, нача-лось веселое соревнование на бархатистой лужайке. «Я первая! А я лучше! Пусти самую красивую! Дай посмот-реться самой стройной! — слетелись птицы, разглядывают диковину, кричат наперебой, выспрашивая кто на свете всех милее, всех чернее иль синее, чья косынка лучше повязана, чье оперенье шикарнее. — Пустите, пустите меня посмот-реться перед свиданием! А мы что хуже? И то верно! Все хороши! Мой на крыше давно поджидает! Ну и что? А мой на грачиной березе гнездо начал строить! С любовными играми пристает, нетерпеливый!»

Притихла наблюдающая публика, только вздохи чуть слышные передаются с балкона на балкон. А птицы тоже постепенно разобрались что к чему, ушли от соревнова-тельной толкотни сначала самые рассудительные, потом и другие о хлебе насущном вспомнили. Осталась с зеркаль-цем одна, та самая первая в белом миниатюрном беретике — чудное белое пятнышко было у нее на голове, всеми заме-ченное и оцененное как отличительная судьбоносная от-метина избранности. По этому «беретику» и поведение ее под особым вниманием, и зеркальце навсегда досталось, если бы она захотела, могла им творчески пользоваться на удив-ление другим и во благо всех. Иначе зачем же подарена природой такая отличительная особенность?

Наблюдение забавляло Меженина, отдыхал и удивлялся всему, что давно не замечал, о чем не вспоминал в повсед-невной городской жизни. Не умел останавливать внимание на естественной сообразности, а теперь деревья, птицы, жи-вотные, бабочки и букашки, веточки, листочки, травинки-былинки словно подсказывали ему: приглядись и откроется тебе нечто интересное, живительно полезное, себя услы-шишь и других будешь лучше понимать. Забытое детское любопытство проснулось в нем.

Глава третья

Под люстрой Чижевского доверительная соседка каж-дый раз оказывается рядом с Межениным — успевает за-нять место, которое он мысленно приберегал только для Листопадовой, а та опаздывала. Заботливая и озабоченная женщина пенсионного возраста, аккуратная и предупре-

дительная, с типичным лицом опрятной и рукодельной кре-стьянки, оценив его умение заинтересованно слушать, выс-казывает свои переживания. И происходящее в мире ее беспокоит, на всякое событие она имеет суждение. Не только близких родственников вспоминает да жалеет, но и соседей, бывших деревенских подруг, и упомянутых по ра-дио или телевиденью жителей всей земли. Ни континен-тов, ни границ для сострадания не существует: весь мир разделен в ее понимании на родные и чужие страны. «Везде хорошо, где нас нет. Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Как родные дальше будут жить?» Того гляди, всех бедных по тюрьмам разместят. Племянник ни за что в тюрьму попал при компании — беда. И других много осуждено — превеликая беда. Весь народ изверчен неспроста. Говорят, каждый третий мужчина в стране осуж-денный. Раньше за луковицу или за слово случайное са-жали, а теперь и не поймешь за что. Из всех по земному миру осужденных каждый восьмой — наш. Так и сооб-щают, будто радостно им от этого. Годами парни сидят без суда и следствия. Другой посидит и закашляет, выйдет ин-валидом. В холоде, тесноте, духоте маются — не мудрено здоровье утратить.

Письмо от сестры из деревни получила со слезами. Никудышное житье. Поля заброшены, коров прирезали. Безработица. Колхоз упал. Поднимать некому. Скоро земля пойдет в продажу, думаки закон придумывают. Возле Мос-квы все угодья расхватали. Не просто так, не задарма, а со взятками. Сестрина золовка писала: за один участок, может, с деревенский огородец, чтобы куплю оформить, только взятку чинам дают по сто и больше, нет не рублей, а по сто и боль-ше тысяч этих самых зеленых. Вишь, наша земля какая цен-ная. Везде у нас такая, в поле и в лесу она с богатством. Довели до упадка страну, а теперь — в продажу. Специально запускают пахотную землицу, отбивают у крестьянина охоту пахать да сеять, пускай чужим хлебом кормится, если найдет денежку. А купить что безработному как?

Растерялись простые да наивные люди. Мужики исхит-ряются, на вино находят. Самопалу привозного напьются и мрут как мухи. Соседка прибылая тоже пьянствует, лишена материнства. Четверых детей отобрали, увезли в интернат. А оттуда двух младшеньких девочек американка выкупила. Сказывали, скоро всех деток, которые до семилетнего возра-ста, продадут в усыновление по чужим странам. Топливо про-дали, золото и бриллианты разворовали, землю продают, теперь за малышню взялись.

— Из одной волжской области пятьсот детей в Италию отправили по договорам, — подключилась сидящая напротив осведомленная дама со вздыбленной соломенной прической. — Сами прокормить не можем, пусть другие воспитывают.

— Раньше многодетные семьи были и всем хватало. Без излишеств, но хорошо воспитывали. — Это еще одна собеседница приглушенно с хрипотцой обозначила свое неравнодушие. — Вечор передачу показывали. Отдавать или не отдавать детей на усыновление — удочерение в другие страны. Жутко слушать этих дамочек. С пеной у рта кричат: наша семья не может прокормить, пусть другие детство сделают счастливым, миллион малолеток можно спокойно продать, пускай гражданами цивилизованного мира растут.

— А что у нас богатых нет? Они собак вместо детей нянчат да лелеют. Сирот бездомных как не видят.

— Каждый живет как может. У богатых одна трудность: не знают куда приспособить большие деньги...

— Ага, враз разбогатели и теперь на свой народ наплевать.

— Каким станет народ, если детей своих продает. Детей наших там, в чужой стране, может, на медицинские цели предназначат.

— Чужая страна — потемки. Запчасти молодые дорого стоят. Это большой бизнес, — вмешался неравнодушный к дамочкам мужчина. — Тут визгом да слезами не поможешь. А мы кричим да кричим. Нефть, газ продали. Энергетику поделили. Что дальше? Как быть? Есть простое решение: думу переизбрать, правительство заменить, дать полномочную волю президенту, усилить органы контроля и наказания, чиновников за воровство и взятки — по тюрьмам. Будет порядок в стране. Найдется хлеб и ласка для детей. И нечего распускать уши, слушать сорок да кукушек, когда они, расчетливо вещая, щекочут: неважно кто ребенка по головке погладит... Как это так не важно? Вот об этом думать надо. А родина милей, на родине теплей. Береги, Россия, сынов и дочерей! — пропел он, пробираясь к выходу.

Женщины некоторое время сосредоточенно молчали, вспомнив о предписаниях по графику, вздыхая, поднимались с мест и, словно бы винясь за беспокойство, приклонившись, уходили. Вместо них постепенно занимали кресла другие уверенные в целебности невидимых и неощутимых волн. Постоянная соседка Меженина не спешила уходить — не высказалась Марья Ивановна. Он помог ей нарушить тягостное молчание.

— Ваши дети устроены в новых условиях? — спросил он, отдав предпочтение вечной теме и неугасимой материнской заботе.

Она призналась, что бьется из года в год в повседневной неустроенности ради детей, а они материнские старания не ценят, от советов и наставлений отмахиваются, нет бы прислушаться и некоторое время перетерпеть государственную неопределенность, не метаться в поисках заработков. Ох, неслухи нынче пошли. И своих она такими считает, но в вольность кинуть не может, ежедневно они на душе тяжелой заботой висят. Так и говорит — в той последовательности, в какой сочувствие к родственникам обостряется. Перво-наперво в этот раз невезучего зятя пожалела.

Зять хороший. Инженером был. Производство прикрыли, чтобы по дешевке раскупить. Пришлось в грузчики идти, а он интеллигентный. Тяжело холодильники эти таскать. Надсадился, спину надорвал. Умотается, кое-как идет. До постели доберется — и все, упал. Жена для снятия усталости — стакан ему. Раз да другой и дальше пошло. Укрепляйся, муженек. Будь как все, привыкай. Четыре тысячи в месяц — деньги. Жене только восемьсот дают. Сравнительно — разница, а вместе набирается. И не хватает. Нужна добавка натуральная. Картошку, морковку, свеклу, огурцы всю зиму из ямы бери у тещи. До нового урожая хватит. И сами эту заботу примите, пора, не всегда под тещиным крылом существовать, зятек. И тут привыкайте. Участок на две трети вскопает она. А дальше для привыканья им работу оставляет, чтобы знали земные хлопоты. Придут — брань: тяжело, жестко, почва высохла. И землю бранят и себя. И детей так же. Два парня у них, оба в ПТУ. Училище колледжем стало, тяжело учиться теперь, не тянут. Чего ни возьми — все тяжело.

Как дальше жить? Под этой лампой не дается ответа, потому и проку нет от проволочек чудодейственных. За две недели не полегчало. Собралась до сроку домой, детям и внукам лучше помогать, пока ноги ходят, пока руки делают. Молодые еще не знают, что в жизни так ведется всегда: одному человеку легче, другому — труднее, одному больше послабления и радостей, другому — труда не по силам да печалей. Не просто в себе рассудительного человека обрести, научиться терпеливо делать необходимое без завистливых терзаний.

Она призналась: в трудах и на отдыхе, в будни и праздники не завидовала никому, обделенной себя не считала. Взглянув на ажурное сплетение утешительной паутины из

проволоки, приклонилась к соседу и чуть слышно, доверительным тоном, закончила рассуждения:

— Хорошо под этим зонтиком думы понимающему сказать. Высказалась — полегчало на душе, передохнула. Прощаюсь насовсем, к своим бедолагам спешу, как они там без меня. Когда им плохо, виновато стыжусь. Стыд не вывернило. Человек держится на совести и стыдливости. Без этого греховно умаляется душа.

Уходила она в понурой виноватости перед всеми, от дверей поклонилась:

— Извините, может помешала кому, докучлива. — Затребовала санаторную книжечку на память, попросила вычеркнуть из списка навсегда здесь и в столовой. — Пускай лишних порций не закладывают. Раньше назначенного освобождаюсь. Всем спасибо. Не болейте, не сердитесь.

За стеной в приемном тамбуре очередной остряк торопил:

— Проходи бодрее, не толпись тут, мать Тереза. Не базарь. Отслужила свое — сваливай. Доброго здоровьица и попутного ветра. Не скользи, не падай.

Среди вновь приписанных под люстрой Чижевского выделялся бритоголовый молодец. За ним следом застенчиво вошли три женщины, устроились на крайних креслах возле дверей, сразу же затаились над раскрытыми книгами. Меженин знал, начнутся ознакомительные разговоры ни о чем и обо всем на свете, шутки-прибаутки сменятся анекдотами. Сосредотачиваясь, закрыл глаза и мысленно ловил падающий благотворный поток, но почувствовал голубизну знакомого взгляда. И не ошибся: последней в группе новичков пришла Светлана, села рядом с Клавдией, тоже раскрыла книгу. Похожий на пришельца из космоса молодец, хмыкнув, широко разложился напротив дамского порядка: ноги навытяжку для демонстрации шикарных кроссовок, руки на подлокотниках, словно бы настраивался на дрему, прикрыл веки, но проговорил:

— Тишина. Спите спокойно и пусть вас посетят радостные сны. Почитайте короля и королеву... Хорошо как, господи! — в приглушенном голосе его нарастало нетерпение обратить на себя внимание. — На следующий сеанс тоже книгу принесу, начну читать ради процесса.

— Вообще-то помогает, перед сном полезно. Ты что, Станислав, забыл свои добрые советы? — Клавдия поддержала начало разговора. — Что же, опять будем жевать интеллектуальную жвачку? — интонацией, тематическим переходом собеседники обозначили продолжение не сейчас начатого диалога.

— «Записки охотника» у вас? Детское чтение разве утешит даму веселого возраста? Романы нужны, романы.

— Это вы уже говорили. Согласна — нужны. Какие, например? Назовите.

— О любви. Для кристаллизации. Знайте, сударыня, на кристаллизацию чувства по Стендалю требуется три дня. Но в наших силах ускорить этот процесс обоюдной уст— ремленностью. Исторические события диктуют поведение в интимной плоскости. — Он засмеялся грудным смехом. Но Клавдию это не смутило, ей, видимо, не хотелось отмалчи— ваться перед напористым самомнением, она тоже могла де— монстрировать давнюю начитанность, сосредотачиваясь, вспомнила некоторые подробности из книг французских писателей:

— Если Вы любитель романов, взращивали чувства по Стендалю, Флоберу или Мопассану, Вам следовало бы за— помнить, что еще в средние века христианство с помощью исповедей превратило женщину из самки в привлекатель— ного человека, способного кроме всего прочего анализиро— вать свои чувства. — Она ожидала ответной реакции, но дуэлянт молчал. —Да, смею заметить для вас: неестествен— ная галантность, какую вы щедро представляли на прогулке, порождает иронию и непонимание, может быть, даже от— вращение у простушек.

— Вот это, Клавочка, слишком. Не надо игру принимать всерьез. Я над собой иронизировал. Уверен, только в не— драх искренней души рождаются прекрасные и возвышенные чувства.

— Но и они, Станислав, становятся смешными, как только люди заурядные начинают выдумки демонстрировать. Ка— ков привет — таков ответ.

— Клавдия! — Светлана многозначительным взглядом охладила напористость подруги. И снова затаилась над кни— гой с показным интересом

— Жестокие времена меняют смысл высоких слов, — находчивый собеседник не собирался уступать начитан— ной даме. — Варварские вторжения диктовали быструю, грубую любовь, женщины превращались в добычу, им это нравилось не так ли?

— Не смею возражать, — быстро нашлась Клавдия. — Варвары не терпят возражений. А скучающая аристократия в определенных обстоятельствах заражается губительным цинизмом. Исторические события диктуют индивидуальное поведение алкающих любви. Люди ждут от жизни того, чего она не может дать. Приходит разочарование, охватывает

отчаянье. И — пошло... Начинается мечтательное бегство от действительности в далекие края. Нарастает потребность экзотики — такой недуг. — Она взглянула на подругу для подкрепления. — Учитель Геннадий Васильевич, помнишь, Светлана, говорил нам, что сам писатель Флобер с трудом исцелился от этого недуга.

— Здесь мы все больны боваризмом. — Блистательный пришелец не оборонялся и не отступал, хладнокровно вел тактическую линию, но сменил позу. Подобрал ноги , руки скрестил на груди. Он понимал интерес присутствующих именно к его персоне и все серьезнее подбирал выражения, чтобы каждый в обществе мог услышать нечто близкое и понятное. — Здесь мы воображаем себя иными, демонстрируем недовольство, усталость от той жизни, которая дана навсегда в постоянном месте пребывания, откуда немногим удается вырваться. Мы не умеем ценить то, чем уже обладаем, и потому ропщем на судьбу.

— Но усталому в жутком однообразии человеку так хочется изменить свою обыденную жизнь, найти в ней хоть что-нибудь приближенное к былым мечтаниям и представлениям о счастье. Мне вот для начала хочется восстановить желание красиво мечтать. Наверно, еще не поздно противостоять невежеству, грубой силе, жестокостям, напирающим со всех сторон.

— Смотрю, действительно начитались романов, юной порой влюбились в Мопассана, книги его клали под подушку. Но не заметили, что он предпочитал удовольствия грубые и сильные. Помните его интерес к служанкам и уличным девицам. Вас не огорчает, что он считал женщину бессознательной проституткой, отдающей свое тело незнакомцу, потому что оно — товар любви. Не огорчает, что героини не знают брезгливости?

— Какой резвый на поворотах.

— Ах, ах! «Госпожа Бовари — это я». Держите меня. Я бичую собственные заблуждения, чтобы утешить вас. — Он вспомнил первоначальные упреки в свой адрес и отыгрывался. Оказалось, не так прост этот пришелец, но чувствовалась наигранность в диалоге, словно они заранее сговорились скрывать нечто существенное в отношениях между ними. — Если вы читали Флобера, помните о чем мечтала Эмма, почему не замечала подлинной окружающей красоты...

— Видимо, готовясь на отдых, вы штудировали Стендаля, Флобера и Мопассана. Остановились с предпочтением на короткой судьбе последнего. Но он не имел психического

равновесия, замкнулся на таком образе жизни, когда здо-ровье разрушают злоупотребления удовольствиями. — Учи-тельская интонация отчетливо звучала в голосе Клавдии.

— Этот уверенный пловец по житейскому морю свои тайные мысли скрывал под маской шутки и беспутства... Давайте говорить как можно тише, чтобы не просвещать равнодушных. Вы помните рассказ «Пышка», как он вам?

— Не щедрый на похвалы Флобер считал этот рассказ шедевром.

— А ваше впечатление?

— Не помню детали. — призналась начитанная Клава. — Только жалею.

Меженин порадовался за нее, он привык отдавать пред-почтение людям, которые говорят что думают, а не то, чем хотят произвести впечатление.

— Однако пора, довольно для этого сеанса. — Станислав приклонился и, чтобы еще раз блеснуть подготовленностью, завершил тему. — Мопассан говорил одной творческой особе о женщинах следующее: «Я не люблю их, но они меня развлекают. Мне очень забавно убеждать их, что я во вла-сти их очарования...» Тут есть камешки не только в самые дальние огороды.

И это Клавдию не смутило, последнее слово — за ней, привыкла покорять повелителя приемами возражения и не-жного согласия:

— Но следует учесть: он, как писатель, рано ощутил, что устарел. В своих произведениях изобразил мир «конца века», в котором женщина, нарушив супружескую верность, гово-рила о себе: «Вот я и стала падшей». А другой француз устами госпожи Бовари по собственному пониманию твор-чества заметил примерно следующее. Ты сможешь, мой милый, описывать вино, любовь и славу при одном непре-менном условии, если сам ты не будешь ни пьяницей, ни страстным любовником, ни воякой. Согласитесь, Станислав Львович, в суждении таком есть поучительное и для вас...

— Утомили умными речами, — сказала Светлана Лис-топадова. — Душно, как перед грозой. — Встряхнула пе-реливчатыми локонами и с вопросительным упреком за отстраненное молчание откровенно и долго смотрела на Меженина.

Вдруг вспомнилась драма «Гроза». Не Катерина все-таки, а Светлана спросила, дождавшись его на выходе. — Что же вы, Федор, молчали сегодня? Был бы ваш друг Аркадий — никто не заскучал. Вчера до слез насмеялась. Он всех за-бавлял шутливо. Бывают же такие необходимые люди.

Ироничный, веселый и серьезный вольнодумец, словно Егор Глумов.

— Вы, Светлана, настоящая волжанка.

На лестнице он взялся за чуткий ее локоток, она благодарно прижала руку, лишь на мгновение напряглась, взглянула на него с улыбкой и повела за собой. Вышли на площадку к парадному книжному развалу. Активист-просветитель в желтом пиджаке и красной жилетке, вскидывая в обеих руках собранные веером пачки пестрых газет, весело привлекал публику рекламными рифмами:

— Сия продукция — знающим, любопытным отдыхающим. Книги, газеты — для сердца приветы. Анекдоты читайте, про любовь узнайте. Недорого — не в городе. На природе — все для народа. Тратьте излишки на детские книжки. Семеро козлят в Америку летят. А коза на даче как раба ишачит. Красная Шапочка целует волку лапочку. Не кричи, не ругайся — поклонись Чубайсу. Подберите пару хитрому Гайдару. Одним — джин в бутылке, другим — том-страшилка. Читай, развлекайся, мечтам предавайся. Эх, да-мочка Яночка, на щечке ямочка, в руке пистолет, а любовника уж нет. Посмотрите, какая книга! Закажите — доставлю мигом. Недорого — не в городе. Секс на тротуаре. Убийство на базаре. Крутые наезды на выезде и въезде. Вашему вниманью — прелестные названья. Объятья с рогатым. Отдавайся богатым. Маньяк по вызову. Бриллианты на вывоз. Похожденья гимназистки. Наслажденье журналистки. Нервы стервы. Вот другие книги — сладкие ковриги. Зять профессора. Сын агрессора. Сноха трактористки. Дочь аферистки. Догадайтесь сами, как их менять местами. Это мой каприз: за догадку будет приз.

Нашелся догадливый джентльмен в стерильно белом костюме, видимо, по-хозяйски причастный к выездной книжной торговле, — новый коробейник:

— Обе пары развести и по-новому свести. Сыну трактористки — дочь профессора, а дочь аферистки — сыну агрессора.

— Красно-коричневый умник, — раздраженно произнесла Светлана.

— По совету доктора не проверить ли нам тропинку, чтобы не потерялась, — осторожно предложил Меженин.

— Можно на высокий берег, оттуда за реку смотреть приятно. Красиво и просторно там.

Вышли на облюбованный мыс под высокие березы. По заречной низине тянулся дымовой пух, сквозь этот пух изредка вспыхивало пламя — горела прошлогодняя трава.

Метались и кричали обеспокоенные чайки. По распадку желтой волной застыли распушенные вербы. Над дальним взгорьем, увенчанным приземистыми темно-синими избами, Светлана разглядела летящих гусей — караван медлительно тянулся на родину к берегам рек и озер у северной границы леса и тундры.

— Слышите, они кричат: «клинг-клинг»... Здесь неизменный возвратный путь. На родине отдохнут, начнутся хлопоты до осени, чтобы детей из гнезд на земле поднять в небо.

— Они принадлежат друг другу, детям, земле и небу. Весь смысл жизни понятен. А люди иногда владеют друг другом неизвестно зачем.

— Случайно встретятся и случайно расстанутся. Почему так? Почему люди переменчивы?

— В омут горячий шагнем — пропадем. Ночью очнемся. В разные жизни уйдем под дождем, не обернемся... Это стихи костромского поэта.

Глава четвертая

Ночная гроза ускорила брожение в природе, словно на хороших дрожжах все вокруг пышно воспрянуло. И река быстро поднялась, к полудню очистила фарватер, приглашая нетерпеливые прогулочные лодки. Теплое марево заиграло на противоположном берегу. В березах забродил сок, прихлынул к набухшим почкам. Запушилась нежная зелень. Зазвенели в березняке славки и пеночки. Наверняка где-нибудь на песчаных пригорках спешат выпялиться черневые строчки и орехово-желтые сморчки. Обновленный мир дышит вольно. Чистые небеса наполнились курлыканьем. За лесистым взгорьем летят и летят невидимые птицы с утра до вечера.

Свечерело, наплывает тишина и покой. Полная луна объявилась, лунная слепящая дорожка легла на Волгу против течения, качается на ней едва видимая лодочка под бессильным парусом, для двоих уютная, для свиданий предназначенная. Зачаровывающая тишина. Но слышно тиканье неторопливых дамских часиков. Ничто не движется, только время течет вместе с зелеными сумерками. Неспешно вырастают рыбацкие костры на противоположной кромке пойменного луга.

На взгорье за березовым перелеском успокоительно перекликаются гуси, они задержались в уютном поле кормиться

и отдохнуть. Утром снова подниматься в небо, благодарно окликая приветливые окрестности, выстраиваться в полетный порядок, устремленный к северным озерам. У них своя вечная дорога домой, в страну детства. У них родительские заботы.

А парочки, гуляющие под луною на берегу, будто не знают таких забот. То смех, то веселый галдеж. Конечно, отдыхающие не обходятся без бравады, без романтического желания провести теплую ночь на природе, в разговоре с привлекательным собеседником и, может быть, облегченно вздохнуть, глядя на луну с берега большой реки, напоминающей о быстротечности счастливых минут. Повторяются возгласы и повторяются мечтания, окрашенные наивностью. Возле импровизированной пристани в обоюдной печали задержались двое, откровенно говорят о том, что не получилось, не сбылось, не устроилось.

— Столько всего перетерпела, столько сил растрачено напрасно, — сказала она и вздохнула. — Если бы раньше сюда приехать.

— Помнишь, как первый раз улыбнулась? Я и остолбенел, словно током ударенный, — признался он успокоительным басом. — Раньше бы встретиться.

— Смотри против течения, прищуривайся и смотри. Какая отчетливая дорожка. Ослепительная, зовущая... Бежать бы. Ты впереди, а я — за тобой. Кажется, бегу... Где ты? Не спеши, не оставляй меня.

— Ну ладно, остановись на минуту. Приклоняйся ко мне, отдохни. В спешке пробежишь мимо того, что имеешь. Живи и радуйся в этот вечер.

Над серебристой гладью тянулась зеленоватая дымка. Дымка печали, грусти, сожалений. Светлоликая наблюдательница спряталась за медлительным облаком. Лунная ночь мгновенно превратилась в туманную. Но холодком не повеяло.

И тут с дощатого причала обозначил свое присутствие давно пребывающий в молчаливом одиночестве человек:

— Спешить нельзя. Сердце определиться должно. Я вот сам пробежал Мимо меня пробежали. События и люди нередко обманывали мои ожидания. — Одинокий человек на временном деревянном причале нуждался в собеседниках и потому заговорил, выйдя из тени на освещенную середину скрипучего настила, словно на лобное место. — Знаю, влюбленные не нуждаются в советах. Простите меня, ребята. Настроение мое особенное. А кроме вас поблизости никого. Я тут один и вполне закономерно. Три километра

сюда и обратно — шесть, каждый вечер хожу из дачного местечка. Обживаюсь на причале, буду поджидать первый пароход с низовьев.

Высокий в элегантном сером костюме, при галстуке неопределенного цвета, отливающие синевой волосы похожи на берет, форсисто сдвинутый на правое ухо, — в облике ничего старческого и голос отчетливый, естественный, доверительного звучания, на такой невозможно не отозваться. Парочка неразлучно выдвинулась по береговой кромке к самому причалу. Под одной легкой курткой на плечах он и она составляли отзывчивое целое, пусть временное, но готовое выслушать сочувственно.

— Мы здесь, рядом, — тихо сказала она. — Вечер такой хороший, ласковый.

— Уже не вечер. Лунная ночь разливается. — Одинокий элегантный человек сделал шаг, переложил тонкий прутик из левой руки в правую, этой воображаемой указкой обрисовал вокруг себя возможно просторную сферу. — Когда-то вот так же легко выстраивался и мой замкнутый круг для двоих. Легко мечталось и загадывалось. Щедро светила большая луна. Была такая же пристань, медовая теплынь, в которой всем уютно и легко дышится. На лунной дорожке качалась лодка с парусом, убаюкивала нас и обещала бесконечное счастье... Но вот согреваюсь воспоминаниями. Читаю романы Серебряного века и романы Ивана Сергеевича Шмелева, каждой весной возвращаюсь к давним тропинкам. Стал суеверен, любопытно просматриваю гороскопы, астрологические прогнозы. Веду дневниковые записи, иногда для понимающих собеседников на память цитирую строки из «Истории любовной»— тем и утешаюсь. Спросите, какие строки, о чем? Да вот, к примеру: «Радостное, с чем я проснулся и что сияло во мне весь день, сменилось тоской и болью». Вспоминается из прочитанного соответствующее настроению или эпизодам собственной судьбы — то, что переписывал в дневник не для себя только. Таким образом годы разговаривал с Наташей. Теперь живу ожиданием: скоро вернется она. Надеюсь, навсегда. Дважды выходила замуж... Многие годы жила в самообмане. После долгой разлуки встретились, винилась, умоляла простить, из слова в слово повторяла наши мечтания при полной луне в самую лучшую ночь под парусом. А получилось... Теперь надо склеивать две семьи. Такая главная часть жизни получилась и прошла — долгое время на расстоянии друг от друга, но в ожидании встречи. Под луной загадывали никогда не расставаться... Может

быть, правы астрологи, напоминая о всеобщей зависимости, предопределенности судьбы. Сыновьям говорю, ничего не загадывайте, ребята, в полнолуние. Смеются в ответ: «Ну, отец. Что с тобой? Стареть начал». Говорю — слушают неохотно. Все равно повторяю: не давайте скорых обещаний в минуты ослепляющего восторга.

— Правда, в такую ночь нельзя ничего загадывать? — потерянным голосом спросила она, осознавшая себя уже не девушкой, а неверной женой, и демонстративно отстранилась от покровителя.

— Ерунда все это. Пойдем под парусом раскачаемся отчаянно. Без отчаянья нет любви. — Басовитый покровитель привлек ее обратно с показным нетерпеньем. — Пойдем. Не слушай никого, не верь никому. Просто завидует мужик, вот и сочиняет басни в свое утешенье. — Он уводил ее, многословно воркуя про тело, дух, природную стихию, муки любви, радость жизни и еще о чем-то, усладающем слух, — для возбуждения ответной нежности...

Чтобы сказаться, Меженин прошел ближе к причалу, остановился под березами — дал понять, что был свидетелем случайного короткого разговора незнакомых людей и пришедшими вдруг на память строками обозначил частичное совпадение своих размышлений с тем, о чем говорилось только что:

— Дерзновенны наши речи, и на смерть осуждены слишком ранние предтечи слишком медленной весны.

— Стихи Мережковского вспомнились вам, если не ошибаюсь. — Новый собеседник энергично поднялся на берег. — Нынче увлекаются тем, что давно не употреблялось. Идеи, концепции, корыстное применение религий... Лев Николаевич Толстой высказывался о людях, которые пользуются религией для разных целей, даже для забавы или в поисках определенного влияния хотя бы на избранное общество. Но это так далеко сейчас от моего настроения. И всем, кто сейчас у реки, ни к чему.

Понимая его стремление к продолжительному разговору, Федор Борисович с готовностью отозвался:

— Лев Николаевич однажды писал Оболенской: «Сейчас уехали от нас Мережковские. Этих хочу любить и не могу».

— В поисках истины велик человек, сомнения — исканья. В трудные годы я и сам обращался к нему за советами, перечитывал «Анну Каренину», не давала покоя «Крейцерова соната». Сейчас третьим заходом Шолохова читаю, не могу не восторгаться и не верить автору. А сколько было накручено придирок, коварного подозрения. До сих

нападают, чтобы авторство отнять. Но это особая тема. — После длительной паузы он решил представиться. — Будем знакомы. Николай Веселов. Николай Иванович. Не путевочный, а свободный отдыхающий, на даче родственника время коротаю в ожидании встречи. Скоро навигация откроется. Надеюсь, придет мой долгожданный лучший пароход.

Такое странное начало разговора не оттолкнуло их друг от друга, тему сменить, даже не касаясь политики, погоды и цен, оказалось не трудно. Николай и Федор, в состоянии одиночества по разным причинам, сумели разговориться и обстоятельно познакомились, доверительно и непринужденно общались. Вышли на размышления о самом важном: о смысле и трагедиях жизни, о молодой и естественной жажде наслаждений яствами земными, о кратких пронзительных радостях и мгновениях счастья. Стоя над отраженными в бездонности небесами, вспоминали собственные особые минуты, когда возникало ощущение почти мистического родства с каким-либо явлением. Словно дерзкие фантазеры, пытаясь рассуждениями выстроить связь судьбы с космической предопределенностью, поднимались выше луны, наслаждались сходной способностью мыслить идеалистически, чудесной памятью, сохраняющей так много прекрасных поэтических строк, пользовались поддержкой великих творений — всему миру известных шедевров литературы, живописи, музыки. Тишина помогала размышлять о кровной связи гениальных личностей и мироздания. Возможно, так спасались от своих печальных сожалений, превращаясь в «мыслящий тростник», не мешали никому и проветривали закоулки эгоистического сознания. В конце концов сошлись на том, что полнокровная личная жизнь возвышает общественные достоинства человека, делает его сильным, но не всякий сильный человек способен приносить другим, если не мгновения счастья, то хотя бы душевную поддержку. Николай хорошо знал в течение многих лет известного человека — идеализированную личность. Восхищался целеустремленностью, хотя и не очень понимал во имя чего такая жесткая требовательность к другим. Казалось, сильному человеку не хватало сердечного зрения, располагающей естественности поведения. Опыт собственной жизни заставил воспринимать давнего знакомого с вопросом: сильный был человек или слабый? В личной беде выстоял, а печали других как бы не замечал, жил с претензией, чтобы все всегда было так, как он хочет, соответственно идеалам. Однажды он, являющий нравственный пример для подражания — так писали в газетах, почувствовав себя одиноким в башне из слоновой кости,

вышел в новые обстоятельства, начал прозревать и траги-чески усомнился в прочности своего философского каркаса, удобного лишь для оправданий собственного образа жиз-ни. Сомнения и трагическое раскаянье перенести уже не хватило ни времени, ни сил. Правильный человек, а душев-ного тепла не разумел и доброта его была расчетливая, явная, показная — та самая, которая воспринимается компенсацией причиненного загодя тайного зла...

Ажурное облако парило над рекой, готовилась выгля-нуть из-за него луна, озабоченная собственным угасанием. Раздался удивленный птичий вскрик. Закономерное вос-хождение к новому дню напоминало: « Снова будут вечным строем течь и искриться река, и поля дышать на зное...»

Меженин был невольным свидетелем признаний, откро-вений. И ему светила лунная дорожка, пробуждала новые интересы, заботы, надежды, мечтания, замыслы. Но все личное как бы отодвигалось на потом, до лучших дней. В эту ночь отчетливо осознавалось горе, страдание, неустроенное бытие других. И дано было определить из чего складывается ра-дость жизни. Для нового дня нашлось укрепление душев-ного равновесия: немало доброго сделано, есть чему радоваться, чем гордиться и что защищать. Есть близкие, родные, самые лучшие на свете. Они укрепляют творческое настроение, чувство собственного достоинства с разнооб-разным содержанием, помогающее понимать и любить до-стойных людей, но оберегаться коварных завистников и подлецов. Оберегаться, если сумеешь вовремя распознать. Да разве от них огородишься добротой и откровениями.

Под лунным светом легко дышалось, хорошо думалось. Происходило избавление от несущественного. Радовался, что ничем обременительным не владеет, никому не должен и никому конкретному не служит. Уже давно отвергаемый стаями мнимой избранности, пустозвонной суеты избавлен наконец от формальной, служебной необходимости напрасно кланяться. Теперь свободно владеет собственным сроком во времени и пространстве. Есть книги, необходимые со-беседники, лес и река, возможность уединенно работать, на-деясь на удачи по своим способностям и усилиям. Не угасли мечты, не выветрились желания. Кажется, интересен людям, неравнодушен к хорошеньким и нежным женщинам. Опять повезло: встретилась и сама заговорила именно такая. Снова пробудилось невинное сочувствие к былому в жизни каж-дого оскорбленного равнодушием.

Ночное время остановилось, молчаливая природа пони-мала о чем в его душе горько плачет один искренний человек

и чему радуется, чем восторгается другой — прошедший многострадальный путь от давней лучезарной до нынешней утешительной лунной дорожки, качающей парусную лодку для двоих. Каждому паруснику свой срок и свой попутный ветер.

* * *

17. Здесь люди восстанавливают наблюдательность, возвращаются к забытому и потому читают давние книги.

18. На рассвете весело переговариваются галки, а дрозды пытаются их передразнивать. Изредка оглашает окрестности строгий грач, наблюдающий общий порядок соответственно собственному представлению. Желая повелевать настроением всех пернатых, он взлетел на самую высокую крышу — на такой уровень ни одна береза никогда не дотянется. Высоко сидит наблюдательный грач, далеко глядит — все видит и понимает, своих новых знакомых привественно узнавать наловчился.

19. Выйдешь на балкон любоваться утренними переливами света, текущего по оживающим вершинам, и никого не потревожишь. И грач сидит тихо, тоже смотрит в речную сторону, настораживающих сигналов не подает даже галкам, слетающим на балкон к утреннему завтраку. Непуганые прикормленные птицы распределились, предпочитая покровительство одних временно владеющих балконами и проницательно отвергая других, способных кричать, размахивать полотенцами и даже бросаться чем попадя. Аркадий, не сердясь, упрекал для порядку:

— Ты, сосед, прикормил многих, но не тех, кого следует. Есть и другие птички, с верхнего этажа к тебе припорхнуть готовы, только намекни.

Две галочки, постоянные гостьи балкона, рядком сидят на привычном месте, такие дружные, собранные, аккуратненькие, в черных беретиках, в дымчатых шарфиках. Красавицы. Глаза отчетливо круглые, небесного цвета, доверительные. Приветливый хозяин опять приговаривает: «Прилетели, терпеливо ждете, мои хорошие. Сейчас, сейчас...»

Меженин подбросил высоко два одинаковых кусочка сыра. Галки одновременно срываются, подхватывают угощенье на лету, чтобы не досталось другим, выжидающим на земле. Горделиво спланировав над лужайкой, взметываются на соседнюю гибкую березу и довольные качаются. Они наловчились исполнять утренние перелеты с березы на

балкон и обратно в цирковой согласованности, тем самым привлекают к себе внимание, не только любопытных отдыхающих, но и самого видного грача, исполняющего обязанности ответственного за общий порядок.

Этот степенный грач, один из четырех обитающих в березовой окрестности, оказался прикормленным по санаторному распорядку, напрасно не суетится, но свое вознаграждение умудряется получить. Галки тоже работают на него. Каждое утро часов около десяти, когда возвращаются люди из столовой, грач прилетает в дозор на березу против балкона, устраивается поудобнее и, обращаясь напрямую к Меженину, громко и требовательно заявляет свои права на законный завтрак. Надо выдержать паузу, прежде чем открыть дверь, и выйти на требование — пусть старается, вызывает, грачу от этого властного крика хорошо и человеку нравится такое обращение: выходи, пора, подавай все, что припас. Не только для себя живешь, товарищ.

— Федор Борисович, а грачи вам спать не мешают по утрам? — Спросила Клавдия.

Кто позже всех ложится, тому на зорьке крепко спить-ся. — Это, конечно, Светлана, одев легкий халатик, выходит на балкон.

Грач не боится ни грохота перекошенных дверей, ни удивленных и одобрительных возгласов по всем этажам, не проявляет настороженности.

— Смотри-ка, опять выпрашивает. Кланяется хитрец, услужливо кланяется. Начальство любит, чтобы кланялись. Знает каждый просящий.

— Ну, не скажи... Голосище грубый, настойчивый, с каждым разом настойчивей, не просит, а приказывает.

— Мужик всегда так: жрать захочет и сердится, голос повышает, а жена будто и не работает, будто не устала.

— А мне вот нравится, когда шумливый, кулаком по столу ударит — не обижусь: есть хозяин в доме.

— Гляди, приготовился. Сейчас получит. Галки давно получили, теперь его черед.

По голосам можно определить: поведение грача умиляет девушек и женщин, а мужчины отдают предпочтение симпатичным галочкам, шутливые ласковые оценки адресуют и притворно дремлющей трехшерстной кошке, и рассудительной Лапке — она выгуливает белого толстолапого щенка.

Трехшерстная пестрая собака неопределенной породы — нечто среднее между лайкой и гончей, живет в самодельной естественной конуре под фундаментом главного корпуса.

Своего единственного кутенка, вялого и робкого в пасмурную погоду, но игривого при солнышке, выводит каждое утро на прогулку, словно гордится им перед восторженным народом.

Лапушок доставляет зрителям удовольствие неуклюжим кувырканьем, писклявым лаем на кошку, прищуренными взглядами против солнца, иногда он даже пытается лапой прикрыть глаза и теряет равновесие, падает на спину, некоторое время лежит в растопыренной позе, словно загорает. Когда с балконов посылают ему мелкие кусочки вареного мяса, он пугается, потому что тут же пикируют с берез вороватые сороки, порхают увертливые галки, норовя ухватить добычу. Лапка позволяет птицам до определенного предела расхватать корм, пусть каждый поживиться — знает: останутся самые лакомые крохи, потому что люди бросают мелкими порциями именно предназначенное для щенка.

Он под присмотром самостоятельно столуется на радость добрым людям среди уличных обитателей. Кажется, сороки и галки это оценивают, спускаясь на асфальт, прыгают на расстоянии вокруг него и весело вскрикивают. Щенок неуклюже кидается в стороны — хозяйничает на отведенной территории. Довольная и счастливая Лапка наблюдает за смелеющим детенышем, изредка поднимает умильную морду, чтобы убедиться: видят ли другие малыша, нравится ли он людям своей наивной игривостью, понимают ли они его красоту и беспечность. А люди видят, наблюдают при своих думах — воспоминаниях, при своих сокровенных интересах и надеждах. Наблюдения за природой, за всякой живностью после затяжной сумрачности быта теперь в зоне особого настроения приобретают чувственный подтекст. Одно и то же явление, одна и та же птица, собака или кошка, становясь общим объектом внимания, вызывают разные ассоциации, но свидетельствуют об одном: жизнь удивительна, быстротечна и переменчива, сегодня она улыбается тебе, завтра жестко востребует плату за всякое послабление.

А пока по стечению обстоятельств все тут на виду, всем тепло и весело, все ожидаемое могут получить: грач, галки, кошка и собаки, взрослые и дети, женщины и мужчины.

Но благодетели действуют теперь с определенной избирательностью. Спешно играют веселые дамочки с верхнего этажа: им некогда, к зеркалу надо, на процедуры, на прогулку с партнерами — мало ли интересов, найдутся такие забавы по тихим уголкам, какие не снились до сих пор.

Веером летит подкормка для галок — начинается гало-чья суматоха. Грач в потасовке не участвует, выжидает. У каждой птицы свой норов и тактика своя.

— Почему ваш красавец сидит словно филин? С похме-лья что ли? — это к Меженину обращение, сопровождаемое хихиканьем и дополнительными шутливыми репликами. Грач понимает в чей огород камешки летят, смотрит на благоде-теля — за несколько дней установилось понимание. Он ежед-невно три-четыре раза прилетал на березу против балкона, прислушивался к стуку пишущей машинки и наловчился, под-ражая этим звукам, наигрывать клювом похожую мелодию, которую при общем шуме невозможно услышать.

Балконы затихают почти одновременно, лишь кое-где сохраняются разговоры, похожие на воркованье. Галки внизу это чувствуют, соперничество переходит в доверительное общение, только самые нахальные еще отвоевывают лаком-ство, даже у собаки готовы выхватить конфету или кусок печенья, предназначенные щенку.

Черные грачи, словно джентльмены, прогуливаются с достоинством — они уверены: наверху еще остались люди, способные ценить силу, красоту и мужество.

Верный грач досмотрит представление и без единого взмаха уверенно спланирует под балконный столик, имею-щий отличительное обозначение — на нем стоит маячком сувенирная инкрустированная английская зажигалка. Привлекательная, с изящным изображением феи — пода-рок, напоминающий о встрече с американскими поэтами.

Никто не мешает, не кричит, не суетится. Привычно клюют и клюют свои буквы сочинители, в том же ритме клю-вом стучит по тарелке понимающий соавтор-грач. Он свое соображение будто бы выстукал:

— Вот странные приехали мужики, стучат и стучат, пи-шут и пишут. Нормальные люди отдыхают, сил набира-ются, а этим все обдумать хочется, даже доверчивое поведение птицы. Эка невидаль — грач. Ну чего во мне интересного, что рассказать можно? Кому это нужно, кто будет читать? Может, через одну птицу про свою жизнь очень важное выс-казать стараются. Может, сказка добрая получится. Жил-был грач одинокий, разонравилась жена первая, а вторую где найти, по каким качествам подбирать, чтобы еще раз не разочароваться?

На привычные звуки вернулись две дружные симпа-тичные галки в черных беретиках. Отдыхают на ограждении балкона, а внизу нежно с ленцой взлаивает довольный ще-нок. Зазывают гостей трескучие сороки.

Все это печально напоминает о былом уюте в деревенском доме у бабушки. Мать помнится только по сновидениям, она погибла на лесоповале. Отец, судимый показательным судом якобы за разбазаривание зерна нового урожая не вернулся. Бабушка Настасья не растерялась, одна четверых внуков поднимала, всех в люди вывела. Честью да трудом спасались. Бабушкин домострой — великая наука. Всему свое место и свой час. Лишний кусок не схватишь, ягоду украдкой не съешь. Любое дело с прилежаньем исполняй. Сама она все делала очень хорошо, даже искусно, по своим рецептам и правилам. Когда только успевала. В поле наравне с молодыми женщинами работала, хозяйство и огород вела, скотину толково содержала, успевала шить, вязать, вышивать, узоры и секреты рукодельные другим раздаривала, отзывчива и добра была...

Глава пятая

Тревожная напряженность в пейзаже — солнце в разрыве облаков, огромное, багровое, тяжело оседает на горизонт. Беспорядочно гнутся под порывами ветра деревья, темно-фиолетовая вода набегает на берег, несколько секунд окрашивает песчаную отмель и снова откатывается. Ветер толкает в спину: иди, иди в гору! Иди, не оглядывайся, а то опоздаешь.

Меженин спешит к автобусу. Надо ехать по срочному начальственному вызову: получая путевку, обещал прибыть. Служба достает и за пределами области, в долгожданном уединении, служба не считается с настроением, знать не желает твоих замыслов, увлеченности, самочувствия. Срочно отчитайся, доложи для порядка, внеси предложения, а равнодушные к твоему делу обсудят, обругают, отвергнут по принципу: критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай. На очередной совет для того и собираются, чтобы власть показать, поиздеваться для развлечения и насладиться возможностью препятствовать, потому что ничего другого и делать не умеют.

До автобуса провожал его Аркадий Федотов — общительный добрый сосед по балкону, бывалый во многих передрягах и потому терпеливый архангельский мужик, интересный собеседник. Знаток русской словесности, вспоминающий ценные подробности жизни и творчества

Писахова, Шергина, Гамсуна, Муберга, Абрамова, Личутина и других северян, способный передать обстоятельным рассказом красоту Пинежья, где «леса черные, блата и мхи непроходимые», реки жемчужные с косяками семги, где обилие красной дичи и пушного зверя в лесах дремучих, куда еще в двенадцатом веке пришли воины вольнолюбивого Новгорода Великого. Дневные и вечерние беседы при взаимном интересе все больше сближали, можно было говорить на любые темы, делиться переживаниями и тревогами. Оказалось, Аркадий знает произведения волжан, перед поездкой в санаторий прочитал романы и повести. Искренние рассуждения его убеждали в почтении к слову. Не раз повторял он архангельскую пословицу: «У нас говорят: говоримое в слове живет».

Конечно, возникал и сравнительный разговор о том, какие темы сейчас волнуют, чем спасаются, как живут — выживают талантливые люди. Ярославских, ивановских, нижегородских, владимирских, вологодских, костромских писателей вспоминали. О торжестве демократии по всей великой периферии старались умалчивать, но она не признавала права жить свободно даже в зоне отдыха, взламывала любые оборонительные рубежи. Газеты и журналы, радио и телевидение, разговоры на прогулках и под люстрой Чижевского постоянно напоминали о торжествующем растлении. Потому Аркадий часто обрывал печальные разговоры одной фразой: «Дорого заплатит русский народ за обещанную, но ему ненужную такую свободу».

В областной центр он сгонял при воскресной незавимости от санаторного режима — друга навестил, милого и прелестного друга, условились в назначенный день и час встретиться, потому сопровождающим Федора не намерен ехать, дорога дальняя.

— Напрасно спешишь, — сказал он. — Весенний совет чиновников — пустой разговор. По опыту знаю. Немало бурных заседаний провел, словопрений переслушал. Плюнь на это, творческий человек. Плюнь на эту обязательность во имя внимания чиновников, все равно от такого внимания толку не будет. Законные основания сочинителям нужны для достойной жизни, а не лукавые унизительные подачки. В Костроме, говорят, еще что-то издается. Давай напросимся в гости к костромичам.

— Надо бы, давно на родине не бывал, пятнадцать лет. В дурости романтической мотался по стране... Моя деревня от областного центра за четыреста километров, не сразу доберешься. Большая деревня была на берегу Таволги.

Прощальное купание до сих пор вспоминается...

— Не грусти, Федор. Нынче мы все воспоминаниями утешаемся. Было да прошло, не вернется опять. Вот отсидим санаторный срок, возьмешь отпуск за свой счет, поедем дней на десять к поморам, чистую речь слушать, мудрые откровения записывать. Зачем тебе казенная говорильня. Хлопоты эти, поклоны не надоели разве?

— Еще надеюсь. Талантливых ребят много, книги надо издавать. Из года в год планы переписываем; а вдруг пробьем стену равнодушия. Саботаж новых властей в отношении к культуре, к писателям кончится...

— Ой ли! Сколько всего развалено, затоптано на берегах Волги и у нас вблизи океана...Ты что ли газет не читаешь, местную прессу не видел? Как везде: банкротство, безработица, воровство, разбои...

— Рекламное смакование разврата и пошлостей. Психологическая неуверенность рассевается. Унизить, разделить, вырвать землю из-под ног.

— Вот и поезжай. Сделай утешительную попытку, еще раз взгляни свежим глазом — убедись. О чем просим? Законодательный статус, административная поддержка нужна творческим организациям. А эти срочные советы раздаривают приветы: прослушали, пошумели друг на друга и — привет, до новых встреч. — Он напутственно хлопнул по плечу. — Сам все знаешь. Предсказания классиков помнишь. Смердяковщина девятым валом идет против жизненного течения. Не только на берегах малых рек — разор, «невежества губительный позор». Заставляют изменить себе, душу захлопнуть, притворяться глупым и покорным потребителем, все лучшее забыть, ничего не беречь, продавать и продаваться, восторженно вопить о блаженстве и чмокаться на пиру во время чумы, рукоплескать лауреатам по сотням номинаций и забывать, что были Пушкин, Толстой, Шолохов. И развеивать, растрясывать достоинство свое...

Конечно, сказанное состыковывалось, понималось и терзало сердце. Чиновничьи голоса звенели в ушах: экономика, зарплату нечем платить, детей нечем кормить, за тепло и свет долги нарастают, катимся неизвестно куда, а вы о русской литературе, о книгах молодых современников слезы льете! Но все идет по давнему плану, многие попали под технологию оболванивания и одурачивания, азартно клюют на фальшивые ценности, охотно участвуют в хаосе, сами вырывают собственные корни, не замечая глобальной ставки на расшатывание непокорного народа, на развращение, растление молодежи...

Как обычно в дорогах, Меженин утешался стихами. «...Встал легко, но в этой ловкости горечи учуял дым — я такой не ведал легкости, будучи и молодым. Но на сердце столько тяжести, будто камень я в праще, мало ли чего мне кажется! Выдумки все вообще!»

Приехал — не опоздал. Докладывал, обосновывал необходимость изданий: проза, поэзия, литературоведение, очерк, публицистика. Готовые рукописи интересных авторов рецензированы, включены в позапрошлогодний издательский план, оригинал-макеты на дискетах, редактор и художник вложили старания безвозмездно, но предоплата нужна — частичный взнос требует типография. Сборники поэзии и прозы подготовлены в соответствии с региональной программой преподавания литературы, на них есть заявки, областной бюджет предусмотрел издательские цели. Распределите и выделяйте.

— А вот и собрались посмотреть, подискутировать, согласовать коллегиально, — говорят. — Легко запланировать, выделить, но получить... Может быть, есть особое мнение по поводу распределения?

Каверзное принципиальное мнение всегда на стороже, оно сформировано и согласовано загодя, осталось только озвучить, зафиксировать протокольно. Какая тут началась спешка без сомнения: кто говорит в числе первых и громче всех, того услышат. Говорят первыми те, кто не читал рукописей, но скажет отрицательно. Воспаляются до багровости, все подвергая сомнению, будто до их пришествия мир не существовал. Усердствуют адъютанты его превосходительства, давно еще обласканные и прикормленные пропагандой «агрономических» сочинений, возросшие на претензиях и соперничестве эгоистов, идеалистов, коммунистов, атеистов и прочих истов. Перебойный шум. Зачумленные глаза. Диковатое, амбициозно-трагедийное «чавоканье», способное поставить в угоду своему сумасбродству любую предположительность и клевету. Усердие махровое выпевается на убойных нотах, с тем же горячим желанием непременно первенствовать. Хотя каждый из отрицающих и один в поле воин, орут согласованно, идут в бой дуэты, трио и квартеты. Один противник сборников предлагает издавать вместо них газету, другие видят и помнят только себя, планы своей группировки, третьи против повестей и романов, запрещают издавать беллетристику, велят довольствоваться воспоминаниями. Вызванные на подъем литературы собственным кустарным опытом делятся словно упавшие с луны:

— Можно с частником договориться, любой оригинал-макет за две-три тысячи сделают! — утверждает самоуверенная особа, избалованная ранними наградами и чрезмерными похвалами. Еще недавно она пугала коллег заверениями, что вскроет себе вены... И теперь явно давит на других «просителей», чтобы оказаться первой. Тут же солисты отрепетированного хора неосмотрительно показывают простенький макет, за который уже внесена предоплата, но требуется еще столько же, если не больше.

— Враки! Наглая ложь! Накручено, специальная разутая калькуляция. — кричат солисты другого хора, не ведая, не учитывая переменчивых рыночных обстоятельств, налоговых начислений, издательских условий. Кричат в невежестве, без элементарных знаний предмета. И восторгаются хлесткими собственными выражениями: «Вот мы как боремся за демократию, за новую литературу по западным образцам ширпотреба! А другие издательские планы — туфта!».

Не скоро претенденты утихают, не скоро удается рассмотреть праведные и неправедные заявки. Наконец часа через три словопрений решился высказать суждение дели-катный седовласый ветеран войны, творчески активный весе-лый писатель, мечтающий издать книжечку поучительных рассказов для детей. Но гвалт возмущений заглушает его.

— Зачем стариков издавать! — диковато кричит акти-вистка, уверенная в своей авангардной роли, поскольку при-звана из лесов воеводою. — Может, ты умрешь до февраля-то ишщо, — с нажимом повторила, — ишщ-що!

— Сумасбродство больше терпеть не могу, простите. — Согбенно опираясь на палочку, скрывая слезы, уходит по-чтенный человек. Печально и протяжно скрипнула при-крываемая дверь. Меженин, прибывший сюда словно бы из другого мира, сорвался на возмущенье:

— Хамье доморощенное, спецы головомойки, банно-прачечный комбинат! Великий авангардный совет ради про-цедуры самой! — Сбился на слова, каких никогда раньше в ход не пускал. А в результате — покраснел, с извинением сказал, что вообще плохо себя чувствует...

Жаркое самоутверждение, пылкие претензии на пер-венство, лукавое распределение предполагаемого внимания затягивалось. Все происходило по привычному сценарию. Совет превратился в нескончаемый спор, требующий сил и особого терпения. Выдохлись, расходятся дуэлянты ни с чем, утешаясь надеждами на новое руководство, хотя знают: смена кадров за десять лет положительных сдвигов не приносила ни разу. Курировал культуру Леонтий Черный, при нем по

инерции еще дышалось, пришел другой — начал создавать альтернативные группировки, изобретательные проверки начались, организацию писателей в разряд общественно-ничейных притеснили, из принадлежащего по закону помещения в квартирантках оказалась, теперь деятель учит писателей жить за чертой бедности, на общественных началах, четвертый придет спасать истощенных сочинителей и спросит: чьи вы, по какому ведомству зачислены, свободу получили, чего еще надо?

...Вернулся Меженин на отдых, отвечая на сочувственные вопросы соседа, немало послужившего в особых войсках, признал напрасность поездки и обрисовал ситуацию, в которой по призванию работающий на своем месте человек оказывается помехой, открытость и бескорыстие вызывают подозрение: тут что-то не так, без махинаций и наглости — не в стиле времени.

Неравнодушный архангельский мужик предвидел совещательный результат и потому с ободряющим тостом советовал не участвовать в срочных лукавых собраниях, в политических, социальных, бытовых словопрениях, а заниматься своим делом, ему отдавать драгоценное время, лучшие способности и силы, уходить от повседневной борьбы и толкучки. Истина в молчании обретается.

— Успокойся. Бог с тобой. Мы есть на своей земле, мы имеем полное право быть сами собой, — говорил Аркадий. — Бузотерство новых пришельцев не изменит сущность жизни. Не те люди в культуре верховодят, они от зависти злятся на писателей и художников, каверзы строить — мастера, хотят наговорами столкнуть людей, расчетливо замутить отношения.

— А ну их! — отмахнулся Федор. — Давай поговорим о своем. Свое ближе чужого. Какой человеческий ресурс имеется?

Взаимное расположение позволяло не торопиться в суждениях, совпадающее беспокойство, вызванное разрушением привычного образа жизни, было оправданьем банальных фраз и длиннот в монологах.

— О своем, значит. А чужого для нас не бывает. Говоришь, заказная культура не признает в основе художественную литературу, подменяет ее скороспелой бульварщиной. Говоришь, не бывало такого безразличия? Ошибаешься, не безразличие это, а глубоко просчитанное наступление. Разделяй, ссорь, одних прикармливай, сомнительное по достоинствам меньшинство возноси, чтобы подлинные таланты оказались униженными. Трудолюбивые пчелы не нужны,

цепные барбосы — в почете. Сыграли на амбициях посредственностей, спровоцировали разделения, раструбили расколы, чтобы сеять подозрительность.

— Разбежались по новым должностям инженеры партийных душ, обласканные подкупным вниманием, строятся в шеренги по углам. Карманные группировки превратились в стаи. И дамочки — словно пираньи. Заразительный стиль на вооруженьи. Нижегородский прозаик письмо прислал — спрашивает: разве по всей России так?

— Везде — спесивость разыгралась. Дележ пошел. Цинизм и невежество ничего не создают. Самостоятельные гордые люди нынче не нужны. Говорим, государство должно быть сильным, чтобы защищать. А власть какой должна быть? Самые приближенные считают звания, премии: у нас больше — значит, мы лучше отражаем процесс. Былые дутые знаменитости усердствуют: еще мало перепало, не успели издать собранья сочинений со всеми речами на партийных активах. Ухитряются по старым связям добрать двухтомниками — успеть бы. Неустойчивые пособники превратились в барбосов: не ждал, а досталось — премия от Сороса, замечен, выходит, не зря. Раньше не ценили, а теперь — всемирный почет. Премий развелось — встраивайся в ряды подпевающих, авось достанется. Схватил кость покрупнее и — под свое крыльцо, чтобы оттуда на других тявкать. Гу-бастый новичок оценил ситуацию, когда востребована похабщина, тиснул в профсоюзном листке рифмованную абракадабру — уже авангардист, зачислен в сто лучших поэтов года. Другой на деньги вороватого папани издал шикарный фолиант вместе с мамой сочиненных похмельных бредней — ходит в непризнанных гениях. А ты говоришь, рецензии, литературная критика, мнение лучших мастеров, издательская политика, общее культурное пространство, традиции, национальная самобытность...

— Региональные издательства прихлопнули — литературной жизни не стало. Самиздат малотиражный в моде. Столичные фирмы от фондов зазывают писателей со всех территорий для массовости участия в хитрых конкурсах. Наивные сочинители надеются, спешат к обману, рукописи шлют к прочтению. Кому они нужны? — Меженин едва успевал свои добавления приложить к тому, о чем и говорить бесполезно. — Понимаю, Аркадий, твое многословие. Отвлекаешь из скверного настроения. А говорим о чем? Кто нынче этого не знает? Толкут коллеги воду в ступе. Утешительные кухонные возмущения — слабая оборона. На каких трибунах звучит понимание происходящего? О, слово русское...

— Областные хамелеоны властвуют и создают атмосферу. Они опять по набережным в трехэтажных особняках — прикормлены. Заклубилась провокационная печатная, экранная пыль столбом. Одних литераторов обозвали красно-коричневыми, других — фашистами или антисемитами, третьих — совковыми патриотами. А избранных пособников, все тех же инициаторов революционных перемен, приблизили в качестве интеллектуального авангарда перестройки. Ярлыки высвечивают при входе в журналы, в любое столичное издание. Слово «русский» — в запрете. Назваться русским — не смей, не накликай беду на себя, родных и знакомых. Пойми, вытравливается расположение к писателю. Кого власть использует в советчиках? Кто шипит на ухо всенародно избранному:«Настал час — ударь, искорени!?» Власть не держит в сознании особенность культуры. И кадры к ней такие сбежались. Не стой рядом со своей народной правдой — ошельмуют: без вины виноват будешь. Как быть отторгнутому, униженному, оскорбленному, загнанному в нищету? О чем слагать свои песни?

— «В моей душе свила гнездо беда. И вывела птенцов большой тревоги, Которой захлебнулись города, Мошенники, правители и боги. — Меженин вспомнил стихи Михаила Дудина. Аркадий тоже их помнил и поддержал. Вместе продолжали. — И нет мне избавленья от беды, И праздники веселием не красны, И к радости потеряны следы. И поиски прекрасного напрасны. Там, где шумит базарная толпа...»

— Стоп, дорогой товарищ. — Аркадий не хотел больше декламировать дуэтом. — Такие стихи читай с передышкой, чтобы каждая строфа врезалась. Вот что я скажу. Мудрые люди советуют переносить с достоинством то, что изменить не можешь. — Крутил указательным пальцем у виска. — И терпим, переносим. На московские бульвары разве идти, касками стучать? Надо бы не только там, а на всех площадях и дорогах России. Тс-с! — теперь приложил палец к губам. — Услышат, привлекут за бунтовской призыв или пришьют пропаганду национальной розни, а то оружие или наркотики подсунут Ваньке-ротозею. Нишкни, не плачь! Пережит возраст наивности, вышли на прямую возраста смирения. Деятели взрастили коварство и взаимную неприязнь, а делить-то и нечего. Каждый одаренный послан в этот мир для решения особой задачи. Тебе дано свыше то, что не дано никому другому. Вот и реализуй словом, каким владеешь. И молодым советуй: невозможно издать достойное — складывай в последний ящик стола, в глубокий трюм. Хотя бы дневник веди, заметы горестного сердца...

— Глупостям, разложению, глумливой бесовщине по-творствовать молчанием, терпеть унижения хороших людей, затаясь в крайней башенке? Востребованы шестерки, под-халимы, подлецы, а ты — не наш, помалкивай.

— Федя, Феденька, Федор Борисович, — повторяясь, го-ворил архангельский удачливый работник. — Кому нужны провинциалы с чистосердечной заботой о русском слове? Сегодня на русского писателя даже периферийные акти-висты науськаны, замечаешь — косо поглядывают? Пре-жней властью обласканный преданно любой другой служит. В храме со свечкой стоит, исповедуется грешник, а на миру в советах разных деликатно и научно оговаривает достойного, рекомендует под подозрение властям, при тайном голосо-вании свою зависть вычеркиванием выражает без мораль-ного риска. Интеллигентно. А при встречах любезничает, кланяется с улыбочкой — сама доброжелательность и кро-тость под жилеточкой.

— Такие везде и всегда были, Аркаша. Вспомни Турге-нева, для краткости — стихотворения в прозе. Работает пи-сатель, входит к нему критик и удивляется, что сочинитель продолжает строчить. В ответ сочинитель вспомнил басню о лисе и кошке. Много было у лисы хитростей, а у кошки только одна: влезть на дерево... и собаки ее не достали. Выше надо брать, Аркадий. Выше. И естественным голосом предназначение оправдывать.

— Ладно, согласен: старо как мир. Но вот появились смелые блюстители морали, нравственности, пропагандисты общечеловеческих ценностей. При них классиков по при-надлежности к своему народу нельзя называть, выступая перед читателями в библиотеке, назовешь Островского рус-ским драматургом — тут же сторожевая дамочка бесцере-монно окликнет из публики: «Не акцентируйте! Писатели принадлежат всему человечеству!» Похвально, кажется. Да вот цель выкрика другая: вычеркнуть из обихода слово. Чувствуется колючее оцепление, везде липнет скользкий каучуковый обхват. Об одном мы с тобой поем да плачем. Давай лучше стихи читать: ты свои любимые вспоминай, а я — свои. Страдающая поэзия выручает, не правда ли? Не-красова приходится вспоминать. «Бывали хуже времена...»

— О чем печаль, мальчики? Жизнь прекрасна и удиви-тельна. Не надоело вам домашнее одиночество, бирюки бес-сердечные? — окликнула Светлана. — На танцы пора! Проводите, пожалуйста, знакомых дам, кавалеры.

Глава шестая

— Перед Богом все равны: люди, деревья, звери и пти—цы. Природа человеку помогает иногда видеть себя в опре—деленном настроении, отношение неравнодушных соседей, — банально рассуждал Меженин, огорченный собственной вялостью. Даже на балкон не хотелось выходить. Утренняя свежесть зеленовато текла за окном по вершинам близких деревьев, высокие облака стояли недвижимо под солнцем.

Обозначились, засветились длинные сережки на тонких свисающих ветвях березы — она кокетливо красуется над зелеными клумбами. Тяжелый мудрый ворон охраняет ее, простуженным голосом отпугивает галок, воробьев и синиц. Прогуливается на лужайке словно часовой, окликает из—редка: «Торопишься куда?! Предупреждаю, смотри! Не пер—вый раз предупреждаю!».

Наблюдательные люди оценили его службу, хозяйскую распорядительность, умение держаться с достоинством и вознаграждают — каждое утро на завтрак ворон получает привлекательно желтеющие кусочки сыра. Другим птицам тоже перепадают крошки, но зависть накапливается, они постепенно наглеют, по собственным притязаниям согла—совывают коварные действия. Вот уже галки атакуют во—рона, собравшегося позавтракать без торопливости, смакуя удовольствие. Особенно активны неразлучные подруги, дей—ствуют дружно с разных сторон. И все—таки обхитрили старого. Может быть, он и сам в доброте слукавил, предус—мотрительно оставив сыр без внимания. Галкам тоже надо, синицы и воробьи пусть полакомятся.

Он взмахнул широкими крыльями, подпрыгнул на ог—раду и обращается к свидетелям ограбления: видали как де—лается, что эта мелкота вытворяет — посочувствуйте, оплошал, в другой раз умнее буду. Сочувствующие, конечно, нашлись. И вот очередная порция благодарного внимания к обде—ленному летит точно в центр клумбы. Ворон переступил, сте—пенно нацеливается, чтобы рационально спикировать и галки не спешат — знают, тяжелая птица сверху может накрыть. Только спланировал черный мудрец — они с разных сторон припорхнули. И последовало продолжение игры для пти—чьего и зрительского утешения.

В разведку идут вкрадчивые галочки, подбодренные удач—ливым опытом. Теперь ворон устрашающе дергается в одну — другую сторону, не спешит ухватить принадлежащее по праву. Галочьи крики, воробьиное чириканье, сорочье при—зывное щекотанье, собачий лай и прочие возбужденные звуки

сзывают на поживу. Сбежались, слетелись на готовенькое со всех сторон представители разных пород, а действуют согласованно. Растаскали завтрак старого ворона, попол-няемый сверху. Окружили его с пониманием выжидатель-ным, взяли в дозорное кольцо по очертаниям цветочного бордюра, притихли — ждут, когда взятый в плен черный сто-рож порядка выпросит еще что-нибудь у заботливых на-блюдателей.

Но на балконах безлюдно — исчез народ по расписа-ниям. Кончается терпение участников шумливой трапезы, притухает наблюдательный интерес к нерасторопному во-рону. Разлетаются по балконам опытные галки, шустрые воробьи, юркие синицы, уже на другой улице стрекочет со-рока, толстолапый щенок играет на солнцепеке. Ни о чем не сожалея, прогуливается ворон под березой, поглядывает на четвертый этаж — туда, где оценивают ситуацию и пони-мают его настроение.

Теперь уже вдвоем выжидают: он — на земле, Меженин на балконе. Но и галки дружные еще не успокоились, несут разведывательную службу. Выждано свободное простран-ство. Спокойно получает ворон свой завтрак. Выдержка, разумение, взаимопонимание, сноровка да расчет в соответ-ствии с обстоятельствами пригодились и на следующее утро. Пригодятся и в дальнейшей жизни. Верно сказано: знайся с людьми, но живи один, не предпринимай ничего и не жалей ни о чем.

Но Меженин не умеет отстраняться от работы на других даже в отпуске. Многолетняя практика выстроила стерео-тип поведения. Перед отъездом готовил к печати сборник стихотворений — не успел, теперь перечитывал рукопись с редакторским вниманием, выстраивал композицию из того, что есть и хорошо складывается в единое целое, но стало очевидно: требуются дополнения в пользу тематического разнообразия и расширения диапазона мыслей, чувств, под-текста. Видится легкая тропинка в ромашках, маленькая не-уверенная девочка под мощным раскидистым деревом в безлюдном просторе, а вдали на горизонте — блестящей кромкой обозначенное озеро. Наплывают облака с памя-тью о пережитом, о первой самостоятельной дороге от род-ного дома через горельник, поднимаются все выше и выше к полуденному солнцу, слышно как в синеве над лугом далекого детства колокольчиком звенит невидимый жаворонок...

Нарисовал зримо выстроенную композицию. Ажурные подвижные облака. Ласкающий солнечный свет течет че-рез них на предполагаемую деревню за лесом, за полями и

перелесками. И тут же воображение выдало другие ком-позиции, готовые к графическому исполнению в технике гри-зайль, чтобы художественное сопровождение лирики было слегка туманным, мягким, воздушным, навевающим светлую печаль, душевное тепло и ласку. Для себя, для автора и многих других людей рисовал просвеченные легкие облака над рекой, под ними — радостно парящих в родном просторе ширококрылых птиц. Сразу все определилось: компози-ция, необходимые вставки, тональность основной мелодии — сложилась книга, осталось согласовать с автором со-зревшее вдруг название сборника.

Выходит, медлил, долго не решался завершить редакти-рование до особого настроения. Два туманных волглых денька, а затем остановленные штилем облака над Волгой, устало летящие гуси и журавли, птичьи трели вокруг и постепенное собственное отстранение от суетливой служебной текучки, общение с любителем женской поэзии — и дело пошло! Те-перь — в компьютерный набор, чтобы успеть к согласо-ванному сроку. Надежный помощник, автор самых сложных оригинал-макетов, способен исполнить и очень «каприз-ные» редакторские пожелания, он это дело быстро освоил, эстетически разумеет, ночи спать не будет — постарается, при необходимости терпеливо внесет коррективы, запоз-далые авторские исправления и дополнения. Должно хо-рошо получится. Когда явилось название сборника, успокоил автора в телефонном согласовании, цитировал строки, рабо-тающие на общий замысел, рекомендовал дописать эпилог.

Впрочем, каждое удачное издание из тех, что с преодо-лением многих трудностей удалось Меженину осуществить, готовилось в дни вдохновенного настроения. Предисловия с рассуждениями о творческой индивидуальности, лучшие ил-люстрации, более или менее удачные обложки при финан-совой бедности, титулы и обороты титулов, графическое постраничное сопровождение и все другие элементы книги, обрамляющие основное содержание, тоже требуют душевной собранности. Длительная работа над творческими замыс-лами других учит не уступать ни людям, ни обстоятельствам.

— Через годы, а не сразу, созданное чистосердечно будет замечено, — так с пониманием говорил ему коллега Федотов. — Без горячности и зависти все будет на здравом расстоя-нии оценено по трудам и достоинствам, без туманных упо-минаний о коммерциализации, морали и нравственности, без сравнительных подсчетов по годам и шумливого самомнения: «А мы лучше, у нас лауреатов больше!» Пусть кричат новые претенденты на личную высокую нравственность, забывая о

будущем времени, о том, что оно каждому определит место независимо от наград, званий, групповой согласованности, стайного ловкачества и претензий на лидерство, на вхождение в лукавый список ста лучших. Но ловкачи забыли уже, что человек начинается со стыда. Утрачены стыд и совесть — люди уменьшаются и конфликтуют. Идут на предательство, пишут анонимные «телеги».

— Ты прав, Аркадий. Утрачен стыд и умаляется человек. Бесстыдство плодит ложь, коварство и зло, «невежества губительный позор».

Они вместе горевали без оттенков отчаянья и желания все бросить, отступить. Еще жила надежда, терпеливая и согревающая в каждом разговоре.

Возмущались: сколько всего накручено напрасного вокруг конкретной работы, сберегающей художественную словесность! И самые достойные книги выходят с превеликими трудностями, через многочисленные бюрократические препятствия, унижения и оскорбления, а графоманская пошлость выкатывается губительными волнами. Пресса талдычит о работе для бульвара, на удовлетворение спроса. Чтиво нужно по уровню «не выше пояса». Появилось новое потребительское сословие с пренебрежением к сочинениям традиционной направленности, к отечественной литературе вообще.

— Иногда вдруг почувствую себя одиноким, словно ожидающий встречи забытый учитель — он приходит сюда в дни заездов. Вот так же в городской толчее выглядываю с надеждой: может быть, встретится понимающий человек. Ты, Аркадий, когда-нибудь чувствуешь себя одиноким, виноватым перед родными, близкими, с кем давно не встречался, костромскую деревню детства вспоминаешь?

— За меня не переживай. На мою долю всего хватает, от бесчувственности не страдаю. Жизнь приучила быть сдержанным. Но бесчувственность раздражает, особенно в женщинах. Черствую, расчетливую вижу за версту. Посчитай, сколько здесь таких? Каждая вторая, откуда только берутся эти жены, матери, невесты? На танец не знаешь кого пригласить, так и веет холодом от расфуфыренных и пустых. Ни кротости, ни стыда, ни разума.

— Ну, не преувеличивай. Это скованность, застенчивость в новых обстоятельствах, боязнь показаться наивной, быть собой. Время такое: человеческие чувства поруганы и распяты условиями, пропагандой нового образа жизни. Телевиденье постаралось, книжные приглашения в постель к дьяволу или вампиру деформируют психологию. В каждом человеке чудится потребительская враждебность. Ты

слышал, что говорят они о прочитанном, какие книги чи-тают здесь?

— Ловко поворачиваешь, Федор Борисович. Стихи про-читаешь? Сидела она в уголке, где ходики чутко стучли. И книгу держала в руке с закладкою в самом начале... Согла-шаюсь с тобой: в ком нет враждебности, тот — весь любовь! — артистично произнес Аркадий и взглянул на часы. — Ну, мне пора. Труба зовет. Телефонная. Родным доложусь, жену успокою. Она у меня терпеливая, догадливая. Не упрекает никогда. Не упрекай и ты. Привет! Если вернусь, встре-тимся на танцульках.

Золотились просвеченные солнцем быстрые облака над Волгой, превращались в легкие парусники. А вода радовала небесной голубизной. Ласкающий ветер по вершинам бе-рез пробегал, взбадривал редеющие мужские шевелюры и романтические женские прически. Кто-то вертелся пе-ред зеркалом, просматривал свои достоинства на предсто-ящий вечер.

Среди очень воспитанных курортников можно услы-шать разные суждения о танцах, рекомендуемых и проти-вопоказанных. Танцы — одна из процедур, прописанных не только страдающим от недостатка общения и физических нагрузок. После напряженной оздоровительной недели по-здним вечером стягиваются под пошлые песенки в основ-ном слабовольные нарушители собственного обывательского образа жизни: незнающие пока проблем со здоровьем, при-бывшие поразвлечься, привыкшие демонстрировать себя на обществе, страдающие от одиночества, избытка энергии, обо-жающие шум и толчею, способные вздрогнуть под взглядом свежего мужчины и прочие мечтательные натуры. Правда, многократно замечено: уверенные в себе и знающие цену неповторимых мгновений индивиды сильного пола редко ук-рашают своим присутствием дамский танцевальный коллектив — находятся дела и поважнее. Аркадий из таких, напрасно пыль глотать не будет. А Меженин, движимый не только про-фессиональной любознательностью, решил отметиться. В этот субботний вечер санаторный клуб призывал новой бод-рящей музыкой — по всем аллеям благоухающие дамочки цокали каблуками, неторопливые кавалеры, покуривая и по-хохатывая, тянулись за ними. Жизнь подарила времечко роздыха — каждому хочется среди беззаботно гуляющих вздрогнуть и воспрянуть.

Завершалась первая неделя инопланетной жизни — бурный период ориентации. Все перезнакомились, разобра-лись по интересам и симпатиям — теперь танцы отшлифуют

взаимность или скорректируют отношения. Как же укло-ниться от приглашений, на смотринах для новеньких не при-сутствовать, если имеется интерес особого свойства. Вальсы и фокстроты предлагаются отвыкшим от грациозности дви-жений, изредка загрохочет сумасбродная какофония для жаждущих толчеи, чтобы кривлялась вольница непослуш-ных рук и ног. А для отдыха и разумения будет предложен желанный белый танец. Даже неуверенные и очень зас-тенчивые окажутся замечены, вызваны из темных углов на круг. Клавдия, конечно, пригласит высокого покровителя для продолжения читательской дискуссии — он всегда рядом, к нему через весь зал спешить не надо. А Светлана? Она не вынесет и минуты оскорбительного одиночества — не хуже всех, получше многих, если не самая-самая. Замечена, на-перехват приглашают ее — отказываться не принято, даже если неуютно быть сходу взятой в полон спортивно скро-енным малым лет тридцати двух. Он, приметный не только ладным белым костюмом, картинным движением широких плеч, но и розовой блестящей лысиной, неотступно оберегал избранницу, не утруждая себя необходимыми разговорами. Позднее она говорила, что этот кавалер всего одну фразу произнес: «И эта планета для веселья мало оборудована». Другие дамочки Светлане завидовали — это возмущением подтверждалось: «Ишь, белокурая прилипла!» И нетерпе-ливо выжидали танцевальную возможность «отхлопать» ши-карного кавалера хотя бы на минутку. Игра пристрастий и претензий, самоуверенности и притязаний украшала этот вечер. Независимые люди проявляли желание быть лучше, привлекательнее других.

В разгар веселья пришли три парочки от «Ифоныча», так говорится о другом лечебном учреждении, призванном оздоровить пострадавших в лишении свободы. Появились они под шумок, охранниками незамеченные, когда притуп-ляется бдительность даже самых инициативных обществен-ных блюстителей порядка из числа отдыхающих. Первыми вплыли в толкотню дамочки: худенькая коротконожка в си-вом парике, высокая сутуловатая с патлатыми льняными во-лосами, стройная молодка с папиросой в кулачке. Три предусмотрительных кавалера остались в тени — покурить на крыльце. Было замечено, что все шестеро из соседнего ограниченного пространства держатся корректно и с дос-тоинством, не давая повода для особой придирчивости. Ме-женин узнал гостей: да, это были они — утренние попутчики первого дня пребывания на территории «другой планеты», в зоне отдыха. Обыкновенные стандартные люди — таких

миллионы в стране. И ведут себя прилично, по обстоятель—ствам, по чувству отношения к себе. И танцуют легко, без кривляний. Но шушуканье неприязненное все—таки нача—лось в дальнем углу — там верховодит высокая особа строгой комиссарской выправки, наделенная от службы соответству—ющим голосом и привычкой к особым полномочиям.

— Граждане, внимание! — требует она и танцующие на—стороженно останавливаются. — Куда смотрит администт—рация санатория? А охранники за что зарплату получают? Вы только послушайте! — эта высокая женщина в солда—фонской выправке вскидывает вперед растопыренную пя—терню, сжимает ее в кулак, чтобы выстрелить указательным пальцем в сутуловатую женщину, обтянутую вязаной тес—нотой серого платья. — Вы слышите этот кашель, вы пони—маете опасность, веселые беспечные граждане?! Вы только подумайте о последствиях! Раньше здесь было не так, партийный контроль держал порядок, оберегал народное здоровье. Закашлял — уматывай, не пялься, лечись в оди—ночке. Кашляют они здесь, любуйтесь на них.

— Ну и что? С каждым может быть, от курева запер—шило. — Коротконожка сдернула парик, обнажив ступен—чато стриженую тыквообразную голову. — Душно тут у вас, пыльно, затхлостью пахнет.

—Ах, так! — раскинув возмущенно руки, ринулась впе—ред солдафонская особа. — Невежество какое!

Люди еще не поняли, в чем причина заминки, шутка за—тевается или новая игра придумана. Нашедшие взаимопо—нимание в танце заняты собой, общительно отдыхают, ожидая новой мелодии.

— Ах, так! — повторив предложенный тон, навстречу вла—стному возмущению вышагнула юная гордыня с аккуратной прической, бросила скомканную сигарету на обшарпанный пол, растерла подошвой изящной лакированной туфельки, приподняв чуть ли не до пояса широкий подол воздушного розового платья, обнажила яркие стройные ноги и прошла по кругу, изображая «барыню». Взорвались аплодисменты, вы—строились в необходимую мелодию. За молодой и красивой решительностью устремилась коротконожка, размахиваю—щая париком и помолодевшая вдруг. Не удержалась бо—лезненно согбенная, подтянуто и грациозно пошла по кругу, она магически двигала руками, словно крыльями, широко улыбалась — отраженным стальным блеском вспыхивали зубы, а на глазах светились слезы.

Когда танцующие гостьи выдохлись, встали друг к другу спиной в защитный треугольник, на круг вышли кавалеры,

аккуратно одетые — стрельчато отглаженные брюки, ладно сидящие защитного цвета куртки, украшенные широко распахнутыми белыми воротниками. Эти люди породнены сходством, словно близнецы — братья, словно трио разрек-ламированного ансамбля. Не всякий взглянувший мельком заметит отличительные особенности по старшинству: аккуратная бородка и усатый разлет на впалые щеки у старшего, щепотка усиков — у среднего, скрывающего глаза под длинным козырьком, кучерявые бакенбарды подтверждают юность младшего.

— В чем дело, господа? — в учтивом недоумении спросил старший. — Высказывайте претензии по существу. Примем экстренные меры, можем ретироваться под свою походную музыку. Говорю от имени коллег, от всего нашего десантного отряда, прибывшего к вам с визитом вежливости.

— Здесь закрытое лечебное учреждение, между прочим, — активистка держит давно наработанный служебный тон. — Кашлять запрещается не только в помещении, но и на улице. Заболел — не пялься и лечись. Ясно?!

— Простудишься — закашляешь, молока суррогатного отхватил потный или пивка с ледышками — остро першит. Да вот она, — указал на самую высокую из троих прибли-женных, — брикет мороженого съела азартно, потому что давно не едала — и, пожалуйста, результат показательный. Житейские слабости неистребимы, не вытравить любыми запретами. Не правда ли? Сквозняки повсюду: на этапе сильно дует, в телятнике опять же, возле параши, на выруб-ках, в рудниковой шахте, на стройках, помойках и свалках, в пересыльных тележках и подвальных ночлежках. Везде простывает невинный народ страны великой, обворован-ный и забитый. — Спокойно затягивал старший свой мо-нолог. — Безголосое горло не от простуды сипит. Прошу прислушаться:

Скорблю, старик, что наш XX век
Столь оказался и сварлив и смраден.
Задели гной — и вот уж сам генсек
Прополз по миру — гадина из гадин…
И вот бушуют вирусы вражды,
И вот снуют все яблоки раздора,
А мы друг другу целимся в зады
Иль прямо в грудь палим из-под забора…
Для нас ли дым взаимной чепухи?

Испуганная тишина прерывается вздохами, резким чиханьем. Кто-то кашлянул в кулачок, кто-то без надобности искусственно прокашливался, будто бы по осторожности не получалось и потому грохнул богатырским кашлем — аж, фанерная перегородка вздрогнула. И тут словно бы осмелели притихшие участники танцевального вечера, отмахнув условности, приличия, начали прочищать дыхание — покатился перекличкой общий кашель. Странно запершило в горле самозванной распорядительницы, пытаясь сдавить подступивший взрывчатый кашель, она зажала рот ладонями. Но все-таки звучно фырскнула, издав при этом нижний подозрительный звук, ставший поводом для всеобщего хохота. Находчивый остряк сказал: «Не ты, не ты... Это кто-то другой, опять не спросясь».

— Вот так однажды от натуги в чрезмерном затяжном терпении вся Россия закашлять может, стар и млад не смогут удержаться. Простите нас, если что не так. — Старший учтиво поклонился. — Не надо звать охранников, не тревожьте понапрасну служивых ребят. Мы уходим. Маэстро, музыку! Дамский вальс для самых смелых, понятливых и обаятельных.

Среди самых смелых оказалась Светлана Листопадова, она предусмотрительно вырвалась из плена, не дожидаясь мелодии, в демонстративной решительности прошла через весь зал.

Меженин виском чувствовал приближение, узнал бы ее с закрытыми глазами даже на расстоянии по теплому волнующему облачку, в котором оказался. Она понимала его покорность и в танце плыла вольно, с наслаждением, но все-таки приятно волновалась, будто впервые пригласила незнакомого человека, все в ней было так же естественно и свежо, как в туманный вечер у костра знакомств.

— Хорошо с вами, Федор Борисович. Спросите о чем-нибудь.

— Весь день вас не было видно и слышно. Почему?

— Суббота ведь. К нашему учителю с подарками пошли. Клавин знакомый Станислав на машине встретился — решил проводить. Туда под гору хорошо скатили, а к вечеру дорога раскисла, на выезде застряли. Выручил этот белый пиджак, не проскочил мимо, у него машина — иностранный зверь. Теперь считает нас полоненными. Только свистнет: поедем, красотка, кататься — любая обрадуется. — Светлана рассказывала, криво улыбаясь. Федор тоже кривил губы в улыбке, словно подражал ей.

— Время, отдыхающие. Отбой! — оповестил хозяин музыки.

...Веселье затормозилось. Из клуба расходились парами, долго гуляли по сумрачным тихим аллеям без песен и веселых разговоров. Лишь иногда окликали друг друга свободные женщины, расставаясь с пожеланиями спокойной ночи. Кому-то вспомнилось сказанное незнакомым человеком в дорожных обстоятельствах:

— Слишком большое горе людей разделяет, а среднее «близит», как понимаете, сближает. При общем горе мы все родня. Командиров здесь не надо.

— Очень жаль этих гостей. И стыдно перед ними.

Глава седьмая

Печальный человек тише воды недвижной, сумрачно одинокий темнеет омутом, сердитый — пульсирующее болото. Мрачное молчаливое одиночество на берегу настораживает прохожих — пройдут около, опасливо оглядываются, не сразу возобновляя приглушенный разговор, ускоряют шаги. Согбенное молчание под старой израненной березой над опасным обрывом привлекает внимание гуляющих в отдалении, стало предметом беспокойства, предположительных и сочувствующих разговоров. Два дня назад на пятом этаже долго шумели обнаружившие пропажу в трех номерах. Воры, видимо, через чердак проникли на балкон, оттуда — на другой, третий, обшарили столы, шкафы и тумбочки, кое-что приглянулось: кофточки, куртки, кроссовки, часы и прочая мелочишка. Кража посеяла подозрительность. Бдительные дамы, не дожидаясь оперативных действий охранников, всю округу взяли под контроль. Любого новичка проверят: кто да откуда, зачем тут? Начинают издалека с рассуждениями:

— Что-то случилось — горюет человек.

— Да просто рад уединению, тишиной наслаждается.

— Устал от шума городского, от жены надоедливой.

— Молодость вспоминает: прошла — не вернется опять. Или курить бросил — мучается, в первые дни отвыкать очень тяжело.

— Закодированный. Вот и все. Понять можно...

— Я видела, губами шевелит, словно молитву читает.

— А вот пойду и посмотрю. Задам пару вопросов.

Самая решительная из наблюдательной группы пошла береговой тропкой к загадочному одиночеству. Прибли-жаясь, таясь за березой с противоположной стороны, счи-тала себя незамеченной. Замедлив движение, мелкими шагами на цыпочках подкралась и говорит:

— Извините за беспокойство. Сигаретки не найдется ли? Спички у меня есть, а вот сигареты кончились. Мне показалось, мы знакомы или встречались, понимаете, сердце подсказывает.

Он приподнял капюшон, не меняя позы и не поворачивая головы, отозвался странным неземным звуком, может быть, произнес непонятное слово на чужом языке, пригласившим движением отодвинулся от березы на столько, чтобы смелая женщина могла сесть; и снова послышалось неземное звучание. Женщина повернулась, рассеянным взглядом отыскала за кустами группу поддержки, энергичными жестами дала понять, что все в порядке, ничего страшного, можно не беспокоиться, вообще назойливым свидетелям лучше исчезнуть — не мешать. Деловито раскрыв сумочку, достала зеркало, губную помаду и демонстративно прикрасилась, игривыми пальчиками послала воздушный поцелуй сочувствующим временным подругам. Но те еще стояли в дозоре, выжидая возможность принять участие, придти на помощь и просто завидовали смелости. Когда же она подняла над головой записную книжку и блестящую ручку, выказывая намерение обменяться адресами с новым знакомым, дозорный коллектив начал редеть.

Правда, завистливые и любопытные топтались на прежнем месте, косовато поглядывали и ждали, что дальше будет, потому что молчун не поднимал головы, пожимал плечами, левую руку приложил к подбородку, а пальцами правой мельтешил, словно что нащупывал в воздухе. Долетело до них и резонирующее звучание, похожее на радиосигналы из космоса. Что-то пищало, потрескивало, щелкало — словно радиоприемник в поиске интересного вещания на какой-нибудь короткой волне. Эти звуки ослабили настороженную бдительность чрезмерно заботливых женщин, за короткий срок объединенных культурным общением и новой робостью.

— Думаете, нахалка липкая, курилка. Это так, предлог. Кажется мне, чувствую, мы встречались, — повторила женщина, аккуратно усаживаясь в подготовленное для нее пространство. Она пыталась взглянуть под капюшон, чтобы увидеть лицо молчаливого человека, но в эту минуту он достал пухлый блокнот, на чистой странице черкнул два слова: «Нельзя курить».Тогда и она воспользовалась своим блокнотом: «Не курю. Никогда». Он взглянул, чтобы прочесть ответное послание (вспомнилось: в десятом классе была такая игра). Она увидела кончик носа над пучком усов и сразу решилась спросить, расправив блокнот на коленях, быстро

написала: «Суббота, клуб, танцы. Кажется, я видела. Вы были там первый раз?». Он кивнул. Она письменно спросила: «У вас в блокноте стихи?» Он письменно ответил: «Много. Любимые».

Она вздрогнула: знакомый почерк! Он перелистал несколько страниц, положил свой блокнот поверх ее записной книжки для удобного чтения и сухо кашлянул. Знакомый почерк легко читался, но в глазах от волнения туманило. Она спросила: «А можно?». Он указал длинным напряженным средним пальцем — вот это! И быстро отдернул однопалую руку — других четырех пальцев словно не было от рождения. Боже! Она чуть не вскрикнула и поспешила сосредоточиться над стихами. Странные, дышащие жутким холодом строки: «Это очень вульгарно звучит, но хотел бы иметь я запасную голову! Я физически много работал и даже кроваво потел — ничего не поделаешь, это естественно... Я бы хотел не иметь про запас никаких дополнительных тел, но иметь хоть одну небольшую запасную голову, — для пустых разговоров она бы годилась вполне, а для самого главного, или, вернее, тяжелого, я надеюсь, что все же хватало бы мне без подмены носить и свою настоящую голову!»

Едва пройдя по строкам странного содержания, она схватила его за плечи, повернула к себе, глянула в глаза — вскрикнула:

— Лева, почему затаился ты? — И наткнулась губами на жесткие усы, на те самые, что в клубном сумраке помешали его узнать. — Как же так... Не узнала в тот вечер. Дурочка лупоглазая.

Он подхватил блокнот левой, полноценной рукой, придавил остатком правой ладони, быстро в левом косом наклоне начеркал, как раньше, красиво и форсисто: «Конечно. Я — головушка бедовая».

— Надо же, видела посреди круга... Видела — не подумала. Чего молчишь, говори! Хватит, не притворяйся, Лева! Мы с тобой за одной партой два года сидели, в молчанку играли — переписывались. Тогда ты правой рукой писал. Что с ней случилось? Что с тобой, Лева?.. Столько лет. Надо же, как свело и где. Почему в клубе стихи не декламировал? Этот, старший пялился, выступал, чудной такой, читал, а ты — нет. Узнала бы по голосу, если так не смогла, не догадалась, зенки пялила по сторонам и кашляла вместе со всеми до слез — так получилось некрасиво, разбрелись в стыде своем.

Таня тараторила виновато и сочувственно, потому что раньше знала о трагедии Левы Смирнова — одноклассницы писали ей в дальний алтайский городок, откуда и приехала

одна, разведенная после трех лет горького замужества, вернулась на родину отдохнуть, подлечить пошаливающее сердце, искать перемены в жизни.

А он склонялся все ниже над блокнотом, выстраивая косыми буквами телеграфно сжатый рассказ о пережитом: «Такая жизнь. Институт, Чернобыль, ликвидация... Болезнь. Пособия, хлопоты, унижения... Союз чернобыльцев... Льготы — нет, лекарства — нет. Пенсия — не сразу. Жена — в панике сбежала. Друзья по несчастью подкрепили. Вместе держались. Чиновники... без понятия. Мой характер. Не за себя — за других. Стычка. Скандал. Нарушение порядка. Вытолкали, снова полез. Охранник — за горло. Суд. Три года. Строгий режим. Ослаб, простуда. Лечение. Без голоса... Санаторий — напрасно все. Аппарат — нет. Помощь — нет. Я тут — близко, на отдыхе. Увидел — гадаю: ты — не ты. Думаю, сказаться бы. И робею, сам себя боюсь. Вот дежурю. Затаенный. Люди, смотрю, пугаются».

— Ой, Лева... Годы прошли. Помнишь, стихи деклама-ровал... Лучший чтец на конкурсе. Помнишь, мы с тобой дуэтом... И на Марсе будут яблони цвести.. Как пелось тогда... Заправлены в планшеты космические карты... Новый маршрут. Выпускной бал. В тумане у реки целовались...

Он суетливо перелистывал видавший виды блокнот, искал необходимую страницу — самое подходящее стихотворение, с помощью которого хотел многое объяснить. И нашел — прихлопнул ладонью, чтобы не перевернуло ветром, ткнул единственным пальцем: вот читай! Она поняла, что одноклассник Лева избегает слезливого сочувствия, лишних вопросов, хочет отвлечь. Умолкла, взяла тяжелый блокнот, разложила на коленях и медлительно разглаживала страницу, словно искала самые важные строки.

Я уходил в леса такие,
Каких не сыщешь наяву,
И слышал вздохи колдовские,
И рвал нездешнюю траву,
И зарывался в мох косматый,
В духмяный морок, в дымный сон,
И был ни сватом и ни братом —
Жилец Бог весть каких времен.
И сосны дремные скрипели
И бормотали, как волхвы,
Но где, когда, в каком пределе —
Вся память вон из головы.

Он сипел, желая произнести хотя бы единое словечко, назвать ее по имени, напрягался и сглатывал из горла ком, шевелил губами. Она прижималась своими слезами к его щекам и чувствовала нервическое вздрагивание безголосой гортани, понимала невысказанное и сама несвязно горе-вала, винилась.

Совсем близко чокал неуверенный соловей, вспоминал свою лучшую трель для новой весны. Взвизгивали беспеч-ные или счастливые женщины...

Меженину по воле случайности дано было оказаться свидетелем этой встречи. Он, настраивающий себя на уми-ротворение и созерцательность, проходящий в зоне отдыха безучастным наблюдателем, словно бы спрыгнул с высокого обрыва к бурлящей пенистой воде, потеряв равновесие, все-таки выстоял и почувствовал песок на зубах. Теперь для прогулок спланировал другой маршрут.

Каждое утро с шести часов начиналось движение по ин-дивидуально вычерченной траектории. Пренебрегая фор-мальными процедурами, прописанными лишь для заполнения времени и создания видимости врачебного внимания, Ме-женин выкраивал максимум свободы, чтобы наматывать про-гулочные километры. Вскоре успел разведать окружную периферию в радиусе около десяти километров, нашел про-ложенные в низинах и оврагах таинственные тропы, ступен-чатые подъемы на крутизну, живописные поляны, обнесенные некогда пригодным забором, за которым на опушках сохра-нились корпуса бывшего пионерского лагеря. Облюбовал ас-фальтированные дорожки в сосновом бору, выглаженные в добрые социальные времена между причудливыми бревен-чатыми избушками теперь заброшенного и осквернённого дома отдыха «Тихая Заводь», обследовал березовую рощу и лодочный причал в устье Черной речки, а на другом ее берегу — ветхую деревеньку среди взятых мелколесьем полей. Ради любопытства обошел по внешнему периметру запретную территорию специального санаторного учреждения.

Всюду, останавливаясь, находил приметы особенной жизни, совсем непохожей на привычное представление о ней, и чув-ствовал, что освобождается из городского каменного одно-образия, прорывает резиновую оболочку стереотипного восприятия времени и места жительства, смысла служебных обязанностей и человеческих взаимоотношений.

Чувствовал собственное пробуждение. «Снова высь го-луба и ясна. Мир в лесу и в лугах тишина... Грач к березовой

роще спешит, ветер вербу вовсю тормошит, мать — и — мачеха светит с проталин, ручейки свои стежки торят... Глядь, уж сам я и счастлив и рад, что лишь я одинок и печален». И тут же цеплялись, высвечивались в памяти другие стихи: «Молчание наше сурово, а робкая речь — невпопад; печально случайное слово, и грустен нечаянный взгляд. Уж сердце не бьется — трясется; шепчу я, лицо заслоня: никто от себя не спасется, спаси же меня — от меня!..»

Если бы идущие от утреннего автобуса городские сотрудники санатория слышали бормотание стоящего на проталине в стороне от дороги, пожалуй, взяли бы на заметку странное поведение и сообщили равнодушно курирующему врачу. Но коллективное утреннее пробуждение другого свойства, оно шумливо и банально втекает в накатанную колею под дежурные реплики, фразы, просьбы, напоминания, требования — механическое вхождение в новый день не обременяется сочувствием и прочими душевными тонкостями: приехали служить — некогда по сторонам заглядывать, с телячьим восторгом созерцать ежечасные перемены в природе, удивляться тому, как расслаивается легкий туман, меняются и светлеют небеса. Природа примелькалась, весенняя распутица уже надоела, а тут еще и волглость туманная тянется. Ни до чего, ни до кого нет дела спозаранку. Маячит чудак в тумане, ну и пусть маячит. Мало ли здесь бывало молчаливых вольнодумцев, способных в одиночестве с собой вести беседу.

Но в этот раз от общего потока спешащих на работу отстала неторопливая гражданка, видимо, решила прогуляться окольным путем через некогда празднично шумную Заводь, может быть, вела ее тропинка приятных воспоминаний. Подождав идущего туда Меженина, она так и сказала:

— Раньше здесь очень весело было. Прекрасный дом отдыха. Сказочный уют, целительный микроклимат. Тихая Заводь, можно сказать, на полянах Берендея. Отдых и вдохновение, беседы при луне. Луна сквозь ветви тронула балкон и пала тень, похожая на лиру. Кажется, так? Здесь многие начинали писать стихи, учились петь и танцевать. Нелюдимые становились массовиками — затейниками, неуверенные в себе — победителями конкурсов, выигрывали спортивные состязания. А вы тоже бывали, в каком году? — спросила она, не пытаясь разглядеть повнимательнее попутчика.

— Впервые приглядываюсь. Отдыхать не приходилось. Нынче первый раз по санаторной путевке из соседней области. — Он успел ее разглядеть, оценить внешние достоинства, соответствующие голосу и доверительной готовности к разговору. Легкая сиреневая шляпка с взблескивающей

бирюзовой заколкой едва держалась на голове, светлые шелковистые волосы волнисто растекались на плечи, золотились по темно-зеленому откинутому капюшону. На щеках свежий естественный румянец, радостное дорожное возбуждение вспыхивало в широко распахнутых синих глазах — может быть, синева придорожного ельника в них отражалась. Кашне в горошек вспархивало над грудью, катало по белому полю темные крупные горошины. Легкая блестящая сумочка вздрагивала на бедре; как только нетерпеливая рука в красивом крылатом жесте подтверждала восторженные возгласы, сумочка тоже норовила взлететь. После паузы, боясь показаться преднамеренно деликатным, добавил: — Привыкаю, ничего особенного не нахожу. «И сердце по-старому бьется, как билось в далекие дни».

— «В России теперь апрель. И синею заволокой покрыта береза и ель».

— «Вскрываю... читаю... Конечно! Откуда же больше и ждать! И почерк такой беспечный, и лондонская печать». — Он выдал соответствующее подтверждение: понятно ему — откуда строки. И она оказалась не лыком шита, быстро вышла на другую тему:

— «Дружище! С великим счастьем! Настал ожидаемый час! Приветствую с новой властью! Теперь мы всех р-раз — и квас! Без всякого выкупа с лета мы пашни берем и леса».

Вот и разговорились обстоятельно, чувствуя взаимный интерес, профессиональное сходство в рассуждениях. Спутница бойкой скороговоркой обрисовала ситуацию, обозначила свой журналистский взгляд:

— Видите, березняк распластан. Стройка! К середине лета вырастет усадебный дворец с полной коммуникацией, за бетонным забором — бассейн, корт, вольер, сауна и прочее. Частник размахнулся — откуда что выперло. Теперь в лесах встают терема. Быстро это прорвалось, наперегонки окапываются вальки... Неподалеку был колхоз «Красный пахарь». Мама — главный агроном. Теперь — пенсионерка. С апреля до поздней осени — дачница. Горюет: колхоза не стало, поля опустели, нежилые деревни сгорели — архаровцы сожгли, из семи одна устояла. Были и — нет. Старожилы с корнями выкорчеваны, разъехались к деткам да в дома престарелых. Кто — куда. А было большое село Померекино, из всех жителей один остался — старый учитель. Кажется ему, что все повернется еще, возврат к порядку возможен. — Она вздохнула, оглядывая пустынное взгорье. — Мама тоже не согласилась насовсем уехать от былых полей. Вот в холодную избу

прибыли обживаться. На выходные останусь. А пока — ра—бота. Задание редактора, заказ крыши. Инициативное рас—следование на руинах известного дома отдыха и пионерской здравницы. Облсовпроф раньше здесь обеспечивал комфорт. А что осталось? Приказано найти виноватых, под начальство заход с учетом предвыборной конфронтации. Засветить бы—лых и новых собственников территории. Сказано: тебе с руки — отдыхала, местная. Велено поглубже копнуть. Ковыряйся, девка. Действуйте, Елена, с перспективой — на два разворота прогоним, не продешевим, безопасность гарантируем. Хоро—шо бы естественно начать с лирических воспоминаний о встречах, удобстве, сказочной красоте деревянного зодчества, с конкретных ахов—охов по поводу заботы о народе и т.д. и т.п. Ух! — закончив тираду, она вдруг атакующим голосом спросила: — А можно начать Вашими воспоминаниями о романтичном и веселом отпуске в Тихой Заводи среди тыся—чи отдыхающих при отменном четырехразовом питании? Что можете сказать о том времени, когда здесь весело пелось, танцевалось? Кому выгодно было все это разрушить?

— Не знаю этих мест. Не бывал, не отдыхал, фильмов не видел. Повторяю, впервые приехал по санаторной путевке. Прогуливаюсь только, изучаю зону отдыха, перемены ве—сеннего пейзажа наблюдаю. Каждый день новые встречи. И сейчас вот рядом удивительная девушка, приятно позна—комиться. Мечтаю увидеть снова.

— Стоп, стоп! Не заговаривайте зубы. Не надо льстить, мне скоро тридцать... Значит, временный наблюдатель Вы, равнодушный прохожий. Никакая разруха не возмущает. Не стыдно за все, что творится...

— Околица родная, что случилось? Окраина, куда нас занесло?

— Ладно, с этих строк Передреева и начну. А потом — вопрос: равнодушный прохожий, неужели не стыдно тебе притворяться? Нет, лучше будет так: неужели не стыдно нам всем притворяться? Первый вопрос для двух газетных раз—воротов поставлен.

— Провинция... Не много и не мало — на тыщи верст — провинция одна! А мы — ее народ — про—вин—ци—а—лы! И в нас она, как свет, отражена.

— Вот вы какой! Извините, мне направо, — тепло и при—тягательно улыбнулась. — Прогуляйтесь в воскресенье после тихого часа. Встретимся.

— Надеюсь. Спасибо за приглашение. Удачи вам, Елена.

Глава восьмая

От сосновых и березовых аллей с прогулочными дорожками для отдыхающих ветвятся игривые замысловатые тропинки. Увлекают они по крутому спуску к реке, меняют походку и осанку, вызывают упругость в коленях. Идущие впереди женщины спускаются зигзагами, чтобы не поскользнуться, не упасть. Сложность пути их забавляет — хохочут и визжат так пронзительно, что березы роняют с вершин яркие облака. Рассеивается пыльца. Меженин остановился под этими легкими облаками, разглядывал нежно-зеленое кружево, просвеченное множеством свечек. Пронизанные солнцем новорожденные листочки и почти прозрачные процветающие сережки будто бы дымятся, от этого заслезились глаза. Масляная краска стронций светлый вспомнилась. Пошла цепочка — радиоактивные изотопы стронция... аварии, взрывы, грибовидное облако, атомщики, атомная подводная лодка, атомная станция, Чернобыль... Вспомнился безголосый Лева. Желтизной затуманилась низина. Не пылит дорога, а вся желтая от пыльцы. Следы четко отпечатаны, не только человеческие. Птичьи, звериные следы вдоль и поперек асфальта.

Над рощей вспархивают стаи мелких птах, они весело купаются в этих желтых облаках, на некоторое время затихают, затаиваются и шумливо мечутся между берез, вспенивая новые облака. Развеивается не стронций, а обыкновенного цветения итог, но думается, думается: ничто не появляется и не исчезает без влияния, одного аллергия терзает, у другого в горле першит.

Природа напоминает о затяжном влиянии общественных трагедий, катастроф на жизнь детей, внуков, правнуков. Нельзя считать прошлым все, что чувствительно трогает сердце и память. Революционные потрясения тоже перетекают в души по десятилетиям. Раньше считали детей-уродов наглядной карой за грехи родителей. Неужели будущим детям придется страдать за хитро задуманную перестроечную интригу? Она закручивалась на обещаниях свободы и колбасы, была рассчитана под всенародное одобрение. Быстро охрип народ, может совсем обезголосеть. Вот уже и правда кажется неправдоподобной, желтеет день ото дня. А шумливые демагоги твердят: переиграть уже ничего невозможно. Наивные, обманутые и обворованные соотечественники комкают ваучеры, и еще хотят верить, надеяться, но верой и надеждой уцепиться не за что, потому лица многих — Меженин и здесь это заметил — светятся особой, цинично

открытой, но непонятной жизнью. Прежняя жизнь кончилась, а дальше что? Словно идешь в незнакомом лесу, не чувствуя направления и времени, не зная в какой стороне солнце, без определенной конечной цели блуждаешь при слабой надежде на скорый просвет. Чудом кажется ожидаемое встречное появление так же блуждающего человека — с ним, сложив рассудительно две интуиции, словно по компасу, можно выйти к новому дому. О чем это ты? — спросил он сам себя. — Хочешь предположить, что будет дальше? Неужели там что-то светит спасительное? Сначала одно, а потом все вместе: и дом уютный, и сад любви, и семья счастливая? Разве счастье возможно, когда жаждут его в быстротекущем сегодня или завтра? Когда все кругом озабочены материальным выживанием, когда сомнительна чистота неба, речной и даже родниковой воды, цветущей травы...

Догадливой птахой из журнала припорхнули стихи. Не от мира сего — что ты значишь? Ты чужой и друзьям и родным; дар небесный опасливо прячешь, чтобы не надругались над ним. Как на родине скучно и жутко! Не с того ль раскуражился хмель?

— О чем это вы, Федор Борисович? — чудесной неожиданностью явилась она на тропе. — Стихи сочиняете?

— Раньше получалось. Теперь утратил форму. Строки интересных поэтов вспоминаю. Вот прочитал... Мы хорошо знакомы. Жаль, печатают его редко. Обещал книгу избранных произведений прислать. Три года прошло, книги все нет — лежит подготовленная в типографии.

— Почему не печатают? Департамент культуры не заинтересован?

— Никому, получается, не интересно.

— Педагоги кланяются — да что толку. Пятый месяц зарплаты нет. Бастовать собрались. Им говорят: бастуйте, если делать нечего, не первый и не последний раз, то ли еще будет. — Она виновато улыбнулась. — Ой, да что я об этом перед вами кипячусь. Простите... Хорошо здесь. Не пылит дорога. Давно так не прогуливалась. Одна в незнакомом лесу. Нынче и в городском парке страшно: нападут, ограбят или того хуже.

Светлана призналась, что впервые за несколько лет почувствовала душевное облегчение. Все работала, бегала, суетилась в заботах — отвлекала себя от горьких дум о своей судьбе. Не хотелось мириться с печальной предопределенностью, с тем, что на роду написано, что гадалки мрачные наговаривают. Неужели так бывает всегда: дочки повторяют судьбу матерей? Бабушка овдовела в сорок первом,

осталась солдаткой с тремя детьми. Мать не дождалась сво-
его любимого из Афганистана, тоже троих дочерей воспи-
тала одна. И вот она, Светлана, осталась под девичьей
фамилией, всего три года побыла замужем без регистра-
ции. Не успели, все собирались и не успели. Чего боялась,
то и случилось. Каждый день с тревогой провожала своего
Виктора на службу камуфляжную. Завод, где мастером был,
новые хозяева разбазарили — пришлось в угожденье идти
к другим организаторам сомнительного производства. По-
явилась разъездная фирма. А против этой — другая озве-
рела. Месяца не прослужил — разборка. Без войны ни за
что погиб... Доченька у меня, в третьем классе, Динка —
былинка...

Она не оставляла паузы для предвиденных печальных расспросов. Говорила и говорила, уходя все дальше и дальше от того, что вдруг прорвалось через напускную умиротворенность. Бодрилась она, каждым словом, движением доказывая, что пережитое не сломило ее, не выстудило сердце. Мягкость в голосе, плавность медлительных шагов и случайные теплые прикосновения ее рук создавали акварельный печальный образ. Меженин подстраивался к неуверенным шагам и думал: время действует на женщину будто акварельная кисть, оно размывает трагические черты в облике, как размывает резкие очертания предметов, лиц, событий и освещенного вечерним солнцем пейзажа, но способно ли дать новые радости...

— Хорошо, тихо. Мне очень нравится. Время весеннее, жить хочется. Хорошо здесь. — Повторила Светлана, возвращаясь к первой минуте будто бы случайной встречи. — Не пылит дорога. Это верба рассеивает пыльцу.

Вот и не пылит дорога, думал он. Пылит да еще как пылит. И туманит желтизной глаза, дыханье горечью забивает. Сеет печаль на сердце. Никто не способен заменять единственных, по ком душа болит.

— Над чем вы сейчас работаете, Федор Борисович?

— Над собой. Восстанавливаюсь на природе. — Он придержал спутницу на повороте перед рекой и сочувственно посмотрел — взгляды их многозначительно встретились. — Да, восстанавливаю утраченную способность естественного общения. И с хорошими откровенными людьми — тоже.

— Спасибо. За все такое. — Она выразила непонятную ему благодарность голосом и наклоном к его плечу. — А я видела вашу спутницу, энергичная такая, с блестящей сумочкой, в сиреневой шляпе.

— Это журналистка Елена Тороповская, прибыла по заданию местной газеты. Да, энергичная, смелая и, кажется, даровитая. Творческая романтическая натура. — Федор говорил только о предполагаемых профессиональных достоинствах по первым впечатлениям, которые у него — он это знал — почти всегда оказываются верными.

— Таким трудно живется? Клава говорит, что очень сложные бывают судьбы творческих людей, им не позавидуешь. А я завидую с юных лет. — Она без паузы, без подготовительного перехода спросила: — Вы давно женаты? Жена вас хорошо понимает?

— Был... Значился... Верил, надеялся... Кому нынче нужны странно занятые сочинители без твердой валюты? Хлопнул по карману — не звенит, хлопнул по другому — не слыхать. — Он, чтобы уклониться от болевой темы, воспользовался двумя строчками известной «Элегии» — хотел скрасить и усложнить ответ, но веселой отговорки не получилось, потому зарифмовал свое добавление. — Был в фаворе — и была жена. Не стало денег — где она? Были денежки в излишке и лежали на сберкнижке, но всенародный ловкий вор весь гонорар за книгу спер. Сам не сберег, разинул рот — и в жизни резкий поворот. — Понимая, что от вопросов Светланы не уклониться, возвратился к стихам. — Память отбивается от рук, молодость уходит из-под ног. Солнышко описывает круг — жизненный отсчитывает срок.

Увлеченные говорили легко, не выбирая направления, углубились в лес едва приметными чужими тропинками. Ориентировались по солнцу, возвращаться решили вдоль берега против течения. Иногда останавливались и молча глядели окрест, словно запоминали особенности пейзажа — цвет земли, воды и неба, переменчивые очертания редких облаков, движение теней на заречном взгорье, увенчанном десятком невзрачных садовых домиков. И там едва заметно перелевался желтый туман, скапливался на склоне по ложбинам и волнами стекал к реке, превращался в быстро растущие хлопья. Мутная вода сбивала их в стаи, подталкивая косым течением, гнала к высокому лесному берегу словно сказочных гусей.

Далеко внизу в зарослях ивняка кто-то истерично вскрикнул — трудно было определить чей был голос, мужской или женский. Но повторный вскрик, пронзительный визг и душераздирающее верещанье определенно обозначили беду. Меженин с готовностью придти на помощь прыгнул с обрыва, словно лыжник съехал по скользкой глине, едва сумел удержаться на ногах перед пенистым барьером.

— Тормози лаптей, конькобежец! Наше вам, нарушитель покоя. — Пред ним покачивался сухопарый, без рубахи, двухметровый баскетболист, рекламируемый именно такой наколкой по всей тощей груди. «Голубую» рекламу дополняет кулон, болтающийся на длинном черном шнуре. Съезжающие с бедер разлохмаченные джинсы поддержаны широким ремнем, замкнутым бляхой с изображением черепа и скрещенных костей — «не трогать — смертельно». На ногах нечто похожее на ботфорты или крестьянские бахилы, перевязанные белой бечевкой под коленками. — Новый абориген тихой заводи рад видеть долгожданных гостей.

Из кустов выпялилась томная голоногая девица, неуверенно стягивая на пышной груди золотисто блестящий жакет, пыталась изобразить богиню:

— Ин, господин мой, правда, я — Флора? — спросила напевно.

— Цыц! Уйми ирритацию, Исида. Всем тихо сидеть! — он дважды вскинул над головой костлявые руки, чтобы пугнуть Исиду. Она исчезла. С такими же пугающими взмахами абориген качнулся к Меженину.

— Ай! Ой! — Светлана испытанным девчоночьим способом соскользнула по обрыву на подмогу.

— И вам — наше! — приветствовал баскетболист, перекидывая в губах сигарету. — Позвольте представиться, Медиум Ин. Не считайте ипокритом. Инкассатором — пожалуйста. Инкогнито. Добываю жертвования для молодых. Иррациональный мой взгляд их утешает. Вместе страдаем иррадиацией. Да, такова особенность зрения.

— Что вы так на холоде, в тени? — сочувственно спросил Федор.

— Э—э, нет. Не понять курортнику нашу ирреальность романтическую. Три ночи как один день. Ойкумена. В избушке на курьих ножках. Тихая заводь — былой дом отдыха. Мезонин. Пригреты мезоклиматом. Согревает промискуитет. Прошу к шалашу. Присоединяйтесь. Могу инкорпорировать. Момент подходящий — ирритация на исходе, поддержка нужна, подкочегарим, так сказать. Огонек имеется? — покашливая и хмыкая, с большими паузами, словно заика, говорил он. А мутноватый выпученный взгляд близко к носу сведенных глаз был похож на взгляд стрекозы. Нервически вздрагивающие руки он пихнул за широкий ремень.

Федор достал из кармана сувенирную блестящую зажигалку с инкрустированным изображением доброй феи. Проситель с трудом высвободил непослушные руки из—под ремня,

принял зажигалку в сложенные лодочкой ладони, но ловко большим пальцем тронул колпачок и ткнулся прикурить. Вскинув тяжелую лошадиную голову, фукнул дымок в небо.

— Игрушечка. Иностранка. Ух ты! — взмахнув длинными руками, щелкнул языком. — Выскользнула каналья. Сама выпрыгнула. Ищи-свищи в пучине мутных вод. Извините, простите. Что угодно просите.

— Не ври, не придумывай! — подступила Светлана. — Я видела, в карман зажигалку спрятал. Возврати немедленно, нахал.

— Ух ты, какая свежатина... Махнем, конькобежец. Тебе одна из трех золотых бабочек на игле, нам — твоя куколка. — Лысоватый, неопределенных лет, мутноватый игрок вел свою партию по нарастающей. Теперь стрекозиный взгляд медленно сдвинулся в сторону — на галдеж за дощатым укрытием, приспособленным за косматыми кустами. — Наши козлы будут рады. Третьи сутки кайфом несет, балдеют семнаточки в золотом шатре, цветут-распускаются бутончики. Отведай — недорого. Инжектор не отказывает?

Федор впервые столкнулся с такой абракадаброй: не знал что сказать, на что решиться, оскорбленному при даме отступать безответно не хотелось.

— Не пойму вас, не разгляжу признаки обыкновенного человека.

— Вместо признаков коммунизма бродят призраки сатанизма.

— Да ну его! Федор Борисович, пойдемте отсюда. — Светлана настойчиво тянула за рукав. — Мне холодно и страшно. Глядите, шприцы разбросаны. Грязно тут, нехорошо. Тихонько надо уйти, — шептала она.

— Зрячий да видит, умный да поймет. Сам не может — другим уступит, — «баскетбол» вяло выкатывал изо рта каждое слово, намереваясь шагнуть, качался словно на ходулях. На тощей спине краснели перекрестные царапины. Он в качестве локатора артистично приложил к левому уху ладонь — девчоночьи голоса истерично звали господина:

— Ин! Милый господин. Где мы? Куда плывем? Ой, скорей. Умираю. Тошно. А козлы в полном отпаде...

Федор и Светлана с трудом суетливо прошли песчаной кромкой возле пенистого колыханья, поддерживая и понимая друг друга, влезли на крутизну, обрадовались свету и свежему теплому ветерку, словно выбрались из темного и сырого подземелья. Привести себя в порядок было не просто. Особая деликатность потребовалась: скрываясь за кустами, отмывали в лужах туфли и ботинки, при этом весело

переговаривались, представляли возможные подозрения, вопросы любопытных. Светлана даже частушку пропела: «Где ты, девочка, была? Где ты измочился? На кирпичном я заводе формовать училася».

К месту временного проживания добирались без тропинок лужайками между берез, стеснялись в мокрых одеждах встречаться с людьми. Выходили на взгорье крадучись, не к парадным дверям, а с противоположной стороны, выжидая подходящий момент, чтобы воспользоваться запасной лестницей. Но Клавдия углядела странное возвращение, непорядок в спортивной одежде Светланы и встретила тревожными вопросами:

— Что с тобой? По болоту бродила? Болезней не хватает? А Станислав интересуется: с кем это она познакомилась? Заинтересовался твоим избранником — говорит, Светлана в людях не ошибается. Смотри, девка

— Где пропадаешь, чем или кем увлекаешься? — это к Федору подступил Аркадий, возвратясь с таинственной затяжной прогулки по своим маршрутам. — Конечно, понимаю: личные интересы эгоистичны, маленькие тайны каждому необходимы. Новые радости к нам на балкон старый ворон не принесет, галки суетливые не развеселят, грач благодарным скрипом соловьиные песни не заменит, заморская синица истомленную душу не обласкает, возбужденную плоть утренними пробежками не утихомирить, солнцезащитные очки от пронзительного женского смеха не защищают, весенний зов пишущей машинкой не заглушить. Чу, под горою она смеется. Смех этот переполнен живой силой, сверкающий пронизывает березовую рощу и тревожит каждого, кто привык скрывать подлинное отношение к окружающим на празднике жизни, прячется в маске философской меланхолии, мировой скорби. — Он говорил под жужжание электробритвы, выглаживая подбородок перед зеркалом, укреплен — ным на спинке балконного кресла, вальяжно раскачивался, игриво приседал, расправляя грудь, словно штангист дергал плечами. В голосе — напевность, речь в необычной манере, с красивостями. — Слышишь, Федор. Человек, живущий одиноко, существует лишь наполовину. А жизнь хороша и жить хорошо... в нашей буче кипучей... Сладко грезится мне о новой весне при луне. Одиночества сумрак спертый посылаю сегодня к черту, к черту! Только тот, кто умеет любить, способен свободно жить. По главной сути жизнь проста: ее уста... его уста... Она проста по доброй сути, пусть только грудь прильнет ко груди. Весь смысл ее и мудр и прост, как стебелька весенний рост.

Меженин сумел продолжить:

— А кровь солдат? А боль солдатки? А стронций в куще облаков? То все ошибки, все накладки и заблуждения веков.

— А жизни суть, она проста: ее уста... его уста. — Аркадий не хотел проблемного разговора — не то настроение, потому вспомнил слова из давней песни. — Пойдем, любимая моя, березкой полюбуемся.

— Куда идет король?

— Большой секрет. Ты не ходи ему вослед, туда тебе пока дороги нет. Но не печалься, друг, о том. Смелей иди своим путем!

— Мурлычешь мартовским котом. А что потом? Слезы да упреки?

— Ну, брат, тебя понесло. Неужели мерещатся женские телеса, лишенные души, отвратительные пошлой доступностью. Очнись, певец, и вдохновись далекой прелестью. Отбрось дурное настроенье, не вспугни счастливое мгновенье. Не утыкайся взором в стол — таков совет. А я в реальный мир пошел. Тебе — привет!

Аркадий в этот день казался восторженным, юношески забавным. Он прорвал замкнутый круг лечебного режима, спешит исчезнуть из общего поля суетливой заботы о здоровье. Отменялись совместные прогулки, продолжение начатых разговоров о прочитанном, о превратностях жизни, о том, что бездарно растрачены первые дни здесь и месяцы, даже годы, в служебной обязательности.

Предпочитающий спортивный стиль в одежде категорически изменил облик элегантным бежевым костюмом. Грациозно вошел в номер к Меженину, повертелся перед зеркалом. Высокий, стройный, цокающий штиблетами, так и пританцовывал, демонстрируя омоложение лет на десять, обрел уверенную выправку.

— Торжественно сообщаю: долгожданное приглашение, легко меняю облик свой. Еду, еду, к ней. Больше года не встречались. Врачебное позволение имеется. — Видимо, он заскочил объяснить поспешность этих сборов, извиниться за неожиданное «предательство» дружеской договоренности на предстоящий вечер. — Извини, Федор. Спешу. Вот отстукал в порядке оправдания. Прочти праздные суждения, как исчезну с поля зрения. Не волнуйся, координаты на том же листе: населенный пункт, улица, дом, телефон, хозяйка Ксения — мое везение. В позапрошлом году познакомились. И вновь волнуюсь — прекрасна жизнь!

Аркадий пропечатал широкие шаги по гулкому пустынному коридору четвертого этажа. Федору казалось, что

слышит, как начищенные штиблеты перебирают широкие ступеньки лестничных пролетов будто клавиши, извлекают бархатистую мелодию. Прочел тихим голосом оставленные «праздные» суждения , отстуканные на верхнем регистре:

— Как часто бывает с идеями порочными, от плоти не освободившимися или обросшими ею, можно в эстетических воззрениях «молодого ученого» расслышать его физичес— кий стиль, самый звук его тонкого наставительного голоса. «Прекрасное есть жизнь. Милое нам есть прекрасное; жизнь нам мила в добрых своих проявлениях... Говорите же о жизни и только о жизни (так продолжает этот звук, столь охотно воспринятый акустикой века), а если человеки не живут по— человечески, — что ж, учите их жить, живописуйте им пор— треты жизни примерных людей и благоустроенных обществ». Ниже — приписка: «Федор, вспоминай пример— ных людей. А с кого делать жизнь — ты и сам знаешь. Твой нетерпеливый взбалмошный нынче сосед, нудный собесед— ник и друг возражающий. Не засиживайся за письменным столом и на охоту без меня не ходи, куниц и лисиц не вспугни, вдоль по бережку да по крутому — недалеко от дому. Сам я на охоту парнишкой ходил, глухаря подстрелил. Я успел под— бежать и — хвать, а он в лет — вверх прет. Сам я держаться ловок. Только бы не выше елок, только бы не выше елок. Вот тебе сюжет, а меня здесь нет».

Глава девятая

...Дальние прогулки развеивают грусть, обновляют душу и тело, в новый порядок выстраивают привычные слова. С крутого обрыва, где ивы да вербы, пушистые веточки падают в реку. И долго игриво, словно утята, долго игриво качаются на волне. Такие приходили слова на крутояре. Видно опять хорошо человеку, видно опять хорошо человеку. И ты улы— баешься мило. И ты улыбаешься мило...

Но колючие мурашки пробежали по спине как только вспомнился вчерашний эпизод под обрывом: не робость, а брезгливость гнала от тропы, ведущей вдоль берега. Чтобы и впредь не вспоминалось про зажигалку при каждом же— лании закурить, выбросил нераспечатанную пачку сигарет с твердым решением отказаться от курения — давно соби— рался.

Так получилось —такова странность человеческая: в свой срок для серьезных решений находится косвенный повод. Ничего себе, косвенный. Тебя грабят, унижают... В городе

гадюшники с наркотой, в природе — пристанища, на дорогах — грабеж, пьянство, убийства. Кути, воруй, развратничай, тра — вись, племя младое, незнакомое. Предела нет. А доблести — предел.

Таково наше свойство: видишь одно, думаешь другое, а вспоминается слышанное или прочитанное. Следовало уйти в другой пейзаж, в другое настроение, приятное вспоминать. Вот, например, чужая игра в жмурки. Играем в жмурки — я опять вожу: шлепочками дразнимый и хлопками. Вот чей — то локоток — вкушаю я упругость на крючок попавшей рыбы. Похоже это ты, любовь моя: твои воланы локоны, из — гибы. Теперь уж ты — потешь да попляши! Смеясь, повязку с глаз срываю живо. Кругом дремучий ельник. Ни души. И под ногами — чернота обрыва.

Точно, и обрыв под ногами был, и чернолесок древний по низине, и тропинка, ведущая в гору, — место неожиданной встречи с ней, присутствие недавнее тех локонов в мареве еще витает, и упругость локотка до сих пор чувствительна. Все сразу вспоминается и волнует между «надо» и «нет», между «против» и «за». Ошибайся, художник, разбрасывай краски по полю... или — рифмы, нащупав строку... Соблаз — няй и тревожь обнаруженной болью. Продолжайся любо — вью, из нас вытесняя тоску.

Получается разговор с самим собой. Разволновался, со — зерцатель? Ты слышишь самого себя, думая о других. А слы — шат ли тебя на расстоянии? Чувствуют ли, когда ты рядом очарованно молчишь? Сраженный близким чудом, не об — манись иллюзией свободы и уюта, сам не обманись, не ока — жись обманом в лучший час для женщин. Ишь, какая утонченная рефлексия...

Кряква призывает селезня. Чайки качаются на фарва — тере между лодок. Рыбаки в лодках среди реки. Издалека посматривают на берег, ждут внимания — обыкновенного вопроса: ловится ли, клюет ли? С крутояра из березовой рощи летит отзывающее на берег требование:

— Сторож, ты где?! Фомичев — сюда срочно! — Это Елена кричала.

Меженин в профессиональном любопытстве придал особое освежающее значение встрече с Еленой Тараторс — кой, по прошествии нескольких часов склонен был думать о закономерном стечении незначительных событий, меняю — щих содержание очередного санаторного дня. Радовался даже: вот недавно встретились, немного поговорили, а голос узна — ется и тревожит воображение. Невольно продвигался именно в ту сторону, откуда она кричала. Понимал, нет конкретного

повода для возвращения на взгорье, не следует мешать ей в работе, появляться раньше предложенного времени — маль-чишество.

Прошел почти всю низину санаторного парка, остава-лось подняться в гору, чтобы войти на территорию разо-ренной Заводи, почувствовал на себе укоризненный взгляд — словно кто осуждал за появление без приглашения. Ог-ляделся — никого, но ощутил, что находится под цепким на-блюдением. Среди редких зарослей мелькнула легкая тень, шорох неопределенный был слышен совсем близко, за на-клонной металлической оградой. Невозмутимо, не выдавая своей настороженности, хотел достать сигарету и зажигалку, но прикуривать не стал бы. Ой, рассеянный, трусливый, не-уверенный, ищешь то, чего уж нет. Ушки — топориком, сердце замирает?

Едва слышимый шорох повторился с другой стороны ограды за кустами шиповника у асфальтовой кромки. Будто бы солнечный зайчик мелькнул и — совсем близко замерла перед ним любопытная лисица. Смелая однако, поперек ас-фальтированной дорожки встала навытяжку, горизонтально приземленная, полено вытянуто, кончик его белый светится. Живой шлагбаум на тропе: нет, не пройдешь, не пущу! Ли-няющая лисичка, но аккуратная еще и потому уверенная в себе. И смотрит с укором.

— Ах ты, Патрикеевна, хозяйствуешь. Я — не враг твой. Гуляй, беспокоиться за меня не надо и за себя не бойся, — не узнавая своего голоса, проговорил Меженин. — Нынче мы все друзья. Здесь все наше, родное. Нам нечего делить. Ты согласна, красавица?

Эхо неспешно прошло низиной, легкими волнами кач-нулись деревья. Лисичка глянула на вершины и спокойно уселась посреди дорожки, показывая тем самым, что не вол-нуется, не боится — заинтересована продолжить общение. Показалось, она тоненько пропела:

— Тебя, конечно, не боюсь. Даже рядышком пройдусь. Пусть тебе не пара — мы с одного земного шара. Если друж-но споем — друг друга поймем.

— Такой удачи не бывало, вот так встреча!

— Я живу отсюда недалече. Готова слушать ваши речи, — говорит она, глядя на него доверчиво. — Очень даже ин-тересно. И день такой чудесный. Я в тебе уверена и трусить не намерена.

— Спасибо за доверие... Поняла, что я — не Берия?

— Фу, какой вы право: то — налево, то — направо. То с оглаской, то с опаской. То с вопросом, то — с доносом. Трудно

жить в такой стране. Не груби лукаво рифмой мне. Мы с тобой не на войне. И встретились наедине, чтобы определить, как дальше жить. — Она снова пропела и рассмеялась заливисто. — Смешные здесь люди. Что дальше-то будет? Не могу вас понять: то любить так любить, то — стрелять так стрелять...

Немало упреков высказала смелая лисица из будущей сказки. Повернулась извилисто, кончиком хвоста прощально махнула: иди прочь, наивный созерцатель. Исчезнув из поля зрения, продолжала свои волшебные речи для нового слушателя, но Меженин тоже понимал сказанное отчетливо:

— Гляжу на этого человека. Он — из проходящего века, в новом все будет не так. Придет другой президент — наступит и наш момент.

Ну, чудеса! Наговорила всего лисица, помогая человеку скороговоркой укрыться от бесконечных сомнений. Меженин шел солнечным берегом в другой воображаемой стране, слышал другие песни, другие речи. И себя хотелось осознавать достойным гражданином Отечества, в котором народ не унижен бытом, зарплатой, льготами, пособиями по безработице, дотациями, отключением энергии, выселением из квартир по задолженности, партийным лукавством, парламентским большинством, взрывами и стрельбой, национальным подозрением, предвыборными танцами, зарубежным дирижерством, обещанием лечь на рельсы и множеством других обещаний...

Опять просека туманилась. Зависла не сказочная, реальная жизненная желтизна — цветущие березы пропылили все окрестности. Даже река пожелтела, превратилась в солнечную дорогу. Новая сказка только еще начиналась, замысел собирался в облачко пронизанной солнцем пыльцы, из него постепенно выступала фантазерская лиса, способная образумить, удержать вольнодумцев от рискованных поступков обыкновенным человеческим голосом. Предвосхищение сюжета обнадеживало наивного созерцателя. Следовало тотчас записать необыкновенную речь местной лисицы. В других лесах они иначе ведут разговор — случалось вести воображаемую беседу с тетеревами, дятлами, лисицами, куницами, зайцами, белочками, медвежатами и волками. Реальные встречи иногда вписывались в сказочные сюжеты, оставались коротакими зарисовками в блокнотах...

— Сама природа не дает скучать, каждый день меняет картинки. Сообразуй свое поведение с вечерним настрое—нием пейзажа и обретешь целительный покой. Не смотри на случайных людей, а смотри в себя. У людей бахвальная суета вместо подлинной радости. — Наставительный голос на пятом этаже перед обедом начал свою постоянную служ—бу. Только что на балконный стол к Меженину спикировал самолетик школьного образца с надписями на крыльях: слева — «Вы здесь бывали?», справа — « А мы из новеньких». По предварительному дамскому поведению можно предполо—жить, что самолет прилетел от верхних соседок. Но почему игру в незнакомки они затеяли?

Именно по голосам узнавал их в столовой: две дамочки энергичного уверенного возраста никогда не умолкали, ка—залось, они и приехали только за тем, чтобы после долгой разлуки со студенческих лет, выговориться для избавления от затяжных неудач и печалей. Обе не дурны собой, одеты без излишеств, с аккуратными естественными прическами. Одна — блондинка, другая — шатенка. Первая говорила меньше, если требовалось подтверждение, что она действи—тельно слушает словоохотливую собеседницу, произносила одну—две фразы, упоминала чье—то имя, цитировала строку из привлеченного к разговору произведения, с восторгом вспоминала стихи, заученные в юности. Она была улыбчива, ямочки на щеках часто вздрагивали, меняя очертания, а чис—тые голубые глаза излучали бодрящий свет — все в ней было свежо и радостно: в простоте одежды, естественности пове—дения, в приветливых взглядах на случайные и пустяковые обращения проступала чувственность и душевная доброде—тель. Меженин не мог этого не заметить.

Светланчик, так ее звала наставительная подруга, утром обронила шарфик, легко парил он розовым облачком — Федор изловчился подставить ладони, при этом не без умысла вспомнил птицу из собственной сказки: «Прекрас—ная птица фламинго на память оставила розовый ласковый пух». И проявил мальчишество: нет, не воспользовался по—водом, не побежал услужливо, а поднял на телескопическом удилище к пятому этажу розовое облачко, его приняли про—низанные солнцем ладошки. Ответная благодарность была выражена удивленным взглядом сверху, бархатистым певу—чим голосом: «Вот как бывает странно иногда, обронишь чего—нибудь и покажется, что сердце падает...» Потом вот так же, как сейчас, заскрипело плетеное кресло—качалка, а требовательная устроительница дамских диалогов выска—зала претензию:

— Чем ты, Светлана, там занимаешься, слушать будешь или нет? — Клавдия, видимо, не утратила тон командира студенческого строительного отряда. — Я требую внимания. Наше слово — олово. Уговор дороже денег. Выполняем образовательную программу. Слушай внимательно, будешь вечером на вопросы отвечать. Владимир Ильич сказывал: без книг тяжко. Дидро на все века важную мысль оставил: после хлеба для народа самое важное школа. Забыла? Экономистам интеллектуальная подготовка не помешает. Думаешь, нужда перебросила школьного математика в бухгалтерию и можно не работать над собой. Когда собирались, ты обещала: никаких увлечений, а сама к чему настроена?

Видимо, они условились посвятить свободное время чтению, с помощью литературы вернуть былое студенческое настроение или возобновить учительскую «тягу к знаниям».

— Подожди, я сейчас. Устроюсь, чтобы ноги загорали. — Светлана передвинула кресло, выставила розовые ножки, пошевелила растопыренными пальцами. — Клава, а загорать не запрещается, правда? Я ни к кому не высовываюсь, только пальчики выставляются.

Вот проказница, манипулирует этими пальчиками — привлекает: неудобно снизу вверх поглядеть, а приходится. Меженин, конечно, не удержался, словно сам себе продиктовал под рабочий стук машинки, чтобы можно было услышать этажом выше:

— Не думай, что согрешишь, если облаком прилетишь. Игриво в сонной тиши нежной ножкою помаши.

— Ой! — вскрикнула Светлана. Пальчики исчезли, но тут же легкой тарелкой спланировал на машинку белый берет. Опять реагировать, что ли? Воспользоваться приемом по вагонному анекдоту: пассажир просит попутчицу бросать к нему все, что она будет отстегивать. В студенческие годы при такой ситуации Федор блеснул бы анекдотическим острословием, но сейчас только улыбнулся. Как понимать игривость Светланы? Обронила берет или преднамеренно отправила, чтобы получить в нем ответное послание на удилище? Юношеская забава взрослых в общественном доме под наблюдением неравнодушных сосе-дей не смешна ли?

Известно, посетители публичных домов почитают в женщинах целомудрие и очарование. Но те посетители не могут быть примером для зачерствевшего провинциала, хотя он, как и другие в молодые годы, по мере разумности и воспитания, скрывал в себе полыхающий огонь желания. Знаешь ли ты,

Светлячок игривый, что мужчины и женщины могли бы об-рести свободу, смело перешагивая через соблазнительные сети. Читала ли ты о том, что попадающие в ловушки секса обречены на рабство и муки? Помнишь ли сказанное при этом: без сексуального влечения человек не был бы чело-веком, а превратился в монстра? Конечно, не каждый спо-собен на такое превращение, Меженин продолжал иронично прокручивать мысли: в критические минуты мужчина про-буждается в нас и ведет себя подобающим образом в соот-ветствии с расположением к нему. Что сказать тебе при этом, приняв твою игру с беретом? А почему — игра? Просто разомлевшая женщина повернулась в кресле — беретик сле-тел. Успокойся, старина. «Телескоп» рядом, в предусмотри-тельной готовности. Деликатно возвращаем — принимай, Светик, свой беретик!

Она неспешно приняла возврат и благодарно показа-лась. Обнаженные узкие плечи в солнечном обрамлении, пронизанные светом колыхнулись волосы. Неуловимая улыбка, меняющая форму ямочек на щеках. Всплеск вол-нующей голубизны в глазах. И — томность в голосе:

— Ах, как тепло сегодня, солнце такое ласковое. Давно не была под ласковым солнышком. Даже сердце замирает, будто бы летаю.

— Светка, чего там бубнишь? — Клавдия возмущалась сдержанно, чтобы не тревожить затихающие окрестности. — Такое надо слушать, затаив дыхание, а ты ерзаешь и шеп-чешься. Что с тобой? За этим сюда приехала, тебе это нуж-но? Не торопись, какие твои годы. И выглядишь моложе своих лет — светленькая. Эх, девочка, не шали, старших слушайся. Две неудачи пережила, еще одну хочешь?

— Не приставай напрасно. Чуть что, предполагаешь не-бывалое. Тормоз Вестингауза ты, гири на ногах человеческих, поняла! Ну, слушаю. Повтори коротенько — я пойму, я тол-ковая, кое-что помню еще.

Клавдия пересказала ранее прочитанное: вот приехал барин на охоту, а дождь «заливает собакам чучье», нельзя охотиться, надо переночевать, переехали ночевать в Алексе-евку верст за восемь. При хуторке в нежилом да чистом флигеле скоротали ночь. Проснулся барин, солнце только что встало. Все вокруг блестит. Пошел бродить по саду до пасеки, заглянул в сарайчик, оттуда его по имени-отчеству окликнули, а он сразу и не разглядел лежащую там Лушу, ту самую, которая у матушки в Спасском хороводы водила, за-певалой была — первая красавица во всей дворне, высокая, полная, белая, румяная. А тут лежала, значит, в сарайчике

немощная Лукерья в виде мумии. Давненько по весне такая беда приключилась — помолвленная с кудрявым буфетчиком Василием, с коим слюбились так, что он у ней из головы не выходил, однажды под утро вышла на ласковый призывающий голос да спросонья и оступилась. Такое стряслось с хохотуньей, певуньей, плясуньей, по которой и сам барин шестнадцатилетний вздыхал, — слегла навсегда, стала сохнуть да чахнуть и ногами владеть перестала. Василий потужил, потужил — да и женился на другой, детками обзавелись. А Лукерья горький свой век одинокая доживает. Добрые люди не оставляют. Священник, причащая, сказал ей, что исповедовать нечего, разве в таком состоянии согрешить она может. Она ему однако — про мысленный грех. «Ну, — говорит, а сам смеется, — этот грех не великий».

Клавдия продолжала чтение. Плетеное кресло на балконе ни разу не скрипнуло. Лишь опускались и парили по всему тихому часу печальные книжные слова, восстановленные сочувственным упавшим голосом:

«— Экая я! — проговорила вдруг Лукерья с неожиданной силой и, раскрыв широко глаза, постаралась смигнуть с них слезу. — Не стыдно ли? Давно это со мной не случалось...»

— Остановись, Клавиатура милая. Знаю, оставил барин платочек. Не могу слушать. Там про ласточку было, прочитай про ласточку еще раз.

«— В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. — Клаве это чтение нравилось, быстро она находила запрошенный эпизод, вот и про ласточек нашла. — Уж как же оно было занятно! — Это Луша барину рассказывала. — Одна влетит, к гнездышку припадет, деток накормит — и вон. Глядишь — уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки тотчас — ну пищать да клювы разевать... Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука. Какие вы, господа охотники, злые...»

— Да уж, — Светлана вздохнула. — Нынче найдутся пострашнее господа. И человека подстрелят, детей не пожалеют. Мой тоже охотником был. Затесался среди новых русских прислужником, запретные охоты устраивал. Выпендривался на людях в красном пиджаке.

— У тебя хоть такой был. А я своего Леню три года ждала. В последнем письме велел к свадьбе готовиться.

Приготовилась — жду. Вот уж войска вывели из Афгани-стана. Ласточка по утрам клювом в стекло стучит и стучит — не к добру, свекровь сказала... Через неделю цинковый гроб с окошечком доставили, груз «двести» — все глаза про-гляди, ничего не увидишь.

— Знаю, знаю. Не повторяй. Теперь ждут из Чечни...

— Ой, Светка. Зачитаться бы, забыться, устроить тихий час для души.

— Не горюй, Клавиатура Павловна. Слышала, нижний сосед умные слова говорил о времени ожидания — пре-красно оно и целительно, если надежда не угасла. Помнишь, пока живу — надеюсь.

— Чего еще ждать, разве что внуков. Вот определить бы дочерей, как говорится, вывести в люди. Подросли. Старшую скоро в институт готовить с репетиторами, большие деньги требуются — нынче так срывают. Никого не волнует наша бедность.

— Деньги, деньги, всюду деньги без конца, — пропела Светлана. — Ну их, эти деревянные рубли, заслонили белый свет, без них и жизни будто нет. Мы с тобой, Клава, сами — золото. Послушай, что я тебе прочитаю. «Нечувствитель-ность, безотрадность духовная, неприятности и всякие внут-ренние горести могут равно произойти или от попущения Божия, или от наваждения диавольского, или родиться от самого тебя. Из какого бы источника не происходили оные, сноси их терпеливо, употребляй их в свою пользу, а наипаче не ослабевай и не приходи в уныние».

— Откуда это ты взяла?

— В своем блокноте. Давно выписала, не помню — откуда.

— Может, из дневников Льва Толстого? «Царство Божие внутри вас» вспоминаешь когда-нибудь?

— Не читала.

— А я девчонок думаю просвещать. Сама перечитаю, разберу свои сомнения, в церковь схожу. Надо со священ-ником познакомиться, у него про Льва Николаевича спро-сить: за что церковь гения осуждает, как понимать его заблуждения? Богатый дворянин и знаменитый писатель. А говорят, кризис у него был, даже обдумывал самоубийство, когда еще и пятидесяти лет не исполнилось. Неутомимый работник, а вот...

— Наверно, разочаровался сильно. Все познал и разо-чаровался, — решила Светлана.

— Умные люди пишут, он так хотел убежать от бес-смысленной жизни в высшем обществе, среди всяких интел-лектуалов и эстетов. И прозрел, осенило его, что для познания

естественной жизни надо общаться не в среде исключений, не в среде иждивенцев и паразитов, захребетников разных, а среди простого народа, понять тот смысл, который придают жизни простые трудовые люди. Он прямо писал: «Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обра-тился к нему и к этому смыслу».

— А какой смысл у простого человека? Вот мы про-стые. Какой у меня смысл жизни? За что терплю, ради чего? И то нельзя и это не моги. Ни купить, что хочешь, ни поесть как следует. То тепла нет, то воды, то свет отключат. Дев-чонка из школы пришла — бабушке жалуется: мальчишки шапку надергивают на нос— темноту, значит, делают с кри-ком: «За свет надо платить!» — Светлана не углублялась в размышления, но безучастно отмолчаться тоже не могла — все-таки Клавдия для нее старается, по обоюдному согла-сию просвещает. — Наверно, у каждого человека свой смысл. Но какой?

— Не легко определить, простыми словами выразить. Каждый человек от бога, у него есть душа. Так человек ус-троен: он может сам спасти свою душу или погубить. Лев Николаевич определил, что человек, спасая свою душу, дол-жен жить по-божески, для этого надо отрекаться от вся-ческих утех и соблазнов, трудиться и смиряться, быть добрыми и милостивыми. Доброта спасет мир, помнишь? И непро-тивление злу насилием — помнишь?

— Помню, помню. Геннадий Васильевич говорил. Про Достоевского тоже помню. И нашего Островского. Три пи-сателя — три философии вместе. Красота, Доброта, Любовь.

— Правильно. А в основе всего — любовь. Значит, смысл жизни в ней. Думай, Светлячок.

— Вот как просто и хорошо. Только любовь разная бывает. О чем тебе толкует твой начитанный Станислав? Из-за тебя он сюда примчался.

— Ну, Светка, ты и заноза однако. Ты что, подруга? Без Станислава путевки нам не улыбнулись бы...

— Просто у меня такое настроение. Ладно, извини. Мы о писателях сейчас говорим. Геннадий Васильевич считает писателей необыкновенными людьми, так? Самые умные, мужественные, интересные и чувствительные люди. Трудно с ними, хотя они для всех стараются, каждого хотят понять, от болезней душевных излечить. Мне вот что интересно: не бывает писателей без любви. Не только Пушкин, Тургенев, Толстой, Достоевский...

— Правильно. Не только Тютчев, Некрасов, Блок, Есенин, Маяковский.

— Не только Бунин, Ахматова, Цветаева. Не только твои французы —Флобер, Мопассан, Бальзак, Дрюон, Камю...

— Стоп, стоп. Отдышаться пора, кончаем школярское перечисление. Фамилий, слава богу, много помнится еще. А что у каждого писателя или поэта следует повторно вычитать — не разумеем. Только — любовь. Много книг в одиночестве я прочитала — все подтверждают: без любви душа усыхает, без любви и золото, парча ни к чему. Тебе надо прочесть рассказ Камю «Неверная жена». Там нет неверности в прямом смысле, в нашем понимании. Есть холод, тоска, пустота, бессмысленность жизни, когда рядом любящий только себя. Трудно найти счастье в одиночку. И стыдно быть счастливым одному за счет другого. Может быть, в этой части я неправильно поняла и романы о вопиющем неблагополучии людей, блуждающих без духовных дорог. — Клавдия вздохнула. — Без любви нет смысла, счастья без любви не бывает. Но на страданиях другого трудно вырастить чистое чувство собственного счастья... да и не единоличная собственность оно.

— Пошла строчить, тебя не остановишь: то одно — то другое. Теперь про «Неверную», а вчера — про шведскую «Мужнюю жену». Что это ты на жен ополчилась? Мне хочется в девушках покрасоваться. Вот иду перелеском... Барышня — крестьянка. Лиза — Акулина. Во всех ты, душенька, нарядах хороша. «Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину». До сих пор школьный спектакль вспоминается.

— Помню, помню. Мне роль мисс Жаксон определили, но Лизу хотелось сыграть, потому что считала себя смуглянкой, мечтала красоваться в переменных нарядах, даже с перекрашенными локонами, как в парике, и чтобы талия была перетянута, и чтобы бриллианты сияли на пальцах. Ты сначала Настю хорошо сыграла, потом и Лиза из тебя шикарная получилась...

— Нравилось воображать из себя привлекательную даму. Но Татьяну Ларину и Анну Снегину просто не взлюбила... Теперь женщин мне жаль. Читаю и слезы глотаю. Шолохов страданья Натальи как написал? Аксинью через какие страсти провел? Ох, эта бедовая любовь...

На том и замолчали читательницы. В роще одинокий соловей тенькал и посвистывал чуть слышно — надежда встретить подругу увлекла его в глубину оврага, густо поросшего черемухой.

Через некоторое время спланировал на стол к Межениину еще один самолетик с текстом, отчетливо выведенным, — Светлана спрашивала:

— Неужели не хочется с кем-нибудь поговорить на берегу? Уединенная мудрость не повредит ли здоровью? Разве утомило вас общество надоедливых коллег, теперь наслаждаетесь одиночеством и разговорами с самим собой? Мне кажется, про вас напечатано вот это: «Когда говорит кто непрестанно с другими, тот не имеет времени говорить с самим собою, да и к чему способен в рассуждении спасения своего, и даже в делах временных, такой человек, который никогда не беседует с умом своим?» Простите, больше не буду мешать. Но тихий час кончается. Как времечко летит, промелькнет — не воротишь...

Конечно, она права, каждое мгновение неповторимо. Годы промелькнули в неустроенной жизни вдали от родных мест, от бывших друзей и знакомых. Стремился уехать подальше, забыть обиды, будто бы познавал другой мир. Стоило ли? Везде люди, везде открываешь себя, желая понять других. Многое видел, чувствовал, понимал и наслаждался собственной наблюдательностью, но, теперь оказалось, и в наблюдательном одиночестве не притупилось чувственное познание, сохранился в душе внутренний свет, этот собственный фонарик, замеченный Светланой. Она сказала: «Даже молчание светится. Мы идем словно с фонариком...»

Глава десятая

Можно радоваться свободным денькам, ошибаясь при этом в восприятии близких и дальних событий, забывая, что жизнь человеческая никогда не была легка. И все-таки удавались иногда минуты светлого бездумного странствия, сама весенняя природа позаботилась об этом. Здесь Меженин много уединенно ходил, на прогулках возникали осознования думать, что укрепляются душа и тело. Осознавал, что притуплено восприятие природы, надо восстанавливать остроту его, тонкое общение. Давно фантаст Ефремов напоминал: притупление внимания к природе — это, собственно, остановка развития человека...

Любезный доктор, как Федору казалось, неравнодушная к подопечным дама, после длительных собеседований — откровенных разговоров на житейские темы всячески подбадривала, понимая роль общего тонуса. Она, поглядывая в боковое овальное зеркало на соседнем столе, прихорашивалась мимолетными движениями: поправляла на высокой груди широко разложенный воротник халата, складывала

розочкой губы, легким движением руки взбадривала при-ческу над высоким блестящим лбом. Энергично вставала, чтобы прослушать и прощупать, обстукать теплыми пружи-нистыми руками торс общительного пациента. Заканчивала обследование целительным движением ладоней от плеч до пупка, повторяя при этом главный рецепт: общеукрепляю-щий режим, свободная диета, душ, массаж, не курить, выпивать в меру привычными дозами, петь и танцевать, не слушать по-литиков и восхищаться, удивляться, восторгаться, радоваться. Ничто не заменит, говорила она, прелесть природы и женс-кую красоту, именно умение видеть прекрасное выпрямляет, это по Успенскому, не так ли? И дополнительно — вольные обнаженные свидания каждый день. Что подразумевается под вольными, обнаженными? — конечно, каждый может опре-делить по-своему.

Удивленно смотрел на свежее улыбчивое лицо, не тро-нутое ни единым косметическим штрихом, излучающее ок-руглыми глазами естественный свет понимания и доброжелательности. Она прищурилась и пояснила по по-воду обнаженных свиданий: это — бассейн, вволю купаться, купаться и еще раз купаться. Вместо сочинительства и уто-мительной машинописной долбежки на балконе. Отдыха-ющих немного, возможности позволяют комплектовать две группы особого режима, конечно, с доплатой.

— И для того пришла весна в сии края, — напевно на-путствовала Елизавета Петровна, провожая из кабинета. — Пойдем, любимая моя, березкой полюбуемся. Песня строить и жить помогает. — По коридору шла рядом, на мгновение задержалась перед широкой лестницей с третьего этажа и еще раз посоветовала. — Давайте отдушину груди. Риф-мовки можно выкрикивать. Для того и плакаты сохраняем на тропах. Чаще пойте. В лесу слушайте свой голос. Дав-ние песни полезны нам всегда. Нынешняя эстрадная тара-барщина вредна, слух забивает. Не переслушать свору развлекателей, эту прожорливую саранчу. — Она всплес-нула руками, удивительной частотой шажков пересчитала ступени, улыбчиво оглянулась снизу, поджидая довольного пациента. Он остановился перед ней с благодарностью за внимание. Она это поняла и напомнила. — Важно чув-ствовать время. Ни один день не вернется, не повторится. Неделя на обживание, неделя на расставания да десять дней прекрасной вольной и неповторимой жизни. Появится ли у вас, Федор Борисович, еще такая возможность...

Федор оценил вольные манеры доктора, этот удивитель-ный стиль общения без традиционных предосторожностей и

назиданий, без настойчивого рекламного навязывания дорогих лекарств и кормовых добавок — на такое давление жаловались под люстрой Чижевского пациентки, припи-санные к врачам второго этажа. Совпадение докторских советов с тайными движениями в его душе подталкивало менять образ жизни не только в зоне отдыха. Он решил, что еще не поздно, только сорок пять предстоит отметить осенью. И улыбался над собой, наслаждаясь бегом под гору, подпрыгивал то на одной то на другой ноге по новой извилистой траектории вдоль собственной тайной тропы. Ухватывался за похожие на турник ветви, раскачивался и улетал вперед. Легко вспархивали ритмические рифмовки: если выбрал новый путь, постарайся в ус не дуть; не робеет нынче он — тот, кто девой приглашен; Лиза—Акулина, Светлана—Жозефина, Елена—Аграфена; даже Клава — величава, выступает будто пава; шутка эта плоская — скажет Тороповская...

Отчетливо понималось: собственный барьер преодолеть будет не просто, но придется вопреки нравственным запрещениям, правда, тут пример Юлия Цезаря, переходившего со своими легионами реку, силы духа и уверенности не добавляет — не настало время, не сложилась жизненная ситуация, чтобы воскликнуть с полководческой решительностью: жребий брошен! Пора меняться и менять.

Меженин спешил в этот раз через бывший пионерский лагерь на территорию, обозначенную Еленой Тороповской, просто прогуляться с предвосхищением случайной встречи: мало ли бывает перемен, может, настойчивый редактор не согласился ждать неделю, потребовал ускорить разоблачение повязанных между собой чиновников.

Прогулка другим маршрутом — новые впечатления. Даже детские голоса слышались, хотя было безлюдно. Только краснеющие в траве остатки кирпичных фундаментов да едва заметные очертания отрядных линеек и спортивных площадок с металлическими пенечками спиленных снарядов обозначали былые просторы детской оздоровительной вольницы. Уже кое-где под деревьями выстроены муравейники, а крысы и кроты обозначили подземные старания вулканами. На влажной тропинке безбоязненно отпечатала четкие строчки лиса, способная вызвать на воображаемый разговор, высказать упреки...

— Где ты, Патрикеевна, покажись. Пожелай знакомому удачи.

— Задержалась на даче, покричу — прискачет, — обещала сорока. Но скорое обещание не исполнилось — не появилась призываемая всезнайка. Жива ли она? Убереглась ли

доверчивая? Надеялся на встречу с Патрикеевной — каждый день видел ее возле тропы, впервые не вышла. Всматривался в заросли, даже под кусты заглядывал. Наткнулся на давний плакатный призыв: «Если к нам в друзья придешь, сказку доб-рую найдешь».

Меженин прошелся несколькими тропинками по пер-вому взгорью Тихой заводи, через распахнутые или выло-манные окна и двери видел в комнатах финских ободранных домиков осквернённую мебель, обугленные полы и обру-шенные потолки, в некоторых апартаментах сохранились приметы недавнего пребывания людей — забытые косме-тические флакончики, засохшие букеты. Возможно, и здесь медиум Ин, обещая ирреальность романтичную, устраивал общение юных девиц с миром «духов». По картине разру-шений видно, что не только такой инкассатор возбуждал здесь истеричные крики. Другие оборотни устраивали из-девательство над природой и здоровьем человека, над ес-тественной жизнью. Над трудом и памятью многих людей.

По дальней дорожке напоминанием о былой хваленой деревне, в сказочном стиле выстроенной, сохранились кое-какие приметы — опаленная избушка на курьих ножках, на месте бревенчатых изб светятся осколки стекла, белеют об-ломки деревянных кружев, раздернутые рамы, пнями торчат фундаментные столбы. Весело здесь было, уютно, красиво два-три года назад — вспомнилось свидетельство девушки, идущей сюда легкой устремленной походкой с наивным на-мерением найти виноватых. А ты , думал Федор Борисович, смог бы у себя на родине назвать всех разрушителей?

Всматриваясь вдоль просек обследованной территории, заметил цветное пятнышко, нет, не оранжевое, а блекло-сиреневое. Нацелился к барьерным кустам, думая о сире-невой шляпке с бирюзовым камешком на булавке, решил, что журналистка, разговаривает с кем-нибудь. Но за кус-тами предполагаемой уютной беседки не было, на ее месте — ворох прошлогодних ржавых листьев. Из этих листьев и проглянуло сиреневое пятно — деформированная шляпка. Подобрал, обхлопал — укололся той самой булавкой, опознал и сине-зеленый камушек. Заметались предположения. Пригодился оказавшийся в кармане цветной пакет — рас-правленную находку положил в него, надеясь воспользо-ваться предлогом для непременной встречи.

Ориентируясь на гул техники, перебрался через овраг на другой увал, привлекающий окультуренной березовой рощей. За деревьями синела бетонная стена, оберегающая шикарный оздоровительный комплекс для новых русских,

выстроенный в стиле барокко на месте бывшего народного дома отдыха. Там, за ограждением, работали западные механизмы, поднимающие еще один частный объект с глубокой скважиной для выкачивания по немецкой технологии прибыльной якобы целебной воды, потому и монтируют автоматическую линию спецы дружественной страны — об этом говорила Елена в день знакомства. Встретить бы, спросить о продвижении независимого расследования — пожалел, что не пришел на взгорье в тот же день, когда она разыскивала сторожа. Сейчас найти Фомича?

Соответствующую бдительность проявил страж — из высокой сторожевой будки над бетонным забором, не убирая от глаз нацеленный на Меженина бинокль, маститый парень в камуфляже требовательно окликнул:

— Эй ты, отдыхающий будешь или кто? Стой, говорю!

— Наше дело простое — прогуливаемся.

— Далековато однако от реки. Тяжела дистанция для сердечника.

— Сердце — пламенный мотор. Как говорится, волка ноги кормят.

— Березы доить пришел, соком дамочек балуешь?

— Выбираю. Какие послаще — не подскажешь новичку?

— Здесь нельзя бороздить березняк, иди за шлагбаум. Там анбал Фомич заведует, дашь четвертак — получай разрешение.

Попал в другой мир — повинуйся, веди себя кротко, тут вместо сказочных иные законы. Разъезженной тяжелыми грузовиками просекой прошел с полкилометра до ржавого заграждения, установленного между мощными старыми березами. В избушке, недавно сколоченной из свежего теса, за единственным окном нахально светит электричество и бубнит восхваления всенародно избранному всезнающее радио.

— Есть тут кто? Хозяин, выйди на минутку!

Дверной проем плотно прикрыт могучим торсом — двухметровый детина с высоко поставленной головой при бороде стоит богатырем на страже вверенной территории. К такому страшновато подступить с вопросами, не сразу подберешь слова.

— Ну, заблудился разве, новичок?

— Насчет рыбалки Фомича спросить хочу. Привез на отдых удочку, спиннинг, а места незнакомые.

— К вашим услугам, собственной натурой предстою. — Без начальственной строгости гудящим бочковым голосом улыбчиво отозвался детина. — От скуки, значит, ко

мне добрался. Беседовать хочется. Это можно. По рюмашке за знакомство надо бы.

— К сожалению, не имеется. Не предусмотрел. — Меженин не ожидал такого приема и Фомич иным представлялся. — На прогулку вышел да вот забрел далековато — оглядываюсь, дышу.

— Э, любезный? Ко мне разные люди бывают. Иной будто с луны объявится — не знаешь как устоять на своем посту. — Фомич обгладил бороду в обхват ручищами с обеих сторон, подтолкнул длинноволосые пробитые сединой усы. — Приходится иметь при себе... Товар на всяк случай имеется. Клади четвертак — потолкуем. Фома Фомич буду пред вами. Мы с понятием. Тоже на добро — добром. Располагайтесь вот на скамеечке. Я тут радио неустанно слушаю. Анекдоты разные, фантазерство всякое. Сказали, чукча один надумал в Англии футболистов купить, знаменитую команду, где такие деньги возьмет — этого не раскрыли.

— Не чукча, а новый хозяин Чукотки, вероятно.

— Для чего ему футболисты чужие?

— Говорит, для забавы.

— Какой ловкий забавляться-то. Миллионы народные на свою потеху швыряет и хоть бы что. От каких корней выросток этакий, узнать бы да секреты богатства повысп-росить. Поделись, мол, удачник, с россиянами, отстегни на потехи народные маленько... Не дождаться нам помощи.

Хозяин сторожевой будки, приняв купюру, тут же вели-кодушно отсчитал сдачу, расправил ослабевшие ненадеж-ные бумажки:

— Пятачок будешь должен. Лучше ты мне, чем я — тебе. Побываешь еще. Скука там у курортников, а здесь просторно и весело по вечерам, когда сауну затевают ре-бята. — Оглаживая бородищу тем же приемом, подмиг-нул многозначительно. — Смотрю, бывалый. Уверенный. И рыбешкой увлечен. Давай клюнем коньячку по рюмашке — для разгона крови и за знакомство. Тыквинский у меня, — басил он за стенкой, — по имени местного производителя, на чистослезной воде, при медалях, при акцизных наклей-ках. Надежный, говорят. — Вынес на ярком, хохломской росписи, подносе фигурную, под храм литую, бутыль, конт-рольными шелковыми нитями повязанную, и низкую ва-зочку с шоколадными конфетами.

Вот те на! Любопытный прием. Не отказывайся гость — по опыту знаешь: выпивка подгоняет разговор. Так и полу-чилось. Меженин рассказал чей да откуда, какими бедами живет народ в недальней области, на чем люди держаться.

Фомичу тоже требовался неспешный собеседник — слушатель, даже впервые увиденному человеку объяснил почему при такой комплекции занимает стариковский пост. Происхождением — местный. Сельское производство свернуто, в работу до Глухореченска далеко, а тут вот подвернулось — охранником поставлен с ружьем, чтобы сосняк и березняк не разворовали, новому хозяину вокруг усадьбы отборный лес пригодится. Опять же при своей реке, с детства при ней. Прадедом и дедом тяга эта предписана. Прадед был на Волге грузчиком, товары на суда и обратно в амбары таскал, имел хорошие амбальные деньги. И дед Фома — при баржах табачить мог, ходил, значит, лодкою, баркою на шестах, шест с набалдашником и есть табак, а не тот, что курить предназначен. Да, слово наше, на разные смыслы бывает пригодно. Так отец Фома Фомич говаривал, он матросом был и паромщиком. Сыновьям жизнь мечтал обеспечить, а они поучились маловато, в совхозных рыбаках побыли, но вскоре пришлось разбегаться, один, самый молодой да грамотный, Борисом звать, аж за морем оказался. Старший, приметной комплекции, здесь приклеен извилистыми путями, важность и строгость напускает на себя, хотя по натуре, как и положено справному человеку, имеет доброе расположение души, особенно выпивкой не злоупотребляет, разве хозяева иссросят сколько эта натура унести сможет. И не хочешь да пей. Иногда, конечно, бывает и по желанию. С хорошим человеком почему не побеседовать. Приходил один речистый архангельский мужик, родом волжский, а возрастал после армейской службы там, ближе к Северу. Аркадием звать, веселые истории пересказывал, одну бывальщину даже про Ленина — запомнилась, потому как тоже с рюмкой дело связано.

— Однажды Ильич с доверенным ходил в сад обедать, — Фомич решился передать бывальщину. — Углядел нищего старика у ворот, пригласил за свой стол. Старик есть не торопится, худо ест. Что с тобой, дедко, не унывай, устроим тебя, Ленин говорит. А старик в ответ: ничего не надо, только поднеси простого рюмку. Без рюмки не могу, привычный. Конечно, Ленин посочувствовал, велел подать. Служивые товарищи вознегодовали, мол, плохой будет пример. В другой раз Ленин не спросил рюмку для старика, а тот и есть не стал, ушел так. Те же служивые товарищи пожалели старика: нет, лучше угостить! Ленин и говорит: дошло, поняли, товарищи. Старику восьмой десяток, он с этим умрет. Ему весело с людьми рюмку, а один он больше выпьет. Выходит, определили: не торопись отлучать человека от привычного,

когда поздно меняться ему. — Фомич помедлил, переходя мысленный мостик до другой, более свежей, темы. — Мне один нахальный для испытанья уколоться предлагал. Сам доходяга вихлястый, с трудом ногами землю ловит, а толкует про кайф, еще и девиц своих на развлечение выставляет — только плати. Девицу брать не хочешь? Купи — не пожалеешь, зажигалка фартовая. Все равно ему: зажигалку или русалку — лишь бы продать.

— Красива была? — Меженин думал про зажигалку.

— Девица — то? И не видал, не интересовался. Не пошел, думаю, объегоривает, замышляет аферу молодчик, закружить ловчит. Смотрю, в кулаке мосластом зажато чего — то для устрашения. Не граната ли, думаю. Вдруг обе руки вскинул — вопящий о помощи да и только, как этот с плаката «Помоги» про голодающих Поволжья, такой видывать приходилось. И трясется весь. Кто его знает, что у него на уме. Ружье беру наизготовку. — Фомич передохнул, испуг изобразил — отшатнулся к своему посту. — А он штуковину непонятную бросил — завертелась волчком, огоньком мигнула. Ну, думаю, жахнет сейчас. Ткнулся за деревину. Жду... Пшик — и ничего. Гость этот и сам испугался — отбежал да и кричит из — под горы: «Народ любить надо! Захребетники на его шее чирьем растут». Наутро на том самом месте искалеченная зажигалка нашлась. Можно починить, не сильно повреждена, только колпачок отлетел. Приглядная — не скажешь. А он вернулся — ревет: купи спальный мешок.. овец кормить нечем. Ни к чему мне такая роскошь. Да и поосторожничал. Антихристом показался предводитель овец этих. Мария Макаровна предупреждала: с такими не водись. Она на этот момент ко мне пришла. Мазурик трясучий вскинул дрожащие шатуны и — к ней: «ай, божья мать»... А она крестом ограждается: «сгинь, сгинь, ирод!» — Фомич почесал затылок, кто она, советчица, не пояснил, полагая, что все ее давно знают и знать должны. — Мария умеет словом оберечь по случаю. Не горячись, усмиряет, ибо блаженнее тот, кто мог преступить и не преступил, и зло сотворить и не сотворил... Ай, что тут вытворяли плавуны эти. Насмотрелся — взорвался. Сгоряча в болотину затолкать надо бы мразь такую. Моя бы воля, думаю. А сестра Мария образумила: окрестись, говорит, не бери грех на душу, с такими вязаться опасно, смотри, от безбожного племени они. Что верно, то верно. И другие залетают на шикарных машинах, качки с бицепсами, при крестах показных на золотых цепочках — по моде, а тоже безбожные. Никому о том не говорил, но вам сказать могу. — Фомич оглянулся туда — сюда, приглушил

басистость, на тихий говор перешел. — Третьего дня по-наехала братва. Девицы при них тоже — ужас, какие воль-ные. Встреча одноклассников, значит. Красуются, гордятся друг перед другом: двоечники удачливей отличников, по-пали в струю нахально — верховодят под чиновной кры-шей. Сауна еще не доведена до ума, опробовать поспешили. Разогреть было велено. Деньги дают — под-чиняешься. Предупрежден — не моги артачиться, служба, значит: всем привет и добрые пожелания, угождение в пол-ную меру.

К тому моменту после окрестного гулянья любопытная дамочка набрела на шум, знакомой оказалась, одноклассни-ца этих ребят будто бы — дополнительная радость: угощают, на колени падают перед ней, дурачатся, Еленой прекрасной да премудрой величают, сиреневую шляпу оценили — давай на своих подружек примерять. Оскорбилась одноклассница, выхватила головной убор и — бежать. Догнали, прощения просят за дурачество. Кажется, уговорили — успокоилась. С ними в ночь домой поехала. Молодые, у них нынче особый устав, им все нипочем, быстро и безоглядно решаются.

— Времена такие пошли. Молодые меняются по пер-вому призыву на вседозволенность. — Сказано было для поддержки разговора.

— Не простит господь расхлябанность. — Фома ко-ротко перекрестился. — Не ведают они прегрешения. В кривом мире живут без покаянных молитв. Модность одна нахальная. Эти дурачатся от избытка здоровья и вольно-сти. А другие и того греховней. Проплывали тут безоб-разники с остановкой похабной. При них девицы исколотые, истасканые, чумные. На ночлег тормознулись. Вынудили шуметь, изгонял с территории. Ружьем только и напугал. Силы не боятся, стыда нет. Говорят, навигацию открывать давно пора, вот и открывают. — Он печально глянул в реч-ную сторону. — Не работает нынче Волга, нет грузовых транспортов и пассажирских не видать. Один военный ждет первого парохода, жену хочет встретить — так условились. Выходит, надейся и жди, если терпенья хватит.

Поведение здоровенного мужика, вынужденного сидеть при условном шлагбауме, было странным, не соответствую-щим физическим данным и родовому происхождению. То важничал, то мельтешил, способный цветисто ругнуться тут же уповал на Бога, восторгался разворотливостью новых де-ятелей и осуждал рваческие растащительные порядки, жа-лел поруганную деревню и боялся, что дети в городе потеряют себя. Везде хорошо, где нас нет. Заграницей которые

соблазняются — тоже на беду. Оказывается, он и конкрет—ную беду имел в виду. Брата младшего не зря вспомнил: пострадал братишка там, а лечиться домой выбрался.

— Да—а... Жена у него толковая, тогда стих горевой со—чинила. Не забывается, повторить можно. Перееехал Боря море, там жар—птицу увидал. Полюбил на горе Боря и не—мало пострадал. Утопить его могли бы, пристрелить могли не раз. Он ворочал в шахте глыбы — добывал деньгу для нас. А вернулся из—за моря, чуть живой пришел домой. Вся родня теперя в горе: ухайдакался родной. Походил Борис по круче, ну а жизнь не стала лучше.

Приумолк амбал, выкручивая свои заскорузлые пальцы. И устремлялся прищуренный взгляд на видимую поверх берез серебристую волжскую стремнину.

— По наперсточку еще? Не возражаешь? Если сок бе—резовый нужен — заготовлено, пожалуйста, только бутылки от берез отстегнуть. Сам и отстегнешь, сколь надо неси — для дамочек.

— Ладно. Спасибо. Пакет вот у меня есть, возьму две бутылки. Да, чуть не забыл. Шляпка сиреневая нашлась тут, передать бы надо Елене при случае.

— Побывает она еще, если понравилось. У меня бюро находок. На гвоздок потери вывешиваю.

Глава одиннадцатая

Не заметил с какого дня темно—вишневые ветви берез покрыты легким зеленым дымком. Вчера это произошло или позавчера, ранним утром или поздним вечером — не за—фиксировал, не скажешь утвердительно и точно. Весеннее время течет неравномерно, вообще ход времени каждый человек воспринимает противоречиво: однообразные будни тянутся утомительно, пока мы чего—то ожидаем, а потом оказывается — промелькнули незаметно, потому что ничего не произошло. В памяти остаются дни, наполненные пест—рыми событиями, восторженными, радостными встречами, экстремальными условиями, трагическими происшествиями, может быть, восторгами, даже случайными диалогами, шут—ками, репликами.

Если бы не встретилась Елена Тороповская, если бы не возникло желание осмотреть Тихую Заводь, если бы не вышла на тропу лисица, если бы архангельский Аркадий не торо—пился на праздничной волне, а верхняя светлая соседка не

обронила белый беретик, если бы страдающая в прошлом веке Лукерья не пожалела ласточку, если бы Светлана и Клавдия не утешались чтением... Если бы Меженин не прислушивался, не всматривался, то и не думал бы, что люди нередко вынуждены порывать с обществом, считая его несправедливым, иногда они уходят в одиночество с видом гонимого, обстоятельства вынуждают их терять себя до такой крайней степени, чтобы ни у кого не вызывать зависти, настороженности или подозрения. Если бы сосредоточенное и болезненное молчание Левы здесь на берегу не воспринималось как обезличенность, ставшая защитной оболочкой, за которой спрятана трагедия, не вспомнилась бы рассеянная чернобыльская беда. Если бы не странное ораторское поведение чтеца, сумевшего словом остепенить вольную публику в клубе. Если бы не упоминание лодки для двоих. Если бы не костер знакомств, не каламбуры, танцы и песни на поляне. Если бы не эта сиреневая шляпка с привлекательной булавкой, оставленная у Фомича для возможного востребования. Если бы не разговоры с доктором, не откровения под люстрой Чижевского... Чем бы тогда запомнились и волновали первые курортные дни Федора Меженина? Ходил бы с видом обиженного и гонимого? Сосредотачивался на самоконтроле внешних и внутренних движений, пытался философски постигать явления в глубинной сущности, не вызывая на себя внимание из внешнего мира и не давая повода для вопросов, улыбок, игривых посланий, приглашений и просьб.

Не утрачена еще способность слышать весеннее токи в себе и в других, происходит высвобождение из многослойного панциря привычек, обязанностей, служебных условностей. И всякая малость, в диапазоне от лесных шорохов до гула моторов, от комариной толчеи до танцев с дикарской раскованностью, казалась необычной. Давно не наслаждался таким чувствительным восприятием, такой жизненной причастностью ко всему, естественно окружающему. Узнанное, испытанное, пережитое ранее возвращалось в новом освещении, приобретало другой содержательный смысл. Сам себя видел и осознавал иначе. Так бывало в юности после удачной охоты или рыбалки.

Теперь иронизировал над собой: прибыл охотник этакий, рыболов с телескопическим удилищем. Хмыкал, перелистывая плотно исписанные страницы блокнота. Если бы седой интеллигент, на причале поджидающий с низовьев свою одумавшуюся в долгой разлуке жену, не предложил пробовать вкус весны и не угостил березовым соком, не попал

бы под строгую придирчивость двух дам партийного стиля. Они кричали издалека: «Там на самой белоствольной бе-резе наша двухлитровая бутылка привязана — не трогать, слышите!» Возле той белоствольной березы невольно ос-тановился. Плачет она, по искусно сделанным надрезам со-бираются слезы желтеющие, а «вздымщицы» под хмельком орут: «Поила меня березовым соком...».

Тогда против закатной зари была видна комариная тол-котня — к теплу. Так и сказал Николай Иванович:

— Нынче очень рано комары толкут овес — раннее тепло обещают. Вот видите, и я начинаю разговор с погоды, будто больше и говорить не о чем, будто нет ни забот, ни тревог, — продолжал он, задавая направление прогулочного хода к берегу. — Вспоминаю первую нашу беседу. Откровенность такая накатилась под лунным светом. На душе полегчало. А ваше настроение, смотрю, тоже меняется к лучшему.

— Акклиматизировался. Привычный. Командировки частые научили обживаться быстро, — признался Меже-нин. — Природа подкрепляет, весна бодрит, общество жиз-нерадостное, — банально продолжал он, понимая что Николай не нуждается в объяснениях. — Процедур у меня немного, особых проблем со здоровьем не обнаружено. Читаю себе в удовольствие, хожу по лесным тропам, чувствую себя сво-бодным.

— Это хорошо, каникулы телу и душе необходимы. Мой режим тоже так складывается. Без телевизора обхожусь — и человеком себя чувствую. Зимними вечерами, словно чучело приклеенное, в политику вникал. — Николай покачнулся вперед, выпучив глаза, изобразил тупое внимание и рассмеялся, будто что-то очень смешное выглядел. — За несколько лет на за-ставе привык устанавливать связь с миром. Теперь, думаю, жена приедет к военному безработному пенсионеру, спросит ласковым голоском: чем занимался без меня? Спохватился, разбазаренное время пожалел и вырубил ящик разруши-тельный. Давай читать и читать. Оказывается, есть смысл жизни не тот, каким себя на службе обнадеживал. К своей душе прислушаться учит русская литература. Чувство правды и красоты дает она. Читая — работаешь умом и сердцем. Невозможно не вспоминать себя в отношениях с людьми дав-них лет, которых не встречал. Те люди творческим вообра-жением созданы, а к судьбе каждого оказываешься причастен. И самого писателя иногда жалеешь: какую ношу человек на себя берет! А ему еще и не верят, подкопы — под него, кле-вету подлую накручивают. Чем талантливее русский художник, тем больше коварства против него. Почему так повелось?

В разговоре без определенного ориентира бродили вокруг раскуроченной пионерской территории. Заслышав отдаленные звуки, определяли от чего они происходят. Может быть, трубили прирученные лоси на заречной звероферме и выли вокруг них выжидающие волки. Несколько раз повторялся нарастающий гул — эхо раскатывало браконьерские дуплетные выстрелы. Проносились всполошенные утиные стаи. Предупредительно и сердито трещали сороки, порхая над ближними кустами, — наверно, лису в устрашении держали. На береговой тропке появился лесовик — человек в ярком пестром одеянии, похожий на попугая, он уходил по своему маршруту, но походка его была суетливая, игриво украшаемая частыми стуками липовой трости по асфальту, словно разгадывал шифровку. И голова не покрыта, над ушами нимбом торчат кучерявые седые волосы. Сороки с криками вылетели сопровождать его. Казалось, они норовят клевать дразнящую лысину — наказать готовы за непослушание.

С обрыва против пионерской территории с тяжелым уханьем упало подмытое или подпиленное дерево — вчера там надрывно урчала бензопила, тюкали топоры, матерились молодые люди., черно дымил костер.

Собеседники не посмели продвигаться дальше, вернулись к причалу — к месту знакомства, сели на сооруженную Николаем скамью.

— Затем приют изгадить надо, что в нем свежо и чисто, — сказал он.

— Уничтожайте сад, красоту, поэзию ради утверждения собственной пошлости и дури. — Меженин признался, что здесь, в зоне отдыха, возвратилась к нему школьная привычка разговаривать вслух — бывало на лесной дороге от села до своей деревни читал стихи, мурлыкал бравые мотивы, горланил песню о трех танкистах под хмурыми тучами на границе...

— Тоже иногда в одиночестве разговариваю и не узнаю свой голос. Суховато слова произносятся и ком в горле встает. Будто виноватый перед кем. И женские голоса хрипловатые слышатся. Перечитываю сейчас военную часть «Тихого Дона» и себя в каждый напряженный момент встраиваю ощутимо. — Николай размял сигарету, приготовил спичку, но прикуривать не стал. — Говорят, вы решительно бросили курить. Похвально... Так вот, читаю другим пониманием. Не военные эпизоды царапают в первую очередь, хотя и они, конечно, по памяти прицельно бьют. И новый смысл в образах созданных открывается. Что они

содержанием своим говорят при новом чтении — вот за-ковыристые вопросы. Людей жаль, в борениях невыноси-мых мучаются. Наталью и Григория взять. Страдают друг перед другом, а разговор ведут напрямую. Наталья просит, чтобы он ей зубы не заговаривал. Напаскудничал, обвино-ватился и теперь на войну беду сворачиваешь, говорит она. И жалеет, что тогда не до смерти зарезалась. И не могла она руки на себя наложить, потому как верует, но в пору атеизма напрямую это в образе не прописано. А Григорий, командир этот, и говорит ей: я тебе не утешник, так об чужую кровь измазался, что и жали ни к чему не осталось... Война все из него вычерпала, сам себе страшный стал, в душу глянь, а там чернота, как в пустом колодце. Перед угрозой войны с фа-шизмом такой ли герой нужен был? И тут вопрос по за-мыслам Шолохова. Какой род сохранится и стоять на защите Отечества должен — вот мысль. Чутко написано — не за-бывается. К себе прикладываю — отчаянье берет. Тоже войну повидал особенную, недавнюю. На пенсию списан — а тяжесть в душе ношу. Но востребуют — пойду вновь!

За спинами прошуршал семенящей походкой лесовик, остановился любоваться на мелкие чешуйчатые волны, бе-гущие по фарватеру, к правому уху ладонь короткопалую ребром приставил, словно выслушивает шепот ветерка. Ви-димо, ничего приятного не услыхал. Постоял, покачивая пле-чиками, на солнышко глянул и снова засеменил неподалеку от собеседников туда, откуда явился. Странное передвиже-ние и прислушивание Меженин заприметил в первый день даже с сочувствием: смена обстановки беспокоит, осматри-вается, обживается щепетильный человек, затрудняется в вы-боре новых знакомых, не решается подойти — пригласить бы надо.

— Потрясающее произведение, сильно мозги промы-вает. — Николай оглянулся на проходящего — лесовик мелькал тут челноком. — Михаил Александрович создал раздумье великое о нашем веке. — Не про нас писано да при нас читано. И в следующем веке кто-то скажет, что при нем читано. А ведь перечеркнуть помышляли, находились деятели.

Из чего прорастают на Руси толмачи такие, а? Волю на себя берут безнаказанно, творят и творят. Опосля, через многие годы, правда всплывает и — ничего, опять наслед-ники действуют, судьбы коверкают.

— Осквернить, унизить, растоптать, предать забвению, чтобы русским духом и не пахло. Оклеветать, объявить врагом народа. Тупая ненависть, изощренный цинизм преследуют

редкий дар — так в двадцатые годы действовали Блюм, Авербах, Родов, Лелевич и прочие. Довели Булгакова, он сжег рукопись романа. А Есенин, а представители крестьянского крыла русской культуры... В лапы боевой рапповской дружины попал и молодой Шолохов с первыми книгами. На пути «Тихого Дона» воздвигались бесовские плотины. До сих пор эрудиты, считающие себя христианами, самым радостным днем в своей жизни называют день смерти Шолохова.

— Невозможно не вспоминать авторские страдания, когда читаешь роман. Ослепленные наследники Сальери сразу насторожились как только Ягода сказал Шолохову: «Ты все же контрик, ближе белым, чем нам». Лет пять назад я читал об этом в журнале. Авербах объявил роман чуждым и враждебным. Возникло дело о плагиате. Так пошло: примерно через каждые двадцать лет — новые расследования, экспертизы. Зарубежные ученые представляют доказательства. Доморощенные уценители не унимаются. Может, унижая великих, тешат себя надеждой выглядеть позначительней, вписаться в историю России вместо русских гениев.

— Бесовщина сожрать гениальное не в состоянии. Объемный рукописный текст найден. Подтвердилось: великая книга — правдивый путь к истине через страдания и самого автора. Не уходит в прошлое пережитое. А приходится иногда говорить о чем угодно, утаивая при себе самое главное. — Межанин тоже волновался.

— Они играли новую жизнь. Ощущение полной раскованности и свободы пьянит. Передохнули — снова за игру. Вот беда—напасть. Сколько всего перетерпел Шолохов? А понять его так и не удосужились: почему, по каким тайным соображениям раскладывал он судьбы своих героев? Какое влияние тут сам Сталин имел, почему поддержал премией? Невозможно не вспоминать, не думать, не перечитывать заново. Наследники Сальери расползлись широко, действуют явно и тайно. Только попадись под заботливое внимание. В областных центрах даже был запрет на слово русский, скажи предложение патриотическое — в свою периодику не пустят.

— Думающий — объект подозрения. Все соответственно зачтется. Изводить они умеют. — С этими словами Межанин оглянулся и пригласил суетливого пестрого лесовика. — Вы устали, наверно, скамья требуется. Садитесь. Не тесно будет. Хорошо здесь пригревает.

— Благодарствую. Погода нынче замечательная, ветерок, правда, потягивает, но не сильный и тепленький, ласкательный такой. — Чистый женственный голос струил вступительную скороговорку. — Завидую, а не смею мешать любопытной

беседе. Разговоры ваши серьезные. Такие переживания, граждане, сильно вредят. Берегите свое сердце, товарищи дорогие. Не надо в прошлом копаться. В стране провозглашено примирение и согласие. Я вот хожу около, сочувственно оберечь хочу. Советовать нынче опасно, слова подобрать затрудняюсь, не зная к какому сословью вас причислить. Осторожничал, а теперь, вижу, сказать можно просто — вопрос и будет советом. Вам это надо, мужики?

— Не получается, понимаете, без печали узнавать горькую правду. — Николай Иванович придвинулся к Меженину плотнее, прикосновением плеча обозначил сходство взглядов на историю. — Садитесь, пожалуйста. Мы с Федором Борисовичем говорим о судьбе Шолохова, а думы широко разбегаются. Выходит, в трагическом настроении его отразилась эпоха спровоцированного гражданского раскола.

— Позвольте спросить: ну и что теперь? — деликатный голос прозвучал сдавленно — лесовик не без усилий устраивался на высокой скамье, опираясь на липовую трость, подставлял ее то с одной то с другой стороны, аккуратно подобрал полы клетчатого пальто, чтобы накрыть колени. — Склонен считать гражданскую войну закономерностью. Страдания, разрушения неизбежны.

— Автор пророческого романа вызывал раздражение властей пониманием затяжного противостояния. — Николай Иванович теперь говорил медленно, тщательно подбирая слова, словно осторожничал. — Было его письмо в ЦК о запретных темах из нашего национального прошлого, о спасении русской культуры. Было да под сукном залежалось. Давно ли, кажется, каких-то двадцать лет назад. А уже — история.

— Э, любезный, вы начитались. Я сам такой. Позвольте, представлюсь. Юрий Львович, бывший историк, отчасти философ. Так сказать, наука освещает нам опыты быстротекущей жизни. — Он с помощью трости уселся поудобнее, сцепил короткие пухлые пальцы. — Идеология обманывает народ и даже гениев. Она в сущности — игра властолюбцев. Они не умеют себя приложить к простой естественной жизни большинства.

— Вы заметили, пошла игра в новые законы общения, но люди по инерции подчиняются старым. — Меженин без особого желания обозначил свое участие в разговоре. — Человек меняется медленно, если вообще он способен меняться по сути, изменять своему предназначению.

— Именно так! — Философ энергично вздернул бородку, выглядывая из-за высокого плеча Николая Ивановича, качнул

всклокоченными обрывками нимба. — Низы не меняются — осознание не пришло. Несвоевременность предложенного. Противоречия вновь обострились — к удовольствию определенных сил, давно ждущих своего часа. И что же? Глобальная общественная деформация, эпохальные перемены. Но появится ли другой Шолохов, чтобы художественно исследовать специфическую революционную ситуацию? Чем заняты сейчас инженеры человеческих душ? Какую книгу можно брать без боязни испачкаться пошлостью? Которую из тех, что разрекламированы и обласканы премиями, предложите своим детям? Каков нынче социальный заказ? В состоянии мы его определить, дорогие товарищи, идущие верной дорогой сомнений, поиска истины, правды и красоты? Не заняться ли нам самообразованием, не вернуться ли к субъективной диалектике по Кьеркегору, к заботам о личности, проходящей три стадии на пути к богу. Помнится необходимость эстетической, этической и религиозной стадий. Сочинение у него было «Страх и трепет». А новые идеологи из бывших коммунистов ментально преобразились. Уже и в храмах стоят, крестятся, лобызаются, целуются к месту и не к месту. Такая грехов-ная метаморфоза. — Он заговорщически подмигнул собеседникам и сдавленно похихикал. — Будем продолжать? Ни кухонные дискуссии, ни ученые статьи, ни случайные разговоры в поезде или вот так на берегу сознание не очищают. Народ безмолвствует — простите, бездумно молчит. Пообещай пособие на ребенка, подкинь хитрую добавку к пенсии — затихает в напряженном ожидании новостей перед телевизором, а там смакуют мерзость отношений между людьми. Щупает осчастливленный заботой жилец размороженные батареи, при свечах сидит строитель электростанций, на тарифы пузыристые любуется, на дотации надеется...

Ощущение раскованности окрыляло бывшего историка, звонкий голос струил нескончаемый монолог. Ироничное возмущение кипело, выплескивалось и распылялось беспо-лезно. Если бы не явился веселый Аркадий Федотов, трудно было деликатным терпением давать увлеченному человеку возможность выговориться.

— Самодостаточно игривые наши избранники твердят: переиграть ничего невозможно. — Довольный легкостью на душе, радостный и просветленный подошел Федотов, смело прервал затяжной разговор — каламбуры даются легко. — А вина в продаже хоть залейся. И цена ему — не молоку. Привезу цветочки эдельвейса, приглашу девчонок за реку.

— Да будет вам известно, эдельвейсы здесь не растут! — профессор акцентировал свое недовольство. — Или бес-печному празднословию и это знать не хочется, лишь бы в рифму подошло. Впрочем, врачи рекомендуют тары-бары разводить, рифмой празднословье городить.

— Игривой рифмой, словно сеяньем грибного дождичка, душу обласкаешь да проблем житейских не решить, — Ар-кадий смягчил интонацию. — Себя тешим собеседованием по поводу и без повода на радость головотяпам. Эстрадных весельчаков поощряем хохотом над собой, а те за улыбки награды высокие получают. Думать больше не о чем, только о пороках бытовых печаль? Салтыкова-Щедрина как не вспомнить. Князь у него говорил головотяпам, отсылая до-мой с наказом: «И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать; прочих же всех — казнить».

— Нас развратило самовластье. Ты это хотел сказать, Аркадий? — спросил тихий созерцатель Меженин.

— Каждый знает, кого и что надо иметь в виду. Голово-тяпское затяжное самовластье. И самодурство — тоже. Те-перь наловчились переписывать прошлое. Развенчали подвиги, победы, героизм и жертвенность, и совесть, и не-стяжание, и преданность. Вычитал в польском журнале: ки-тайцы создали двадцатисерийный телефильм по роману «Как закалялась сталь». А наши информаторы умолчали эту уди-вительную весть, два-три бойких издания сообщили как о курьезе, посочувствовав жителям Поднебесной: пичкают, дес-кать, пудрят мозги отжившей пропагандой.

— Одна неправда нам в убыток. Одна ли? Потоки лжи бурлят, — философ возвысил голос, нахмурился, но волосенки еще сильнее вздыбились — ветер не решался их шевель-нуть. — А рабство — вот оно.

— Мир наш полон чудес... и новых развлекательных сюжетов. Твори, сочиняй! Но утыкается перо, не хочет сколь-зить. Молчим однако. — Аркадий глянул вопросительно на Федора. — А давно ли нас учили: твоя роль, если способен неравнодушно воспринимать жизнь, состоит в том, чтобы вдохновенно запечатлеть прекрасные минуты, вызвать у чи-тателя желание испытать нечто подобное в стремлении стать лучше, добрее, внимательнее к страданиям других. И нельзя отнимать у человека надежду.

— По большому счету так должно быть в человечестве. Спиноза советовал: лучше говорить человеку о его свободе,

чем о его рабстве. — Философ опять возвышал свой голос. — Вот объявили демократию и запели глашатаи свободы по своему разумению: все ужасно и черно было в нашей стране, права отняты, чувства задушены идеологией. А теперь хорошо — ни руля, ни ветрил. Люди теряют все, что создавали для детей и внуков.

— Трудности вхождения в цивилизованный мир по западным ориентирам. — Николай Иванович не оставался безучастным. — Цитатой воспользуюсь: «Я обменял бы все счастье Запада на русский лад быть печальным...»

— Это Фридрих Ницше, — оживленно подхватил философ. — Устрашающий, обруганный Ницше. Раньше только и знали о нем как о жестоком антихристе и моралисте. Говорю это с чувством стыда и за собственное невежество. В свое время не был допущен к прочтению «лирики познания».

— Но сейчас идет другая драма. И на этот раз меня уволь. — Аркадию хотелось поставить точку.

Глава двенадцатая

Возвращались к вечернему столу — ужин в отличие от завтрака и полдника собирает почти всех отдыхающих. За день раздражается аппетит, приходит физическая усталость. Разговоры утихают, походка обретает плавность. В сквере перед входом в главный корпус временная остановка для согласования вечерних намерений, здесь предусмотрительно задерживаются ожидающие особого внимания. Группы и пары в основном определились, не уютно лишь тем, кто не примкнул, не познакомился, не увлекся, не влюбился. Такие даже подышать не задержались и в этот вечер. Среди приостановленных не было Светланы, Клавдии, других привлекательных активисток, обычно возле них толпятся не только любознательные охотники слушать книжные истории. Вертится, снует меж кустов и стреляет ищущими глазами шустрый мужичок в семафорном желтом костюме, размахивает фотоаппаратом:

— Чтобы тело и душа были молоды, — напевает он. — Не гуляй по городу, не купайся с голоду, если надо прыгнуть в рай — здесь партнера выбирай.

— Господи, да что это такое? И тут как везде: то свет отключат, то трубы прорвет. Срок меньше месяца, а нет

нормального житья! — взвивается женское возмущение, об-ращенное в бесконечность.

— Глядите, предупреждают: по техническим причинам водные процедуры в понедельник отменяются.

— То лангет картофельным рагу заменят, то вместо за-казанной курицы отварной хек подадут. И вместо хека об-манка — размазня манка.

— Беспредельное время. Власть старается: добро на зло меняется. Ветер поверху шумит, в коробках денежка зве-нит. Наш народ разинул рот и еще чего-то ждет. Видно, люди, по всему: не надо верить никому.

— Мне опять прислали факс — высоко взлетает бакс, — блистает эрудицией ко всему готовый желтый пиджачок с цветочком в петлице. — Над печалью этих дней постарайся быть умней. Не сделаешь так: дело твое табак. Неужели природа не манит сделать фото на память? Ни о чем не беспокойся, выходи и стройся. Вставай смелей, красавица, с тем, кто сильно нравится.

Отдыхающий народ толпится возле доски объявлений. Одни мрачнеют молча, другие, шумно возмущаясь, подлива-ют масла в огонь: требовать надо — нынче права на это даны, пусть снижают цены путевок и возвращают разницу по стоимости обещанных, но не обеспеченных услуг.

— Давай, давай! Слово за слово, кулаком — по столу. Один — красное словцо, другой — крепкое, один — в хвост, другой — в гриву. Попался на язык — быть бы живу! — скорого-воркой сыплет желтый пиджачок. — Коль дело наше та-бак—поступим сначала так. Встаем наизготовку, объявляем забастовку. Шлем начальникам привет, ждем вразумитель-ный ответ. Как подсказывает опыт, прилагаем к делу фото. Становись за рядом ряд и получится отряд. А писатель впе-реди, словно орден на груди. — И к Федотову подбегает с таким же красноречием. — Вы сейчас понять должны, что народу вы нужны. Дамы очень просят вас сняться с ними про запас. Мало ль где когда-нибудь придется снимком ко-зырнуть. — Он размахивает кинокамерой и фотоаппаратом. — Подходи ко мне честной народ — господин согласие дает. Скорей, дамочки, на поляночку. Тут стою я не один, со мной известный господин.

— Уймись, холоп! — Аркадий сказал тихо, но с увесис-тым содержанием.

— Правда, можно? Сколько это стоит? Когда снимки будут готовы? И кино покажете? — спрашивают наивно заинтересованные дамочки, прихорашиваясь, гуртом идут от крыльца. А Федотов — им навстречу. — Куда же вы? —

спрашивают они. — Не гордитесь. Лев Толстой с крестьянками фотографировался. Антон Чехов деревенских лечил...

— Алеша Пешков в молодости под лодкой с девушкой ночевал — забыли как это было? — Аркадий размахнул руки, в шутливой покорности повернулся и подхватил первых встречных. — Эх, какие наши годы! Надо быть всегда с народом. — Ловко оказался в центре компании.

— Федор Борисович, вставайте с нами, — позвала Светлана. — Идите скорей сюда. — Она пригласила во второй ряд, будто знает давно, что он с детства не умеет высовываться. — Ой, простите, вот сюда, с этой стороны, Клавы нет, а то красно-коричневый опять прилипнет.

— Рома, Ромочка, Роман, тебя здесь не хватает нам. Садись вот между нами! — женщины выражают согласованный интерес к особо обеспеченному владельцу шикарной машины. Но уверенный в себе молодчик, покачивая плечами, вальяжность изображает, с крутыми поворотами продвигается по выгодной траектории. Длиннополый белый пиджак превращается в крылья.

— Точно, красно-коричневый! — Светлана будто бы только сейчас его разглядела, будто не помнит первый танцевальный вечер.

— Почему красно-коричневый, он и на танцах был в белом. И в столовой. — Меженин успел сказать ей на ухо через марево нежных локонов.

— Все равно таким остался. Красно-коричневый — и все. — Видимо, знает она нечто, позволяющее так называть ровесника из Костромы. — И сюда сначала приехал в красном пиджаке, потом вышел в коричневом, Клава так его назвала — тут же переоделся. Говорит, золоченый пиджак есть для торжественных случаев. — Светлана прерывистым дыханием коснулась щеки Федора и теплая волна прошла у него в груди. — Ваша рука теплая очень, а мне холодно, даже ноги дрожат.

Меженин заметил: что она вздрагивает и с трудом, словно перехватывает дыхание, произносит едва слышимые слова. Плотнее приклонил к себе...

Рома некоторое время стоит в отдалении, оценивая композицию, в которую должен вписаться. Женщины с готовностью уступить место теснятся, перетасовываются, а он выжидает, игриво перекладывая из ладони в ладонь маленький блестящий фотоаппарат.

— Коллега, ваше мнение по поводу освещенности? — спрашивает желтенький пиджачок, скрывая свое винно-пунцовое лицо кинокамерой.

— Я жду наплыв той облачной вуали — для смягченья несущественных деталей. — Роман тоже изображает профессионала. — Чтоб умно поймать мгновенье, треба дели-катное терпенье.

— Да ну вас, утомили. Ромашка, ты меня звал? — Точе-ная фигурка в легком коротком сарафанчике суетится под общим придирчивым наблюдением — ей так надо, она из новеньких, с первого кадра все вокруг нее вертится.

— Сумрак прежней жизни кончился, романтическая беспечность властвует над нами. — Это Аркадий опять обо-значил готовность в любой разговор внести свои коррек-тивы. — Средь целомудренной природы пролетают наши годы, а годы эти из мгновений состоят...

— Снимайте же, а то солнце спрячется! — нетерпе-ливая девушка вскочила с облюбованного места, огляды-вая небеса, демонстрирует осиную фигуру и неотразимую повелительность.

— Быть девственницей — еще не значит быть яснови-дящей. — Роман повторил арсенальную фразу, видимо, она выручает его в любых ситуациях. И успел взмахнуть фото-аппаратом. — Хорош, милочка в кадре. Сливки общества и я — рядом с вами, властвуйте над нами, но помните: власть — самая заразная болезнь. Тик-так да хлоп здесь — и луч-ший снимок есть. А для куража — сниму на пляже.

— И началась дорога к счастью, — неожиданно выс-казался Меженин. Он будто с позиции фотографа рас-сматривал группу людей, случайно оказавшихся вместе, среди них смутно угадывал собственное неузнаваемое лицо, а Светлана виделась свежо и отчетливо, погода способ-ствовала тому, чтобы ей было хорошо на солнечном взго-рье среди нежно-зеленых берез рядышком с тем, кого заботливо пригласила.

— Зыбкая разновидность счастья — любовь. — Аркадий оставался в центре при своей роли в этом коротком спектак-ле. — Курортный роман — не обман, а короткий счастливый туман, который даруется нам. Если встреча такая — пустяк, значит дело твое — табак. Были бы деньги да была бы долгая жизнь. И понесут скакуны — только держись!

— А я еще хочу, — капризным голоском говорит точе-ная фигурка. Роман подскакивает к ней, обхватывает оси-ную талию. — Кто ты — тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Не зря мы встретились с тобой, теперь пойдем своей тропой. — Он действительно увлекает ее из компании, вы-жидающей информации от желтого пиджачка: когда и где покажет снимки.

— Нет, Рома, подожди. С народом интересно: я и они, понимаешь, тетки эти, — шумно шепчет она. — Прекрасное познается в сравнении. Ты сам говорил: прелестница моя. Сравнивай. Я с писателем хочу фоткаться! — она резанула слух изобретенным словцом.

А Федотов соответственно оценил ситуацию, чувствуя мимоходное оскорбление дам, слетающее с вишневых губ прелестницы, просит фотографа:

— Маэстро, кадр по спецзаказу. Еще фото на память. Ко мне, чудное явленье! — он широким жестом приглашает разрушительницу порядка.

— На колени можно? — фигурка ввинчивается в первый тесный ряд. Основательно занятые места вдруг оказываются свободными — публика редеет.

— Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь ты у меня.

Возбужденье утихает, будто никто не находит рифмованных слов, поддерживающих формально бодрое настроение.

— Не с тобой, почему не с тобой я вошла в голубую от солнца аллею, — пропела оса. — Вы умный, веселый, сильный и загадочный мужчина. Мы с вами встречались, не помните? Вы меня Лялечкой величали.

— Кажется, припоминаю. Но речь была о Фенечке.

— В автобусе утром пел: «Дорогая Фенечка, потерпи маленечко. Буду песни петь, не буду пить, на руках тебя хочу носить». И про меня: «Лялечка лозинкою качнулась и все во мне тотчас проснулось».

— Извините. Не помню, не моя мелодия.

Расфранченная публика с терпеливым достоинством ожидала ценных указаний фотографа: были еще желающие фотографироваться парами. Светлана и Меженин естественно уединились не для памятного кадра, тихой аллеей спустились к затону и долго глядели на едва заметную рябь.

— Вчера скучала, даже плакать хотелось. Клава уехала в город, я осталась одна, читала Клавину книгу — роман «Виктория», писатель из Норвегии. В конце романа такое прощальное письмо любимому. Он был увлеченный сочинитель, мастер придумывать всякие истории, писал, наверное, хорошие и очень красивые, умные вещи. Но не понимал, не знал ее чувств или притворялся, делал вид, что ни о чем не догадывается, не хотел домашних сложностей для нее, потому что сын мельника не имел права на дочку из Замка, а она измучилась. Перед смертью написала: « Когда вы будете читать это письмо, меня уже не будет в живых». Виктория

заболела от любви: выдана за одного, но любила другого, а Юханнес этот... И он, конечно, не виноват, так получилось. Чувствовали друг друга без слов, а потерялись. Годы шли, шли и прошли.

Над берегом канючил чибис, залетный от былых полей. Светлана обернулась — ей послышался в птичьем крике плач ребенка.

— Годы не дают мудрости, кроме старости годы не дают ничего. Это Кнут Гамсун, он изображал фатальную обреченность сильного чувства при сословном неравенстве. — Меженин, желая нарушить печальное молчание, хотел сравнить два романа «Пан» и «Виктория», но не сумел сказать, что ему нравятся разные аккорды в изображении любви: опьяненное страстью весеннее брожение в крови и целомудренное благоухание нежности.

— С вами везде интересно. Хорошо очень молчать. Даже сердцу уютно. Ой, да что я говорю... не знаю почему. Не знаю вас, Федор Борисович, если бы не пятый этаж... Кто вы, что было у вас всегда, какая была другая весна...А думаю и думаю. Всего несколько дней... Ничего не объяснить, ничего не понимаю. — Она прижимала руки к груди, стягивала широко распахнутую кофточку, словно сдерживала высокое шумное дыхание. — Никогда так не волновалась. Печалюсь, жалею утраченные годы. Такая жизнь, себе изменяешь. Клава говорит, жизнь меняется и нам меняться надо. А как еще меняться? Меняйся, но себе не изменяй. Говорит, если дело табак, буксир вызывать надо. Ей хорошо, у нее покровитель порядочный, этот и вторую семью выстащит. — Она зарделась, склонила голову, чтобы волосами прикрыть смущение. Он качнулся, подставил ей плечо, уткнувшись, она продолжала. —Чайки все кричат и кричат. И мне вчера вот так же хотелось кричать. Норвежку эту, Викторию, жаль... и себя жаль... И детей, которых нет, а быть могли. Мечтала стать многодетной матерью. В школе нравилось, с детьми у меня хорошо получалось на уроках, пример Геннадия Васильевича помогал. Но школе пришлось изменить — зарплаты не хватало. Бурлачкой бреду по жизни, на другой берег надо бы... А последний табак вот-вот вымокнет. — И вдруг она рассмеялась — неподходящий получился смех. — Как это я сказала... бурлачка. Смешно, а вы не смеетесь. Какой молчальник. Другие тараторят, за словами прячутся, а вас и не слышно. Ой, бурлачка я, бурлачка. Что сказала-то... Это Геннадий Васильевич нам объяснял как понимать «дело табак». Давно еще бурлаки водили баржи по нашей Волге, иногда надо было переходить

устье притока, а притоки тоже глубокие бывают, вода под самый подбородок подбирается — это плохо, просто беда, разорение, — интересно заговорила Светлана по рассказу учителя. — У бурлаков на шее под самым подбородком кисет привязан, а в нем табак с бумагой для самокруток и весь скудный заработок в ассигнациях. Как дальше вброд по глубине пробираться, когда вода под табак — вот так, под горло. — Она высоко подняла голову, розовой ладошкой провела по нежной белизне на шее, в ямочке на груди взблеснул мельхиоровый крестик. — Высылай, хозяин, лодку для переправы через приток. — Улыбнулась, понимая заинтересованность слушателя. — И другое учитель рассказывал. Когда плыл пароход перекатами, матрос измерял шестом мелководье, сообщал штурвальному. Как только увеличивается глубина до человеческого роста, матрос радостно кричит — «табак!» и тоже проводит ребром под губой, вот этак. — Она изящно повторила выразительный жест, подтверждая милую непосредственность, а Меженин опять заметил привлекательный блеск в розовой ложбинке. — Интересно, правда? Сигнал такой, а помогает и значит много, если соответствует. Печально звучит, когда говорят: дело табак. Фомич вчера трижды повторил: «На что теперь и подумать, как ни крути — выходит дело табак...» Мы с Клавой были у него в гостях по давнему знакомству. Приветливый человек. Можно еще раз навестить.

Пора бы возвращаться, но так тихо и хорошо под высокими соснами возле затона. Покорно утонул отраженьем перевернутый лес, на отраженной опушке парочками плавают утки. Между сосен волнисто перелетает черный дятел в красном беретике, дробными очередями проверяет обновленную тишину, радостно вскрикивает: кли — кли — кли. И словно бы отзываются ему летящие под облаками гуси: клинг — клинг. Качнулся на воздушной волне между деревьями матово-черный дятел с другим гнусавым криком «кю — эээ», а беретик его показался сиреневым, пронзительно сиреневым и — вспомнилась первая утренняя встреча с Еленой: что с ней, как идут дела?

— Слышите крик желны, — определила Светлана разновидность дятла. — Если неожиданно вскрикнет — вздрогнешь даже. Простучит дерево и сообщает, чтобы заметили кто тут хозяин... А галки на ваш балкон теперь не летают — разлюбили разве? Они толковые — не обманешь, заметили охлаждение.

— Уборщица пугает, наверно, отвадила.

— Нет, им некогда. Дом любовно строят, семейные хлопоты. Мне казалось, они вам помогают сочинять, я видела

как слушали стук машинки и понимающе переглядывались, между собой вели молчаливый разговор, птицы тоже умеют молча понимать друг друга.

— Когда мы заняты собой, многое не замечаем. Вспоминаю лису. Интересная, разговористая. Тут неподалеку живет, мы с ней разговаривали. Теперь не показывается. Не хочет больше говорить о прошлом. Она сказала однажды: «По главной сути жизнь проста: ее уста... его уста. Она проста по доброй сути, пусть только грудь прильнет ко груди. Весь смысл ее и мудр и прост, как стебелька весенний рост...». Патрикеевна напомнила о быстротечности жизни, она отзывает от суеты, однообразия, от мишуры долженствования. Есть проницательные люди, похожие на зверей, например, похожие на лису. Осторожные, внимательные. Они все видят, чувствуют и привлекают к себе пониманием. Но надо быть осторожным при встрече с робким зверьком-недотрогой. Мне показалось, лиса много знает о будущем, но думает о прошлом. Она и ты, — он впервые назвал Светлану так, — вы обе думаете, что вчера было хорошо и сегодня хорошо, солнечно, а дальше? Будущее пугает неопределенностью, новыми трудностями, требованиями, возможным ненастьем.

— Это правда, мне очень давно, еще в школе, было так хорошо, как сейчас. Боюсь потерять радостное воспоминание — подумала об этом. Как ты догадался.., Федор Борисович. Я бегала через поле в школу, размахивала сумкой, подпрыгивала и пела, читала стихи, иногда просто улюлюкала, словно дикарка. Здесь тоже промелькивают такие минуты, только промелькивают. Интересно среди незнакомых людей, новое общение. Вот мы вдвоем, вместе оказались.

— Да, усталых людей увлекают новые законы общения, прекрасно поиграть в них, а подчиняться придется старым. Таковы условия жизни.

— К сожалению, — Светлана отозвалась не сразу — пауза требовалась ей для конкретизации сказанного применительно к себе и обдумывания ответа. — Люди с противоположным опытом бывают взаимно придирчивы, им трудно понять друг друга. Я читала о поэтах, что они самолюбивы и очень часто отказывают другим в праве на собственное виденье. Я правильно говорю? Можно так сказать? — Она лукаво взглянула ему в лицо.

— Ох, лиса Патрикеевна... — Федор обнял ее податливые плечи. — Как стебелька весенний рост... Интересный человек на причале ожидает встречи с женой после долгой разлуки. Однажды они здесь в лодке под парусом качались

на лунной дорожке, светло и безмятежно мечтали. А потом оказалось, что не понимают друг друга, разными дорогами ушли счастье искать поодиночке, теперь через годы возвращаются, надеясь обрести на реке первого плаванья то, с чего начали... Николай Иванович вспоминал лодку для двоих... Моя лодка еще без паруса, накрепко причалена тяжелой цепью, бьется обшарпанными бортами о старый дощатый настил в ожидании навигации. Слышится мерный глухой стук, будто сердце стучит.

— Слышу, слышу. — Она приклонилась к его груди. — Здесь хорошие лодки у причала. Я качалась в самой большой. А потом пришли двое — Таня и Лева безголосый. Всегда тут встречаются. В школе сидели они за одной партой. И вот нашлись. Рада за них. Таня поэтичная, много хороших стихов знает. Лева — тоже. Стихами разговаривают. И сами пишут в общий блокнот. Вчера просили меня сфотографировать в лодке. На память. У Левы сегодня день рожденья. Мы с Клавой подарок подготовили, я не успела Тане подать. Можно бы вручить наш подарок — белую рубашку, кофе да сигареты. Они сейчас там, в своей синей лодке.

— Уединились, не будем мешать. Думают, как жить.

— Вечером встретимся. Татьяна скажет, что ей ответили на запрос. За Леву ездила хлопотать. Ответа ждет.

— Трудно ждать.

— Боюсь за них... И холодно стало вдруг, пойдем...

На выходе из-под горы затаенный в кустах уже знакомый высокий человек коротким жестом позвал Меженина, а на тревожный взгляд Светланы покорно склонил голову и приложил руку к груди. Она его узнала по фигуре, учтивому жесту, белому воротничку и, конечно, по усам:

— Артист главный... опять в стороне таится, — прошептала она, придерживая Федора, открыла сумочку. — Покурить, наверно, попросит, но ты ведь не куришь теперь... Вот сигареты... спички, кофе — тоже. А рубашка Леве предназначена. Пусть передаст. Сигареты на троих. Они вместе, друг друга без вниманья не оставят.

Уверенно подошли к Вениамину, Меженин поздоровался с ним за руку:

— Здравствуй, Вениамин, — говорит Федор. Светлана подает сверток:

— Хорошо, кстати встретились. Тут сигареты вам, Леве — подарок. На день рождения приготовили. А Таня раньше ушла, не сказалась.

—Зачем так? Обеспечены. Химики мы, строители. Леве срок скостили, освободить должны по состоянию.

— Вот и пригодится. Рубашка, сорок первый по вороту.

— Интересно. Любопытно. Что ж, поручено — испол-ним. — Вениамин коротким жестом спрятал сверток за па-зухой. — Будем вручать под фанфары. Кому обязаны?

— От пятьдесят пятой комнаты. Таня — наша соседка, вместе придумали.

— Тогда разумею. Значит, без подвоха. Свидетельство достойное и вне сомнений... Вижу, Федор, необходимо при даме пояснить неудобство нашего подглядывающего поло-жения, — он говорил приглушенно, не изменяя своей арти-стичной витиеватости. — Забота наша дружеская по творческим интересам — весенняя лирика, не всем понят-ная, нуждаемся в профессиональном прочтении опытов, пер-вая тетрадь готова, автор под псевдонимом пока, имя назову — Алексей, друг мой по несчастью, закадычный друг.

— Помню. Я обещал посмотреть. — Меженин понял о какой тетради сказано.

— Хорошо бы... Впервые на волю попала Лехина тет-радь. Он под строгим. А вдруг получились рассказы и стихи. Почерк у него расшатанный, трудно читать, но прогоню на-чисто. За ночь перепишу — и к вам.

— Увидимся на площадке, где вчера встретились, по-мнишь? Как всегда.

— Понято. А мы тут... Витек рыбачит за поворотом, я — в дозоре. Дело такое — Льва охраняем. Свиданье у него сердечное — не удержишь парня: к Танюше надо — и все. Не сторожится. А разведка доложила: выследить нашего Леву хотят. Убрать могут за правду, которая в нем. Одного не оставишь — сопровождение полагается... Без присмотра нельзя... Нынче везде опасная зона. У нас так: и на воле несвобода. — Вениамин говорил без перемены в лице, не-подвижное, словно маска, оно не имело выражения — чело-век привык скрывать свое подлинное отношение к окружающим, голос без эмоциональных оттенков — сухой однообразный шорох. Но стихи в клубе он читал иначе, звучало будто два голоса — один пронзительно-высокий, совсем близко, а другой, бархатистый, похожий на далекое горное эхо.

Условились встретиться, Вениамин сказал, что будет в назначенное время, хоть камни с неба. Он с поклоном ото-двинулся за барьер зарослей — остался охранять безголо-сого друга. В отдалении под горой вскрикнула желна. В просвете между соснами пролетали чайки. А в просвечен-ных ветвях березы неугомонная птичка выговаривала: лю-бить, лю-бить, лю-бить, жить и любить.

— Как хорошо быть птицей, — сказала Светлана. — Раньше мне нравилось воображать себя белогрудой ласточкой. Летишь высоко-высоко над домами...Можно даже за облако подняться. А потом отдыхаешь, качаясь на проводе. Возле реки хорошо быть чайкой, над деревней — ласточкой.

— Над полями — жаворонком, — Меженин вспомнил детство. — И красота полуденной земли. И внятно слышится порой ключа таинственного шепот.

Много необычных слов навевал розовый ветерок, он шелестел в кустах, извлекал тонкие струнные звуки из обвисающих ветвей. Однажды слышались такие звуки, витали в воздухе красивые слова...

Глава тринадцатая

Вертлявым трясогузкам понравился Рома в белом костюме и самая приметная из всех на стоянке его машина, подходящая к ним по цвету, тоже понравилась. Небольшие птички с длинными прямыми хвостами ранним утром превратили обычную ритуальную игру в замысловатый танец перед боковым зеркалом, шумно порхали и вскрикивали, словно гордились: а я самая, самая — кричала одна, а у меня спинка серая и шапочка на голове — кричала другая, у меня полоски черные на крыльях и хвостик черный, а у меня еще есть полоски белые на крыльях и по бокам хвоста. Конечно, соперницы перессорились, не сразу сообразили они, что у машины два зеркала. Разумение примирило, каждая уединенно занялась собой: «Я ль на свете всех белее...».

Увидела птичка себе подобную в зеркале — обрадовалась, словно обаятельную незнакомку встретила. И давай, зависая, порхать. Облетит машину да снова бьется, не узнавая себя. Стучит клювом в обманчивое зеркальное стекло — влететь в отображенное пространство хочет, чтобы отпугнуть настырную «соперницу», выпорхнет поверх зеркала, а там — никого. На левой стороне машины, наверно, самка старается, а с правой самец ведет равный бой. Забыли о взаимной принадлежности, к призракам стремятся, сил своих не жалея, избиваются.

Выбежал хозяин, размахивает пачкой газет устрашающе: ух вы! Только отвернулся, а трясогузки опять за свое.

— Делать вам нечего! — кричит Рома. — Пора птенцов высиживать, а они пустуют. Все стекло загадили, твари!

— Ты пташек бранишь. Пойми, им чего-то не хватает.

— Это Лялечка, готовая к поездке, подошла. — Хотят про-биться в зазеркалье. Надо понимать живых, Ромочка. Весна играет... А счастья нет — грустит хозяйка дома. И звонкий чайник ставит на плиту, и гладит зверя, глядя в пустоту, и ждет, пожалуй, почтальона.

— Вызубрила. Молодец! — чмокнул ее в щечку, помогая сесть в машину. — Во тьме желаний и притворства, теряя мужество и стыд, от колыбели до погоста худое тело добе-жит...И мне еще хватает жизни воспоминаньями не жить. — Он, задрав голову, на балкон послал воздушный поцелуй. — Ждите, девочки, к вечеру будет исполнено.

С балкона ему ответили согласьем надеяться и ждать.

Эти двое, хорошо дополняющие друг друга, тоже подда-лась заказному интересу к стихам и под наблюдением с балконов щегольнули накануне заученными текстами. Ве-роятно, старание особой парочки оценили азартные при-езжие рифмоплеты, а сами они постепенно утихли, возвратились в естественное поведение, к неспешным раз-говорам. Многие успели заметно посвежеть, успокоиться в этой временной иллюзии свободы и уюта. Облегченно вздохнули озабоченные, блеклые и заурядно помятые мрач-ной повседневностью, но способные меняться.

Появилась утонченность общения, она хороша при из-бытке времени. Некоторые женщины обрели плавность движений, мягкость речи и заметно похорошели, за несколько дней стали другими, привлекательными той красотой, какою они могут светиться в лучшие часы. Утешал, радовал и лас-кал местный воздух, подернутый дымкой соблазнов. Ку-рортный отдых целебен не процедурами, а ощущением другого мира, неожиданных интересов, вниманием человека к самому себе, возможностью прислушаться к своим жела-ниям и определить чего так не хватало в пройденном вре-мени. Память начинает работать иначе, она становится счетоводом приятных воспоминаний, уходит от потерь и под-сказывает, что вернуть ничего нельзя, что если бы можно было исправлять свои ошибки, искренние и разумные люди могли бы стать святыми. Кратковременность проживания никого ни к чему не обязывает, только самые удачливые уедут отсюда к приятным и закономерным переменам в жизни.

Праздно разгуливающие по облюбованным маршрутам прихорошенные женщины и расфранченные мужчины ка-жутся не настоящими, встречи с ними в отдаленных угодьях, на территории Тихой Заводи и в других местах надоедают однообразными шутками, дежурными вопросами о само-чувствии, потому приходится изобретательно исчезать из

общего поля взаимной заботы. Повсюду попадались сове-щательные табунки женщин, вспоминающих лучшие годы свои — такие воспоминания согревают но, к сожалению, печалят или возбуждают к действиям.

Думая о женщинах, Меженин отводил им особую об-лагораживающую роль в курортном микроклимате. Теперь его не раздражала суетливая активность, соревновательное кокетство казалось привлекательно забавным, он сравнивал их с птицами: одна казалась пеночкой, другая синицей, тре-тья сорокой, а некоторые ласточками, чайками, галками, во-ронами, курицами, утками, гусынями — и каждая умиляла расчетливым поведением, удивительным соответствием об-разу. Администратор — индюшка, процедурная медсестра — гагара, физкультурница — цапля, массажистка — попол-зень, официантка — фламинго, врач — белая благородная лебедь, способная обыкновенными словами разбудить ин-терес к жизни. Как она сказала? Пользуйтесь свободой. Шутливо упомянула испытанную «кустотерапию». Здесь и всегда не обременяйтесь обязательностью, живите по на-строению, бодрость тела и бодрость духа с утра до вечера. Оздоровительный режим. Бассейн можно и два раза в день. Апрель — вольный месяц, загруженность санаторных воз-можностей на треть. В мае нагрянут москвички. Оккупа-ция всего лучшего. Часто они не те, за кого себя выдают, но претендуют на исключительность, даже противопоказанное скандально требуют: почему другим прописано, а мне и за двойную цену нельзя? Капризные дамочки, такова природа.

О, женщины... Милые, обаятельные, влекущие, возбуж-дающие у старцев жар в крови... Меженин еще в студен-ческие годы замечал: почти всегда поведение женщины определяется желанием произвести впечатление на муж-чину. Обманчивые городские ценности соблазнительно вы-рывают девушек из естественной жизни, пестрые приманки цивилизации опутывают душу, появляются модные на сезон одежки, прически, разговоры, развлечения. «Я сколько жен-щин не встречал: у всех в уме наряды...» И вот уже влечет мутное течение: не отстать, не оказаться незамеченной, не-востребованной. Иногда раздражало его странное поведе-ние знакомых особ: то ложный утонченный флирт, то откровенная хамоватая претензия, то безоглядная вольность. В соревновательную несовместимость, в свои затаенные кон-фликты между собой красотки, подобные новенькой осе с демонстративным золотым крестом на пышной груди, спо-собны втягивать временно подчиненных расслабленных мужчин. Страшась одиночества, метущиеся смазливые особи

нигде не находят покоя и, может быть, тем самым избавляют других от долговременной плесени бытовизма. Не в том ли природное предназначенье? Такие встречаются повсюду, но в местах отдыха они, обладающие сферой притяжения себе подобных, особенно нужны. Вот и сбиваются группы, кампании, стаи. Оказавшиеся вне временного развлекательного сообщества, получается, сохраняют индивидуальность и потому более...

А что — более? Минуточку, созерцательный философ. Пожалуй, более привлекательны. Наслаждаясь уединением в тихом бассейне, ищешь оправданий себе, попавшему на крючок? Когда человек не занят серьезным делом, начинает мудрить. В праздном самочувствии сфальшивить легко — обмануться в себе или зеркальное отражение принять за реальность и оказаться в стае спешно берущих от жизни случайные мгновения, после которых реальность оказывается еще мрачнее. Ты зачем сюда ехал, сочинитель? Пора пришла закручивать долгожданный сюжет?

Федор слабой иронией охлаждал пылкие рассуждения, входя в гладкую воду бассейна. Допустим, Клава — в девичестве Верхорубова, читающая романы Стендаля для «кристаллизации» под покровительством, ни в какой стае не нуждается. Клава — сойка, а кто же Светлана — в девичестве Листопадова? Пеночка? И пеночка она, и ласточка, и чайка. И не только птичка — белочка, лисичка, ласочка, куница... Русалкой представляется. А Венерой или Афродитой может показаться? Но это уж слишком, мраморная белизна веет холодом. Разве мраморная? Венера с картины Боттичелли? Или с картины Тициана? А не спящая ли Венера с картины Джорджоне? Постой, постой. Венера Мелосская в мраморе... и без рук сохранилась, в Лувре она... Есть еще Венера с Марсом. Веронезе так изобразил. Есть даже балетная постановка «Любовные похождения Марса и Венеры». Нет уж, избави нас от повторений, пожалуй, привлекательней Венера с зеркалом — Веласкеса... Выходит, каждый видит как воображает. Афродита — «пенорожденная». Богиня любви и красоты. Вечно юное начало Лукреций дал в поэме. Весь мир пронизывающая любовь. Афродита всегда в цветах. Но какая она? Избери образ, если можешь представить, вспоминая описания богинь. Многие возгорались желанием взять их в жены. У одной был муж Гефест, искусный кузнец, но хромоногий и самый некрасивый из богов. Любви Афродиты домогались Посейдон и Арес. И дети были от Ареса... Дети от незаконного брака. Нет, нет... Отменяется вариант. Эх ты, умник!

Рассуждающий не способен на романтическую любовь. Свою богиню пора определить. Какой же точный образ для Свет—ланы подойдет? Напишу картину вод под звездами и в зо—лотой кайме — красу любимой, цветок светящийся во тьме... Ну—ка, тюлень, напрягай воображенье.

В радужном поле огромного зеркала, игристо бросаю—щего блики на синюю гладь, высветилась вдруг Она, словно цветок, возрастающий из пенистого марева над гребнем морской волны. Чудный белый цветок, готовый раскрыть лепестки. Невиданный доселе экзотический бутон осле—пительной белизны. Одна белизна — символ чистоты, не—винности и совершенства. Конечно, это Она пришла в белом купальнике, в белой шапочке и хрустальных туфельках. По—чему в туфельках, у нее такие купальные мягкие тапочки. Сейчас, придерживаясь за перила, освободит правую точе—ную ножку, растопыренными розовыми пальчиками про—верит качество воды. Она и сама вся точеная, житейские передряги не испортили фигуру. Явилась грация, едва при—коснулась к воде и розовый свет заискрился на пальчиках — такими он видел их однажды с балкона. Там солнце эту ногу ласкало... Но где же она? Испугалась? Смутилась? Узнала его, распятого на недвижной воде, разглядывающего не ее появление в зеркале, а мозаичный потолок, и не ре—шилась купаться? Исчезла, почему—то исчезла? Не успел позвать: «Не бойся, ты не одна здесь. Я научу тебя плавать, если не умеешь». Была Она или ожидаемая привиделась? Вошла и вернулась, боясь остаться вдвоем? Поджидает, когда через душевые кабины пройдут восемь постоянных членов смешанной оздоровительной группы. Уединение здесь ус—ловно, вот захлопают двери, зазвенит смех. Но было роб—кое уединение: плавали разными дорожками, а получалось — навстречу. Бывало и другое — сладостное одиночество вдвоем...

Однажды на реке Таволге после государственных экза—менов загорали дипломированные филологи. Землячка Нина призналась, что робеет, боится возле Черного омута. Он тоже боялся уединения, от этого перехватывало голос, дышалось трудно. Нина не посмела купаться, а он все—таки набрался духу, решительно нырнул и прошел почти весь омут — резко всплыл, услышав ее панический крик. «Не бойся, не первый раз. Дольше могу быть под водой, если знаю, что ты меня ждешь». Тогда игриво плавал перед ней кругами, чувствовал себя дельфином. А она смотрела и волновалась. Не за него только. Была тайная причина — после мечтательных сту—денческих свиданий говорить ему о случайной измене она

не могла. Он пытался понять... Через четыре года во время отпуска встретились. Уже будучи замужем, Нина вздыхала, вспоминая то прощальное купание: «Федя... Не забываю, мы были вдвоем, одни во всем мире. Ты пугал, очень сильно волновал меня, так больше не бывало. Я боюсь эту робость потерять, уже теряю, ослабевает она, превращаюсь в гутта-перчевую особу. Теперь в моей жизни много такого, что не волнует и не понимается. Это необъяснимо, стало трудно жить, сама себя забываю, но ты должен понять и вести себя так, чтобы я знала: прощена. Только рядом с тобой, вот и сейчас, чувствую: в нас осталось нечто общее и таинственное... непостижимое... хочется убежать навсегда в дремучий лес, где не бывал ни один человек. Убежать и ждать, когда ты сумеешь простить меня и захочешь найти. А теперь прощаемся, вынуждены расстаться на время». Тогда смогли убежать на необитаемый остров, оказались в жертвенном огне. Промелькнули страстные, испепеляющие, молчаливые три дня и две ночи. Хотелось многое сказать, но слов подходящих не находилось. И все, больше не было встреч. А дружили с третьего курса... Увез генерал ширкарно обласканную Нину из бедной семьи туда, откуда она и по клятвенному обещанию развестись не возвратилась. Последняя отчаянная встреча обожгла надежды — теперь ожоги зарубцовываются и клятвенные обещания вспоминаются лишь иногда...

Огромные витражные окна, зеркальная стена, отражающая не только вход в бассейн, колыханье водяной кромочки у барьеров, переливчатые цветные полутона в воздухе и далекая утешительная музыка, удивительная легкость в распятом теле, ощущаемая фантастическая способность парить над водой — все создавало миражное настроение, будто нет реальной земной жизни за этим замкнутым пространством. Впервые за несколько лет он чувствовал себя свободным, уверенным, мог без печали, сожаленья, без угрызений совести произносить разные женские имена: Нина, Лилия, Тоня, Клава, Нина, Таня, Лена, Нина, Света, Светлячок. Но — трижды Нина... Если бы она сейчас вошла... Ну и что, охлажден, заледенение уже не растопить. Нет смысла надеяться на то, что безвозвратно уплыло. Другое время, другой мир, в одну реку нельзя войти дважды — прав мыслитель. Что ушло, не вернуть. Ничто в прежнем качестве не возвращается. И сам в каждый день чувствуешь себя другим, новым опытом пробиваешься к возможной иной жизни, угадывается зовущее дыхание неизведанного, бездумно интересного, когда правит одна власть — подлинная и необъяснимая

любовь. Существует и происходит только то, что испытал чувствами, собственной радостью и болью, во что веришь. Без веры все окружающее, даже предметно конкретное, иллюзорно. Нужна реальность отношений. Вот сейчас Она войдет и надо повернуться, чтобы встретить взгляд, увидеть реальность без туманного посредника, собирающего случайные отражения. И резко повернулся — никого!

Выходит, туманное зеркало отражает желаемое, будоражит воображение миражами, а конкретная жизнь — в зазеркалье, в реальной зоне? Женщины — загадка, они переменчивы и коварны. Кажется, грек Паллад предупредительно свидетельствовал, видя во всякой женщине зло, что она только дважды бывает хорошей: или на ложе любви, или на смертном одре. Стоп, рассуждающий. Далеко тебя занесло, опять в давнее прошлое тянет неуверенного холостяка. А здесь и сейчас как жить — быть, рассуждать или в такую лихую погоду доверяться волнам? Наслаждаясь хорошим расположением духа, ждать естественного движения событий. Сейчас она войдет и скажет опять:

— Художник может видеть в зеркале образ, а не себя, опечаленного...

Стоп, стоп! Не о себе думает художник перед зеркалом, он видит свое понимание других. Если бы она вошла сейчас и спросила:

— Что Вас раздражает?

— Бесчувственность. Мы видим и с пониманием оцениваем жизнь других, а смысл собственной не в силах уловить. Сами для себя как бы и не существуем. Значит, художника могут чувствовать и понимать другие. Пусть он рассказывает о том, что видит. Мудрые люди советуют: переноси с достоинством то, что изменить не можешь. Вот и переносим, вопреки делаем свое дело. Пережит возраст наивности, пора познавать возраст смирения? Как там сказано, люблю веселое начало.., когда сюжет еще в круженье от напряжения дрожит... Ну, Светлячок, входи и спрашивай.

Ах, так! Обещала — не пришла. Резко повернулся, саженками промахал два круга, сбавил темп для передышки, размеренным брассом плыл в рассерженное одиночество. А сзади бухнуло — кто-то уверенный с барьера нырнул. Рядом мелькнула бороздящая воду сиреневая купальная шапочка. Вспомнилась Елена — сиреневый цвет напомнил.

— Бегемот засел и никого не пускает?! — Аркадий вынырнул с претензией. — Твоя Клаву поджидает, под душем мокнет. Тебя боится, наверно.

— Красавец ты сегодня. Сиреневый весь. И шляпка и плавки. — Меженин уклонился от упоминания той, которую ждал, сбивчиво рассуждая.

— Обновляю шапчонку — подарила девчонка. Поздно встретились вчера — в шашки проиграли до утра.

— Ну и как, кто кого?

— С переменным успехом. Играли новую жизнь и, конечно, выиграли. А тебя, холостяк, суженая на жительство в Кострому еще не приглашает? Особенный волжский красивый город, писатели и поэты интересные, хорошие люди. Помнишь, Флоренский писал... Розанову о любви к конкретному, сочному корню личности... Костромская эта любовь. На земном шаре кроме костромичей нет никого более коренного по вкусам, по укладу, по организации души. Вот такое суждение, брат. В нашем положении об этом полезно знать. У местных девчат особая организация души, потому выбор твой естественный — в родную сторону тянет блудного сына.

— Знаю, знаю. Чувствую, как положено зверю из костромских лесов. Слабые родовые корешки сохранились еще. Терялся. Странствовал. Былинка, гонимая ветром от куста к кусту...

— Мальчики, встречайте! И в воздух чепчики бросайте! Это мы — из Костромы! — Клавиатура привычно задает тональность. Веселая, жизнерадостная, обласканная покровителем, уверенно входит первая, увлекая за собой и самых робких купальщиц. Последней вошла Светлана. Солнечная, слегка загорелая, с медным отливом, в лазурном купальнике. Изящная, ослепляющая. Хорошо сложена. Резануло по сердцу явное сходство с Ниной. Если бы вошедшую не окликнула Клавдия, он позвал бы прощенную на реку Таволгу...

Светлана естественно, без жеманства, спускается по ступенькам, волны взвихренного бассейна бегут ей навстречу, игриво ласкают точеную стройность все выше и выше. Она не спешит погрузиться — спрятаться до подбородка, до «таБака». Входит медленно, наслаждаясь прикосновением прозрачной приятной воды. Неуловимая улыбка проступает в легком движении губ, в призывно поблескивающих глазах. Может быть, только Меженин замечал и понимаа предназначенную ему улыбку. А вода вызванивала давнее: «Когда ты сможешь простить меня...».

В тот день после купания не загорали, но из распахнутых балконных дверей доносились понятные разговоры о том, как дальше жить. На пятом этаже пришедший в гости к подругам

Станислав тихо перебирал струны старинной семиструнной гитары, складывалась мелодия песни на знакомые стихи:

— В тонких незвонких стаканах вино смешано с болью. Горькой любовью пахнет оно, горькой любовью. Где ж ты была, дорогая моя, в годы другие?

Глава четырнадцатая

Наивные мечтатели пели на берегу: «Надежда, мой компас земной...».

Песня им помогает по совету докторов, промывают го — лоса, отдыхая от рифмованных скороговорок и обыкновен — ных пересудов. Устали пересказывать житейские невзгоды и печали, от непогоды укрылись зонтиками, и поют песни давней молодости — грустят: не вернется опять. Вчера тут, на крутояре, возле пепелища шумели любители абсента, за перелеском — возле жаркого костра дискутировали особи обоего пола, пораженные снобизмом, а от Тихой Заводи тя — нулся смрадный дым — наверно, Фомич сжигал кучи хлама. В палисадниках допоздна копошились дачники, кланяясь све — жей земле. Держись за грядки — начались посадки! Ребя — тишки, весело перекликаясь, обновляли велосипеды. Багровый закат предвещал перемену погоды, но никому, кроме ги — пертоников, не омрачал настроение.

Ночью сквозь сон слышалась тихая мелодия, голос Свет — ланы с оттенком застенчивости повторял окончание песни, удачно исполненной под гитару возле костра знакомств. Теперь в словах не было печали, они успокаивали: «Мне это время пережить, как будто заново родиться...».

Меженин проснулся раньше обычного, чтобы дочитать рукопись по просьбе Вениамина, ее болевое содержание и во сне не давало покоя. Виделась огромная пустынная ни — чейная территория. Чувствовал себя в состоянии вышед — шего на взгорье из — за реки. Как перебирался через бурлящий поток — не помнилось, только осознавалось при — бытие в страну, исковерканную лесоповалом. В клубах ко — лючей проволоки торчали белые столбы с указателями: налево пойдешь — ничего не поймешь; направо — ничего не найдешь; а прямо — будет яма; за ямой — тюрьма, за тюрьмою — сума... Хриплый, перетертый голос, похожий на скрежет ржавой жести, с трудом доносил строфу из об — ращения к читателям: «И пускай за мной повсюду тянется черный шлейф недоброй биографии, я уже не стану горь — ким пьяницей и боевиком советской мафии».

Рукопись подготовлена аккуратно. Старательным, изысканно четким почерком Вениамин переписал тексты, соблюдая отступы и поля, выдерживая интервалы, выложил на каждую страницу по тридцать строк. Рассказы и стихи чередовались, но голос в них был естественный, дыхание чувствовалось и биение сердца. Автор, обращаясь к читателю, сообщал, что мечтает об издании первой книги, составленной из произведений «мирного» характера, написана она в местах лишения свободы, где находится он все лучшие молодые годы. Книга складывалась при строгом режиме. Но рукописи регулярно возвращали ему после частых обысков. Были у Алексея — так назвался автор, — и другие произведения, по его словам, правдивые, жесткие, показывающие Зло исправительно-трудовых лагерей, «где понятия Чести и Справедливости искореняются целеустремленно и беспощадно. «Делается это не осужденными, а самой администрацией. Такие рукописи не возвращали никогда». Он считает своим долгом рассказать о том, что так или иначе идет во вред не просто одному конкретному человеку, а всему обществу, потому и пишет правду, предупреждая: «И пусть простят те читатели, у кого от моих будущих рассказов волосы встанут дыбом». Этот лагерный голос ни в рассказах, ни в стихах и сонетах не сбивается на жаргон. Интонация совпадает с естественным разговором Вениамина, потому возникло предположение, что на обложке высокими буквами обозначены инициалы «ГВА». Интонация, ритм, мелодия прозы соответствовали его натуре и поведению. Свежий и привлекательный язык, четкие детали, зримые типажи, лишь иногда пробивается влияние приключенческих сюжетов, видимо, доступных, при ограниченности чтения, по журналам «Искатель», «Человек и закон». Поэтическая часть книги тоже начиналась дополнительным пояснением автора: « Тюрьма — не школа, горе — не наука, Но, как литературный факультет, Меня поэтом сделала разлука...».

Выйдя с рукописью на балкон, Федор удивился пушистой белизне на перилах, на обвислых ветвях ближних берез, застывших словно в недоумении. Только асфальтированные тропинки влажно чернели, радуя галок и грачей. Озабоченно чирикали синицы и пеночки, а скворцы их передразнивали, не забывая при этом вставить и свое коленце. Природа не отступала от весенних песен и забот. А за колючей проволокой человек с надеждой поет: «И, пьянея от близости встречи, белых рук твоих чувствуя зной, Ставлю самые светлые свечи Чувству, тронутому тобой...».

Понимая значимость откровений несправедливо осуж-денного автора, Меженин хотел предложить рукопись со-седу, а глянул на плотно прикрытую дверь и вспомнил, что Аркадий в ночь с субботы на воскресенье задерживается в Глухореченске. Небольшое пейзажное стихотворение можно бы прочитать вслух для Светланы и Клавы, вот хотя бы это: «Люблю хрустальные рассветы, когда комочками зари на паутинках мерзлых веток спокойно дремлют снегири. Зам-решь и смотришь, изумленный, на эту сказку в тишине, и не завидуешь — влюбленным... И не мечтаешь — о весне...».

Но — выше этажом безжизненное равнодушие. Уехали подружки в машине покровителя родных навестить. «Новой свежестью землю наполнив, — Только радуйся и хорошей! — Бродят майские светлые волны И по улицам, и в душе...»

Вчера Светлана заговорила о надежде. Прочитанное у Стендаля навело ее на размышления. «Поэтапная» стран-ность возрастания чувств, роль «второй кристаллизации в обеспечении длительности любви», склонность к постоян-ству человека с сильным характером, ошибки мужчин, по-спешно говорящих и блистающих изящными словами, примечательная естественность поведения в сочетании со смелостью быть искренним, женская гордость и стремление из рабыни превратиться в королеву, умение видеть в каждом новом дне свой особый цветок — все это и многое другое из теоретических рассуждений занимало ее неслучайно: она радовалась и хорошела. Все вокруг было привлекательным. Она говорила, что здесь ей очень нравится, так уютно, пре-красно и неожиданно, какой необыкновенный и разнооб-разный лес, как цветет и переливается река, весело переговариваются птицы, здесь всему живому хорошо, ни-когда не бывало у нее лучших минут, нигде не чувствовала она себя так легко и естественно, нигде больше нет лучшего места, лучших тропинок... А что чувствует здесь Вениамин?

Светлеет, все отчетливее звучит родниковый голос из лесоповальной стороны. Тревожит, обязывает жить, волно-ваться, видеть, чувствовать, понимать. «Я распознал бы ложь по голосу, По горечи горячих губ, Но ни глаза твои, ни волосы, Ни руки теплые не лгут».

Нет, ничто в природе случайным не бывает. И белизна нежданная напомнила о том, что необходимы новые тропы даже на кратковременной снежной белизне. Про такой сне-жок говорят: внучата за дедушкой пришли. Последний про-щальный снег на старых дорогах. Пройдись, пробеги, оставляя цепочки следов там, где гуляли со Светланой. На зарядку, на душевную подзарядку, чтобы тело и душа были молоды...

Меженин взбадривался, одеваясь, но прочитанная ру—копись цепляла, останавливала памятными строчками. «И судили меня — не по кодексу чести, И карали меня — не во имя Добра!.. Я в тюрьме приобрел мельхиоровый крестик, Но его у меня замполит отобрал!.. Я в тюрьме погибал, как в трясине бездонной, Обрастал чем—то грязным и подлым, пока Не явилась мне ласковая Мадонна с моим маленьким сыном на чутких руках. Я ее не придумал — я просто поверил, Что в цветущих просторах минувшего дня Кто—то смело от—кроет мне душу и двери, И поймет, и простит, и полюбит меня!» Автора упекли сначала за малый грех, а потом вместо не пойманного, не установленного разбойника ради мили—цейского отчета по раскрытию особо опасных преступле—ний, безвинно осужденный, во всяком случае, с преступно опасным превышением наказания, попал на второй срок и... не отчаялся, не озверел окончательно. Это прочитывалось напрямую и между строк в рассказах, подтверждалось сти—хами, дневниковыми заметками.

Трудно в зоне наказаний найти таких, кто поймет, про—стит, полюбит бедного и страдающего, даже если он ни в чем не виноват. Бездонная трясина затягивает и живущих на свободе, думал Меженин, видя себя средь отчаянно взби—вающих коричневую торфяную мешанину. Вспомнилось продолжение сна, в котором оказалась Елена Тороповская, будто бы она посреди лесоповальной территории взобралась на вулканически вспученную высочайшую в мире пирамиду из ксероксных коробок, до отказа набитых ваучерами. Воз—вышенная, удлиненная белым ниспадающим платьем, в геро—ической позе размахивала сиреневой шляпкой и призывала спасать родное поле. На нее кричали, обвиняя в ереси, рыжие великаны в слизистых манишках, устрашали огромным га—зовым факелом, клацали веерами многоступенчатых рубиль—ников. Раздался резкий оружейный дуплет. Зычный голос Фомича панически сообщал: «Люди, наше дело табак!» Зримо резанула по темноте автоматная очередь. И не было никого, кто мог бы предотвратить трагедию, ни одного препятствия не нашлось, ни одного достойного сопротивления коварно выстроенной беде. Но налетел шквалистый ветер, нака—тился прибой и морская пенистая волна вынесла к подно—жию пирамиды похожую на Маугли девушку по имени Светлана, она в розовом халатике, волосы золотисто разве—ваются. «Эй вы, бегущие, ползущие, плывущие и летящие, скорее сюда! — кричала Светлана. — Все живое возмущено коварством, предательством, ложью. Мы — временные разве? Поможем коренным жителям!»

Меженин выбежал на улицу, словно на реальный крик о помощи. Казалось, после затяжного и опасного погруже-ния вынырнул на вольный свет, жадно вдохнул колючий воздух, чтобы освободиться от сновидения, схватил пригор-шни снега, уткнулся в него лицом — обжигающая свежесть и белизна импульсивно возвращали желание вольно дышать и двигаться, созерцать и радоваться, удивляться и любить. Настроение его заметили сосредоточенные, завидующие здо-ровью наблюдатели.

— Отгулялся, жеребеночком подпрыгивает.

— Молодой еще. Несемейный.

— Пожалуй, перестарок. Женатый не запрыгал бы так.

— Вдовец или разведенец?

— А кто его знает. Нынче не разберешь. Шагнул за порог — и холостой.

— Не пьяница, вот и борется за жизнь.

— Себе и другим в радость. Самостоятельный.

— Видать. Не важничает, не напустил гонору. Общи-тельный, не хитрец.

— Так-так. На вопрос ответит, с каждым участливо говорит при случае.

— Не брюзжит. Не облысел, не обрюзг. Приличный человек, положительный. Нынче таких мало.

...Сосредоточенные курортники считали шаги на до-рожках терренкура — каждый по своему, соответственно возрасту и самочувствию, дозированному маршруту. Не-настное утро с промелькивающими снежинками не пугало, кажется, никакие события в мире не отменят это ограни-ченное и напряженное шествие. Свободные от последней борьбы за каждый шаг по земле обегали стороной просчи-танную и размеченную территорию. Бег взбадривал, но не освобождал Федора от сочувствия и невеселых размышле-ний: у каждого своя беда, никто не защищен от болезней века, от молний, аварий, случайного выстрела, тюрьмы и сумы. Да, и от тюрьмы тоже, если установился такой порядок. Будь ты трижды честен, осторожен, справедлив, законопослушен, все равно выпадет случай, найдется повод зацепить, при-влечь к ответу за то, что совестью и добротой своей раз-дражаешь власть имущих. Просто попасть в подозрение: сочувствуешь коренному населению — простым людям, униженным и оскорбленным, могут привлечь за клевету на существующий строй и порядок. Вот Лева безголосый за что пострадал? А Вениамин, защитник его, этот одаренный Алексей-Вениамин, дважды судимым оказался почему? Жилось бы иначе, была бы справедливость, не вскипели

возмущеньем ребята и карающих статей не нашлось... «Скажите, когда на другие планеты Ближайший предви—дится рейс? Сегодня? Спасибо! Тогда мне билетик На пер—вый межзвездный экспресс. Нет—нет! Извините! Зачем мне Юпитер?! Да—да, и Луна не нужна. Меня, если знать непре—менно хотите, родная влечет сторона...»

На волю, домой, на родину каждый рвется. Были бы кры—лья, полетел бы сейчас. Федор Борисович успокаивал себя физической нагрузкой, на собственной спортивной тропе уверенно перебегал от снаряда к снаряду и, раскачиваясь на турнике под березой, воображал что взлетает.

На береговых деревянных диванах рассуждали посто—янные сидельцы. Проходя мимо, можно услышать продол—жение нескончаемых разговоров, иногда попадающих в унисон тому, что тебя самого касается.

— Весна открывает глаза и волнует кровь. И сегодня красота мира в девственной свежести.

— А нега пробуждения снежком не запорошена, по—всюду сохраняется она.

— Не грешно сегодня и стихами говорить.

— Поэзия прекрасна в наивной искренности.

— Говорят, в наше время нет права быть наивным.

— Да полноте! Модное умствование на заданную тему разве заменит лучшие качества поэзии...

На другой береговой остановке хохлились двое, вос—принимающих пушистый снегопад ненастьем.

— Вот и верь синоптикам. Обещали неделю ясной по—годы. И опять обманули. Теперь дожди накаркают.

— Что мы с тобой, Степан, будем делать?

— Хоть процедуры принимай, хоть водку пей — ничего не помогает. Дома — тоска. И здесь — она проклятая.

— Зачем сюда приехал? От безделья маюсь. Проце—дурам не доверяю, в карманах пусто, только на обратный билет осталось. Ай, гляди—ко, вот те раз! На небесах какая перестройка.

— Ну, чего там тебе привиделось?

— Да гляди, в обратную гуси летят. Что это они?

— Снежно, холодно. Не узнали своей родины, вот и по—вернули. Выходит, птицы оробели. И нам хорошего ждать нечего. Рухнули надежды.

И правда, молчаливые гуси тянулись тяжелым полетом с севера на юг под свинцовыми облаками, а чуть дальше, над сельским взгорьем качалась связка печальных жу—равлей — курлыканье, похожее на детский плач, доноси—лось.

Долго слышался этот звук по санаторным этажам в пустынных коридорах. Только после завтрака заглушил его скандальный шум: опять петушиной выправки ветеран возмущенным криком требовал заменить никудышный телевизор, не принимающий важные для него программы, две сердобольно-терпеливые санитарки успокаивали его ласковыми словами, каких, наверно, от жены никогда не слышал. И обещали в понедельник доставить ему лучший голубой экран из дирекции. Разгоряченный во вред себе петух срывающимся голосом настаивал: «Тащите оттуда! В стране такое творится и никому дела до этого нет! Разбрелись, разбежались по выходным. Безответственность и разгильдяйство! Нет партийного руководства! Распустились! До понедельника, видите ли, надо терпеть!»

Не дотерпел... Перед обедом увезли в реанимационную... А тихий пушистый снежок зависал между деревьев, словно робел укрывать асфальтированные маршруты терренкура, зовущего от спального корпуса к надеждам на продолжение жизни...

К вечеру посвежело. В палисадниках настырно зеленел на грядках зимний чеснок, густо топорщились кустики клубники. Вокруг дачного жилья желтели россыпи мать-мачехи. Неустрашимые эти цветы, как и подснежники, рано пробиваются на проталинах, чтобы радовать утомленных людей.

Направляясь к облюбованной с первого дня площадке у ворот, ограждающих санаторную территорию, Меженин думал о летней поездке на родину, откуда взлетели напуганные неожиданным снегопадом перелетные птицы. Верилось, они тоже отдохнут чуть южнее на зеленеющих взгорьях и поспешат обратно. Можно вместе с ними лететь, были бы крылья. Силенка есть, намерение переменить жизнь выстроилось. Пора взламывать клетку. Вырывается поэт из-за решетки, шлет стихи с надеждой на понимание. А тебе, созерцатель, отдыхать надоело. Эти прогулки-пробежки, пожалуй, смешны, утомляют однообразием. Ландшафт исследован, удивляющая в первые дни природа в своих заботах равнодушна к человеку, когда он сосредотачивается на себе. Такая свобода обременительна, раздражает безделием, безучастием в жизни. У каждого человека своя тюрьма. Если бы не Светлана, если бы не заманчивые мечтания, если бы не предстоящая экскурсия на пароходе...

Среди ожидающих автобус многие были знакомы по каждодневным встречам в зоне отдыха. Стоит подойти, начнутся приветствия, вопросы о самочувствии, жалобы на

санаторные порядки, разговоры о реформах, о всяческих из-девательствах над народом, творимых по служебному усердию, продиктованных тупостью и трусостью. Опять ветераны заговорят о неспособности нового поколения противосто-ять разору и воровству, о всеобщем пренебрежении к че-ловеческой жизни или о мрачном безбожии. Если не имеешь определенных ответов на многие окаянные вопросы, если никто ничего не может изменить, лучше сосредоточенно пройти стороной — по аллее вдоль шоссе. Тебе самому еще надо вершить суд над собой, установить собственную вину, признать, что энергия сопротивления угасает, не только ты, а десятки, сотни, тысячи таких как ты, смиряясь, утешают себя и других: так должно быть, иначе теперь невозможно — надо покорно терпеть и ждать накопления энергии сопротивле-ния обстоятельствам. Покорно терпеть и ждать, подчиня-ясь правилам издалека сфабрикованной стихии безобразия, обмана? Принудительная необходимость терпения. Но возвышаться над ней есть у каждого право. Сохраняет его несправедливо осужденный в строгий режим.

— Мы наивны, вот и забываем, что способны возвы-шаться в нравственных и духовных устремлениях, — словно подслушав внутренний голос Меженина, сказался философ-лесовик. Он стоял, опираясь плечом на заскорузлый иссе-ченный трещинами ствол старой березы, липовой тростью медленно чертил на снегу параллели. — Место отдыха не для тревоги. Это я понимаю. Люди отстраняются. Приво-зят сюда усталость, болезни и кое-какие личные надежды. Необходимость.

— Принудительная необходимость с подавлением энер-гии сопротивления.

— Вот вы как... Видите ли, в каждом из нас еще сохра-няется нравственное несогласие. В каждом из тех, кому больно вспоминать все, что с нами случилось. — Он сдви-нул на затылок вязаную шапчонку — воспрянули над ушами кучерявые волосы. — Знаю, от этой боли криком кричат люди по ночам. Одинокий учитель кричит. От него, от Ген-надия, с пакетом иду. Послание сочиняли, до Кремля док-ричаться необходимо. Ходоки пойдут в Москву. Учителя, врачи, студенты , ученые. Даже учителя решились! Сколько можно терпеть обманы? Пять месяцев без зарплаты. До-жили: занятия в школах отменять пришлось...Ничего себе, переходный период.

— Революционная ситуация — трагедия. — Федор Бо-рисович начал так, пытаясь отозваться пониманием глу-бинных причин возмущения, страданий, печали. — Однажды

сказано было: когда вокруг кричат, должен кричать и ты, чтобы и тебя услышали. Молчаливого созерцателя никто не ус-лышит, — и про себя он подумал, — не услышат, не увидят и не учтут. Правда, есть и другие способы выразить боль ра-зочарования, выразить крик отчаянья говорящих шепотом и даже лишенных голоса, всех тех, кто в трагедиях сжег свои голосовые связки и потерял веру в справедливость.

— Дурманящая, оглушающая музыка революций... Обе-щание свободы слова... А тюрьмы? В них томятся в ожи-дании суда... Страна на втором месте в мире по численности тюремного населения. Но почему, почему? Число осуж-денных на сто тысяч жителей в десять раз больше, чем в дореволюционной России. За пять булочек из киоска, за бутылку водки, за две пачки сигарет, даже ни за что, просто так — по подозрению. И что же, а дальше как быть? Жить под безотчетным страхом или подниматься над ним? От-ступать некуда. Помните? — Юрий Львович теперь гово-рил отрывисто, без витиеватого философствования, не пользуясь научными терминами, ссылками на диалектику личности Кьеркегора. — У каждого своя боль. Но есть об-щенародная беда. Потому и сочиняем болевое коллек-тивное письмо. Соберем подписи. Пусть из Кремля ответят: ради чего сотворили такое с государством великим, почему на мнение народа наплевали, почему обнаглели и сколько еще будут хватать, чтобы насытиться? Какая дальнейшая перспектива, сколько терпеть переустройства эти?

— Никто не ответит на такие вопросы. И спросить не с кого: тасуется колода чиновная по-семейному.

— Почему? Были органы, они все знать должны. Туда напишем.

— Не уйдет письмо дальше местной бюрократии.

— Почтой, конечно, путь до первой корзины. Ходоками поедем, а где и пойдем, центральными улицами столицы, на-пример. Да с песней бы «Вставай, страна огромная».

Меженин вспомнил философский вопрос из первого дня знакомства на берегу «Вам это надо, мужики?». Можно бы спросить: «Вам это надо, старики?» Но побоялся оскорбить серьезную озабоченность, не хотелось отвечать на возмож-ные вопросы о смысле личной жизни, о конкретных по-ступках: что сделал, кому разъяснил как относиться к новому распределению доходов, почему понятие частной собствен-ности освещает весь цивилизованный мир независимо от того, как образуется или досталась, ухвачена она?

— Откуда в России появились вдруг любители чрез-вычайно богатых пиршеств и увеселений? — интуитивно

спросил философ. — Почему почти каждый день транслируют лукулловы пиры? С какой конечной целью осуществляется макиавеллизм? Откуда что берется? С чего начинается? Давненько еще студенты спрашивали: правда, есть такое неофициальное, неучтенное общественными науками сословие, которое находится в состоянии войны с народами, среди которых оно с давних пор формируется? Молодые люди, самые смелые из них, ведут речь о войне особого накала с использованием в качестве оружия исключительно интеллекта, манипулирующего общественным мнением. Потребовались пространные рассуждения с привлечением научных источников, художественной литературы, Василия Розанова вспомнил, Флоренского — долго и туманно выкручивался, но так ничего и не объяснил, а теперь и сам мучаюсь в поисках первопричины всех бед. Проще простого обвинить какое-нибудь сословие или сослаться на космический эксперимент с населением России, которое живет «как трава» и пассивностью своей поддерживает революционное меньшинство...

Вверху, в белесых кружевах березы, захлопал крыльями и затрепетал в заливистой песне невидимый скворец. Пушистым туманом повис встревоженный снежок между деревьями, от него стало как-то светлее, просторнее. Вспомнилось, Бог рисует разными красками, но рисунок особенно свеж и ярок, когда он рисует белым.

— Трудные вопросы...А горький и вечный праздник жизни не умолкает, — сам того не желая, с наивной беспечностью неосторожно сказал Меженин. — Но сознаешь ничтожество свое перед богом и природой, мучают сомнения, в бездействии слабеешь... Свобода ничего не гарантирует в творчестве... Гарантирует личность, имеющая душу и сердце...

— Позвольте согласиться, не дослушав то, что вы хотите сказать. Не пугайтесь ни сложных, ни наивных вопросов. Мы есть, пока кому-то нужны, когда нас могут спросить о чем-нибудь... Узнал, педагоги смеют обосновать требования к власти — решился помочь, это конкретнее философии отшельника... Был на прошлой неделе у земляка. Ездил, можно сказать, за советом. Удивительный человек. Известный поэт. Из Ленинграда вернулся на родину... Насовсем. Понял, близок час прощания с этим миром... Страдальчески переживает за все и отчаянным криком кричит по ночам. Я, говорит, не знаю как жить... что другим советовать... и нет мне избавленья от беды...

Меженин не умолчал:

— И праздники веселием не красны, И к радости потеряны следы, И поиски прекрасного напрасны...

— Тревогой захлебнулись города, мошенники, правители и боги... А нам отступать некуда и терять нечего. Правду скажем и полегчает. — Собеседник в особом порядке цитировал строки земляка, между них вставлял свои решительные выводы. — Переживем, выстоим. Куда нам деться? Времени река едва течет... И не глядится в реку Звезда полей. Россия велика... И нет в России места человеку... — Тяжело вздохнул неуверенный профессор. — Можно понять старого поэта... Пришел к нему один молодой человек упрекнуть за прошлое и спросил: не кажется ли вам, что зря прожили свою жизнь с этим соцреализмом? Такие, брат, нынче вопросы практикуются.

— Там, где шумит базарная толпа, где на базаре немцу жулик ловкий...

— За доллары сбывает черепа Моих друзей, погибших под Дубровкой. — профессор тоже дочитал строфу. Получился хрипловатый дуэт. — Вот и терзают фронтовиков тревоги. Они знают за что воевали, но никак не поймут за какие грехи накарканы в эту страну возмездия. Аналитики сейчас шумливо перечисляют: революция, экспроприация, террор, ленинизм, сталинизм, коллективизация и прочее, прочее — это народные грехи текущего века? Но за что страдают дети, внуки и правнуки? Обобрали народ — за что? Бесправие, унижение, отторжение — за что? Чувствуешь, дорогой товарищ, к стенке прижаты мы единственным вопросом? Так за что же? Может быть, этот вопрос и есть самый главный на пути к справедливости... Но не дают ответа бойкие толмачи. Я тоже, по правде говоря, не нашел ответов на собственные вопросы, потому что виноватых будто бы нет, и не знаю как дальше жить... во имя чего терпеть все эти надругательства...

Проходила по аллее неспешная женщина неопределенного возраста, кроткая и неслышная, в серых одеждах и черном платке, в блестящих калошах на белых носочках. Приостановилась участливо, отчетливо сказала:

— Хороший человек знает не только свои грехи, через истинного человека все проходит, — она виновато поклонилась. — Бог заинтересован в человеке, он любит его. Покаяться надо обязательно, искренне сожалеть о своих грехах. Есть тяжелые грехи, есть мелкие, которые мы не замечаем. Бывает так: грех совершенный оставляет привычку ко греху. Надо каяться не единожды. Грех один не выступает, он выступает вместе с последствиями.

— Трудно, Мария Макаровна, и представить последствия от нынешних великих прегрешений. Без высшего прозрения не понять простому смертному происходящее. — Юрий Львович, видимо, был знаком с ней и она мимо не прошла, остановилась с готовностью продолжить раньше начатый разговор — так бывает у хороших знакомых.

— Сказывала вам: слово падает при дороге, если здесь оно не прорастет, его уносят птицы. Сейте только добрые слова о доступном. Лучше осмыслить простое, чем захлебнуться сложным. И сама, вопрошая, повинна хожу.

— Очень легко придумывать на себя грехи. Слаб человек. Виноватиться может...

— Слабый — печальный. И печалиться грешно. Радоваться надо при такой белизне и свежести. Природа очищается и вы радуйтесь. Вид прекрасной природы дает соприкосновение с божьей радостью. Творенье духа радостно, потому не уклоняйтесь от божьего дара, дарован талант — творите усердно. Всякий плод духа умиротворяет, создает добродушие в отношении к людям. У бога милости много, справедлива она. Иисус говорил народу в учении Своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, возлежать на первом месте на пиршествах... На той неделе, Юрий Львович, по приходу автобуса не успела вам досказать поучение справедливое. Вот и послушайте... Смотрел Иисус как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много, а одна бедная вдова положила сколь могла. Иисус сказал ученикам своим: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, ибо все клали от избытка своего, а она от скудности своей положила все, что имела, все пропитание свое. Апостол Павел поясняет: «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не потому, чего не имеет». Усердие бескорыстное во благо других каждому зачтется.

Проповедница пояснила куда путь держит — пошла навестить Фомича — с беспокойством за доброго человека: шумно было ночью в Тихой Заводи, опять бесновались залетные лихачи, по деревьям бухали, трескучие доски ломали. При таком шуме до беды недалеко, сторож бедламу помеха — изувечить могут.

Сказывают, милиция была с дознанием, будто девушка уехала из редакции и нет ее ни на работе, ни дома у матери. Заплутала или еще что, всяко может быть. Дорога нынче опасна и ходоки слабоваты, а все равно надо свой путь держать, без своего пути по земле не пройдешь.

Белая аллея повела ее в гору к далекому просвету — казалось, уходит Мария за горизонт.

— А вы теперь не курите? — вдруг спросил Юрий Львович, словно собирался курить.

— Бросил. Не будет возврата.

— Под бомбой закуришь, как знать...

— Вряд ли... Думаю, навсегда, отрезано, — ответил Меженин и вспомнил утрату сувенирной зажигалки. — Нашелся повод, случай такой представился. Худо без добра не бывает.

— Утешительно сказано. Иногда разумно и так: отказаться — значит, приобрести. Этому и ангелы небесные радуются.

— Выходит, начинаю с малого себя побеждать.

Издалека накатывался, приближался с надрывным дребезжанием шум автобуса. Юрий Львович суетливо заспешил на посадку, однако оглянулся, чтобы еще пояснить:

— Как видите, собрался по важнейшему делу. Не обойдутся без меня в походе на Москву.

Меженин надеялся, что с этим автобусом может вернуться Светлана, но ожидание не оправдалось. Он потолкался между нахохленных пассажиров, продолжающих по групповым интересам обсуждать какие-то насущные вопросы. Взглянул на часы — осталась четверть часа до назначенной встречи с автором достойной рукописи. Рассказы и стихи заслуживали серьезного разговора не в полевых условиях, такую рукопись охотно взялся бы готовить к печати, даже написал бы предисловие, нарисовал полосные иллюстрации...

* * *

— На воле сильно боюсь даже малой неправды, — признался Вениамин, терпеливо выслушав убедительную похвалу предложенной рукописи. — От школьных лет помню: ложь — религия рабов и хозяев. Осужденный — невольник. За лагерным забором бывает ложь во спасение, притворное выживание. Украдено настоящее, живем прошлым, у нас в неволе и на свободе нет настоящего. Ожиданием тайным живешь, потому терпишь унижение от таких же как ты, затаенно молчишь. Притворяешься, что сломлен, упал, растоптан. Радуешь надзирателей в бараке и над бараком. Молчишь стихами, а здесь глотнул вольного воздуха у реки — и прорвалось, пошла лирика.

— Это понятно. Самочувствие выразительно прописано и в рассказах. В них — настроение незаурядных людей. Есть особый стиль, неторопливый, рассудительный. Нет низменного, натуралистического. Содержание, прорастает от невозвратной жизни в родительском доме, от былых семейных отношений. Спокойный текст, без жаргонного надлома, сохраняется участие души в конфликтах, даже в жестких ситуациях, трагических эпизодах. Хорошо индивидуализирована речь героев. Впрочем, об этом надо сказать проще: герои говорят своим языком.

— Знал, чувствовал: правильно поймете. Алексей — это я на самом деле. Вениамин — приклеилось по обстоятельствам, за всех был виноват один. Леву безголосого кинулся защищать, за других воевал. С охранником столкнулся. Сначала было с моих слов: вини меня, ребята, а то групповщину оформят. Ребята и нарекли Вениамином. Тут и вся моя ложь во спасение. Дальше — правда о себе и о других. В рассказах — правда не голого факта, а правда общего бытия. Сюжеты без подражания, хотя читал много. Подражать бесполезно, все равно свое пересилит. Не фотография быта, нет. Состояние души. Собственный способ пройти через отлаженный механизм унижений...В зоне двигались монолитом, чтобы не растягиваться — мала исправительная колония, все тесней и тесней было. Разные судьбы втиснуты в монолитную тесноту. Потому человек человека ест. То добрый хитрит, то злой изворачивается. Зло в коварной демонстративной доброте — вот. Это на зоне. Вышли на химию, смотрю, так же. Привычка к ненависти. Миллион заключенных, по лагерям обречены накапливать отрицательный потенциал. А безработные и не осужденные, получается, тоже будто в зоне, натравлены друг на друга. Писатели, художники делят то, чего нет. Разделиться легко из-за пустяка, амбиция выпирает, а лукавым это и выгодно, манипуляторам — приятно.

— Печально. Человек человека ест... Не только в лагере... Что стало с людьми? Почему? Отсюда ценность литературного свидетельства. — Меженин не хотел упрощать разговор, понимая несомненную начитанность Алексея и заметный литературный опыт. — Автор видит и знает больше того, что знают его однохомутники, он разумеет нечто недоступное другим и побуждает их к спасительному направлению. Лагерь — замкнутое пространство по внешним признакам, виноватые и безвинно осужденные живут и мыслят за пределами его в раскаянье и мечтах, некоторые — в мстительной озлобленности... А эпизод с первой повестью тоже реальный? — Спросил Федор Борисович, предполагая, что

именно о таком случае рассказывал кто-то из верхневолжских писателей.

— С этой повести все и началось. «Не хочу быть маленьким» называлась. Первое мое сочинение. Наивное, но трепетное такое, свежее. Как теперь понимаю, непосредственность и восторженное восприятие были в ней. Детская впечатлительность сработала. Мамины рассказы — в основе. Она сиротство свое вспоминала. На председателя у нее большая обида была... А я воображал, домысливал. Вроде получилось. На семинаре обсуждали, в издательский план включили детскую правду о войне. В институте, на втором курсе учился... — Он смахнул с головы легкие снежинки, влажные седые волосы темными полосами прилипли к ушам, скуластое лицо словно бы вытянулось, в профиль Алексей имел сходство с Паганини. — Ввязался в дискуссию, бойкот преподавателю объявили. И — завертелось. Богемную группировку углядели те, кто доглядывал. Меня — из института, повесть — из плана. Рукопись затерялась. Был интеллигентный самодур, литературный чиновник к тому же. Водятся они, помните у Островского: «Такой никого не слушает, ты ему хоть кол на голове теши, а он свое. Топнет ногой, скажет: кто я? Тут уж все ему в ноги должны».

— Самодурство везде вредительствует под разным обличьем. Упоенье властью в творческой среде подковано идеологически.

— Вот и наш творческий надзиратель обнаружил идеологическую опасность. Как же, секретарь — партийный человек обязан блюсти. Глубокомысленный наставник разгромил начинающего литератора в газетной статье. Дальнозоркость проявил. Обком партии награждает его, члена бюро, за чуткое идейное воспитание. Через два года выходит очередная книга блюстителя нравственности. В одной, другой, третьей главе читаю о том, что хорошо помню по маминым рассказам и сам выстраивал воображением — зримо, словесно, чувственно пережитое мною. И времена года, и пейзажи такую же, как в повести о детстве, содержательную нагрузку имеют. Свое обнаруживаю по тексту. Нехорошо подумалось... Душой и телом сник, словно ожеледь пригнела... Мама так иногда говорила в трудные минуты.

— Ожеледь — это когда липкий снег пеленой нависает, скапливаясь, влажнеет, к вечеру под морозцем укрепляется на проводах и ветвях тяжелым ожерельем, гнетет молодые деревца. Сегодня, может быть, так получится.

— Вряд ли. Сегодня легче. Не прижмет дугой до земли, даже тонкие березы не согнуло. И теплеет опять. — Алексей

резво подпрыгнул к ветвям, обсыпал себя блестками, по-детски светло улыбнулся — обвислые усы расправились и волосы распушились. — Иногда кажется, природа нас понимает и сочувствует... А человек имеет право на любую мысль, но только про себя.

— Твои пейзажи точны, привлекательны соединением с настроением и поступками героев. В этом еще одно достоинство рассказов. Получается живопись словом. Свежо получается. Нигде это не печаталось? Не посылал ни в журналы, ни в газеты? А на родине в районной газете?

— Под псевдонимом не хочу. Я есть Алексей Гарденин. Меня знают, помнят, по содержанию каждый догадается. Выйду, освобожусь насовсем, может быть, книжка получится. Скоро, немного осталось. Вернусь на родину... к жене. В райцентре устроюсь на работу, подкоплю деньжат... Говорят, в Костроме издательство собираются открыть. Раньше было, а теперь будто бы государству ничего и не надо.

— Раньше каждая область большими тиражами издавала книги не только местных авторов.

— Читал народ и верил. А теперь во что верить?

— Везде надо доказывать: что хорошо и что плохо.

— И не докажешь. Рынок отрегулирует, обещают. В советах не нуждаются. Никогда никто народ не спрашивал.

— Зачем? Знают они и сами, что кривы стали сани, потому и оглобли кривые делают. Живем в затяжном беспределе, становимся равнодушнее. — Меженин и к себе имел претензии. — Наивные мы, странные...

— Но, послушаешь, люди говорят: держись, не плачь, не скули — не сдавайся. И мне советы даже в зоне давали: у деревенщиков учись. Они мудрецы, понимающие Россию, знают почему против нее столько наломано. Конечно, есть вещи, которые нельзя говорить. Думай о своем доме. Без дома, без тыла невозможно. Одному не выстоять... Освобождаться надо с пониманием перемен. Что делается в стране, почему в таком положении основной народ? Столько осужденных, инвалидов, беспризорников, пропавших и пропащих. Никто не считает, не спасает. А почему русских писателей не видно и не слышно? Где славные деревенщики, где мудрецы, понимающие народную жизнь? Почему кривлянье вытаптывает национальный дух?

— Если на эти вопросы найдется ответ, все другое станет понятно. Утрачен общинный мир. Православная культура, деревенский лад, кровная жгучая связь с природой, духовная сила и совесть — все для естественного бытия исходило от тех заземленных славян...

— Жили трудом, погибали за Отечество. Немногие вернулись с поля... Родительское село словно растаяло. А новое на том месте кто и когда выстроит? Не представляю Россию без деревенского жителя, откуда он в таком разоре возьмется? — Алексей говорил все медленнее, тяжелее. — Что прорастет еще из дурных, девяностых?

— Не только эти годы корни рвут. Земля и недра, крестьянский вопрос... Вот серый, старый дом... Теперь он пуст и глух...

— И только тот один, кто всех собой давил, свободно и дышал, и действовал, и жил...

— Придавленный, пришибленный, растерянный житель дальних поселений. Патриоты вспоминают о нем, а помочь ничем не могут. Нарастает боль за человека. Стыдно за свою растерянность. Стыдно за тех, в кого слепо верили. За себя стыдно. Хлебнули свободы, а дышим все трудней. Другие глотки рвут в борьбе за власть, за большие деньги, будто за свободу. Только большие деньги дают жить, как хочется. Вот идеал, вот новая вера.

И проповедь оправдательная нашлась: Бога бояться не надо, Бог милостив, он богатых любит.

— Быстро перевертываются приспособленцы. Отказываются, предают. Сколько всего знает человеческая история... В Божьем писании есть: люди, ругавшие Иисуса, ругали его и били его.

— Было сказано тогда: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».

Согласно думая, вспоминали хрестоматийные строки из прошлого века. Обсуждали всем известное, очевидное, закономерное, коварно выстроенное с далеким прицелом. О том в поездах говорят, в курилках... да где только не возникают печальные разговоры. Диалог вольного созерцателя и считающего себя невинным невольника держался на понимании невозможности что-либо сейчас, за несколько ближайших лет, изменить в стране, ослабленной под либеральные вопли о свободе и демократии, о вхождении в цивилизованный мир. За многие годы привыкли жить прошлым, а тут открывается такое вольное настоящее, освобожденное от идеологии любви к Отечеству.

— У нас получается так: опять будущим живем. Думаешь, вот освобожусь и все пойдет по-прежнему. — Алексей сохранял надежды на лучшее.

— Свободным чувствует себя непокоренный человек. Свобода — в душе. Наивные мы, но свободные и не лишние. — Межанин и сам удивлялся своим словам.

Глава пятнадцатая

Долгое одиночество делает людей проницательными, прошедшие через него женщины ценят мужское внимание и не ошибаются в выборе партнеров. Светлана тоже каза-лась проницательной. Среди курортной вольницы, в обще-стве костровых активистов, любителей абсента она выделялась кротостью поведения, способностью смущаться и краснеть, но ни разу не оставалась в стороне от любой общей затеи, правда, иногда оказывалась только в роли наивной и любо-пытной присутствующей. Она слушала любые разговоры, сожалея, что дамы только пробуют говорить о литературе, искусстве, но скоро сбиваются на сочувствие рабыне Иза-уре и сразу же забывают обо всем на свете, кроме событий вокруг фазенды. А мужчины каждое такое собеседование нетерпеливо разбавляют плоскими шутками, анекдотами и тем самым развлечение у костра доводят до общей скуки — преднамеренно это делают, чтобы долгожданные избран-ницы. поскорее разошлись по темным аллеям.

В пятницу играло веселым пламенем еще одно костри-ще. Скучно было возле него без Светланы. Она уехала про-верить дочку Дину, оставленную у бабушки. Волновала ее и сохранность двухкомнатной квартиры, в которой домовни-чают студентки-квартирантки. Любопытные дамочки спрашивали:

— Скучаете в гордом одиночестве, Федор Борисович?

— Одиночество средь шумного бала относительно, — от-вечал уклончиво.

— Вы здесь, а Светлана в городе. Что ж вы с нею не поехали? Молодоженам вредна разлука, она иссушает, от-нимает минуты счастья.

Опытные дамочки все знают наперед про себя и о других судят по личному опыту — такова особенность психологии. Случайные свидетели догадывались, что он и Светлана уже принадлежат друг другу. С первой встречи отношения по-лучили окраску беспечной открытости, без которой не при-ходит ощущение счастья. Взаимное влечение не удавалось скрывать и не было в том необходимости. Застенчивое вож-деление накапливалось при каждой встрече и в разлуке. Трепетная близость предвосхищалась. Ожидание перемен обоих пугало в одинаковой степени; осторожная рассуди-тельность с учетом возраста и положения требовала вре-мени более подходящих условий для того, чтобы тайное между ними случилось и стало прекрасной основой жизненного согласия. Меженин не верил в любовь с первого взгляда, на

отдых ехал без мысли о случайной встрече, без надежды изменить образ жизни, но вдруг оказался под постоянным напряжением. И не пальчики, пронизанные солнцем, раз— будили его интерес к женщине из Костромы. Было нечто закономерное и зовущее, что понять и объяснить даже са— мому себе трудно. Она была для него единственная, давно желанная и необходимая навсегда. Он ждал ее годы, терпел оскорбительное одиночество, жил только редакторством, спа— сался сочинением сказок для детей и взрослых, готовился написать роман.

Чтобы встретить Светлану, без объяснений чувствовать взаимный интерес, суждено было оказаться на одном берегу, под одним весенним небом и под одной крышей корпуса с вольным режимом. Здесь он начал думать о судьбе, фа— тальной неизбежности не усматривал, но верил: все удиви— тельное приходит в свой срок, если не суетишься. Здесь еще раз убедился, что лучше естественно жить, чем просто на— блюдать за жизнью других. Жить среди людей и не мыс— лить о происходящем в мире, в природе, в человеке, в своей душе невозможно. И претензий к себе нельзя миновать, ничтожество свое сознаешь перед богом, перед гением и природой, страдаешь в бессилии перед мерзостью отноше— ний. Можно многое не замечать или делать вид, что не за— мечаешь... Но страдать, переживать за других, испытывать необъяснимое волнение, освобождаться от собственной зас— корузлости так интересно!

Меженин определил: для жителей вольного корпуса, словно в театре, прописана обстоятельствами предыдущего бытия особая роль. Они, по разным причинам облагоде— тельствованные путевками, объединены сходством стрем— лений хотя бы временно разнообразить жизнь, потому что утомлены бытовыми заботами. Они здесь получили воз— можность увидеть себя среди других незнакомых людей и радостно обнаруживают, что способны еще волноваться, чув— ствовать связь с окружающим миром. Все они из той уг— нетающей повседневности, которая требует особого мужества, не дает права ни на что, не позволяет ничего свыше удов— летворения элементарных потребностей. Лишь некоторые, только единицы из них, успели вписаться в перемены, утра— тить стыд и обрести хамоватое превосходство над «серой трудовой российской массой». Даже в провинциальном ку— рортном сообществе уже промелькивали те, кто начал стро— ить особняки рядом с лачугами и не стыдится этого, и не знает такого греха. Они не заметят в людях нарастающей тревоги, приступов безотчетного страха и напряжения. Правда

прошлой и настоящей жизни таких не интересует. А партнерши у них — «все куклы восковые», «с ногами от ушей», о чем хохочут они, спорят, говорят и мечтают?

Каждая встреча у костра выявляла новых игроков-страдальцев. Даже под неожиданным снегопадом они призывали традиционным способом «устанавливать погоду». И восстанавливали с тостами. Сколько было слов о свободе и справедливости, произнесенных разными голосами. Как в политике — так и на отдыхе. И каждый голосящий вкладывает свое понимание новых идей. Еще чувствуется закономерность чистых порывов, свойственных добродушным. И среди простого люда ветер обещанных перемен к лучшему приподымает над землей зараженных маниловщиной. Что-то неясное с новыми лозунгами полыхает на этом ветру и ведет от социалистического счастья в социальную апатию, но слегка захмелевшие костровые активисты, словно новые вожди, не на броневиках и танках, конечно, а на обыкновенных пнях, весело критикуют недавний застойный период, не позволявший женщинам раскрепоститься, вместе с мужиками обретать утеху для души и радость для тела. Шутники и чудаки украшают жизнь. Звучат, звучат не только по вечерам призывы в новый «город Солнца» с неопределенной архитектурой, потому что с милым рай бывает и в шалаше. Не раздражает неустроенность проживания и собственная неустроенность не беспокоит — забыта на несколько недель. Не думают они, что обмануты, ограблены, что знакомых или родных завтра переселят из приватизированной квартиры в общежитие, у кого-то отключат тепло, свет, газ и воду, отнимут и этот прожиточный минимум.

Уже и тосты новые появились:

— Ну что же, братцы, выпьем за преуспевающих в цивилизованном мире. Пусть преуспевают, но только без нас!

И резкий голос дерзко спрашивает вдруг:

— Не звали? А не зовут нас почему?

— Наглости не добираем, не на те качества человеческие ориентированы. Свобода не раскрепостила в нас отвратительные инстинкты. Вот в чем дело. Как бы, дорогой, пояснить это тебе. Не можем освободиться от ограничительной ответственности за себя и за других. Неудобные мы, хотя ничто человеческое нам не чуждо. Сохраняется желание остаться человеком, своим идти путем. Не исчез духовный горизонт.

— Пора понять дорогим россиянам: революционное — хорошо, консервативное — скверно. Сейчас нужен вкус к зелененьким, к возрастающей собственности. И неважно как

она возрастает — по труду или от воровской изворотливости. Опять завертелись переменчивые партийцы. Иной успел трижды стать перевертышем. А ты, агитатор, не из таких ли будешь?

— Мне стыдно за все, что творится в стране. Когда Россию захватили и на растленье обрекли, не все России изменили, не все в предатели пошли.

— Просвещается народ с других колоколен. Непотребные вещи лихим восторгом гонит попса из столицы по всей периферии, вышибает чувство родного слова, ритм души заглушает.

— Конечно, новая банальность на месте старой завелась.

— И разгул бессмысленной вседозволенности, убивающей доброту.

Подобные разговоры Меженин слышал раньше, в служебной перестроечной толчее, но здесь и банальность казалась свежее. Любопытно на такие игривые дискуссии реагировали москвички: напускное фырсканье, вздрагивание оттопыренных мизинчиков при подъеме очередной дозы «абсента», раскованный дикий хохот, вальяжные переходы от одного фантазера к другому, претензия на особый столичный класс, причисление себя к тем, о ком поэт Анциферов сказал: «Есть москвички — отпетые птички, есть пригодные и для жен». Одна из них дала совет молчаливому Меженину:

— Не надо, Молчалин, бороться со всем миром, оправдывая свои недостатки, — можно получить сдачу.

Он поклонился с виноватой улыбкой. Поздним вечером тоже беспричинно улыбался, наслаждаясь гордым одиночеством. И размышлял об особенностях современной жизни, о том, почему появились новые типажи, начали посещать и приветствовать «пустынный уголок — приют спокойствия, трудов и вдохновенья». Шуршал пестрыми газетами, тщетно отыскивал знакомые писательские имена, вспоминал непринужденный первый разговор с журналисткой, обязанной выдать проблемный материал о судьбе Тихой Заводи, мысленно обращался с вопросами к хитрой местной лисе и ждал от нее интересных ответов, чтобы записать очередной сказочный диалог, придумывал утренние вопросы для грача, ворона и галок. Конечно, прислушивался в ожидании стука каблучков на пятом этаже — о нем напоминало деликатное умиротворяющее тиканье будильника...

* * *

— Жалок тот, кто все предвидит, чье сердце опыт ос-тудил, — бравурно напевал Аркадий, вышедший на балкон приветствовать солнце да утро веселое. — Феденька, от-крой сомкнуты негой взоры! — вызывал он соседа — давно не встречались. — Встрепенись, ты же не в реабилитации. Трепещут в мареве кусты и небосвод сегодня ясен. Сотри случайные черты, и ты увидишь: мир прекрасен. Не в праве мы кривить душой, дорогой товарищ мой. Исполняй родные песни, а чужих — не пой...

Утренним петухом кукарекал Аркадий, желая передать свое настроение курортной республике, напоминал отды-хающим о местной традиции начинать день рифмован-ными скороговорками. Приумолк народ под пугающим снегопадом, еще больше нахохлился в разговорах, о редких мимолетных радостях, встречах и расставаниях. Опеча-лился народ под возвратным снегопадом, напугала воз-можная ожеледь. А новое утро ясным солнышком радовало да не сразу в это поверилось.

Однако снова ожили балконы, опять редкими пролетами напомнили о себе птицы. Но не прилетели к Федору галки, не объявился грач. Может быть, обиделись на невнимание, поняли, что человек имеет другие интересы и сам чувствует себя окрыленным, записей в блокноте не прибавляет.

Наставительная Клавдия продолжала вечерний разго-вор: «...нет культуры постоянного общения, люди перестали ценить других за то, что они другие. И дети, оказывается, воспитаны в нетерпении к человеку, только подай и будь на-всегда им обязана, развлечения и легкие денежки на уме, как дальше с такими детьми управляться...»

Станислав рассказывал о встрече с иностранкой, она спросила: как вы живете? Говорит, меня поражает: никто ничего не делает, толпы безработных на улицах, люди не по-лучают зарплату, а ходят караваном по барахолкам, чего-то ищут, впечатление такое, что они заблудились. Станислав, как мог, объяснял специфические картины нашей жизни. Ино-странка наконец-то сообразила: они не живут, они — вы-бирают...

Этажом ниже политиканствующие курильщики оце-нивали руководителей района, области, страны по одной фор-муле:

— Ни в городе Богдан, ни в селе — Селифан, а при власти — Великан.

И туда подключился артистично настроенный Аркадий:

— Кум — королю, сват — министру, на Канарах замок выстроил, а в России куплен дом, при доме — водоем, стадион при даче. Не может жить иначе. Стыдно, что сосед богаче. Нахальство взял в придачу. Каждый рыжий понимает чего к богатству не хватает.

Снизу отозвались — нашелся заниженный ход:

— Жили у бабуси два веселых гуся, был у них веселый друг. Веселились гуси на пенсии бабуси и всех ее подруг. Понял? Хитро живут ребята.

— Кто как умеет. Хочешь жить — умей вертеться да знай в каких палатах, — ввязался еще один говорун с прокуренным голосом. — Правительству надо бы помогать. А его все по рукам да по рукам, а то еще куда-нибудь. Пожалеть бы молодых ребят. Но президенту некогда, ему тяжело — за народ страдает. — Говорун ехидно хихикнул и пропел. — Президенту стало жутко от своих успешных дел, рассердился не на шутку — на минутку протрезвел.

— Еще давай! — требует публика.

— Подсказал Гайдар Чубайсу: ты наглее завирайся, совесть нынче не нужна — в шок повалена страна... Разыграли чудно поле в главном городе страны. Оказались мы в неволе, нам и деньги не нужны... Захватили все высоты гу-бошлепы-трепачи. Ванька умный без работы, без зарплаты — и молчит...

— Молодец! — поддерживают слушатели. — Шпарь дальше, парень. Хватай больше, проживешь дольше не в России так в Польше.

Заинтригованные шумом, потягиваясь, выходят на балконы мечтательные молодки и собой напоминают о вечной теме для мужских голосов.

Для них, конечно, постарается Аркадий:

— У красавицы волос и тонок и долог, у красавицы ум, говорят, короток — с ноготок. Но чистит карманы друзей ветеранов — двух генералов и двух капитанов нежно-лукавый ее шепоток.

— Мастер, поддай угольку! — это, как обычно, снизу мужики просили уважаемого тамаду, заявившего способности еще у первого костра знакомств. — Выдай что-нибудь на местную тему.

Аркадий, конечно, выглянул — отозвался:

— Ведь сам-то я не здешний, мосье, представьте, нет, нездешний. —Быстро нашел ответ, Арагона вспомнил.

— А девок наших ловко хороводишь. Сказал присказку «про вас дур» — ни одна не обиделась, еще сильнее влекутся.

Печаль у них, только и слышно: не замечает здешних — в город спешит.

— Каждому — свое, ребята. Жизнь коротка, не потерять бы что имеешь. Космодромы теряем — не до пустяков. Дружок у меня на одном служил. Строго дело было поставлено. Порядок надежный. Приехал первый президент — ахнул. Чудо из чудес. Какие кадры! Живут одним: сделать классно, с наивысшим блеском любую работу. Первенство в мире! Президент велит всегда держать космический престиж. Будем наращивать, говорит, удваивать, утраивать. Сказал одно, а уехал — пошло другое. Все наоборот. Началось коварное понижение, явная растащиловка. Классные спецы не получают зарплату, академики не нужны. Заводы литейные, подлодки порушены. А вы говорите про деревеньку на горе: была неперспективная и не стало.

— Куда ни кинь — везде клин. Трудно будет вспоминать да забыть нельзя.

К завтраку затихающие курортники спускались по лестницам дружно, спешили показаться в новых нарядах после субботнего снегопада. Меженин прислушивался к движению наверху: Светлана и Клавдия, тихо переговариваясь, ходили по комнате, останавливались перед зеркалом, выглядывали на балкон, хлопали дверцей шкафа, начинали крутить диск телефонного аппарата и не набирали до конца необходимый номер. Они поджидают Станислава? Или надеются, что окликнет, пригласит кто-то другой. Станислав, наверно, вынужден задержаться по неотложным делам в Костроме, потому и приехали они утренним автобусом , но почему не заглядывают вниз, не окликают его, самого близкого нижнего соседа? Отчего такие изменения в поведении? Переменились планы, отменяется прогулка? О чем волнуются милые женщины, какие мысли выстраивают?

Когда он шумно прикрыл балконную дверь — наверху энергично простучали каблуками на выход две пары стройных ножек, можно было определить чья походка нетерпеливей — конечно, чаще шагала по коридору Светлана, а Клавдия ее сдерживала. Да и сам спешно закрыл дверь, мягко пробежал по ковровой дорожке — никто не сдерживал, потому первым оказался на встречной площадке, словно взволнованный юноша притормозил за поворотом и выровнял дыхание. Он ждал. Они с тайным разговором приближались медленно, движение было рассчитано так, чтобы встретиться как обычно. Увы, ошибся: они прошли своим этажом дальше — туда, где лифт. По утрам в ту сторону не ходили, только вечером на танцы или в кино, зная об этом, несколько

раз с уверенностью поджидал Светлану в фойе, иногда тер-пеливо прогуливался возле крыльца, не поворачиваясь, чув-ствовал как она подходит и дарит робкое наэлектризованное прикосновение, чтобы он так же нежно локтем мог прижать ее руку к себе, доверительно соеди-ниться и услышать ласкающий шепот: «Вот и опять мы вместе, будто не разлучались...».

Но нет ее поблизости. Хлопнула дверь парадная. Спе-шат подруги. И на улице в толпе объясняются. Что там у них стряслось? Ах, трудно разве догадаться, по общему вол-нению определить: очередные проводы покидающих воль-ный приют. Шумливое прощание с новыми знакомыми, друзьями и подругами. Прощание с неповторимой весной, с этим миром естественного обновления. Однако Клава и Светлана прощались поспешно. Они устремились дальше по прямой аллее. Энергично пошли, легкой подпрыгиваю-щей походкой. И прически вольные парусами. Радостный, романтический полет.

В порядке зарядки трусцой и широким шагом, и пере-менным подпрыгиванием окружным путем по частному сек-тору быстро дамочек догнал, сбросил темп, отдышался и вышел на площадку к воротам. А там — в толпе возбуж-денного расставания Аркадий и Алексей с напарником, и Татьяна, и Лева, и другие знакомые. На полевой взгорок глядят в ожидании автобуса. Но Станислав подкатывает на заб-рызганной машине, дверцы на обе стороны распахнул ус-лужливо:

— Прошу садиться — время золото. Клава, не волнуйся. Провожу до Глухореченска, как раз к междугороднему ав-тобусу поспеем.

Улыбки прощания. Безголосого Леву обнимают, по-здравляя с досрочным. И друзьям его крепко руки жмут. Татьяну целуют с пожеланиями здоровья, любви, семейного счастья. Аркадий и Федор не лишними оказались, нашли подходящие слова.

— Молодчина ты, — говорят они Татьяне. — С тобой парень воспрянет. Крепкий он, талантливый... Лева, а ты цени свою ненаглядную. Берегите друг друга, ребята. Двое — не один...

Алексей Гарденин выждал момент, крепко и душевно обнял Федора, успел на ухо благодарность сказать:

— Спасибо за понимание. Адрес трижды переписал и — по разным карманам, чтобы сохранно. Надеюсь, встре-тимся в Костроме или еще где. Я дорогу найду. Теперь бу-дет воля. Нам срок скостили. Татьяна помогла. Оказалось,

она больше года по инстанциям стучалась. А думали, чудес не бывает.

И низкорослый, всегда таинственно неприметный, товарищ сказался:

— Если бы не амнистия, может, и не это самое... Брошена милость.

— Милость не в том, чтобы освобождать или не наказывать. В справедливости она. — Аркадий не остался безучастным и в этой сцене прощания, свое понимание освободительной ситуации обозначил.

— Не каждому такая Татьяна достается, — позавидовал низкорослый.

— Вот и подтвердилось опять: где женщина потянет — там семь буйволов не вытянут... Выходит, Льву Татьяна судьбой предназначена...

Медленно тронулась машина, провожающие смотрели вслед, пока она не нырнула в туман, покрывающий низинные дали. Прощально кричали грачи с высоких берез, над людьми тяжело пролетела вещунья, метнулась в сторону, словно упала в кусты, и тревожно закаркала. Над провозглашенной тревогой заклубились вороны, грачи и галки.

— Почему они так жутко кричат? — спросила Светлана. — Кто там, зверь или человек затаился?

— А вороны? Да ну их к богу. — Федор взял ее под локоток. Она благодарно взглянула на него, во взгляде — понятная радость: «мы вместе...»

— Я ж в своем, не в чужом бору, — продолжила Светлана — у Татьяны в блокноте видела она эти стихи. — Пусть кричат, поднимают тревогу, я от карканья не умру... Пусть кричат...

Глава шестнадцатая

Освободилась река от напора талых вод, успокоилась, посветлела, вошла в естественное течение. Но большие белые пароходы так и не появились. Вряд ли появятся нынче — так считают местные жители. А вот экскурсионные теплоходы обещаны расписанием на центральном стенде в фойе санатория. Стенд этот украшен изображением «Ракеты» и «Метеора», летящих в разные стороны на промелькивающих сквозь пенистую волну подводных крыльях. Заманчивое приглашение прокатиться с ветерком, но и медленное плаванье против течения на затрапезном теплоходе — для курортников тоже радостно. Правда, на палубе будет холодновато еще,

сквозит встречный ветер с верховьев, говорят бывалые ры—баки.

Светлана поежилась, вспоминая былые майские холода. Она призналась, что боится возвращения леденящего ветра и снега. В позапрошлом году, говорила она, третьего мая зацветала черемуха, а когда черемуха цветет, обязательно бывают заморозки — удивительная закономерность. Не только люди, птицы об этом знают, но все равно в апреле вьют гнезда. Ударил мороз и ветер северный тогда засвистел. Даже гуси испугались, повернули обратно, сама видела как летели два клина с севера на полуденное стояние солнца, окликала гусей: «Куда же вы? Скоро, может быть, к вечеру, потеплеет!» А не потеплело. Две ночи морозило. Все лужи и пруды замерзли. Наплыли косматые тучи, начали сеять снежную крупу. А восьмого мая, накануне дня Победы с утра шел дождь, к вечеру повалил обильный снегопад хлопьями, косой такой настырный снегопад, гонимый северо—западным ветром. Бывало и раньше так, всегда после тепла возвратный снег пугает, вот гуси и журавли обратно от родных мест повернули, небось усомнились в своих вечных ориентирах и решили, что не туда прибыли, не к тем берегам. Выглянула дочка Дина в окно и ахнула: черемуха бела от снега! Буто—ны еще не распустились, а она вся белая. Крохотная птичка, похожая на колибри, порхает по веткам, обклевывает бубенчики с кистей — они, видно, единственный корм для нее, только такой может добыть. Быстренько Дина кормушку приспособила, но птичка пшено клевать не решилась... Еще два дня шел мелкий липучий снег, ожеледь пала. Опять это, сказанное теперь Светланой, слово удивило, порадовало Меженина, ему приятно было слушать неспешные чувственные рассказы, он представлял себя в уединении с ней на верхней палубе защитником от ветра, холода и... печали...

Экскурсию организовал для взаимно заинтересованных лиц Станислав, опять оказавшийся незаменимым. Он проконсультировался с докторами, получил на каждого путешественника персональные разрешения — все предусмотрел по форме, по обязательному распорядку. Советовал одеться потеплее, распределительно пояснил кому и что взять, как себя вести в пути и вовремя пешей прогулки по самым интересным местам древнего городка. В этих заботах опять был привлекателен естественной отзывчивостью, ненавязчивыми организаторскими способностями. «Он у нас такой, — с гордостью сказала Светлана. — Все делает легко, как бы между прочим, не в службу, а в дружбу. Душа—человек.

И серьезный, и веселый, и деловой». А под люстрой Чи—жевского в первые дни он казался Меженину избалованным и самоуверенным, — вызывающие реплики и суждения о литературе, артистичные манеры, видимо, были частью игры для Клавы, чтобы отвлеклась от повседневности, вспомнила о своих давних читательских интересах. Теперь Станислав поездку в Плес организационно обеспечивал для маленькой дружной компании, уже зная и понимая кто есть кто, почему этим людям необходимо быть вместе.

За несколько дней до плаванья состоялось уплотнение знакомства. Собрались в комнате у Станислава будто бы по случаю его дня рождения. Три парочки: две постоянные и одна дополнительная — Аркадий с обаятельной, застенчивой Ириной, она только что прибыла на отдых из Костромы, он помогал ей вписаться в курортные порядки. Нина оказалась ровесницей Светланы, они сошлись интересами, заговорили о прошлом студенчестве, потом вспомнили и сравнили дочерей, школьные традиции. Клава тоже проявила внимание к новенькой. Женщины в одинаковом возрасте хорошо понимают друг друга, способны на откровения. Здесь каждая была независима, по—своему красива. И мужчины общались легко, условившись не говорить о политике, ни о чем не сожалеть.

Хорошая получилась компания, согретая земляческим сознанием. Раскованно отдыхали. Вспоминали забавные истории из личной жизни, рассказывали анекдоты, дружно смеялись, пели песни и читали стихи, танцевали. Они радовались знакомству, почти ровесники, все родом из того времени, когда, по их совпадающему мнению, было много интеллигентных абсолютно честных и чистых людей, они жили в бедности материальной, много с энтузиазмом работали, увлеченно учились, впервые оказались вместе и наслаждались взаимопониманием. Под настроение пошла даже медитативная лирика. Были мечтательные улыбки — может быть, только Меженин их замечал, любуясь Светланой. Ее глаза о многом говорили удивлением, радостью, промелькнувшей печалью. Она ощущала его взгляд, ей нравилось встречаться глазами и говорить ему, что чудо свершилось, они умеют молча разговаривать, принадлежат друг другу независимо от реальной жизни, от разделительных расстояний и обстоятельств. Теперь уже не надо уславливаться о будущих встречах.

— Не бывает идеальной любовной пары, но в юности мечталось об этом, — театрально вскинув откупоренную коньячную бутылку, сказал Станислав. — Вам где—нибудь

встречались идеальные пары? Жизнь — не сплошное наслаждение. Вспомните Вольтера, всегда наслаждаться — значит не наслаждаться вовсе. Жизнь требует мужество и смирение, ну и по возможности — сближение интересов. Так вот, когда вокруг творится нечто постыдное, — говорил он неторопливо, наполняя рюмочки, названные наперстками, — когда мой жестокий век унижает людей, нельзя поступаться своими симпатиями. Мы должны вспоминать юношеские увлечения, встряхивать себя романтикой и говорить о роли отдельного человека, да-да, отдельного простого человека вопреки ученым, рассматривающим только роль вождей в истории. Кто я? Для чего предназначен? Только терпеть и приспосабливаться? От меня самого многое зависит, шевелиться надо, чтобы годы не пропали зря. Что я могу? Могу дать счастье женщине, могу ли заинтересовать ее своей мечтой?

— Ты опять завелся, Станислав. — Клава ласково приклонилась к нему. — Ты мой лирический поэт, слушать тебя иногда интересно.

— Ладно, Клава, я доскажу... Может быть, женщинам не интересны мечты поэтов, им интересны только факты?

— Даже ложные, лишь бы совпадали с другими ложными, — Аркадий подключился с желанием продолжать рассуждения. — Важен только факт замужества, а не романтические бредни поэтов. Кто-то из классиков поучительно говорил: если нет фактов — замените их лирикой.

— Этот факт в моей жизни случался. Многие хорошие ребята в такой факт попадали, когда были молоды и еще не знали никаких сомнений... Эх, да ладно. Давайте выпьем за романтических женщин.

— Учтите, и посетители публичных домов почитают в женщинах целомудрие, очарование, — поспешно и невпопад произнес Аркадий, видимо, хотел щегольнуть перед Ириной, заметив в ее поведении нечто неестественное: даже конфету она брала чопорно, стараясь добиться изящности, откусывала понемногу, едва прикасаясь крашеными губами, подправляла их уголком салфетки. Она была не из традиционных кокеток, осовремененных пропагандой пошлой вседозволенности — такую Аркадий не стал бы представлять в качестве лучшей избранницы. Федор взглядывал на нее, сравнивал со Светланой, находил привлекательное сходство: мила и естественна, улыбчивое лицо с ямочками на щеках, матово розовеющая кожа обнаженных плеч и рук, шелковистые волосы блестят здоровой свежестью, тонкие музыкальные пальцы, внимательный взгляд. Подумалось, такой цветочек сохранился в

суровых условиях. Приятно быть напротив, замечая ревностное беспокойство Светланы. Нет, не соперницы они, просто вместе одаривают нежностью и красотой. Давно не бывало таких наблюдательных минут, жил закоснелым созерцателем однообразно текущих дней, словно забыл о чувствах, а теперь очнулся, сбросил маску отрешенного безразличия и снова стал не лишним в обществе человеком, способным восхищаться. Предложен тост за романтических спасительных женщин... За них!

Выпили, как водится, стоя. И они, эти женщины, оценили внимание, засветились. Клава еще тост предложила — «за любовь». А кто против? Полное единогласие подтвердилось затяжным мечтательным молчание. Но нарушил его Станислав, желая пояснить к чему клонит разговор. Он предложил, чтобы не зачахнуть на огороженной территории, экскурсионное плаванье и взял на себя организаторские обязанности, поскольку местность знает отлично, был на преддипломной практике в живописном городишке на берегу Волги, оттуда можно подняться против течения в Кострому, если возникнет желание.

— Нельзя отсиживаться на одном месте. Надо выстаивать, сберегать себя в трагические и скорбные минуты, зная, что еще кому-то понадобишься. — Станислав подбирался к другой теме. — Не смог найти себя в странствиях, возвращайся на родину, выходи на круги своя. Помогай, землякам. Смотри правде в лицо и делай, что в твоих силах. Прежняя жизнь кончилась. В новой нет места юной беспечности, романтическим надеждам. Весь окружной мир — в развалинах, от природной стройности скоро ничего не останется. Сейчас видно и понятно. Слишком долго хлопали ушами. И спохватились интеллигенты... Народ в России всегда умнее правительства, народ живет по своим законам. И голосовать не спешит, но голосует на потребу: нате, возьмите в заседатели-думатели расфуфыренных этих людей, берите во власть себе подобных, но оставьте нас в покое...

— Станислав, мы условились: никакой политики. — Клава была начеку, ей нравилось создавать общее настроение. — Ты собирался показать Федору костромские издания: газеты, альманах, антологию поэзии.

— Спасибо, ты все помнишь. Но деловые разговоры — потом. Сейчас — прогулка для сердечных признаний. Мы не забыли еще: почти все народы мира в живой речи характеризуют свое сердце. Итак, пошли познавать мир сердцем, чтобы приближаться к Истине путем предчувствия, интуиции. Никто не возражает? И новенькая согласна принять

участие, не переутомилась с дороги? — Станислав всех видел и помнил.

Парочками бродили по берегу, иногда останавливались возле причала, смотрели на отраженные просвеченные облака, за которыми прятался истонченный остророгий месяц, вспоминали песни и довольно хорошо, душевно пели. Голоса хорошо сливались.

Давно Меженину не удавалось обрести такой уют и покой. Рядом была Светлана, тихо и мило отвечала на заботливые вопросы, сама осторожно спрашивала: «Тебе нравится наша зона отдыха, ни о чем не жалеешь? Ты собирался навестить Фомича, спросить у него про сиреневую шляпу — не забыл? Одинокого человека на причале вспоминаешь? Интересно, Николай Иванович узнал свою жену издалека? Помнишь, он советовал ничего не загадывать в полнолуние? А ты хотел бы загадать желание сегодня?» Она все помнила. И понимала.

...Туманным утром на этом причале поджидали местный теплоход «Москва», доставляющий к весенним заботам садоводов и огородников по всему побережью. Праздные туристы выходили к нему на причалы только из мест отдыха, расположенных на территории двух соседних областей. Такие туристы — особая публика, они и сами не знают куда, зачем стремятся, что ищут и чего хотят. Заботы и тревоги оставлены дома, а вот охота к перемене мест сохранилась. Стоять в обнимку и шептаться можно на берегу, но требуется еще качание на волнах, пенистое кипенье за бортом, дразнящие крики чаек, встречный ветер, играющий, обдающий лицо ароматами весны. Когда в обнимку с милой плывешь, кажется, что жизнь свежа, искриста, радостна.

Представишь себя под сквозящим ветром на верхней палубе одиноким никому ненужным — мороз по коже. А пока можно радоваться, что нашлись наконец в потоке случайных встреч понимающие глаза — доверчивые очи. Есть такие глаза, неспособные лгать, умолчать о светлых чувствах. Неужели любовь повторяется, способна вырвать усталого человека из цепких серых лап условностей и обязательств? А как же та, самая первая? Что от нее осталось? Только щемящее воспоминание в минуты тягостного, оскорбительного и бесплодного одиночества за стенами препротивной и утомительно однообразной во все времена года комнатенки. Но в таких воспоминаниях была утешительная прелесть — думалось о собственной былой привлекательности.

Теперь на палубе, согреваемый волнующим родным теплом умиротворенной Светланы, молчаливо наслаждался

движением, светом молодой береговой зелени, восторженными криками чаек. Он думал о странном предопределенном стечении обстоятельств, времени, места, встреч, знакомств, разговоров, шутливых диалогов, песен и частушек — всех мелочей из естественного течения жизни в неестественных для повседневности условиях. И удивлялся, что сам ничего не предпринимал, не придумывал, не планировал, не блистал красноречием, только неравнодушно, с неподдельным интересом присутствовал в качестве созерцателя, но не оставался незамеченным — всегда к нему обращались, откровенничали перед ним разные люди, ждали дельных советов, проницательных рекомендаций и, не дожидавшись, не выказывали разочарования. Может быть, именно эти недели удавалось жить в ладу с самим собой, в гармонии со своим предназначением, ничего особенно не ожидая, не выгадывая наперед, ни под какие требования не подстраиваясь. И здесь миновало его заразительное в наше время рабское подражание большинству, удалось не поддаться стайным интересам и чувствовать там, где это необходимо, скрытое за спокойной благообразной поверхностью вязкое наслоение донного ила, видеть рифы эгоизма, алчности и похоти. Именно так, думал он, можно бы записать в дневнике, но что прорастет, выкристаллизуется потом из этой пометки?

Раньше он спасался в одиночку, доверяясь только собственным писаниям, и не чувствовал себя спасенным, способным тихо защититься от жаждущих покорять и возглавлять, способным нарушить многолетнюю преданность прошлому. Даже в так называемой культурной среде не находил понимания и расположения, всюду громко высказанные банальности заглушали здравый смысл, стереотипно вульгаризированное мышление коллег не принимало его откровенное стремление жить естественно и просто, они усматривали в чистоте и честности какие-то коварные замыслы и спешили унизить, опорочить, ошельмовать, упрекать в том, чего и в мыслях у него не могло быть. Он искренне возмущался суррогатами массовой культуры, называл ее еще одним типом стадности, говорил, что подлинная культура без почтения к родной русской речи, к художественному слову существовать не может, а его упрекали в нетерпимости к инакомыслию, грозили привлечь за разжигание межнациональной розни.

Оказывается, на природе, среди новых знакомых, можно облегченно вздохнуть и прислушаться к уверенному ритму своего сердца. Только здесь впервые был задан вопрос: «Ты когда-нибудь чувствовал себя одиноким?» Чувствовал,

конечно, чувствовал и очень часто, но ни разу не обнаружил в себе враждебности к чему-либо. Светлане он признался в этом, она ответно приклонилась, словно подставила плечо. Так плечо в плечо под удивительно просторной зеленой куртки они стояли на ветру. Жаль, что время плаванья оказалось мимолетным — теплоход приткнулся бортом к причалу первого места назначения. Попутчики деликатно напомнили: пора выходить. Радостно спешили на подъем, будто этот берег мог одарить чем-то необходимым для жизни. Подъем был крут, но держась за руки, парочки вбегали легко.

— За внешней легкостью всегда бывает труд души, ума и сердца, — сказала Светлана. — Я и не знала, что умею бегать по горам.

— Подъем, конечно, крут. — Станислав встречал последователей. — Молодцы, удальцы. Мы сто подъемов одолеем, если только осмелеем.

Выстроились в шеренгу на крутизне, перед ослепительным солнечным волжским простором.

— Чтобы наши улыбки были привлекательней, покажем зубы все разом, — наставительно призвала Клава. — Теперь слегка ослабить челюсти и высунуть кончик языка... Вот так! Вы очаровательны и ваша жизнь станет совсем другой, — повторила одну из вечерних рекомендаций. — Оценив свою свободу, за короткий срок избавимся от катастрофических рассуждений.

— Мало видим, помним и знаем самую малость, — Станислав по праву экскурсовода помогал ориентироваться на местности, он тянул романтическую группу в гору Свободы, с которой открывается прекрасный вид на Заречье. Легко и непринужденно вел рассказ от археологических исследований древнего города, перечислял пережитое под татаро-монгольскими набегами, во время польско-шведской интервенции, подчеркнул роль этого городка для нижегородского ополчения под предводительством Минина и Пожарского.

Мужчины, оказалось, многое знают и ценят, а женщинам хотелось выглядеть заинтересованными. Конечно, многих русских живописцев вспомнили: Поленов, Саврасов, Шишкин, Репин, Васильев приезжали сюда, в летнюю мастерскую, работать и на отдых. Был Шаляпин не раз, пил чай из самовара. Немало и других подробностей упомянул экскурсовод: земляной вал городища, березовая роща на берегу, ансамбль Торговой площади, дача Шаляпина, несколько пейзажных достопримечательностей. Многозначительно повторялись

названия картин: «Золотой Плес», «Вечер на Волге», «Свежий ветер», «После дождя»,«Над вечным покоем»— все упоминаемое в заповедной стороне имело привлекательность, перед которой робеют чувствительные люди. Особое настроение объединило туристов возле деревянной церкви на любимой горе Левитана. Они не знали подробностей здешнего пребывания больного пейзажиста — никого это раньше не интересовало. Теперь особую любознательность проявили дамочки: «Расскажите еще...».

— Здесь художник знаменитую «Березовую рощу» дописал и начал работать над «Тихой обителью». Софья Петровна вернула его к искусству, это почему-то редко упоминают. И ты, Станислав, ничего не рассказываешь, — упрекнула его Клава. — Она растрачивала себя во благо другой жизни. Надо ценить такую природу женского сердца.

— Тогда измученный пережитым, бедностью, безотчетной тоской Левитан начинал сомневаться в призвании... Светская дама, вчерашняя столичная ветреница, избалованная великодушным мужем укрощает себя в покорность перед молодым талантом. — Станислав почувствовал, что некоторые подробности уместно вспомнить. — Ей было за сорок, но она решительно отказалась от старомодной изысканности манер, предпочла простоту и естественность, готовность позаботиться, обласкать. Она любила и чувствовала, что нужна, любима. Она была рядом, давала ощущение лада, благодати домашнего очага. За три лета в Плесе художник создал почти сорок картин. Софья Кувшинникова была его музой восемь лет. Не красавица, нет. Не воздушная «фея», земная и жертвенная женщина, с ней он улыбчив, мягок, нежен. Она рисует вместе с ним, иногда они убегают из дома просто радоваться среди цветов. А вечерами звучит музыка при свете зеленой лампы. На левитановских холстах — вы это видели — появилась Софья Петровна.

— Подарил он ей однажды небольшую картину «Зимние сумерки» с надписью на обороте: «Другу моему С. Кувшинниковой». — Это дополнила Клава.

— Вот так, милые, хорошие. Учитесь жертвовать собой, — театрально вздохнул Аркадий. — Талантам надо помогать, в этом ваша благодать. Правда, Федор?

— Мучительное у них было расставание, — серьезно отозвался Меженин.

— А дети как же? — выдала свою тревогу спутница Аркадия.

— До того ль, голубчик, в мягких муравах... — Он шумно чмокнул ее в крутой лоб, украшенный прилипшей курчавинкой.

* * *

Именно на этой горе наивный созерцатель осознал необходимость остановиться в суетливой гонке с твердым намерением избрать другой путь и другой ритм жизни. Не надо спешить, некуда больше спешить и отступать перед обстоятельствами нельзя. «Призрачно все в этом мире бушующем, — повторял он песенные слова. — Есть только миг между прошлым и будущим... за него и держись». Нежно и благодарно смотрел на Светлану. Кажется, она понимала его настроение. Тихо повторила слова самозванного экскурсовода: «Любовь в маленьком городке на волжском косогоре... Наивность женского сердца, не желающего стареть... Редкий дар, которому стоит завидовать... Ей за сорок, а ему двадцать восемь... И она его спасает...».

Другие участники легкой прогулки спускались молча с горы Свободы, возвращались на пристань. Шли гуськом, нарушив первоначальное распределение на парочки по интересам. Некоторое время, поджидая транспорт, стояли на береговой кромке у самой воды. Проницательный экскурсовод видел настроение каждого и потому осторожным перебором струн навевал лирические мелодии. Светлана едва слышимым мурлыканьем вспоминала свои любимые песни, синева ее глаз туманилась.

Песенная печаль продиктована длительным одиночеством. Не сложилось семейное счастье, а годы летят. Того другого, самого первого, и второго не сможет она вычеркнуть из текста нескольких лет, вырвать лишние неудачные страницы. А разве и тебе самому, думал Меженин, удается вычеркивать былое из своего сердца? Разве случайно пел вчера и сегодня неотступно звучат такие строки? «Все, что любил, все, что хотел, коснется вдруг сердечных граней, как груз незавершенных дел и неисполненных желаний. И ничего не позабыть, ни от чего не отрешиться. Мне это время пережить, как будто заново родиться...» Ему казалось, Светлана тоже повторяет эти слова. Ее готовность разделить минуты радости и печали он понял, оценил с первого уединения. Но можно ли навсегда полагаться на взаимность, рожденную за несколько курортных дней? Можно ли удержать ее, так же легко и естественно слагать отношения в условиях неустроенной жизни? Ничто не возвращается в сердце постоянным качеством. Оно, некогда порывисто заселенное и, может быть, не однажды заселенное, уже обклеено, как временно предоставленная квартира, несколькими слоями обоев по вкусам эпизодически прописанных на жительство. От этого скверного сравнения пробежали мурашки по спине...

Когда вечерний теплоход с протяжным прощальным гудком медленно вышел на фарватер, встречное течение и встречное солнце вызвали усталых путников на верхнюю палубу. Чайки радостно перекликались, зависали над палубой, разглядывали очарованных странников и снова взметывались в розовый простор. Чьи вы? Куда вы? — кричали стремительные птицы. — Чья ты, красавица, чья ? — спрашивали они Светлану и тут же опасно пикировали к стоявшему рядом Федору. — А ты — то что? Тебе подарок! Такой подарок! Искры жизни, искры жизни!

Он зримо вспомнил искристое свечение с верхнего балкона глаз и волос, пронизанных солнцем. Он привлек ее к себе, погладил волосы. И снова искры жизни пронзили его, точно в первый раз, когда простреливали холодное, черствое, успокоенное, зацементированное сердце. Она, единственная, подарила пробуждение, чувство весны и света. Конечно, иногда встречались внешне похожие блондинки — в последние годы крашеных развелось слишком много, шурша платьями, гордо и вызывающе, проходили они мимо. И в зоне отдыха они, как правило, преднамеренно запаздывали в столовую, чтобы сидящие за столами могли видеть белокурую шуршащую гордость. Надо бы смириться, воспринимать людей какие они есть, без иронии, без претензий, но ни Аркадий, ни Станислав, ни он сам ни разу не удостоили этих особ восторженным взглядом. Только Светлана, по мнению Аркадия, может любому нанести удар в солнечное сплетение, она светится открытой, но не понятной для других жизнью, такая женщина способна при любых трудностях сохранять все лучшее, что даровано природой.

А что ценит Аркадий в новой спутнице, представленной в качестве землячки, замечает ли в ней очевидное для Федора сдержанное сходство со Светланой? Где они уединились — воркуют, небось, шепчутся, словно век не виделись. Все легко получается у энергичного северянина, он может любить и северные деньги швырять непринужденно, не потому ли женщины и девушки тянутся к нему хотя бы в собеседницы?

— Помнишь, ты говорил: нельзя запереть ветер и воду. Теперь вода и ветер летят нам навстречу. Ой! — вскрикнула она. — Куда мы плывем? Это против течения! Это — домой, в Кострому! — радовалась Ирина.

— Правда, к нам едем! — Светлана тоже удивилась.

— Разве? Тебе так хочется? Не согласна плавать по течению? Чтобы встречный ветер щеки ласкал, да? — шептал Меженин. — А помнишь прыжок с обрыва, когда меня выручала? Помнишь, идеолог этот патлатый как легко

зажигалку присвоил? Я ему благодарен — не курю и не тя-нет. Знаешь, странно подумалось: стихийным течением унесло тот наркотический плот... Так и в жизни: одни плывут по течению под любым флагом, подчиняясь лукавым капитанам, а другие карабкаются против течения. Путь в родную Кост-рому обозначен встречным течением — интересно получа-ется. — Он пытался выстроить особый смысл. — И встречный ветер наполняет паруса. Что же влечет тихо и ласково туда, где давно не бывал?

— Ой, правда, мы неправильно плывем? Таких берегов я ни разу не видела, — выдала свое новое беспокойство спут-ница Аркадия.

— Туда, куда нужно, — словно Сусанин, сказал Станис-лав и расхохотался. — Вот вам и ой! Вбежали на первый попавшийся теплоход, чтобы продолжить путешествие. Не отчаивайтесь, еще не вечер, не опаздываем и окажемся там, где нужны. Я приглашаю Вас в лучший город на Волге. Приглашаю на родину.

Глава семнадцатая

Станислав признал, что осуществил задуманный вари-ант: когда в Плесе причалил теплоход с низовьев, любовался дамами, спешащими на посадку, наблюдал расслабленное поведение покорно устремленных за ними кавалеров и, молча оплатив за всех проезд до Костромы, некоторое время с за-таенной улыбкой пребывал в стороне от попутчиков. Клава в замысел была посвящена, но держала язычок взаперти. Вскоре хитро задуманное предприятие вызвало общее одоб-рение. Было решено: грешно не побывать там, где поло-жено отметиться всякому отдыхающему на территории Золотого кольца.

— Все видел, все знал и действовал нагловато, риско-ванно. Поймите — простите, — винился Станислав. — Гре-шен, братцы, грешен. Но еще утром на всякий случай предупредил дежурного врача: мало ли по какой причине путешествие затянется. Грех признаю. Любой грех, как и добродетель, оставляет в душе причинно-следственную связь, поэтому каяться надо обязательно. Имейте в виду, хороший человек знает не только свои грехи, через истинного все проходит, вы — из таких. Замысел поймете. Деловой раз-говор, надеюсь, пройдет результативно на родном берегу. Считайте меня чудаком, способным бросать пробные кам-ни. — Он высказал дополнительное оправдание и достал

из рюкзака папку с бумагами. — Для начала определимся и признаем себя странными людьми. Никому до нас нет дела. Никому мы не нужны, никто нас не востребует. Слушайте, буду растолковывать доходчиво.

Медленно, с заходом издалека к предусмотренной теме, говорил о необходимости в новых условиях менять регио — нальную культурную политику. Конечно, все мы наивные чудаки, ждем рецептов. Он поясняет, а отдыхающим такие рассуждения ни к чему, но притихли.

— Когда издеваются над тобой год, два и три, пользуясь вакханалией безвластия, когда коварно действует местный бомонд, чтобы унизить тех, кто не примкнул, начинаешь себя вспоминать с достоинством и ненавидишь все, что против застенчивых и совестливых, против твоей родины, твоего на — рода. Безвинных, безвольно поступающих, запуганных лю — дей жаль. Особо рассчитанный режим действует, кадры приходят новые — шустрые, без царя в голове. Если таиться в стороне, останется больное молчаливое согласье.

— В основе русской культуры всегда было слово.

— Оно взрастило умы, давшие человечеству половину всех значительных открытий. А чиновники от культуры по — этам и писателям говорят: вы не наши, вы на учете по об — щественным организациям среди любителей кошек и собак, коллекционеров открыток и спичечных коробков. Есть та — кая лукавая установка. Что же это за культура без литера — туры, без театра, без воспитания чувств? Законов накручено, шумит пропаганда рыночных отношений, в угоду торговцам происходит безоглядный отказ от традиций. Одни законы перебивают другие. Захлебнулись законами. Китайцы с дав — них пор утверждают: империи, идущие к гибели, изобилуют законами. Империя наша усеченная, а законов больше пре — жнего. И ни одного конкретно поддерживающего культуру, определяющего статус творческого работника, обласкан в сто — лице, лишний на периферии.

— Столичные завсегдатаи на виду — и достаточно. Верхи не желают знать провинциалов, — Клава опять пе — ребивку вставила.

— Решились, наконец, создали в департаменте отдел ли — тературы и искусства. При нем — мобильное издательство, учрежденное совместно с областной писательской органи — зацией. Вернемся к опыту земляка Сытина, чтобы печатать книги для детей. У нас особые условия, есть прекрасный полиграф. Грешно не пользоваться. Хорошие организа — торы нужны. Собираем толковых земляков. Разве на сто — роне они зачерствели, не захотят поддержать. — Инициатор

обнаружил понимающих слушателей и разгорелся, набрасывая перспективу. — Стартуем с июня. Издательство зарегистрировано. Чувствуешь, земляк? — он толкнул плечом сидящего рядом Федора. — Нужен главный редактор. Вот готовый контракт с гарантиями. Гарантии только что избранного губернатора, заместителя по вопросам истории и культуры.

— Нашлись бы средства, а то у нас теперь ни на что их не хватает. Обещаниями проще поддерживать, — Клавдия снизила пафос надежд.

— Ну вот, опять ты... Не каждый приходящий к власти повторяет ошибки предшественников. Культура в широком смысле облагораживает экономику и обеспечивает успех по всем направлениям, потому вижу свою задачу. Начнем с малого. — Станислав уверенно продолжал. — Будет главному редактору хороший оклад. И на первое время — квартира однокомнатная. Все в контракте пунктами помечено. Осталось согласиться и подписать. Не сгоряча, конечно. Директор пару недель подождет, дольше ждал. Я и так проявил терпенье. Клавдия сказала кто есть кто, вот и пригляделся к землякам. Смотрю, возвратные связи с Костромой налаживаются. — Станислав многозначительно улыбнулся и подмигнул. — Ну, Федор Борисович, поддерживаешь замысел? Мы с тобой из одного района, только в разных школах учились, ты на три годочка впереди прошел. Биографическую справку в хрестоматии по литературе читал — радовался: еще один земляк интересный...

— Мы с одного земного шара... Школьные годы помню. Стихи начал писать в восьмом классе, районная газета печатала. Однажды в коллективном сборнике зарисовки появились. Проклюнулось литературное увлечение... Было в Костроме издательство. Книги выходили большими тиражами. Рассказы Леонида Воробьева из тех лет храню.

— Издадим и Воробьева, избранное под названьем «Недометанный стог».

— Я дочитывала рассказ и в слезах горевала, — призналась Светлана, приложив руки к груди против сердца. — Жаль Арсеню и Татьяну. Добрые и откровенные, красивые до последнего шага. Татьяна умерла — Арсене одному жить...

Меженин думал: «Моя бабушка на эту Татьяну похожа». Наверное, и другие вспомнили самых близких.

Складывался непринужденный разговор с сожаленьем об утратах, с воспоминаниями о писателях, о прочитанном в школьные годы: что имеем не храним, потерявши — плачем, сколько талантливых книг сложилось от жизни на кост-

ромской земле? А где они теперь? Кто читает, анализирует? Кто склоняется над этими кладовыми правды, мудрости, достоинства и красоты? В них удивительный язык, такой и выражает дух нации. Романы и повести особого колорита прочтут ли новые школьники? Будут ли востребованы неизданные рукописи?

Меженин в подходящую минуту сказал:

— С годами многое забывается, но себя самого в горькие и прекрасные минуты забыть невозможно. Не боюсь того, что не знаю. Боюсь потеряться. Странным, неуверенным иногда себя чувствую.

— Не наговаривай, не порти людям настроение. Мы не из отряда сектантских властолюбцев. Не для нас иные вопросы и ответы. Помнишь, рассуждения о грядущем хаме? И вопросы помнишь? И некоторые ответы. Да знаете ли вы что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек... Это песни мастеров идейного радикализма. Слушать таких — заблудишься. Не тужи, земляк, образуемся, выйдем на зеленые просторы, на цветущие луга. — Аркадий веселым голосом продолжал. — Все образуется. Подумаешь, не туда приплыли. Нынче многие так: идут — куда ведут. А спохватятся — поздно.

— В том и дело, Аркаша. Толпятся оракулы, а за этими толпами толмачей орудуют грабительские бригады под флагом накопления капитала. Средний класс под собой создают. Свобода, демократия, согласие, примирение и грядущая справедливость... Консультанты и декораторы на конференциях разводят ловко умытыми руками: «Ну что делать? Что делать, бандитизм стал нормой нашей жизни...» А мы наивно на культуру надеемся, когда «культурная революция» освещает путь в запланированную ледяную пустыню...

Гудел встречный ветер, хлопал выцветшим белесым флагом над рубкой, билось в борта, высоко волнилось и пенилось встречное течение, а в небе между редких облаков плавно и неотступно летели едва видимые розовые фламинго, к ним взметывались чайки, чтобы лучше разглядеть, радостно вскрикивая, косо срезались с высоты и снова догоняли теплоход, плывущий к родному причалу, уютно поставленному против парка, обозначенного издалека видимой указующей рукою Ильича.

Через этот парк, вспоминая студенческие годы и строки Евгения Старшинова из поэмы «Если любишь...», прошли не спеша. «Парк над Волгой густой, тенистый... У студентов горячий диспут...». Они не спешили, некуда было спешить, будто бы уже все в жизни предрешено и не о чем

волноваться, печалиться. Кто-нибудь именно так мог подумать, завидуя медленному шествию под тихие аккорды гитары. Впрочем, Меженин и сам будто бы со стороны любовался походкой собравшихся вместе земляков.

На выходе из парка между торговыми рядами тишину нарушил странный гул, может быть, эхо гуляющее под арками усиливало шорох шагов до такой степени. Вспоминалась другая дорога, не своя собственная, а с первой страницы пролога к роману «Вольному воля». Недавно прочитанное повторно озвучивалось в памяти и виделся другой, зарастающий берег, чувствовался напористый ход одинокого человека. Вот он миновал четыре растерзанные отчуждением и беспамятством нежилые деревни, перед следующей настигла лохматая, взбудораженная гряда облаков, ведущая за собой повторную устрашающую непогоду... Казалось, наблюдатель цепко следит, будто бы читает мысли, предугадывает каждое движение. Страшно было оглянуться, но и впереди подозрительно качались, потрескивали кусты, вздымались напуганные птицы, прошмыгнул тенью лохматый зверь. Даже в детстве не приходилось так настораживаться на привычной тропе. Не робость охватывала холодом, не страх за собственную жизнь обвивал колючей проволокой, а давало о себе знать нечто непредсказуемое.

Словно на экране менялся пейзаж, постепенно нарастал любимый город. Остановились в центре, куда лучами сходятся улицы.

— Наш город по замыслу прекрасен, но меняется неповторимый облик его. Люди встревожены увяданием красоты, притесненной скороспелыми особняками, — говорил Станислав. — Иногда воображаю себя способным перестраивать не декорации, а сущность жизни. Цивилизованный мир не способен освободить каждого из нас от чувства красоты и правды, от зова крови и совести, от права памяти и любви к родине. Напрасна категоричность идеалистов. Кто-то сказал: когда человек хочет казаться идеальным — бойтесь, это самый страшный тип из проповедников общечеловеческой доброты. Не добро с кулаками надо бы проповедовать, а уважение и любовь к конкретному человеку. Тогда и социализм с человеческим лицом сложится. Теперь сами реформаторы признаются: не прошли тест свободы, многие из тех, кто назывался демократом, начали всех обвинять, только они оказались хорошими...

Из сквера на сковородке разглядывали смутно желтеющую пожарную каланчу, вспоминали свои свидания возле колонн. Станислав в той же манере наивных рассуждений

говорил о монолитных мраморных колоннах, о венецианцах: с Ближнего Востока в давние века венецианцы привезли ко-лонны и решили поставить на площади Святого Марка, а они, тяжеленные, не хотели стоять вертикально. Нашелся чудак, придумал хитроумную систему канатов, замоченных в со-леной воде. Постепенно высыхая, канаты подтягивали стройные сооружения к вертикали. Умный чудак не про-сил награду, от денег отказался, но добился разрешения по-ставить рядом с колоннами игорный стол. Дальше — больше: вся площадь превратилась в казино, умелец разбогател. Те-перь Венецию называют гостиной Европы, люди приезжают отдохнуть от земных дел. Видите, что получается. Для чего и для кого старался умелец-чудак? Такой вопрос предложил Станислав своим спутникам. А они не спешили с ответом, наверно, у каждого были более насущные вопросы, каждый мечтал поставить собственные колонны.

Упомянутая хитроумная система канатов усталым пут-никам показалась полезной в утилитарном смысле.

— На девятый этаж без лифта или без канатов, пожалуй, нам уже не подняться, — тяжело вздохнув, томным голосом сказала Ирина, партнерша Аркадия. — Неужели никто не поможет?

— В келью единственный путь. Ножками, только нож-ками. Испытано. Смелей. Вперед и выше!

— Никто лучше нас этот дом не знает. Все коммуналь-ные удобства его в морозную зиму коллективно испытали, — рассказывала Клавдия.

— К моему камину Светлана и Клава дочерей греться приводили. Слышу грохот поленьев на лестнице — знаю, это они идут с собственными дровами, — спешно пояснил Ста-нислав. — Сегодня обойдемся без дров. Смело в гору, дру-зья. Чем выше поднимаешься духом, тем ближе к прозрению.

Оказывается, в этой девятиэтажной коробке встреча-ются костромичи: пять лет назад Станислав попал в одно-комнатную на девятый этаж по разделу жилплощади при выходе из первого брака, Светлана с дочерью и студентка-ми-квартирантками — в маминой двухкомнатной согласно живут на третьем, а Клава — в соседнем подъезде недавно сняла однокомнатную. Женщины пытались объяснить сте-чение обстоятельств, которые возвратили их к давнему сту-денческому братству, но гости и не нуждались в объяснениях: прибыли тоже по воле случая, все само собой сложилось — демократичная жизнь одаривает новыми впечатлениями, пусть так и будет, трудно предсказать, где найдешь, а где потеряешь. Ни Аркадий, ни его молодая спутница Ирина, ни

Светлана, ни наивный созерцатель Меженин не чувствовали усталости, претензий не высказывали, держались естественно, было легко и весело в предвкушении дружеского ужина — предварительно закупили они в ближнем магазинчике набор соответственной продукции. В этой студенческой активности чувствовали себя взаимно необходимыми и щедрыми.

После короткого ожидания — Клава и Светлана навестили домашних и переоделись, после краткой экскурсии по квартирам поднимались на девятый этаж словно альпинисты под чутким руководством Клавы и Станислава — они звоном гитары обозначали очередной этаж, убегали на новую высоту, а ведомые с передышками брали лестничные пролеты и, конечно, шутили, тихонько смеялись. Аркадий придерживал спутницу, иногда ловко ухватывал за талию и взметывал на две—три ступеньки вперед, при этом успевал одаривать комплиментами и советовал ценить его маниакальную страсть ко всему изящному. Она находчиво отвечала:

— Плутовство оценила, вижу сходство с авантюристом и дамским угодником...

— Имеешь в виду Джакомо Казанова? — Похвальный ориентир, но мне симпатичен с юных лет Ромео.

— А знаешь ли, что есть город Верона? Влюбленные со всего света стремятся туда, находят дворик, поросший виноградной лозой, прикасаются к бронзовому бюсту Джульетты... Стоит прикоснуться и произнести имя возлюбленного — он ответит взаимностью. Я хотела бы прикоснуться.

— Зачем так далеко. Прикоснись ко мне сейчас. Вот Светлана уже прикоснулась — Федор ответил.

Аркадий ласково подшучивал над сбивчивым дыханием и вялой походкой обаятельной спутницы, она в ответ бодрилась, семенила игривыми ножками, но иногда спотыкалась и с хохотом припадала к нему. Ведущий Станислав утешал ведомых тем, что они получат возможность взглянуть с девятого этажа, как с седьмого неба, на свою прежнюю жизнь и тут же спланируют вторую ее половину сообразно требованиям времени, интересам государства, еще не нашедшего новые идеалы. Говорилось это шутливо, но с определенным смыслом. Он сказал, что не считает себя обманутым обещанием свободы и демократии, определился в смутном времени по совету президента.

Холостяцкая одиночка с камином, книжными стеллажами вдоль трех стен от пола до потолка, нестройными пирамидами книг по углам и возле письменного стола. Четвертая стена украшена единственным окном с видом

на рубероидные крыши многочисленных кладовок, над которыми блестит между тополями лунная дорожка, пересекающая Волгу против невидимого отсюда причала. Именно этот пейзаж возвратил Меженина в студенческое общежитие на Молочной горе, он представил себя уединенным — тогда начал «дневные впечатления в свою книжечку писать». Не предполагал заразиться вредной привычкой...

Компания шумела: обсуждали рискованную поездку на теплоходе, авантюрный подъем против течения вместо возвращения в курортный режим, прогулку по набережной до знаменитой беседки, совместно сплетали хитроумную систему невидимых канатов, способных изменить ситуацию в городе и области.

— Помните, профессор на берегу спрашивал: «Вам это надо, мужики?» — Станислав разыскал в развале на столе брошюру. — Вот примечательная монография «Быть или казаться. Интеллигенция и демократия», вот другая... Не только о свободе и чувстве собственного достоинства размышляет философ. Есть у него и другие труды по философско-эстетическим и нравственным проблемам, созданные под влиянием наших земляков Флоренского, Розанова, Зиновьева. Интерпретирует дяденька ради приближения к истине. Умеет подшутить над собой: нет таких пустяков, которых не коснулся бы философствующий бездельник. Студентам говорил: человек на собственных ошибках учится больше, чем на прописных истинах. Все любили его, но оказался оттесненным с кафедры. И не сдался — размышляет, вступает в случайные дискуссии, наивно шлет письма президенту и говорит, что не перо пишет, не чернильница, а пишет горючая слеза. Нашел единомышленника — бывшего сельского учителя, вот поехали в Москву, назвались ходоками... Им это надо. А нам разве все безразлично? Свою систему канатов плести пора, чтобы вздымать поваленное. Данное господом должно работать в интересах каждого. Недрами, ресурсами пользоваться все имеют право. Надо приподнять людей, чтобы своим жили умом и трудом, чтобы цену своего труда знали и получали за него соответственно, а не в три раза меньше...

— Ну, завелся! Сочинитель! — Не сдержалась Клавдия. — То ему трехдневную кристаллизацию подавай по Стендалю, то устраивай седьмое небо на девятом этаже или варианты издательских программ раскручивай компьютером, народный песенник за неделю составь. Измотал инициативами. Чувствует — заинтересованы. Давайте споем.

— Споем, конечно. Но сперва нальем, как заведено. — Аркадий опять обозначился в роли тамады.

— Мы не скифы, не люблю, други, пьянствовать бесчинно... — Станислав явно сожалел, что не удерживается разговор в необходимом русле, сожаление это выразилось и в том, как он, возвратив брошюры на прежнее место, отвернулся к единственному окну. — Ладно, отдыхайте. Скоро возвращаться.

Сдвинулись посредине и тихонько выстроили незабытую студенческую песню. А потом гитара переходила по кругу — каждый должен был исполнить хотя бы один куплет соответственно настроению. Интересная получилась музыкальная композиция, удачно вписывались в нее и классические строки. Меженин пел: «Я думал, сердце позабыло способность легкую страдать, я говорил: тому, что было, уж не бывать! уж не бывать! Прошли восторги, и печали! И легковерные мечты... Но вот опять затрепетали пред мощной властью красоты».

— О чем не поплакал, о том не споешь, — сказал Станислав. — Еще умеем петь необходимое. Но редко говорим все-рьез о том, что думаем, отчего страдаем. Не говорим, потому что некому слушать. Выходит, и не печатаем книги пророков Отечества по той же причине? Или другие пророки самозванцами преуспевают? Не те слова шумливо вихрятся по стране, все реже естественная речь в обиходе. Хочется иногда крикнуть: давайте же разговаривать как люди в своем доме.

— Вот-вот. Хочется ему к штыку приравнять перо. — Клава настойчиво охлаждала. — Не получится.

— Клишированные воспоминания получаются у нас. Эх, веселья час и боль разлуки.

— Он, конечно, очень умный. — Светлана несколько раз принималась расхваливать Станислава. — Удивительный, деловой, порядочный. Правда, очаровательный? Такому легче решать любые вопросы.

— А вот я не умею очаровывать.

— С тобой хорошо, спокойно, уютно, — признался Федор и почувствовал: она правильно поняла признание...

* * *

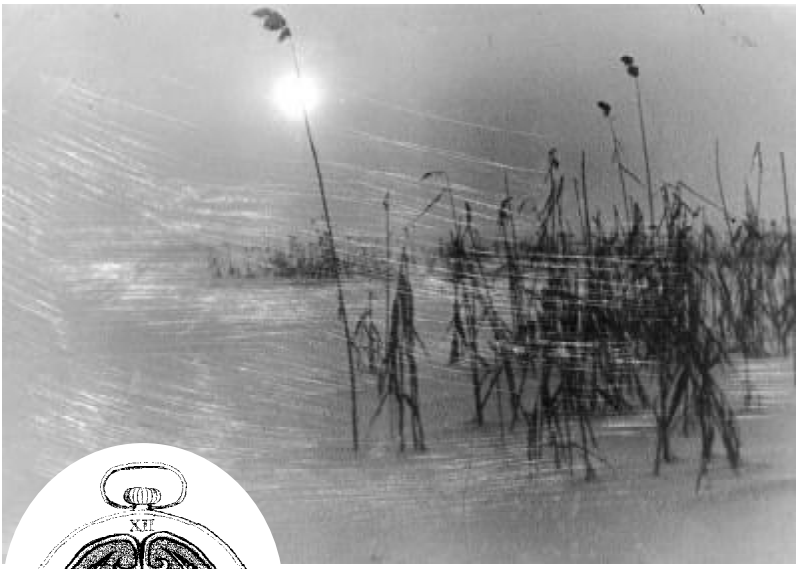
В назначенный ранний час вызванный друг Станислава доставил их микроавтобусом в зону отдыха. Породненные земляческим настроением, чувствуя физическое и душевное обновление, намерены были содержательно провести несколько последних дней. Но вдруг в качестве свидетелей или косвенно причастных были поодиночке приглашены на

следственное собеседование по обстоятельствам возбуж—денного уголовного дела в связи с гибелью находящейся в розыске журналистки, командированной в Тихую Заводь, — три дня назад ее истерзанное тело обнаружено в зарослях неподалеку от пригородного ресторана «Белое солнце». Упомянуто было и нападение минувшей ночью на сторожа Фомича; только что он, обнаруженный сестрой Марией, ис—калеченный, истекающий кровью, отправлен санаторной ско—рой помощью в Глухореченск. По вопросам было понятно: сотрудники органов взяли в подозрение обитавшую на пра—вобережье молодежную группу под предводительством Ина; троих любителей поэзии, находящихся на лечении в «Ифо—ныче», один из них безголосый; преуспевающих около биз—неса бывших одноклассников Елены Тороповской. Спрашивали: кто, где, когда встречался? что видели, слыша—ли? Готовый отвечать Меженин не первый раз продолжал вопросительный ряд: чей заказ? сколько будет жертв? кто следующий? почему? с какой целью? возможно ли нынче жить без причастности и вне подозрения?

Под березами промелькнула знакомая сказочная лиса. На кустах набирающего бутоны шиповника привиделись сиреневые дамские шляпы с пронзительным свечением бирюзовых украшений... А над заречным горизонтом напряженными вулканами возвышались коробочные пирамиды. Молнии без грома прошивали Тихую Заводь, словно изгоняли невидимую вражью стаю. Межанину слышался всеведущий голос:

— Домой! Скорее возвращайтесь к себе. Теперь вы про—зрели, ребята?! Никто — за вас, только вы сами.

Под влиянием всеохватной трагедийной суматохи в зоне временного пребывания Межанину было дано почувствовать странное облегчение, похожее на переход в невесомость, будто отцепились постоянно угнетающие невидимые вериги, будто упругие теплые воздушные волны вознесли его над лесом. Он вдруг просветленно осознал подступающие перемены, собственное предназначение в другом пространстве и вре—мени. Возникло ощущение вольного полета, с птичьей высоты виделись в мельчайших знакомых подробностях празднично пестрые левобережные кварталы древнего волжского селе—нья. Казалось, всюду происходит нечто чрезвычайное, усталые земляки освобождаются от замороченности, чтобы жить по своему разумению и выстраивать никому чужому неподвла—стную страну вокруг столичной Костромы...



Медовая дорога

монолог о любви

До самых дальних костромских районов пробились теперь надежные дороги. Хорошо стали ездить земляки, быстро, с комфортом. Правда, автобусы ходят не часто, требуется терпение — рано или поздно уедешь, один рейс в день обязательно состоится. Попутчики так и советуют: жди терпеливо и дождешься. Походишь вдоль привокзальной улицы, в магазинчики заглянешь, на рынке потолкаешься — все лучше, чем в сутолоке вокзальной маяться.

— Не ленитесь, ребята. Интерес найдется без пива и вина. Слышь, в кино зазывают. Гуляйте, гуляйте, — советовала Мария Ивановна, будущая наша хозяйка. — Шагайте веселей, а то в квартиранты таких смурных не пущу.

Послушали, всей бригадой сходили в кино. «Чудо невиданное», югославский фильм, конкурсной премией отмечен. Ничего, зря время не потеряли, глаза не намозолили. Возвращаемся к нашей приветливой хозяйке дружной ватагой — кино — то объединило молодых мужиков: теперь не только попутчики, члены вновь созданной строительной бригады, но и, так сказать, близкие по настроению люди, есть общая тема, можно обсудить, обменяться впечатлениями — говорить про кино, соотносить его с жизненными ситуациями, размышлять о том, куда и как дальше годы поведут. Конечно, сердечные темы затронули. Любовь, женская верность, красота и обаянье, какой должна быть жена, обязательно ли иметь любовницу и все прочее.

Мария Ивановна оправила розовую косыночку под цветистой шалью, обгладила смугловатое морщинистое лицо, взмелькивает взглядом то на одного говорящего, то на другого — любопытно ей, в кино не была, но к разговору интерес душевный имеет.

— Славная, сказываешь, молодка — та, понравилась? Ой, ребята, так вас и надо, сухарей этаких. Нынче мужчины — сухари заскорузлые. Да... Ну и баб не похвалишь которых: есть бездомницы, курилки, неумехи, без прилежанья к рукоделью. Потытырки бездушные, вот и все. Есть в соседстве у меня. Каково с ней? Не улыбнется, не пройдет взволнованно по дому своему, вдоль палисадника на крыльях не пролетит навстречу мужу, когда из лесу усталый возвращается — для полета за вольный день сил будто не накопилось. Ширк да ширк штанами потертыми. Дымком папиросным — пых да пых. Не поймешь, кто идет: девка ли, баба ли, мужик ли с похмела. В жизни у каждого своя подъемная походка должна быть, свое лицо должно красоваться, чтобы за версту настрой человека виден был, чтобы душу его другие чувствовать могли.

Прошли изящной согласованной походкой две спортсменки, по просторному скверу прошли — все на них заглядывались.

— Ладные девчоночки. Любо смотреть на таких, — радовалась Мария Ивановна. — И вон та молодая женщина больно аккуратна, небось порядок в доме умеет держать, дети и муж у нее обихожены. Есть, конечно, и нынче приглядные, пригожие люди, поглядишь — и радостно. Молодые лета, чего и говорить... Я вот разве такая была раньше? Куда что девалось. На молодую мужики да парни гуртами зарились, а теперь другой встречный, того гляди, локтем отпихнет: не путайся под ногами, старушенция. Вроде как не по своей

дороге ходишь. А была, была у меня своя полетная походка. И дорога была. Медовая. Сладкая — пресладкая... Помнятся приметные места. Вот покатим дальним путем, укажу самое заветное местечко.

Она умолкла с этого самого упоминания сладкой — пре — сладкой дороги. Склонилась, теребя синие кисти цветастой шали, словно забыла про нас. Какая печаль перехватила ду — шевные слова? Что вспомнила Мария Ивановна?

Через неделю, когда огляделись, прижились строители в просторной уютной избе, тихим вечером без телевизора под стук старых раздумчиво — медлительных настенных часов рассказывала она вроде бы по секрету, но так, чтобы и дру — гие квартиранты для разумения слышали:

— Говор мой, вишь, не всем ясен. Ежели словечко ска — жу непонятное, спросишь — поясню. Ладно, слушай, если надо. Слушателей все меньше у меня, внуки малые вникали, только подросли — не хотят старую слушать. А беседовать любо, будто лучшие деньки сызнова прохожу. Теперь моей правде сокровенной запретов нет, скажу — легче станет, когда другому человеку любопытно. Спасибо за вниманье, — не первый раз поблагодарила она и продолжала рассказывать, обласкивая каждое слово. — Ой, боялась я в такую даль про — свататься. А суженый мой зазывает: поедем да поедем, ми — лая, все равно придется, поедем — пора. Сошлись мы, нравились дружка дружке с первого взгляда — ни водой разлить, ни огнем разогнать, ни дегтем размазать. Был по деревням такой обычай: в случае чего, завистники чужому счастью могут ворота невестиного дома на подозрение же — ниху дегтем осквернить. Ну, вот. Моего наветами не со — бьешь, напраслины на ум не допустит...

Уговорил девку. Собрался матери показывать, свекрови, значит, моей. Лошадку раздобыл, Чародейкой звать. В те — легу на сенцо заботливо усадил милашку. Сам взгромоз — дился кучером. Сидит расфуфыренный, гордый да счастливый. По спине видать. Спина — то прямая. Широкая, середкой лощина сверху донизу. Плечища — страсть! Шея красная, рыжеватые курчавины на нее накатываются. По — вернется, глянет с улыбочкой — зубы ровные из — под усов взблеснут — счастливый, любо глядеть. И сама млею. За ним, за детиной таким, будто за каменной стеной сижу, не боюсь лесных разбойников и зверей разных. Тоже счаст — ливая, значит, хоть песню бесконечную пой.

Ладно. Едем да едем. Лошаденка ленивая. Идет не идет. А кучер и не торопит, напоминает только: шевелись, Чародейка, путь дальний, под горку трусцой качайся. Она

послушает, пробежит маленько и опять важно вышагивает, встряхивая гривой. Пускай себе. Нам всем хорошо. Про—летье ласковое. Теплынь. Погода ясная и теплая обещает урожай крупным зерном. Птички редкие иногда порхают над повозкой, словно разглядывают нас. Ветерок пробегает вол—нами, волосы мои вольные на плечо моему желанному при—глаживает. Говорить надо бы, а молчим в какой—то робости.

Отдыхать в оврагах да перелесках останавливались. Ча—родейку понятливую кормили. Травяное шелковистое раз—долье вокруг. Хорошо, вольно. Душа с душой, сердце с сердцем разговаривают. Руки милуются, губы в поцелуях горят. Райская неспешная дорога. Медовая. Месяц крас—ный, румянец лета, день Дорофея хороший, перед ночками воробьиными.

И правда, сладкий путь, под ароматом свежего меда. Борть нам лесная попалась божьим подарком. Мой—то глазастый — углядел, осину придорожную почему—то на просмотр вы—делил, а там улей, значит. Он ведь дока, везде не кое—как, а с умом: в поле, в своем хозяйстве, на реке, в лесу. Кто на охоту с ружьем ходит, а он — с медом в чашечке, когда цветы первые распускаются. Выберет куртину по своему разумению под—ходящую, цветы заприметит, к пчелиным полетам прислуша—ется. Припустит на два—три цветка по капельке меду и ждет. Пчелки лесные тут как тут, наберут ношу — скруживают на свою воздушную тропу. Мой—то дока не зря подсластил, ему путь надо выведать: куда летят груженые пчелы — в той сто—роне у них и дом, борть эта самая. Наверно, и эту так же выследил, для моего удивления старался.

Сейчас, говорит, полезу медовые соты добывать. Раз—девайся, моя хорошая...А это зачем? — спрашиваю. Уви—дишь, свет мой, напрасной просьбы не бывает. Ладно. Чего мне было робеть. Затаилась маленько. Приладилась как следует, чтобы не опростоволоситься. За телегой халатик распахнула и — с плеч долой. Он через телегу тянется, а сам глаза левой—то рукой прикрывает — смущать меня и себя не хочет: не на городском пляже, не в баню деревенскую пришли. Вот, вижу, халатиком моим облачился, голову ру—бахой своей обмотал. Хорошо снарядился пчеловод — за—бавно смотреть. Вытаскивает из кустов тонкие две жердины — заранее подготовлены были. Он такой, понапрасну нигде не хаживал. Все у него к делу. Хозяйственный смолоду.

Берет из тележного передка плотницкий свой топор. Гвозди в корзине тут же нашлись. Лестницу скортомил ми—гом. Взметнул ее стоймя и к осине без лишнего шума при—ставил. Полез. Ловкий он был, ухватистый. Но тяжелый.

Только руки его тяжести не боялись. Бывало, в базарный день на высоченный намыленный столб взобрался и луч-ший победительный платок достал, чтобы меня покорить. Смотрю и ахаю при каждом колыхании — лесенка гибкая, никакой надежности. Да и коротка она. Дальше-то как? Изловчаться надо. Отбрыкнул лестницу в сторону, на со-седнюю суковатую березу переметнулся, по ней решительно лезет, только ветки пощелкивают. Близко уже темноватая приметина. А пчелы серчают, клубиться начали. Ну, думаю, распекут всего. Страхаюсь внизу, из-под телеги выгля-дываю — нагишом ведь и под телегой страшно.

Мелетий пыхтит в вышине, отдувается, свысока на милку свою насмешливо глядит. Не бойся, говорит, не тронут, ви-дишь, меня не трогают, только ласково поют вокруг. Не ма-шись только, веди себя скромно — не тронут. А сам уже и топор из-за пояса плавно достал, нацеливается, чтобы ра-зумно прорубку сделать. А пчелы-то! Жуть, что творят. Стукнул разок — они как отозвались на разорителя! Ну, думаю, зажгут мужика. В страхе уткнулась — головы не поднять. Как он там управился — не видала. Быстренько раструхлявил дупло, похозяйничал умненько, как дед его учил. Ловок на природе, свой язык и поступок у него для зверя, птицы и насекомого. Заговорщик, все ему покоря-лось. И в этот раз так же.

Дело сделано — довольный копошится, усмиряет улей, словно прощения просит. Обратный путь короткий — шурк вниз на ухватах своих. Тащит пластину сотовую. Вылезай, говорит, самолучшая сладость подана. Кушай, ненаглядная моя. И ласкать меня, и целовать меня изловчился, будто при-крывает защитой — медовым туманным маревом. На ласку такую на морозе трескучем отзовешься, не устоишь, а тут лето небывалое. Ой, славно сластилась. И про пчел насов-сем забыла... Опомнились, глядим, они там поверху мечутся, разорителя своего не преследуют, трогать не хотят. И когда стволину бортевую топором расщеплял, тоже, видно, трогать не хотели, может сам не чувствовал при азарте. Или креп-кий такой, терпеливый, приспособленный...

Ладно, опять поехали. А пить охота страшно. Поскорей бы до речки надо. И чародейку поить пора. И самих медо-вая жажда одолела. Без воды-то много меду не съешь. Утешает понятливый: будет речка ключевая, но потерпи пока. Стали поторапливаться, будто кто Чародейку взбодрил. А это пчелки полетывали вдогонку. Одна промелькнула. Слышу, опять пчелка —дзинь. Еще и другая. Чаще и чаще, на во-лосы мои пушистые прилипают, а жалить не жалят. «Не ма-

шись, только не машись», — опять Мелетий ласково просит. Стерпела — не махалась, а страшно, когда они над ухом зу—дят. И страшно да терплю. Так—то меня стращали, будто корят: из—за тебя мужик старался, из—за тебя, сластена! К спине своего ненаглядного припадаю защиту искать. Гу—бами даже приложилась. Горячий он, сладкий мой, никто при нем не тронет меня. Так и приговаривала: никого не боюсь, никто не тронет.

Остановилась Чародейка перед ручьем говорливым. Бла—годать какая! Серебристо звенит по камешкам вода, катится до омутка. Постоит, отдохнет и дальше по другому перекату вызванивает. Под кустом смороды ключик пулькает. Пе—рекладина прокинута над водой. Опирайся и пей, пьешь и себя будто в зеркало видишь. Красота да и только. Рядыш—ком встали на четвереньки с Мелетием и смотримся счаст—ливые. Никого на свете счастливее нас тогда не было, вот...

Окатили чистослезной водой душу. Это опосля про слезы думала в горе. А тогда — радость бесконечную вызванивал ручей этот. Задержались возле него долгонько. Отдыхали, миловались, будто в рай попали. И пчелки больше в своей печали не сказывались. Тут нас обоих негой обволокло. Забываются счастливые люди, не знают печали, не ведают ничего плохого.

Будто на волнах качало. Вдруг явилась последняя ра—зобиженная пчелка. Сквозь негу слышу — зудит опять: «Из—за тебя, из—за тебя все». Мелетий на ушко шепчет: «Не обращай внимания — простит». И ласково жалеет меня. Усы его медовые будто крылья надо мной. В счастье купа—юсь под небом розовым. Милые мои, разве выскажешь...

Неотвязная пчелка посыльная прохлады вечерней не бо—ялась, будто бы следила затаенно за тайной нашей. Выбрала минуту ловкую, разлетелась по кругу, с лету ткнулась липко куда следует — только вздохнула я да простонала томно. Вот и все, случилось то, чего не миновать. Распухла, перекосилась моя дивья красота. И смех, и грех. Ангел мой ненаглядный шепчет жаркие слова. Как же я, говорю, свекрови стану по—казываться? Ну вот, — удивился милый мой, — так ведь не голая предстанешь. Обнял накрепко — опять жалеет, уте—шает: «Ничего, до Вохмы доедем, на реке освежимся по зорьке, все уляжется, опадет, боль пройдет — забудется». Правда, была на нашем пути река, перекатная вода говорливая играла по каменистому дну, туман парился над ней. А мы бесстыдно голые бегали по перекату словно первобытные.

Боль прошла скорехонько, забылась. С того счастли—вого дня, с той медовой дороги и начались наши двойняшки.

Леня да Коля. Сладость медовая, утешенье сердечное, печаль бесконечная...Что вам еще сказать? Не видали дети своего отца. Часто спрашивали: где тятя наш, когда гостинцы принесет? Обещала им: скоро, скоро, может, через недельку.

...Как ушел срочно призванный в день Акулины — грешницы, так насовсем. В дождливый день, под грозу ушел. Москву защищать от немца — фашиста... Не видали дети своего отца, и внукам деда узнать не пришлось. Только затаенную от них похоронку за фотокарточкой фронтовой и нашли...

Вот позвала тоска проехать. Много лет не бывала. Решилась правнучку проводить... У родных побыла, столько всего переговорили. И на дорогу посмотрела. Иная дорога теперь, скорая. Люди спешат безоглядные, моторами трахтят... Зазеваешься — сшибут. Стороной с палочкой тихим шагом пройду маленько в ту сторону... И обратно... Некуда мне торопиться. Съездила, вернулась при хорошей компании. Спасибо вам, ребята. Понятливые попались. Повезло с квартирантами. Охотнее с вами. Удачно побывала. Соберусь ли еще когда. Зачем теперь ехать? Измеряны версты, на тяжелых работах по горькой жизни прошла. Без меду. Не сладко...

Прощание

Малотюковская Настасья в предвоенные годы по всей округе была известна трудолюбием, аккуратностью, добрым и приветливым нравом. Многие звали ее Настенькой. Высокая, статная. Волосы чернявые — на пробор гладко причесаны, а на затылке собраны в тугой завиток. Глаза голубые, на щеках улыбчивые ямочки. Красота ее сдержанная не менялась при любой одежде, не сходила, не блекла в любой работе, при любой усталости и погоде. Здоровье и сила во всем облике этой женщины сочетались с мягкостью движений, с чувством меры во всем. От природы наделенная грациозностью, красотой, умом, нигде не оставалась она незамеченной. К ней обращались за советом, с просьбами, за помощью, ей уступали дорогу, а на праздниках ее первую вызывали в круг, чтобы задавала настроение, раззадоривала других. Она умела затаивать печаль, сбрасывать усталость. Распустит волосы, прижмет их на затылке гребеночкой — уже иная. Руками всплеснет, выплывая на круг, — словно лет на десять моложе станет. Детей своих окликнет: «Ах вы, голубочки мои ласковые!» — все остальные матери добреют. Необъяснимое и согревающее душу всякого человека

было у нее поведение. Хотя глаза ее не часто зажигались блеском, щеки почти никогда не пылали румянцем, но спокойным светом искренней улыбки озарялось лицо нередко. На людях она все свои мысли, чувства, желания как будто бы соотносила с происходящим. Даже война, даже изнурительный труд, несправедливость завистников не сломили достоинства. В горе не падала ниц, не кричала по ночам на всю деревню, а с какой-то покорной кротостью перед собой, перед детьми ждала мужа, старшего сына Сережу. Так долго ждала — и не теряла надежду. И сама перед собой гордилась, что терпелива, выносliва, знает всякую работу, на пахоте, в сенокос и на жатве любого мужика заменить может, частушку сочинит про колхоз и райком, про любовь и расставание, про пилу, топор, лопату, вилы и косу. Радовалась, что пятерых детей дома сберегла, что Колюня подрос, работником значится в колхозе и большаком в доме, не дожидаясь совершеннолетия: силу забрал, окреп, раздался в плечах, и грудь у него другому мужику на зависть. Говаривала не раз: «Вот еще Митяня подрастет... да Сережа вернулся бы... Только к свадьбам готовься, мать... А тут и девчонки следом одна за одной заневестятся... будет чему радоваться...»

Но подкосило Настасью расставанье с Колюней. Ни за что взяли, судом показательным оглоушили молодого кладовщика — да и под конвой. Как следует проститься не дали. Сразу под двойную охрану — как опасного преступника. До самой Зяблухи они с Митяней бежали за подводой, подгоняемой нетерпеливым кучером. Сжалился, видно, этот усатый кучер при погонах: когда в ложбину спустились, придержал взмыленного коня, велел осужденному:

— Вылезай, коня с тобой упарил!

Связал Колькины руки тонким ремнем, веревку приспособил — взял будто телка на привязь.

Тут и настигла мать своего среднего сына, но не сгрибастала в объятья, не стала кричать напрасные причитания, мол, не пущу, не отдам, а встала насупротив него спиной к тарантасу и напомнила:

— Отец твой, Колюня, председателем был, люди уважали его — слова плохого не слышала... Мир не без добрых людей. Митяня подрастает. Сестренки — тоже. Наладимся. А ты не ершись только перед этими, которые надзирают везде. Плетью обуха... — Она не договорила, потому что кучер вернулся из-за куста, ловко переметнулся в кузовок тарантаса.

Митяня подпрыгнул, уцепился за шею брата, котеночком уткнулся в запыленную, пропотелую рубаху. Он дрожал и всхлипывал, с трудом выговаривая слова, чуть слышно сказал:

— Сережи всё нет и нет, а тебя забрали...

Вернулся в беспокойстве ускакавший было вперед всадник. Подоспел и другой, догоняющий повозку галопом. Разгоряченный жеребец вздыбился и прыгнул в сторону, чтобы не подмять застывших в расставании. Верховые съехались закурить и посовещаться. Один из них — тот, что догонял, — был уже седоват и грузен, дышал он тяжело и говорил с пришепетыванием, выфукивая слова:

— Счетоводка в обморок упала, не сразу отходили. Из Вавиловского сельсовета вот-вот тоже подоспеют. На машину тех и этих усадим — всего-то шесть человек будет да нас двое. Ты, Орлов, поедешь в тарантасе, наши кони — с тобой. Понял?

Усатый нетерпеливый кучер, приспособивший на привязь Николая Барцева, недовольно хмыкнул:

— Я же вчера говорил, что так надо делать. Куда торопились — не пойму.

— Куда-куда, — передразнивая кучера, грузный растегнул ворот синей гимнастерки. — Наше дело — исполнять. К утру на станцию велено доставить для полной загрузки вагона. Вот и доставим. С трех районов как раз вагон комплектуется — ни больше ни меньше.

Они курили, переговаривались между собой, а трое Барцевых, глядя друг на друга, будто бы затихли только потому, что не хотели о себе напоминать, чтобы погонщики не торопились. Закатное солнце слепило до слез, но слезы Настасья не вытирала.

— Сухарей не посушила — не верилось, что потребуются. Пока в Зяблухе с машиной излажаются, по избам побегаю, — может, и даст кто сухариков или стряпни какой. — И тут она спохватилась — додумалась: — Митяня, сынок, беги прямушкой к Лапиным — авось найдется чего на дорогу. Так и скажи: Коленьку провожаем впопыхах.

В этот раз посыльного никто не окликнул. Бежал он во всю прыть. И не успел Митяня: вернулся с дорожным припасом — сухари, бутылку сыворотки да пяток зеленоватых клеверных лепешек в полотняной котомке принес к развилке, но никого на росстани уже не было. Машина вихлялась вдали на лесном увале, она будто плыла — несло ее осенним половодьем между обтрепанных ветром фиолетовых деревьев.

— Ма-ма... братко Ко-ля, — попытался крикнуть, и не получилось. Так и стоял он с приоткрытым ртом посреди дороги, уходящей в лес, пока бабка Марфа его не окликнула — она из Тюкова тоже на отворотку-росстань приковыляла. Домой в свою деревню с помощью бабки Марфы добрался

Митяня к ночи, когда заждавшиеся сестренки уже спали на печи.

Анастасия возвращалась тихо, будто крадучись. От Вавилова, где осужденных усадили в машину, она шла в ночи береговой тропой. Ноги плохо слушались. Опускалась отдыхать перед недвижной водой. Лунная дорога огненно высвечивалась до противоположного берега и манила туда, где был родительский хутор, где не сровнялся еще бугорок на могиле отца. Но за лесом, в малотюковской стороне, слышался ей тоскливый девчоночий плач, иногда кричал Митяня «ау». И этот крик поднимал ее. А в деревне, возле ворот полевых, прислушалась: ни плача, ни крика, только чей-то тяжелый вздох.

— Настенька, ты ли?

Поняла: бабка Марфа у калитки поджидает, в тревоге спросила старая...

С той ночи и переменилась Настасья: ни света на лице, ни силы и красоты в движениях, ни мягкости в голосе. Когда возле дома бригадирского амбар сгорел, показалось ей, что люди на нее думают. И сам Лапшин по ночам под окнами Настасьиной избы пьяный шарашился, иногда бурчал чего-то неразборчиво. Несколько раз приезжал в деревню проверяльщик с тыквообразной головой. В последний приезд он взял Митяню, как цыпленка, двумя пальцами за шею и долго пытал, грозился задушить, если малый не сознается в поджоге. Настасья набросилась на него с вилами — пострашала, чтобы отпустил ребенка. Тут и началось опять. Допросы за допросами, в милицию вызывали. Напомнили: мол, впервой за «колоски» судимая легко отделалась трудповинностью по причине многодетности; во второй раз, смотри, надолго упекут, а детей — по родственникам или по детским домам, большие уже...

Так и пошло: горе за горем, одна беда на другую нахлестывается. Беда и горе вместе в ворота стучат каждый день. Откроешь — войдут, не откроешь — ворвутся через окно. От горя бежать сломя голову — на беду попасть. Кому-то всё с рук сходило. А вот на нее, на Анастасию Барцеву, вроде бы нечисть окрысилась. Жила без выхитриваний, исполняя независимо от самочувствия все, что велят, потребуют, прикажут в колхозе или на лесоразработках, но попадала под начальственные придирки. Почему-то заприметили районные блюстители Настасьино семейство: на Федора, может, когда-то у них зубы точились или еще по какой причине. Не думала она, что в основе придирок то, что старший безвести пропал; что девичья фамилия у нее Власова,

мать престарелая под этой фамилией в Тюкове с тремя малыми внучатами живет. Много найдется оснований, если невзлюбят кого. Теперь вот Колюня осужден, а сама она вовремя налоги не платит, ни на одном собрании не промолчит — кого-нибудь да защищает. Были, видимо, и другие причины столь пристального внимания властей, только никто об этом до поры до времени догадаться не мог в Малом Тюкове.

По первому снегу вызвали Настасью в сельсовет, ознакомили с лесозаготовительной разнарядкой по колхозу. Она и взвилась:

— Раньше ходила, теперь — не пойду! Кольку взяли — неизвестно где. Митяня с хозяйством не справится. Девочки мои хворые.

— Ничего, ничего. Парня в зимний детдом определим. За девчонками старуха Власова доглядит. Корову сведешь на колхозную ферму. Подписывайся.

— Не самая крайняя. Есть такие, кто завсегда на поблажках.

— С другими — другой разговор. Будешь в лесу нормы перевыполнять, вот и ликвидируешь все долги по налогам.

Погоревала, поревела безгласно над спящими детьми две ноченьки и решилась: делать нечего, не пойдешь — под конвоем отправят еще дальше, в лагерную зону на Унже.

Марфа Власова безропотно согласилась, а обдумавшись, одно условие поставила:

— Такую ораву, смотри, доча, прокормить надо. Припасы какие-нибудь нужны.

Картошку всю до выгреба Анастасия к матери увезла. Молока по литру на двоих из колхоза обещали, три литра на день, значит. Митяню в привычный заречный дом вместе с другими ребятишками увезли — не первый раз на зиму так определяли.

В последнюю домашнюю ночь в горевании обдумалась Анастасия — запаниковала: а как надолго, что с ними, детками малыми, будет, если занеможет при них бабушка Марфа, если кормиться нечем, запасы-то невелики. Все повыребла из домашнего ларя — фунтов десять набралось всего. И пошла по лунной ночи на гумнище, где пшеницу с овина только что молотили. Повымела из всех щелей и канавок, из молотилки и веялок полову с зерном — насобирала высевков котомку. А Лапшин ее на этом деле подстерег.

— Попалась птичка, теперь не отвертишься... Вот, вишь, за тем же углом в твоем мешке два пуда отсортированной пшеницы. Узнаешь мешочек с бордовой полосой, али не разглядишь? Свидетель имеется, вон под рябиной стоит.

И правда, там, под рябиной оголенной, кто-то зашевелился, кашлянул дважды со значением: мол, тут, все вижу, знаю.

— Душители, губитель. Лапшинная морда твоя! — закричала Настасья; опрокинув его, норовила вцепиться в кадыкастую шею. Он сумел камнем тюкнуть ее по голове...

А потом заломил руки назад, скрутил Анастасию.

До утра в овине ее взаперти продержали... Пока не понабежало, не понаехало всяческое начальство: из сельсовета, из райисполкома, из милиции. «Опять, значит, Барцевы зерно воруют. Какие это смётки, натуральная пшеница». Составили протокол — дескать, поймана с поличным в момент хищения государственного имущества...

Синица у окна

1

Очаг краснел, перемигивались тлеющие угольки — неужели сам, от горячего пепла, возгорелся костер и осторожно, бездымно наполнял землянку теплом? Повернув голову, Василий увидел два оконца на потолке — раньше они не светились, их не было?

Он приподнялся на локтях, отбросил овечью шкуру, которая сберегала его от влажной стужи. И не почувствовал ни головной боли, ни усталости, ни колотья в груди. Не было сетей из колючей проволоки. Не было высоких лагерных заборов и охранных вышек. Две неволи позади — плен и лагерь. И молодость прошла, и тех нет уже дней, не вернутся опять.

В сумраке обозначилось человеческое присутствие — сидит этак вольно человек, по-домашнему сидит, в распахнутой верхней одежке, руки уютно сложены на коленях. Привиделось? Не воркутинская ли коварная лесовица явилась? Та никогда не показывала свое лицо, но представлялась красивой и ласковой молодицей. Красива и молода, весела и ласкова. Кожа у нее теплая и нежная была. Там, в лесах северных, она являлась, чтобы мучить его тоской по другой жизни, еще не испытанной. Неужели опять пришла?

— Не бойся, я давно здесь сижу, — тихо сказала женщина. — Вечером пришла, не дождавшись Ольгу. На улице хоронилась твоей сторожихой — застыла вся. Вот и решилася

на ночлег. Вдвоем — то теплее и не так страшно. Доверишься — в деревню пойдем, у меня банька протоплена.

Голос живой. Лицо — отчетливо видно — округлое, пышнощекое. Глаза подняла она к свету в потолочном окошечке — влажно — темными они показались. И губы влажно — вишневые. Волосы в короткой стрижке, но гладенько причесаны, видно, что мягкие, послушные волосы у нее. На плечи серый платок откинут, шея обнажена, распахнут воротник, отороченный кружевом.

— Ну, разглядел? Как есть вся настоящая. Не лесовица, нет. Напрасно во сне — то взбрыкивал да крестился. «Сгинь, сгинь, лесовица чертова!» — говорил. А я молчала, чтобы... Мало ли как бывает... Женщин, поди, лет пять не видал, испугаешься, думаю. Местная, неподалеку живу. Подружки мы с Ольгой Носковой, недавно подружились; как она в работу прибыла по направлению — сразу понравились дружка дружке.

Он, чтобы удостовериться, определить, не сон ли это, спросил:

— Как звать — то тебя?

— Лена Белкина. Живу в деревне, а на участке почтового ящика работаю.

— Какое время сейчас — не знаешь, Лена? — спросил Василий, с удовольствием произнося слова смягченным голосом.

— Ты уже спрашивал. Или забыл? Как пришла, спустилась в квартиру твою — ты и задал первый вопрос: утро или вечер? Я сказала, что ночь глубокая. Хмыкнул только и, как дитя, повернулся на бочок, ноги поджал и руку правую под щеку пихнул. Тут и кашлять перестал. Под овчиной — то быстро согрелся. Ноги твои босые я тоже овчиной обмотала да себе на колени их — так и затих, а то колотило всего. Настрадался, милый ты мой. Вот и занемог. Налаживайся. Руки, ноги целы, с лица приглядный. И зренье, и слух не отняты... Теперь вольный казак. Бумага освободительная при тебе — не беспокойся, в нагрудном потайном кармашке она. Мысочком торчала — я и прибрала ее поглубже. Кармашек, видно, сам пришивал, по стежкам поняла. Молодой, документ при тебе — чего бояться? Всяко может получиться, конечно. Бывает, изверги человека и с хорошими документами в подозренье возьмут...

Елена говорила неторопно, с тем житейским спокойствием, которое дается натурам добрым и сострадательным. Покоем, умиротворением веяло от нее. Голос так и струился чистым родником. Давно не слыхивал женскую речь — в

диковину, вот и подумалось: не сон ли, лесовицей навеянный коварно? Додумался — спросил:

— Ты крещеная или нет?

— Перед войной, взрослую уже, мама крестила. Свя-щенник тайно приходил. Ты что, не веришь? Православная. — Она в подтверждение перекрестилась, на пальце у нее взблеснуло медное колечко. — Вот те крест.

Лена привстала и еще раз с поклоном перекрестилась.

— Куда мне теперь?—уже доверительно спросил он.

— Ой... Не пропадешь. Сила будет — доберешься в свою деревню. А потерпеть надо пока. Дороги — одно мученье. Олька скоро ли будет — трудно сказать. Если получится, она со своим женихом приедет. От нижнего склада они до-бегут. А мы подождем, было бы чего ждать. Вот стемнеет — закрайками поля, по бугринкам, где снег истончал, перепра-вимся ко мне домой. Отдыхай пока, копи силу. Чайку не хочешь ли испить? Не остыл еще у теплинки. Травяной отвар.

Василий послушался, попил из глиняной чашки — ока-тил душу. И опять расслабленно вытянулся на лежанке. Освободилось будто бы тело от невидимых вериг, которые носил долго не по своей фанатической воле. Женщина, по-нимая его состояние, ни о чем не спрашивала; чувствовала, что он успокоился и смирился с ее природной заботливой властью.

— Милый ты мой. Спи, мой хороший. Пожалею, обог-рею, сберегу.

И он умиротворенно подумал о ней, как о Татьяне: «Хо-рошая, нежная... Сдержит обещание...»

В тишине и безветрии набрался крепкий морозец. На-чал попискивать под кустами оставшийся еще глубоким снежок — его стягивало настом. Трещали и пощелкивали щелястые стволы сухостоин, скрипели покрытые наледью ветви берез и осин, позванивали ледяные сережки на елях. В землянку тоже осаживался холод. Но разводить огонь Еле-на не решалась. Она прилегла на край топчана, чтобы за-щитить Василия от холода, охранять его до тех пор, когда надумает встать и выбираться из землянки. Она знала, что такое решение поднимет его, и терпеливо ждала тот час. Иногда приподымалась, чтобы приглядеться к его лицу, словно узнавала или сравнивала с кем-то. Сквозь узкий прогал свинцовой лентой еще падала вниз полоса синего света, а женщина представляла зарю над лесом неподалеку от своей деревни, домик свой под тесовой крышей, в котором не со-стоялась семейная жизнь из-за этой проклятой войны, свою

раскрытую вдовью постель с просоленной слезами подуш-кой и высказала заветную думу:

— Ненаглядный ты мой, возвращаешься. Долгожданный.

— Где я? — вздумалось ему еще раз удостовериться.

— Теперь будешь в Малом Заболотье. Правильно вышел, не беспокойся. У вас там тоже Заболотье на слуху — боль-шое хлебное село за Бутырками. За ним, если волок мино-вать, Зяблуха будет, а тут — и твоя Зоряна. Мне Оленька рассказывала. Не бывала сама-то в твоих краях, не прихо-дилось. Может, когда и побываю. Можно бы поменять Малое Заболотье на Зоряну. Хиреет наша деревня. Семнадцать вдовьих домов да восемь нежилых. Война и тюрьмы забрали мужиков, парней — тоже. Никто не вернулся. А тебе по-счастливилось — выкарабкался. Радоваться надо, Василий. Все наладится. — Она поняла, что оплошала с упоминанием его родной деревни, собственных заболотских печалей, и по-тому торопилась с такими словами, от которых полегчало бы на душе. — Скоро лето, считай, дожили. Тепло, вольно, лег-ко. Когда отсеемся — передышка. В сенокос — знай кру-тись, только бы не задождило, а то сеногной измотает. И хатва мне нравится. Артельные работы. Издавна у нас так: бабенки одни, иначе нельзя. Мужиков бы крепких откуда-нибудь выписать, спасителей наших. Ох, жалели бы мы их, берегли. Не хватает нам спасенных спасителей. Ой, раз-мечталася, удержу нет. — Она усмехнулась.

Усмешка эта после воркующей скороговорки странным образом подействовала на Василия. Он дрогнул в понимании: говорится все это возбужденно и не напрасно — для того, чтобы приблизиться душевно к нему открытостью и жаждой жизни. На сердце его пало сознанье, что Елене радостно от встречи с ним, что она жалеет его и помогает стать свободным...

«Спасись душой и сердцем сам — и возле тебя спасутся тысячи», — вспомнились не раз слышанные на Севере слова Романа Андреевича, Василий повторил их беззвучно, стес-няясь вслух произнести перед женщиной, впервые за мно-гие годы встреченной.

— Что ты шепчешь? — Елена приклонилась еще ниже — он почувствовал ее сдержанное дыхание, прикосновение волос к щеке — искорки из них трескуче промелькнули. — Какой день сегодня, знаешь ли? Вос-кре-сение. Светлое Христово воскресенье. Христос воскресе! — Она поцело-вала щетинистую впалую щеку.

— Свечерело уже. Можно выходить?

— Полежи еще маленько. — Елена медленно обгладила его лоб теплой ладошкой — он уловил запах земляники. —

Ой, Вася, а ты — молодчина. Лучше себя чувствуешь? Лоб не горячий. Пожалуй, надо идти по угасающей зорьке. Правильная воля твоя. А то банька простынет...

— На все воля твоя, господи. — Неожиданно сказалось на уме давнее причитанье бабки Матрены. — Прости, сохрани и помилуй.

— Восходное солнце сегодня так играло, так играло. Я глядела — глаза слезились, а радостно было все равно. Слышала сверху, как ты спишь, потревожить боялась. И кашель тебя не будил. Теперь тебе легче? Небо-то, гляжу, прояснело... Подмораживает. По морозцу всегда лучше дышится. — Она энергично суетилась, шуршала по углам, наводя какой-то порядок. И вроде бы не замечала, как он поднимается с лежанки, но слегка прикасалась к нему то спиной, то бедром, то локтем, чтобы придержать. Василий вытянул шею, расправил грудь, словно петух, даже изобразил, что потягивается после хорошего отдыха. Но его пошатнуло. И он вынужден был опереться на ее покатое плечо...

Некоторое время они стояли молча, сознавая взаимное положение. Они были под землей, но в готовности высвободиться, выйти на волю, оставляя здесь, в землянке, вырытой дезертирами, долговременный ужас оторванности от жизни. Василий еще не знал, что ждет его впереди, однако душа расправлялась. В сочувствии и желании отвлечь от всего пережитого Елена знала, что делать, как обращаться с ним, — ей от природы была дана доверчивая способность отогревать других, ничего не ожидая за свою щедрость.

Елена первой поднялась наверх, чтобы оглядеться. Пошире раздвинула елочки, прикрывающие лаз, встав на колени, сдавленным грудным голосом порадовалась:

— Хорошо-то как здесь, свежо и просторно. Иди скорее. — Она протянула руку и, встряхнув волосами, повторила: — Иди же.

Василий подчинился, трижды шагнул по земляным ступенькам и в упор разглядел ее лицо — открытое, чистое, с едва угадываемым румянцем, высоко вскинутые брови, приоткрытые в легкой улыбке губы. Он чувствовал ее взгляд и не думал о том, кто она — эта женщина. Он рывком поднялся, она одновременно распрямилась, привстала на цыпочки:

— О, ты на голову выше меня. С такой-то высоты тебе далеко видно. Смотри, просвечивают, проклюнулись огоньки. Это в моем Заболотье старухи вечеряют, вот-вот спать улягутся. — Она оглядела его с головы до ног, а потом накинула ему на плечи свою мягкую шаль, себе на голову повязала косынку. — Пошли!

По опушкам, угадывая на обтаянные бугрины, шагали ря-дом, изредка перебрасывались вопросами-ответами:

— Лена, ты здесь родилась?

— Нет, на хуторе. За рекой. Там бараки, зона. Мне здесь терпеть надо, а потом убегу куда-нибудь. Может, и не убегу. Везде хорошо, где нас нет. Мама говорила: есть земля — жить можно. Пашем, сеем, хлеб сдаем. Сами впроголодь жи-вем. Мужиков теперь не знаем, ребятишек — не рожаем. Ой, чего я тараторю с тобой?! Совсем забылась. Я намелю-насочиняю — только записывай.

Давно не слышал деревенские такие речи. Частобай-ством Елена окатила — бодрости добавила.

— Отгадай, о чем сейчас думаю. — Она остановилась, чтобы ему отдышаться. Он сдерживал кашель и потому не заговорил, ничего не ответил. — О погоде. Какой завтра будет день — вот о чем я думаю, Вася.

Даже в глухое ненастье, даже в дикое бездорожье через леса и болота передавалась от одной до другой вдовьей де-ревни сострадательная молва на многие версты. Между-речье и до войны не имело телефонов, лесные кордоны, деревни, хутора, поселки, безвестные лагерные зоны и теперь связаны сетью слабых дорог, самыми надежными остались пешие да конные сообщения. В любую сторону надо доби-раться, надеясь больше на свои ноги, чем на попутную под-воду. Правда, миновав несколько таежных увалов, перейдя из одного района в другой, если повезет, можно попасть на лесовозную газгенную машину, а кое-где проехать по уз-коколейке. Лена знала все способы передвижения в пре-делах доступной округи, отчетливо виделся ей путь Василия до родной деревни. По людской молве, по собственным представлениям и печальным рассказам Ольги Носковой ей были понятны предстоящие радости и невзгоды долгождан-ного: вернулся с фронта отец, но нет матери, братьев; де-вушка, обещавшая ждать, ушла в дом к другому. Не один он такой приходил к разбитому корыту. Этот, слава богу, на своих ногах, не калека, да и молодой, — найдется для него укрепа в жизни.

Елена успела многое передумать еще в землянке, ожидая, когда отлежится ее подопечный. Были и тайные думы, о которых она подруге своей не может рассказать. Думы о готовности выходить человека, отогреть его душу, а для этого оставить, задержать его у себя, пусть на время, на одну толь-ко весну, а там — по летнему теплу — пускай бы шел без опаски. Только на мгновение допускала она в сердобольные размышления свою мечту, сразу холодела вся от понимания

невозможности для него такой задержки.

— Неужели никто не пришел с войны? Восемнадцать домов без единого мужика — ты правду сказала? — Василий остановился перед темнеющим неровным порядком домов.

Как бы перечеркивая этот деревенский порядок, стремительным косым полетом промелькнула ночная птица...

2

В бане была приготовлена для него хвойная ванна в огромном деревянном ушате. Погружался он в эту теплую зеленоватую воду медленно и ощущал, как расслабляется, становится легким свободное тело. На душе, обласканной домашним покоем, вдруг сделалось светло и чисто. Чудодейственный перепад состояния духа и тела насторожил Василия, промелькнула нехорошая мысль: перед кончиной, старые люди говорят, человек чувствует облегчение. Он прислушался сам к себе: дыхание ровное, смягченное, и пульс вроде бы нормальный. «Живы будем — не помрем!» И тут же извлек из воображения подготовленную в годы лагерного молчания картину: лежит благостный, пространно рассуждая. «Ну вот, встал бы утром, — начал Обломов, подкладывая руки под затылок, и по лицу разлилось выражение покоя: он мысленно был уже в деревне. — Погода прекрасная, небо синее — пресинее, ни одного облачка...»

— Василий, не бойся. Это я. — Елена приоткрыла дверь. — Одежду твою щелоком в кадке надо залить. Постираю, перед печкой высохнет.

Он стеснительно, по-детски, закрыл глаза ладонями, «спрятался» по самый подбородок в воде. Согласие и разрешение выразил невнятно, мычанием, словно воды в рот набрал. Василий смотрел сквозь пальцы, он видел, как она, аккуратненькая, раздетая до рубашки, вошла, пригнув голову под низким черным потолком, на мгновение задержалась у порога, чтобы оглядеться при слабом свете коптилки. И мелькнула мимо, обдав его свежестью. Пальчиком прикоснулась к его плечу.

— Не утонешь? — так много было сказано этим вопросом. Он почувствовал себя свежим и сильным в веселом купанье на Таволге. Как бы сама собой игриво взмахнулась правая рука и чиркнула с поверхности мелкие брызги в сторону хозяйственной Елены.

— Ах ты, шаловливый какой! — радостно воскликнула она. — Сейчас вот устрою головомойку. — Пригоршнями

взяла воды из стоящей на скамье бадьи, смочила его волосы. И начала обмылочком, похожим на ледышку, накручивать пену на кудлатой голове. — Терпи, не хнычь. Смоем да еще разок намылим. — Она потянулась, чтобы взять с подоконника медный ковш. Василий, успевший незаметно и для себя приподняться, вырасти из воды почти до пояса, плечом угадал упругое тепло ее груди. С этого прикосновения окалзся во власти женщины. Покорный, словно дитя, блаженствовал и преображался. Струилась на него и разбрызгивалась ароматная, на каких-то цветах и травах настоянная вода. Скрипели чистотой волосы и уши. Он пыхтел, крякал, отфыркивался, ни разу не сбившись на кашель. А Елена, как ему казалось, не дышала. И эта затаенность была загадочна — хотелось повернуться, взглянуть ей в глаза.

Когда Василий запрокинул голову, подставляя лицо, Лена зачерпнула еще ковшик ароматной воды. На щетинистых щеках его заблестели прозрачные бисеринки, высокий, с залысинами лоб омылся и порозовел. Русые волосы, сведенные, приглаженные назад, стали влажно-черными. Две седые пряди, исходящие от залысин, показались ей белыми, словно полоски у бурундучка.

Василий наклонился вперед, нагнул голову, обжимая лицо руками. На длинной шее обозначились жилы. И тут Елена вздрогнула, узрев при слабом свете, что широкие плечи, спина изрубцованы шрамами, в одном месте с левой стороны словно бы проступали краснотой какие-то цифры. Она чуть не вскрикнула.

Василий подумал: затаилась, придумывает чего-нибудь, вот и не слышно ее дыхания.

Сердце Елены вновь защемило жалостью, но она не могла поддаваться унылому настроению, пережитому в землянке, постаралась сохранить веселость.

— Не о том ли думаешь, где бы через тын перескочить? — поспешно задала игривый вопрос и поперхнулась.

Он уловил перемену в ее голосе, но принятая легкость общения ему нравилась, поэтому нашелся что сказать.

— Об одном думаю: к чему было умываться, если не с кем целоваться, — из давних зорянских лет пригодилась поговорочка Тани Залесовой, способной волновать юношу.

— Ишь ты гусь... — Она растерялась со своим острословьем. — Все. Я пошла. Самовар там, наверно, разбушевался. Домывайся, окатывайся. Полотенце на гвоздике — вишь, у дверей. Белье в предбаннике. Новенькое, не надевано, настом отбеленное. — И опять промелькнула, исчезла за клубистым воздухом в дверном проеме. — Ой,

забыла. Пожелаешь веником хлестаться— в шайке распа—рен. Полезно. Не бойся, не угореешь, хорошо продохнулось в бане—то. Я первая парилась — ничуточки не угорела, — успокаиваясь, наставляла из предбанника. — Вот растеряха, — ругнула себя. — Бежать ведь надо.

Дощатая дверь прикрылась со вздохом. Проходя мед—лительно за стеной, Лена тихонько пропела: «Вдоль реки не—сется лодочка...»

Чудо свершилось: Василий не узнавал себя при новом состоянии тела. Он расправил плечи — грудь оказалась просторной, ничто не сдавливало, не стягивало. На спине мурашки не сказывались. Он поднялся приятный самому себе. Вышагнул из продолговатого ушата, сел на скамейку между окном и угловой полочкой.

Василий словно бы проснулся среди спокойной ночи и вспомнил, что жив, молод еще, понял, что тело послушно, со—хранило гибкость, в нем исчезает усталость, возрождается уп—ругость и сила. Жизнь не угасла, душе стало уютнее.

Издалека плеснул на каменку — парное тепло всклу—билось.Низко пригибаясь, шагнул — дотянулся веником, чтобы ошпарить его над шипящим жаром. Веник взыграл, взвих—рился, захватил жарынь влажными листьями. И зашеле—стела над ним, заговорила зорянская береза...

Окатывался, обмывался той же ароматной водой. И чув—ствовал себя будто после купанья сенокосным вечером в любимой реке Таволге.

Длинное вышитое полотенце льняной прохладой напом—нило деревенское утро с криком петухов. А как вышагнул в предбанник, не закрывая за собой дверь, оказался будто бы на туманном берегу оврага возле кузницы.

Только нарядился — надел на себя оказавшиеся впору коленкоровые кальсоны и рубашку — распахнулась дверь.

— Опять напугала, с ума сведу! — Лена всплеснула ру—ками. — Бумагу твою освободительную... — Она кинулась в баню. — Ай, вот она, сохранна. Сама ведь на косничок из кармана выкладывала.

3

Светлый, легкий, избавленный от рубища человек входил на крыльцо, держась за руку женщины. Не мальчик Мцыри и не Обломов, не узник концлагеря в деревянных башмаках и не лагерный лесоруб под номером. А возрожденный Василий Иванов, похожий на своих родителей.

— Не споткнись. Наклоняй голову, — предупредила Елена, широко распахнув избяную дверь.

Он шагнул из войны, из двух лагерей через высокий порог. Не споткнулся и не ударился головой, раненое левое плечо едва коснулось косяка.

Войти бы так уверенно в дом Тани Залесовой.

— Располагайся, где тебе любо. Я сейчас — мигом козу Мильку подою. — У хозяйки были еще свои заботы.

Василий, ошеломленный тем, что с ним произошло за короткий срок, за один — единственный день, поддался обстоятельствам обычной жизни. Нетерпеливое стремление поскорее добраться до своей деревни укротилось, временно заглохло. Он успел оглядеться в уютной избе с четырьмя окнами, полюбоваться на кружевные, вязанные крючком, занавески; на свежо и уверенно зеленеющие цветы, помидорную рассаду, высаженную в бумажные стаканчики; на семилинейную лампу со стеклом, подвешенную к матице; на вышитую розами скатерть, блестящий пузатенький самовар и чашки возле него; на высокую кровать с горкой подушек под кружевной накидкой. Лена вернулась со двора.

— Обрадовалась моя коза — давно не доена была. И козлятки сыты теперь. Напоила. А курицы и голодные переспят, не умрут до утра.

В сочувствии и желании отвлечь его от пережитого торопной энергичностью своей она хотела разбудить в нем жажду мужской жизни. Выставила старинную фигурную бутыль с самогоном, две рюмочки...

Василий спит и не спит, затаясь от всех бед и гроз мира в уютной комнатке за переборкой. Иногда долетает до него по звучной стене шлепанье стареньких часов. Где-то мякукнула кошка...

Снова — сухой треск и грохот, дребезжание стекла. Перебойно, жутким терзающим многоголосьем загрохотали разъяренные лагерные псы.

— Сейчас открою, — живым реальным голосом сказала у порога сразу узнанная Елена Белкина...

Василий вскочил с кровати:

— Дай вилы или топор. Живьем не возьмут меня...

Она шагнула к нему от порога — спокойная, уверенная — словно бы встала на пути...

— Что ты, что ты, милый, вскочил? Не бойся. Это синица у окна. Синичка весну принесла...

Сиверко

Деревни давно уже нет, только высокий пень сломленной в бурю березы напоминает, где стоял родительский дом...

Трактор перепахал еще одно одворье, закрыл его влажными пластами тяжелой земли. Вывернулась на поверхность обшарпанная коричневая досочка. Может быть, она была от того кухонного поставца, на верхней полке которого мама прятала зеленоватые лепешки из липовых листьев и клеверных головок, чтобы дети не растаскали «безо времени», а только вечером разделили поровну и съели, запивая синим обратом. Отчетливо привиделись на высоком поставце деревянные ложки, глиняная кринка с молоком. И кухонное окно обагрилось отсветами пламени, играющего в печи. А мама возвращалась домой, спешила, чтобы варить еду на большую семью. Перед самым крыльцом бригадир охрипшим голосом предупредил, что правленье накажет за самовольную кошенину осоки в дальнем углу выгона, и за то, что ночью по заморозку привезли траву на корове Комолене, и за то, что раньше колхозной выкопали картошку на своем огороде.

...Туман закладывался над белесой травой вокруг перелесков. Не в низинах и оврагах, как обычно, а на взгорке в первую очередь. И от этого казалось, что деревья подпрыгнули, оторвались от земли, как будто застыли в воздухе.

Такие вечера приходили, когда устанешь от летних забот, когда заметишь, что теплые дни промелькнули. С полей прибрано; скотина нагулялась, начала привыкать ко двору; свезены под навес и в сарай плуги, бороны, сеялки, жатки, замолчала на току барабанная молотилка; близкий лес просветлел; речка — словно стекло меж прилизанных берегов. Возле родного дома еще много дел, с утра до вечера всем работы хватает, но дети все-таки иногда отлынивали, вроде бы случайно это получалось — так много вокруг интересного. А мама всегда в хлопотах. Вот опять дотемна просидит на крыльце, связывая в большие пучки-гроздья крупный оранжевый лук. Возле ног в старых подшитых валенках — ворох обрезков и шелухи. Рядом, на ступеньке, — жгуток свежего мочала, серп, воткнутый в березовый кряж. Этим серпом отрезает она луковые перья и мочальные слоинки, чтобы связать пучки. А Митя стоит в отдалении посреди улицы: и деревню видно, и маму на крыльце. Только что она рассказывала, как и откуда прилетает предзимняя птица Сиверко. Рассказала и снова поет по-своему медленно и печально: «Синенький скромный платочек...» Теперь понятно:

она так вспоминала мужа... Когда он был на войне, дети часто слышали эту песню. В этот раз на всю песню у мамы не хватило сил, она тяжело вздохнула: «Видно, Сиверко ле-тит. Это уже пятый».

Мите хочется увидеть сказочную птицу, потому и всматривается в густеющие над лесом сумерки. Напористо потянул ветер. Слышится шорох перьев в огромных размахнутых крыльях. Жутковатый холод наполняет грудь, и Митя готов крикнуть: «Мама! Правда, летит Сиверко! Быстро летит!» Но что-то удерживает его, в нерешительности он стоит с приоткрытым ртом.

«Скучно без отца», — думает мальчик и вспоминает...

Зима была холодная — прехолодная. Отец в ту зиму работал на лесозаготовках, приезжал домой по субботам. Подарки, гостинцы привозил. Ждали его, зная, что никакая непогода не задержит. Мама топила баню и в доме наводила порядок.

Отец приезжал поздно, и мама мыла детей одна, Митю, самого терпеливого, — в последнюю очередь. И все приговаривала: «Заявится отец — не узнает, какой большой ты стал». Надела на него свежую полотняную рубаху, сказав, что в эту рубашечку отец, когда был маленький, только по большим праздникам наряжался. Полотенцем с вышитыми разноцветными петухами голову закутала, ноги в отцовские шерстяные носки спрятала и завернула сына в тулуп с огромным лохматым воротником. Вынесла в предбанник. Промерзшие скрипучие санки на снег выставила, подложила на них солому. Усадила разомлевшего мальчика.

«Не замерзнешь?»

Нехотя ответил: «Не замерз-ну-уу».

«Поехали».

Скрипел снег под полозьями. Превращался этот скрип в музыку. Словно бы отцовская гармонь играла.

Через щелку в гнездо луна взглядывала. Она даже дразнила, раздувая свои круглые щеки.

Он не обиделся, попросил луну: «Свети, свети ярче, чтобы папе светлее было по лесу ехать».

Звезды на снегу перемигивались. Он правую руку высвободил, стал ловить звезды, но поймал только несколько снежинок, которые тут же исчезли, пробежали сквозь пальцы, а руке от них сделалось тепло.

Мама торопилась по узенькой тропке и, не поворачиваясь, без конца предупреждала: «Не вылезай, смотри».

Когда отец неожиданно преградил ей дорогу, она весело рассмеялась, — и смех ее показался похожим на блеск

снежинок, а лицо — на луну.

Отец поднял сына и понес прямо на санках в натоп—ленную избу, освещенную десятилинейной лампой с новым стеклом.

Он положил сына осторожно в постель, потрогал пятки, — может, пощекотал шаловливо. Правда, щекотно было — Митя с трудом удержался от смеха и ждал, что папа еще раз прикоснется к его ногам. Он был уверен: открыв глаза, увидит стоящего рядом отца, большого, доброго, сильного, с пышны—ми усами, подкрученными кверху.

Отец, конечно, поверил, что сын заснул; приложив палец к губам, предупредил маму: «Тише. Он уже спит».

Продолжение той музыки, которую Митя слышал по до—роге из бани, не давало ему заснуть.

Родители долго просидели рядышком за столом, тихо разговаривая между собой.

Митя спал и не спал. Спать—то хотелось, но все думал, что они вот—вот вместе подойдут к кровати, чтобы смотреть на него и о чем—нибудь хорошем говорить.

«Расти быстрее, сынок», — мечтательно скажет отец.

«В отца весь, — скажет мама. — А характером терпе—ливый — в мать. Вот увидишь».

Поздним вечером вместо крыльев таинственной птицы нависли над лесом тяжелые набрякшие облака, вместо шороха слышались отчетливые шаги, хотя они были легки и осторожны. Мальчик скоро познал: зима не прилетает, она подкрадывается. Она подкралась насовсем.

И что же, он больше не верит в сказочных птиц из—за синь—морей? Разве его уже не радует приближение долгой холодной зимы с бодрящими морозами, закаляющими ветра—ми? Неужели не радует? А тот давний искристый снег, а та давняя музыка из—под легоньких санок? Повторилось бы снова — для сыновей, внуков и правнуков...

Виноватая Костромиха

Предпраздничные дни выдались погожие, солнечные. Без особых трудностей собралась городская сестра, без глубо—кой печали проводил ее до станции Василий Терентьевич Тяпышев. Не было у него волнений и на обратном пути, хотя добирался на перекладных.

Бывает иногда везение: с одной попутки на другую без томительного ожидания пересаживался. Недолгой была задержка и на последней развилке — повороткe. Только устроился в прохладном тенечке на передышку, его окликнули:

— Эй, старина! Иди, подвезем, если дорогу покажешь.

— Не просто так, значит, а за услугу. Вишь вы какие, — не выказал он поспешной готовности по своей привычной рассудительности.

— Раньше, говорят, тут бездорожье было... — Здоровенный мужик стоит Гулливером. Одет по-дорожному: защитный костюм на нем, компас вместо часов на левой руке, сапоги тоже зеленые, фасонные.

— С разведкой, значит, по нашим углам? Геологи, небось?

— Так точно, разведываем. А ты, дедок, вроде клюнувши слегка.

— Тяпышев буду, Василий Терентьевич, — слукавил в ответе, не признался, что пару стопок красненького пригубил на станции, — еще не возьмут выпившего пассажира.

— Ну, будем знакомы. Константин Иванович Слепинчуков. — Великан протянул руку помощи — помог выбраться из-под куста.

— Один для нас путь. В тупике живем. Правда, зареченой дорогой на вездеходе и до райцентра проскочить можно. Аксеновские разрубы там...

— Вот как раз к разрубам этим и надо. Пошли, пошли, старина. Пойдем, свет Терентий.

— Слышь, чего скажу. — Тяпышев выбирается с подмогой на обочину и, привстав на цыпочки, гордо тянется перед великаном. — Василий Терентьевич я, родом из Костромихи. И не какой-нибудь старина. Это я сразу предупреждаю. Поехать — поеду, но, милые товарищи, только без панибратства. Такое не терплю.

— А вот сейчас вижу, что стариной назвать нельзя. — Великан вежливо повинился, широким жестом пригласил в блестящую, необычно длинную машину.

Тяпышев узрел, что переднее сиденье свободно, и сразу же юркнул туда. Вот как подфартило! Прикачу этаким фраером домой, пускай соседи ахают, дружок Полинаха присвистывает.

В машине густо всхохотнули мужики — трое, кажись.

— Вот теперь порядок! Свой проводник. — Константин грузно втиснулся, осадил машину. — Можно ехать.

— Поезжайте, дорога-то лентой белеет. Жара нынче, давно дождей не бывало. Сушит и сушит. Цветенье изнывает — это плохо, перемочка нужна, — начал было

рассуждать Василий, но незнакомцы его не слушали, бубнили меж собой.

— Своим-то ходом Сидоров может за реку? — отчетливо произнес главный среди них — великан этот.

— Про которого Сидорова? — встрял Василий Терентьевич. — Не из Аксенихи он будет? Евлампия Сидорова сын? Говорят, шибко зарабатывает и такую же машину собирается купить...

— Нет-нет. Местных в нашем отряде не числится — противопоказано.

— Все дальние, значит. Бывалые ребята, как погляжу. Культурные да на таких машинах к нам редко пока залетают.

— Всему свой резон, папаша. И — свой момент.

— Неспроста, значит, не кое-как. — Тяпышев погладил надбровный шрам и замолчал. Укачивало на зыбкой дороге, клонило в сон, да и не хотелось надоедать людям, нацеленным на какое-то серьезное дело. Они, эти люди, поглядывали по сторонам, словно бы оценивали местность по особым приметам. Невзрачные придорожные перелески привлекали их наличием липняговых куртинок.

— Медовые места, ребята. Запах чувствую, — говорил старшой, потирая пухловатые, должно быть, влажные руки.

— У нас так об эту пору, только нюхай, — возгордился Тяпышев. — По каждому волоку липняги, по каждой ложбине. И по деревням есть. Липовые рощи, аллеи, так сказать, тоже кой-где имеются.

— Особенный древостой — особенный микроклимат. Флора и фауна привлекательная, — вроде бы по-научному говорил великан. — Липовый цвет, зверобой, тысячелистник, калган, прочее лекарственное сырье.

И снова примолкли, так до отворотки ехали. А знакомство состоялось. Тяпышев показал им дорогу на Аксениху, объездную, что проходит неподалеку от его родной деревни. На постой даже приглашал, если долго в работе задержатся эти культурные ребята:

— Не чурайтесь. Переночевать или мало ли что. Потолкуем. С дружком своим Полинахой познакомлю, тот разговористый, все места в разнообразном интересе досконально знает, по любой визире провести может.

— Ладно, ладно. Заглянем при необходимости.

— Поджидать стану. Ну, счастливо, ребята. Левой стороны держитесь. Там видно, что вдоль реки ехать надо на Аксеновское взгорье. Там лет пятнадцать назад геологи тоже бурили-сверлили.

До поселка своего Василий Терентьевич скорехонько дотопал. Привернул в столовую выпить кружечку пивка за компанию с лесорубами, сообщил собеседникам, что вроде опять нагрянули геологи — изыскатели. Домой — то и запоздал, к дружку Крупинову не зашел побеседовать...

А дружок Василия, Аполлинарий Григорьевич Крупинов, поругивая про себя жену Валентину, даже к родительской субботе не вернувшуюся из города от дочерей, одиноко скоротал вечер. И ночью плохо спал в ожидании нового дня, который намеревался прожить легко и празднично при душевной поддержке закадычного друга. Но управил утренние домашние дела и в раздумье пригорюнился, не хотел никуда идти. Некоторое время сидел на крыльце, опираясь локтями в колени. Теплый ветер иногда перебирал редкие волоски, затаскивая их с висков поперек лысины; шевелил мягкую нежную траву в палисаднике. Вот ведь трава, думалось вроде бы беспричинно, была вечор примята, а обласкало солнечным ветерком — взбодрилась опять. Повсюду она так. Топчем, прикатываем тракторными гусеницами даже, которую и косим два раза в лето, все равно растет. Там, где и не было ее десятки лет, где дом, например, целый век стоял... а убрали, порушили его, смотришь — одворье бурьяном затянуло. Бурьян уломается, отживет свое — разные травы будут расти, сменяя одна другую...

Родное одворье в Костромихе также вспомнил. Тоскливо стало на душе, будто вот случиться чего должно, — предчувствие такое. А предчувствиям своим Аполлинарий в последние годы доверял все чаще. Он решил отдохнуть, тяжело поднявшись по ступенькам, пошел в избу. Ой, да какая это изба?! Лесопунктовская квартира в бараке на четыре семьи. Соседи в разбеге, поговорить не с кем. Дружок где-то в разгуле. Тихо, никто не стукнет, не брякнет.

Устроился на диване перед распахнутым зарешеченным окном — не специальная сетка, не марля, натянутая на рамку, а обыкновенное решето от старинной веялки в раму вставлено, потому что как раз подошло. Тут, на свежем воздухе, по утрам и в полдень приятно вздремнуть. Аполлинарий будто бы на ласковых волнах переплывает в воспоминаниях к родной Костромихе. На просторном лугу средь полей, распаханных к лесу, по-прежнему красуется стройная деревенька.

От нарядного, обшитого свежим тесом крайнего пятистенка начинается липовая аллея, посаженная в первый колхозный год: отец, Григорий Митрофанович, избранный

председателем, придумал коллективную общинную посадку на память, потому что пчеловодством планировал зани-маться. Видится, как над вершинами мечутся чем-то обес-покоенные ласточки, еще выше, под самым облаком, похожим на парусный корабль, отчетливо трепыхается жаворонок, но без песни почему-то, может, не слышно издалека. Небы-валый в этих местах тяжелый гул накатывает со всех сто-рон по окружному лесу. Уже понятно: железнодорожные составы грохочут. В прогалах лесных можно разглядеть вагоны, груженные всяческим строительным материалом. А на вагонах сидят костромихинские мужики, ныне здрав-ствующие да проживающие на чужой стороне, и те, что не вернулись с войны. У всех плотницкие топоры так и пе-рекликаются солнечным блеском. Едут мужики, чтобы от-строить, возродить Костромиху, порушенную коверканным житьем...

— Полинаха, вставай! Вишь, разнежился. Как без тебя в такой день? Отдохнул маленько, и ладно, будет. Вставай, зе-меля, негоже долго спать в родительский день.

Вздрогнул Аполлинарий, сообразил что к чему и при-знался:

— От скуки прилег, а вздремнулось — не полегчало.

— Без меня тебе завсегда скучно. — Василий Тяпышев прилип щетинистой щекой к ржавой сетке. — Вечор с док-ладом планировал — не явился. Опосля думаю: не поме-шать бы. Ты ведь не одну неделю холостякуешь, молодайку бы не спугнуть с твоего крыльца.

— Холостякуешь тут. Из рук все валится. — Полинаха кое-как раскачался, встал с удобной лежанки, приплюнул на ладонь и обгладил всклокоченные, словно у младенца, во-лосенки.

— Сам на бессонную стезю попал. Не знаю, куда себя деть.— Тяпышев потер красный фронтовой рубец на лбу.

— Заходи поскорей, Василий, в мой бобыльский неуют. Может, и придумаем чего для душевного облегчения.

— Неплохо бы. В продмаг разве привернуть заодно? А, Полинаха?

— Приверни. Прыток на ногу, мигом слетаешь. Не бойся, рассчитаюсь в день приезда Валентины, — Полинаха сказал с уверенностью: дружок не откажется, безденежным он ни-когда не ходит, кошелечек тутой имеет — привычка мелко-той бумажной набивать. — Захвати порожняк, может, примут штук десять! — запоздало кричит он. — Вишь, исполни-тельный какой, на полном газу сорвался вприпрыжку по-ручень исполнять.

Полинаха долго глядит в окно, мыслью возвращается в прошлую жизнь: было много разных интересов. Строились с Василием в одно лето, помогали друг другу, одной заботой с весны до поздней осени жили. А уж потом, когда в хозяйствах все оказалось прилажено к месту, каждый своим ремеслом занялся. Тяпышев лапти плел, валенки подшивал, иногда охотничал на приволье, а он, Полинаха, деревню снабжал санками да корзинами. Намерзнутся, намаются в глубоких снегах, доставляя из-за реки сено для колхозной скотины, и — по домам, но не на печи греться под боком у женушек, а в уголок, где мастерская приспособлена для ремесла: пилить, строгать, дратву ладить. Вроде и не тягостно. Ребятня рядом вьется — отцовское ремесло не лишнее. Опосля получилось не так: им оно ненадобно — как восьмилетку который осилит, поехал другую жизнь искать. До сих пор обидно оттого, что дети от родителей по сторонам разбежались.

Расстроенный Аполлинарий Григорьевич встретил дружка вопросом:

— Ты как считаешь, обидно нынче нам или нет?

— В чем дело? — навострился Василий. — Ты чего, Полинаха?

— Обидно. Мы тут, а земля наша где? Я здесь вот как нажился! — Аполлинарий резанул ребром ладони по выпуклому кадыку. — Уют этот казенный. А тебе не обидно?

Тяпышев не торопился с ответом.

— Обидно али нет? Еще как обидно, — признался он. — На старости лет деревенские жители квартиросъемщиками стали. Прихватизаторы теперь — только и всего. А мы для жизни при пахотной земле предназначены.

— Теперь уж не ходить за плугом. Пахоту не поминай — забурьянило, мелколесьем забило. Лучше про охоту или рыбалку скажи. Бывало, у реки-то на зорьке сидишь — сам себе царь природы. А щука ворохнется в травнике, бульк-нет — аж сердце замрет. Или голавли наплывом по всей реке пойдут — с обрыва хорошо видать. Вода так и кипит от скопища рыбного.

— Помнишь, Полинаша, молотилку новую привезли? Рожь-то как радостно молотили. Хороша ржица была. На трудодни досталось. В каждой избе солоду понаделали. Пивко варили какое!.. А помнишь, овин горел, так в огонь кидались хлебушко спасать. — Тяпышев опять прикоснулся к шраму на лбу.

— Возле Хмелевки тот год и пшеница хороша набралась.

— Нету Хмелевки. Ни сарайчика не осталось. Растащили поспешные ликвидаторы. Еще недавно в хмелевском

выгоне кони у меня гуляли. Какие были кони! Любота! По-катались, будет. Терпите, ребята, при многих утратах. Эх, милые, родные! — басил Тяпышев, дергая изломанной бровью, встряхивая приподнятыми перед собой руками, будто держал вожжи. — Эх, залетные! Прокачу милашку с ветерком! Запевай, милашечка, звонку песню радости!

Полинаха, наоборот, говорил все печальнее, все тише:

— За скотиной ходили душевненько. Овцы, к примеру, в крестьянском дворе. У каждой матки четыре-пять ягняток.

— Нынче скотину тоже умеют держать. Это нам с тобой на новом месте все не так да несподручно. Сами другие стали — вот в чем вопрос, не ту политику к нам исхитрили. — Тяпышев откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и голову горделиво приподнял. — Деревенский житель шибко переменился — ему ведено меняться. Ты, дружок, на себя взгляни: живешь вроде отряселка.

— Это верно. Кто мы в поселке теперь? — по-своему клонил разговор Полинаха.— Разве хозяева? Иждивенцы одни повсюду. И всякий, кто про свое лишь выживанье думает, есть иждивенец.

— Так-то мы с тобой слишком много иждивенцев насчитаем. Это уж ты переборщил, Аполлинарий Григорьевич. Те, которые правят, тоже, значит, иждивенцы? А, ладно, все равно не перебрать наши беды. Давай-ко родителей поминать — такой час по празднику пришелся.

Крупинов тоже на все махнул рукой, взбодрил свою стать, но прежде чем пойти на кухню, чтобы закусочки принести, как-то придирчиво оглядел Василия, заприметил неладное в его одежде и рассмеялся.

— Ты чего, чего ржешь-то? — беспокойно спросил Тяпышев.

— Так я тебе и сказал, где ночевал, — отшутился Полинаха и тут же исчез за перегородкой.

— Женушка твоя коли приедет из города? — на всякий случай спросил предусмотрительный Тяпышев.

— У нее спроси. Адрес дам — спроси ласково, мне потом скажешь.

— Да-а, нынче бабы что хотят, то и воротят, куда хотят — туда и едут. А наш брат домовничай, — медленно, с растягом говорил Василий, чтобы не сидеть в пустой тишине. — Шевелись, Полинах. Времечко летит. Лишнего не приду-мывай, неси по куску хлеба да по картофелине.

Полинаха, привыкший все делать обстоятельно, вынес на двух тарелках рядочки ломтиков копченого сала, лучок с огурчиками, мясцо отварное и картошку жареную, а при ней

мелкие груздочки — синеватые кругляши, искусно приготовленные.

— Нам спешить некуда. Посидим, стариков помянем, — рассуждал Крупинов, наводя порядок на столе, а сам думал про недавний сон, о тревожном утреннем предчувствии. — Ты раздевайся, снимай пиджак-от.

— Теплее в пиджаке. И по фасону. Приличие, значит. — Василий придвинулся к столу. — Культура, нагляделся на этих культурных. И зачем они по деревенскому безлюдью теперь ездят, чего еще добирают?

— Ездят, им все надо. Новый подъем Нечерноземья начался, видать, землю начинают расхватывать. А ты уши прижми и помалкивай, тебя не спрашивали и не спросят. А вякнешь — оглоушат... Чего ждешь-выжидаешь? Разливай, если принес. Это нам пока разрешают, это зелье — пожалуйста, только потребляй — быстрей подохнешь.

— Ну, ты не груби, Полинаха. Ты ведь не такой. Да и грешно сегодня серчать. Сперва не об том наша дума-печаль. — Василий осторожно наполнял рюмки — те, что только по праздникам на стол выставляли: небольшие они, акку-ратные, на тонких ножках. — Григория Митрофановича да Серафиму Павловну, Терентия Леонтьевича да Любовью Захаровну грешно не помянуть. Терпеливые были при всех бедах. Совесть имели...

— Поработали старики. И прощать могли. До после-днего часу в заботах. Мама говорила: вот подниму ребят, выпихаю в люди, погляжу, как в жизнь наладились, тогда и помирать можно. Восьмерых подняла. На войну трое по-шло вслед за отцом... А дождалась одного Полинашку.

— Любовья Захаровна с ней в одном поле, на одной па-хоте, в одних оглоблях. Под одной тучей... Земля пухом и вечная благодарная память...

Аккуратно, с вилочек, закусывали, вытирали губы бу-мажными салфеточками, как в былой хорошей столовой.

— Да-а, подумаешь: может, так-то нас некому будет помянуть. — Тяпышев достал заграничные яркие сигареты, но сморщился и закуривать не стал: очень хотелось при такой выпивке махорки обыкновенной или крепкого самосада, того самого, под который, бывало, лучшую грядку выделяли на своем огородце. Гордость и достоинство давал домашний табачок.

Казалось мужикам, что раньше все было ароматнее, крепче, приятнее. Прошлое стойкими запахами возвращалось к ним с памятных грядок, с лугов и пашен, из зарослей липняга, из оврагов и березовых перелесков, от старых отцовских изб,

амбаров и банек, от овинов, конюшни, кузницы, даже от пер-вого трактора, который, проезжая деревней, начадил на це-лый месяц. В прошлом и морозы были ядреней, и снегопады обильней, и грозы страшней. И общие гулянки песенное согласие давали.

В напряженной тишине они оба отчетливо слышали не-ровное тиканье: часы словно бы прихрамывали в медленном шаганье по остаткам житейского времени.

Тяпышев надумал преодолеть тягостное молчание, взмах-нул усталой рукой и выбрался из-за стола.

— Играй, Полинаша, плясовую, если гармонь не рассох-лась! — Достал хромку с шифоньера, вручил приятелю. — Играй веселей!

Он распахнул великоватый пиджак, вздернул коверка-ную бровь и начал дробить, не дожидаясь, когда гармонист приладится с мелодией. Лихо плясал — и на это мастер Тяпышев. Так плясал, что стены дрожали, стаканы с квасом волновались на столе и переборка ухала.

Позавидовал гармонист — и ему дробить захотелось.

— А теперь для меня играй! — разгорелся Полинаха. — Мы тоже можем. Тяпышев согласился, но поставил условие, зная, что Крупинов по-хорошему петь не умеет:

— Только с приговорочками, понял? Начали!

Полинаха топчется на месте — ловит мелодию, подби-рая частушку:

В Костромиху мы ходили,
Нам не показалося:
Там всего четыре девки —
Нам и не досталося.

— Правильно, правильно! Совершенно верно! А я па-рень молодой, оченно примерный! — выкрикивает Василий, встряхивая плечом.

— Не части, Вась. Под ногу подлажайся, а то издергаешь натуру.

— Топай, парень, смелей. Топай да частушки выстреливай.

— Спою, когда на ум придет.

— Пройдемся в нашу сторону, по всему волоку гаркнем!

— Давай врежем, как бывало. — Тяпышев был когда-то мастаком водить ватаги под хорохористое пение. И за-певать умел. — Эй, го-во-рят, что запретить по этой улице ходить... — он выиграл витиеватый перебор, снова скосо-боченно рванул гармонь во всю ширь. — Иэ-эх, стены каменны пробьем — по этой улице пройдем!

Полинаха так же напористо и широко вышагивал ря-дом, расправляя грудь, вскидывая сжатые до белизны кулаки, выкрикивал нараспев:

Эх, пройдем и пропоем...
Пробивали, проходили
Мы с товарищем вдвоем!

Бодрое пение придавало сил, частушка объединяла, роднила, как братьев, и возвращала им давнее ухарство, разгульный азарт. Сами себе они казались моложе, увереннее, будто все еще впереди. Свое слово, русское, от которого они вроде бы начали отвыкать под натиском телевизионной говорильни, родное вольное слово — очищало душу. Простор, знакомый и ласковый, раскрывался перед ними, заманивал дальше и дальше на лесное взгорье. Теперь мужики не спорили, кому первому запевать, само собой получалось чередование. Разыгралась гармонь, распелась душа.

Солнце скатилось за дальние хвойные гривы, но небо озарено ровным ласковым светом. Ни единого облачка на нем, ни единой паутинки. Во всем мире будто бы тишина и благодать, только и слышишь собственное дыхание. Кажется, не идешь, а паришь над дорогой. Вот так же в детстве бывало: вдруг окрылит какая-то легкость, ни с того ни с сего нахлынувшая радость, и трепетно смотришь вокруг, все узнавая, понимая, любя.

Мужики не спрашивали друг друга, куда и зачем идут, не успели заметить расстояние, которое миновали. Кирзовые сапоги стали скороходами, помимо хозяйской воли несли над лужами, иногда отражающими розоватость заката, над глубокими тракторными колеями, над развороченными мосточками и даже над окраинным осиновым лесом, за которым начинались забытые поля. Друзья легко и незаметно прошли весь волок, не успели ни о чем обстоятельно поговорить. А выкатили в простор и встали, чтобы отдышаться, оглядеться.

— При такой земле как жить дальше? — вдруг спросил Полинаха и тем самым остановил, словно вожжами одернул, шагнувшего вперед Василия.

— О чем это ты? — Тяпышев притворился непонятливым — это он умеет, пройдоха. — Опять, что ли, вспомнил, как ехал в телеге без колеса? Ай, пропадай моя телега...

— Про жизнь нашу. Отчего она пошла кое-как, не прямо, а зигзагами обманными по чужому хотению? Отцы-то деревню на кого оставляли? А мы что? Что с ней, с

Костромихой, сделали? Предали — и всё! Не притворяйся, что не чуешь своей вины.

— Вина, конечно, есть. Но чьей больше — тут подумать надо: правители дров наломали, или мы дуг нагнули? Не к месту ты, Полинаш, заладил опять. Неуж для этого собра-лись.

— Отцвели медовым цветом липы в папином саду... Здесь была деревня где-то, но никак я не найду, — уныло пропел Крупинов.

...Через час, может быть, полтора, в минуту горького от-чаянья-недоуменья вновь прислышится Тяпышеву этот печальный, с хрипотцой голос друга, земляка и ровесника. А пока они, присмиревшие, отдыхающие, сидели перед туман-ным полем, будто поджидали кого. Осторожный вяхирь (эти птицы с давних пор все еще гнездятся в низинном березо-вом закрайке) окликнул вечернюю зарю глуховатым «гу-гру-у-гу», а потом, помедлив, еще повторил зазывание, но оборвал его шумным вздохом. Низко пролетели к поймен-ным озерам две утки, посвистывание крыльев вторилось над лесом — будто бы все летит и летит огромная стая. Удив-ленный вяхирь снова повторил свое «гу-гру-у-гу».

— Слышь, чего говорит? — Василий снял кепку — ме-шала прислушиваться. — Вот, слышь: Васюта-дурак, жи-вешь ты не так.

— И мне про это сказал. Не нам уже перекраивать на-житую неперспективность деревенскую.

— Напридумывали всего мозгари да умники. Ну их... Пойдем в свою деревню... — Полинаха, извернувшись, гля-нул в сторону Костромихи. — В отцовском доме за столом возле печки посидим-погорюем.

Усталые, обшлепанные грязью, выкатили они, как тяже-лораненые, на взгорок и долго смотрели издалека на смутно, словно сквозь матовый лед, едва видимые постройки.

Туман еще не скатился по оврагу к реке и мешал раз-глядеть былую Костромиху, скорее она предполагалась в во-ображении: стройная еще, жилая, с липовой аллеей вдоль порядка домов. Тяпышев слабыми глазами, конечно, ничего не видел, а только представлял, как дома стоят на возвышине. А Крупинов обгладил похолодевшее лицо, сам себе не веря.

— Что такое? Вроде забор тесовый белеет?

И вдруг оттуда, из деревни, резануло пучком света.

— Рыбаки небось машину ставили, — предположил Тя-пышев. — Бригадами наезжают...

— Гляди, в избе-то во всех окнах свет разом. Как же это? Ведь амбарный замок повешен, избяную дверь поперечиной

заколачивал. — Вспомнилось Крупинову, как прибирал пос—ледний раз все, что в доме оставалось, надеясь на сохранность: может, еще дачного житья лето придет.

— Не Анна ли тайным манером здесь, — гадал Тяпы—шев. — Твоя на машине попутной с кем ни то проехала. И моя не зря долго не заявлялась. Бабы, они тоже придумать могут.

— Не эти ли залетные разведчики? Уж больно вроде бы людно да шумно там. Хозяйничают по—наглому в дерев—не—то нашей.

— Ай, поглядеть спешно надо. Ну—ка, живо туда!

Побежали под гору, спешили луговиной, да выдохлись быстро. Отсюда, от реки, за полосой тумана деревня как бы отдалилась, а крайние дома оказались огромными, так и зас—лонили всю улицу — ничего не видно, будто и не было там белесого забора и яркого света. Только отсветы промель—кивали. Высокие въездные ворота, перекошенно склонен—ные от деревни, только и углядел Василий. Сдернутая от столбов верея, расщепленная, растрепанная гусеницами, ле—жала поперек дороги.

— Смотри перешагивай!

Но предупреждение запоздало: Полинаха со всего маху саданул ногой во что—то упругое, похожее на проволочную лосиную петлю, приклонился, но упал. Он не пожаловался, что сильно царапнуло, — до того ли, а чувствовал как шта—нина распахивается, выстручивая бледную наготу колена, хлюпающее голенище размазывает что—то липкое, может быть, кровь.

Тревога за родные дома, за всю деревню бесхозную оди—наково подталкивала мужиков, но все же Полинаха отста—вал. Тяпышев всегда был поворотливее напористее, характером другой и здоровьишком покрепче, война на—градила одним ранением, а Крупинова в трех местах про—шила осколками, в госпитале едва

выжил. Пока молодость свое брала, с натугой не усту—пал дружку—приятелю ни в ходьбе, ни в работе, теперь уж трудно вытягиваться наравне — все догонять надо.

— Сгоряча не ставь порядки! — крикнул Полинаха, боясь, что Василий не стерпит, кто бы там ни был, не сробеет, когда правда за ним, начнет самоуправничать.

Тяпышев взбежал на взгорок и остолбенел: невероятное творилось в Костромихе — по предчувствию вышло.

— Как знал, вот они где, субчики—голубчики.

— Кто тут? — Полинаха еще копошился, карабкаясь по скользкой траве на четвереньках.

— И не понять... — Василий из-под руки глядел вдоль деревни. Свет от машины или трактора высвечивал вместо липовой гряды два ряда белых столбов, только около край-него пятистенка по-прежнему шатром темнели рослые липы. По и к ним — отчетливо видно против закатной нео-стывшей стороны неба — приближалась огромная клешня. Тяпышев сразу сообразил, что к чему, и все-таки поджидал Крунинова, чего-то бормочущего про свое верное пред-чувствие, про сон о строительстве деревни и теперешние чудеса.

Впереди скрежетало, ворочалось, взвизгивало. Огромная клешневидная захватущая рука замахнулась над верши-нами, лязгнула, продираясь через ветви книзу по стволу де-рева. Дзинькнул, прошипел пильный диск. Словно взмахнула прощально крылом подбитая огромная птица, перекошенно падающая в темноту. Дерево оторвалось от земли, накре-ниваясь, проплыло над крышами, с тяжелым шумом исчез-ло. Железная рука снова взметнулась наизготовку...

— Ай, что творят! Обдирать эдак приспособились, — уже не голосом, срывающимся хрипом едва выговорил Тяпышев, рьяно выдергивая кол из поваленного на крапиву забора.

— Ай, что творят! — повторил Крупинов. — Лиши об-дирают... корьевщики — ммо-ччаль-нни-ки! — Коль-нуло, заныло в груди, глаза еще сильней притуманились, и он шагнул вперед незряче, почти механически подражая Тя-пышеву, на ощупь искал, чего бы пострашнее взять в руки. Подвернулись ржавые с одним отломленным рогом вилы. Выхватил эти вилы из бурьяна, устремленно — откуда и силы взялись — побежал против нахального света. Он бежал на самоуверенное чудовищное урчанье барахтающихся в тем-ноте машин, еще не зная, что будет делать...

Воскресным утром молоденький участковый, еще не привыкший к новенькой форме, прилежно разбирал про-исшествие, случившееся по вине местных скандалистов. Он записал в бумагу все, что считал необходимым; было тут и про чужую залетную бригаду, которая дерет липовое корье, укладывает его на вымочку в озерины — для чего загото-вители пригнали за реку Межу трелевочный трактор, ва-лочно-пакетирующую машину и два грузовика-самосвала; разрешения на заготовку ни корья, ни мочала, конечно, у них не было. Ни в леспромхозе, ни в лесничестве они не докла-дывались.

— Такого-то числа во столько-то часов, — прилежно и важно читал участковый, — бывшие местные жители

Крупинов А.Г. и Тяпышев В.Т. явились в Костромиху, уви-дели незнакомых людей за работой и устроили скандал. Гражданин Тяпышев с целью нападения толкнул первого встречного рабочего Сидорова, который был выпивши и настырно преграждал путь. Тяпышев замахивался длинной палкой на тракториста Завальнова, но не ударил, и просто хотел припугнуть. Соучастник гражданин Крупинов никому из людей не угрожал, но вилами тыкал в тракторные гусени-цы, разбил черенком вил фару при повороте, нацеленным и на стоящий поблизости автомобиль марки «Волга» (цвет мор-ской волны, номер КОП 00-06), а также грозился выбить лобовое стекло у другой легковой автомашины иностранного производства — на стекле обнаружены три характерные тре-щины. Аполлинарий Григорьевич согласился со всем, что бьыо прочитано важным голосом. Пришлось стыдливо клонить голову, чтобы не встречаться взглядом с молоденьким мили-ционером, которого он так и не разглядел. То и дело пригла-живал чувствительно встопорщенные на затьыке волосы, поспешно кивал повинной головой, подтверждая свое скан-дальное поведение, мол, так оно и было, как написано. Правда, проставленная сумма причиненного ущерба показалась слишком большой, на целую корову насчитали, да куда де-ваться, если своя вина очевидная.

Василий Терентьевич вел себя иначе: гордился своими фронтовыми отметинами, выставлял себя правым, называясь последним и единственным патриотом-защитником отчей земли, где родился и без штанов бегал. Дело свое считал правым: кто-то должен остановить это нашествие обди-ральщиков, хлынувших со всех сторон.

Но пухлощекий парень в строгой форменной одежде, совсем еще юноша, проявлял служебную настойчивость, тре-бовал ответов:

— Почему под вечер пошли в Костромиху?

— Разве и родная деревня теперь для нас заперта на-глухо? — взвился было Тяпышев, но осекся, не стал больше настырничать, потому что парень начал похмыкивать. — Кабы знать, когда обдиратели приедут, можно бы и воздер-жаться, дома посиживать, тоску придерживая, не давая воли сердцу. Приходится нынче терпеть, когда землю-матушку терзают и все былое походя втаптывают...

— Не надо, не надо разглагольствовать. Отвечайте, как положено.

— Я вот и отвечаю по правде. Другой манере не учен. Родительская суббота была. Или сам-то не знаешь? От-цов и матерей грешно не помянуть. Заслужили они нашей

памяти. Ну, заодно и деревню родную помянули стопари-ком. Как же, русской деревне надо поклониться, немало за счет ее отстроено было но всем окраинам. Знать это и помнить следует. Может, до моих-то годов доживешь, тоже затоскуешь по родительскому одворью. Ты откудов будешь, милок? — Василий тяжело вздохнул, сморщился и прило-жил ко лбу ладонь, потому что, бровь опять задергалась.

— Это мое личное дело, гражданин. Я — на службе, при исполнении.

— Милок, не горячись. Ты деревню-то назови свою, не повредит лишний раз достойную повеличать. С Липова ро-дом? Я ведь по обличью определяю — Степана Архипова внучек? Так, нет?

— Откуда знаете? — удивился парень.

— Дак мой отец с той деревни. Тяпышев Терентий Ле-онтьевич, кузнечных дел мастер. А дедушка твой у него в подручных лет пять стоял до войны-то. Вишь, как полу-чается: земляки мы с тобой. Твоя деревня живет, а моей уже нет. Липы и те налетчики схряпнули. Отцы наши посадили, а они, обдиральщики подлые... целую рощу, можно сказать, ради своей выгоды, только пенечки высоченные остались. Вон дружок мой пригорюнился на скамейке. — Василий Терентьевич подошел к окну. — Ты думаешь, одну рощу липовую жаль? Не только это печально. Совесть у него болит, память у него плачет. Ты пиши, пиши, сынок, раз надобно, работа твоя такая. Мы тебе по правде оба говорим, выхит-ривать не станем: что было — то было. Разбирайтесь, кто прав, кто виноват. Была бы деревня жилая — хапуги, может, и не посмели бы, только нынче все без совести творится, везде разор кому-то в угоду. Дак могу идти? Свободный теперь? А можно вопрос без протокола?

— Ладно, говорите, что там у вас еще, — снисходительно позволил парень.

— Сынок, ты местных жителей хорошо должен знать, нашу откровенность цени. Отец твой в Костромихе гостил, бывало, и кузнечил не раз. Он подтвердит небось, какие мы на самом деле скандалисты. Они, эти ухари, угощали меня на дороге, да... Угощали, да пить не стал — что-то не по-нравились они мне сразу. Не зря меня воротило от ихнего коньячного духа. — Василий встряхнулся ознобно. — На-глецы... Клопы вонючие.

— Когда, где, при каких обстоятельствах угощали? — оживился участковый. — Почему людей клопами, кровосо-сами называете?

— Не было никаких обстоятельств. Обычное дело —

дорога. Сестру тогда провожал. Попутка попалась — ну вот и подвезли. Я еще им проезды растолковывал. Теперь сдокументил: как и что, почему они нюхательный разговор вели про лекарственное и прочее сырье. Плюнуть бы тогда на таких попутчиков, а я раздобрился, дорогу обсказал. Простота наша — хуже воровства:

кто кровь сосет — тому и служим.

Молодой милиционер не перебивал, даже несколько раз поддакнул чему-то: так, мол, так, дядя Вася, очень хорошо понимаю, будем разбираться.

С наивным облегчением уходил от него Тяпышев. На волю выкатил и, стоя на крыльце, оглядел окрестности. Друг-приятель, робкий земляк, сидел в ожидании на скамеечке. Он глядел на серую поселковскую улицу без единого деревца и, наверное, думал о траве, которая каждый год при любой погоде растет.

— Не боись, — сказал Тяпышев Полинахе. — Мы тут, выходит, все земляки. Степана Архипова внук, оказывается, бумаги пишет на последних в этих местах скандалистов. Потерпим и в скандалистах. Что было — видели, что будет — увидим. Пока живы — все видеть надо.

— Я вот, Василий, думаю... Чего меня перед ихней длинной машиной остановило вдруг? Ты видел, нет ли?.. Светом выхватило на переднем сиденье иконный лик... Тут и осекся, остолбенел в замахе... Божья матерь... Для чего-то поставили эту икону большую при таком промысле...

— Нам с тобой этого не понять, Полинаша. Теперь так повелось.

— И все, значит, можно? Не страшась? На неправедное дело пошел — иконой оборонись и твори что хочешь?

— Не у нас надо спрашивать. Есть на то главные правители. Наше дело — стыд за все, что творится. Стыд и виноватость непростительная. Душа в разоре таком...

— А ты не горюй. Кому от нашего горевания легче станет? Только разорителям. Пошли отсюда. И за улыбку привлечь могут. Молодчик-то упредил меня: не улыбайтесь, гражданин!

— Оно и понятно. — Крупинов в болезненной медлительности кое-как распрямился, последовал за Василием.

По необъяснимой бесцельности опять вышли за поселок, но не в сторону родной Костромихи — туда путь заказан, а к заречному кладбищенскому взгорью, обходя заболоченную старицу, через которую когда-то ладился навесной мосточек. Мосточка не оказалось — давно порушен, да только сейчас спохватились мужики, вспомнили об этом: могли бы

ведь и сами восстановить переходы там, где они надобны.

Силенок оставалось все меньше и меньше, от усталости пошатывало. Куда, , я какое дело пойдешь при такой слабости в туманную погоду? Старицу миновать Hi .могли. На валежинке возле зеленой стоячей воды примостились отдыхать, видели плечом к плечу. Угнетенные безысходностью, не замечали сеянье вкрадчивого нудного дождика. Курить не хотелось. Ничего не требовалось. Ничего. Ни надежды, ни покоя, ни воли. Ни смысла жить.

— Не с кого спрашивать, — произнес Полинаша, и голос его был юношески чист, без печали — тревоги.

— Виноватого Бог сыщет, — так же легко сказал Васи — лий. — Не с кого спрашивать — и не спрашивай, а то сочтут опасным патриотом.

— Так оно, так. Сквозь последние слезы улыбнемся на прощание. Вот и все. Одно осталось: с прощальной виноватой улыбкой — в последний путь.

Неотделимые от этой земли, долго сидели они во всеохватной задумчивости, будто забытые и не нужные никому.

Грузди

«За груздями с девушкой пойдешь — до свадьбы дело доведешь. — Тетка Глафира так и сказала. — Грибы нынче искать не трудно. Уродилось — хоть косой коси. Ежели с умом — всем хватит. — Хорошим напутствием она племянника за реку провожала. — Не заплутайте только». А тетка Павлина свою племянницу Анюту тоже заботливо торопилась поучать:

— Смотри, девка, по грузди далеко пошла, не куда — ни — будь вдоль деревни, не для забавы малышей. И руками не отмахивай. Ой, степенности, гляжу, в тебе мало. Разве учителям так — то можно?

— Можно, если учитель — настоящий, а не сухарь. — Анюта взмахивает руками, подпрыгивает девчоночкой легкой, словно хочет взлететь.

Прутяная корзинка, подброшенная высоко, сбивает с раз — лапистых желтых листьев клена сверкающую россыпь — не трудно было догадаться: по расчету Анюты, разноцветным дождем окропит попутчика. Но не получилось: дождь упал чуть раньше, а корзинка застряла. Пришлось Григорию, как в детстве (бывало, бывало такое между ними и в пору юности, а теперь после долгой городской разлуки повторяется опять), проявить свою находчивость и ловкость. Он быстро нырнул

под навесную желтизну ветвей, ухватился за гладкий ко-ричневый ствол. Анюта весело засмеялась: в тот миг она была поблизости — «дождь» приняла на себя радостно. Подумалось, можно бы теперь ее обнять такую веселую.

Мало ли что подумается вдруг после разлуки. А при-ближаться трудно, дистанцию надо выдерживать. Так и шли до груздовника: она впереди — веселая, а он, задумчивый, — за ней. Бывали, бывали такие путешествия, по одним тро-пинкам ходили да разминулись на годы. Все теперь как впервые...

— Давай думать только о грибах, — сказала Анюта.

— О чем еще можно? Грибочки, конечно, выросли. Го-товое не трудно собрать. Не сеяли, не растили — природа одаривает.

— Слева твоя полоса, а справа — моя. Договорились?

— Аня, не страшно тебе одной?

— Страшно будет — закричу. Только ты не хитри — отзывайся.

Расстались. Знали, что будут улавливать друг друга в дви-жении: по шорохам, по треску под ногами, по вздохам и даже по чтению стихов.

Заискрился в просветах небесный цвет. И стало тихо, так тихо, что удары сердца отзывались в вышине. Остро и сладостно думалось: ты — не один, ты — часть этого мира, принадлежащего двоим, ты не сам по себе, а в родстве с ме-стами детства, с тропинкой первого поцелуя. Тебе, как тогда, хорошо и страшно, ты опять чего-то боишься, зная, что ни в чем не виновен, никому не лгал, никакого зла не творил, и потому каждая травина, каждый лепесток, хвоинка каждая, все кусты, деревья, даже звери, птицы и насекомые готовы защитить тебя от любой коварной напасти...

Гриша сделал робкий шаг, словно сам был одним из тех, кто уцелел на Земле после жуткой, необъяснимой катастро-фы. Что-то заставило его крикнуть сдавленным шепотом:

— Люди-ии! Я-аа! Я здесь! Скажите ей: здесь нет ви-новатого!

Не слышал собственного голоса, но в ушах зазвенел дру-гой крик:

— Аня-аа! Ау! Где ты! Не оставляй меня одного!

Теперь зазвенело под воображаемыми сводами, под са-мыми верхними мозаичными окнами:

— Аня, аа-уу! Не мо-гу-уу...

И она отозвалась — нет, не аукнула ответно, а где-то далеко, словно бы под горою, тихо пропела:

Не с тобой! Почему не с тобой
Мы вошли в золотую от солнца аллею?

Он пришел в себя, осмотрел реальное пространство и ощутил свою надежную приземленность. Забытое озорство возвратилось через десять лет. Затаиваясь за густыми елочками, дважды пробасил:

— Грибы, грибы. Кругом одни грибы.

Близкий знакомый смех окончательно возвратил ему ощущение реальной жизни: нет сказки, не повторится былое опять. Подумалось вдруг, что этот день будет самым долгим осенним днем, самым радостным, значительным, памятным — таким, о каком мечталось в городском одиночестве. И, о, чудо! Под правой ладонью влажно хрустнуло — рука проскользнула, и весело вывернулся из-под хвойного покрывала белый кругляшок.

— И здесь грузди! — выдохнул Григорий, шаркнул руками в стороны, взъерошивая мох, листву и хвою. Снова — под руками понятный хруст.

— Под этими белыми мхами чудесные грузди встают мостами! — закричал давним мальчишеским голосом, зарал так, что все в округе ему поверило: правда, грузди растут мостами, они к нам выходят сами!

Чем меньше в лесу грибников, тем спокойнее они ведут себя — без суеты, без паники, но затаиваясь. Разве только жадный суетно бегает, ловчит, хватает любые грибы подряд, азарт его направлен только на хватание — в том и получает он наслаждение, только в том, таков захватущий характер. Неторопливый грибник все примечает: где качнула ветку взлетевшая синица, где паук выстроил ажурный зонтик, как вздрагивают листья берез и светится водяной бисер на маленьких елочках. Все замечает хороший грибник, все ценит, всем любуется, даже собственным рассудительным поведением, но при этом старательно обшаривает глазами возможные направления грибной полосы. Он помнит, откуда начал и куда должен вернуться для повторного обследования, учитывая какое было небо над лесом и под каким углом падал свет из проемов между ветвями, где вспорхнул рябчик, в которую сторону перелетел пестрый дятел, откуда вспугнулся заяц в тот момент, когда выглянул возле мураевейника груздь-переросток.

Тетка Глафира назвала грибованье поклонной работой. Но разве это работа, если каждый шаг твой вызван интересом и сопровождается не грибными вопросами: а где ты теперь, Аня? Какие собираешь грибы? Сколько у тебя в

корзине? О чем думаешь? Что вспоминаешь? Да, заманчиво искать грибы по согласованию с тобой — на расстоянии. Получается тихая, ласковая игра — забава. Со стороны по — смотреть: каждый грибник исполняет замедленный имп — ровизированный танец, вытанцовывает свой круг так, чтобы он непременно совпал или хотя бы соприкоснулся с тра — екторией близкого человека. Никогда грибники не ходят столь осторожно и медленно, не кланяются так низко При — роде — матушке, никогда так не ласкают чуткими ладонями влажную землю, никогда так обостренно не чувствуют каж — дый бугорочек, каждый выпуклый приподнявшийся листик. Никогда, только в лучшую груздовную пору. Самый неуго — монный грибник на мгновенье да затихнет, найдя первый сигнальный гриб, за которым угадывается целое семейство. Влюбленный чувствует близость груздя безошибочно. А в кого или во что влюбленный — это личное дело каждого, какой работе предпочтение отдать — тоже.

Для Григория грибная пора — сказочная, это тебе не над чертежами корпеть в заводском бюро. Он замирает на мес — те. Огляделся по возрастающему горизонту, даже привстал на цыпочки — заприметил что — то предположительное в сто — роне, а шагнуть не решается: осторожнее надо, не спеша. Те — перь под ноги глянул, словно вычертил два полукружья, прощупал взглядом ближнее пространство и склонился под елочки. Теребя беспокойными пальцами скользкую рукоять наполовину сточенного хлебореза, прищурил глаза — наце — лился и сам себе сообщает: «Есть! Ого, еще! А там — третий. И там — под листьями, и возле пня штуки три — четыре! А дальше — то гребешком обозначено, туда, значит, слой пошел!» По этой канавке и надо тянуться к березняку, но там — она, Анюта увлеченная, тоже чего — то шуршит. Тише. Только тише, другие пусть сами ищут, нападают на свою грибную канву. Работай, грибник, веселей да сдержанней!

Срежешь добротный груздь, а он и крякнет — хрусть! И молочком брызжет в избытке набранной сочности. Вот так мы его, ласково, с подковыром. Наклоним да будто косой по низу, только медленно, не размашисто. А пенечек — остато — чек прикрыть надо. Теперь к другому грибу вежливо под — ступим. Ну — ка, покажись, не бюрократ ли ты, не засиделся ли в уюте? Нет, не таится, напрасной бурной деятельности не изображает, не упирается, за кресло свое не держится, даже рад, что нашли, обнаружили, обратили на него внимание для общей пользы. Берем, берем. Но не качай его зазря, не качай корешки, не повреждай грибницу. Ножичком, ножичком. Придержал за шляпку — оно и складно получилось, смачно

так. Теперь прикрывай заботливо там, где кресло его стояло. Листву на прежнее место клади. Груздя нет, гнездо свобод— ное, пускай другие в этом месте приспосабливаются, силу на— бирая. Чудной груздь! Вроде таится, скромничает, стеснительный очень, сам чистый, честный, чего б ему боять— ся? А вот попадают такие скромняги. Красивый гриб! Весь белый, иногда с желтинкой молоконной, на которой едва обо— значен подзеленок кругов, словно кольца годовые на дре— весном спиле, а по краям бывает кужлявинка желтенькая или тоже зеленоватая, на другом грибе — синева приметна вол— нистая. Успевает ли Анюта все это заметить, разглядывает она или только на корзину работает? Знает ли, что любо по— смотреть на красивые грузди, когда они один к одному в кор— зине, кажется, рады, что вместе собрались? Учитывает ли эмоциональные перемены? По отдельности покуда были, каж— дый по своему таился, чтобы, значит, искали. А находили каж— дого с удивлением: и этот хорош! Кучерявый чубчик у него. Ишь, красавец какой!

Ба! Восьмеро в шеренге стоят в открытую. Храбрецы. Им что, они коллективом: один за всех, и все — за одного. Сами собой довольны, рады, что нашлись — вольно погу— ляли и вышли навстречу доброму человеку. А возле них — второй ряд. Одинаковый, будто клавиши — кнопочки весе— лой хромки! Тот первый, сигнальный груздь был пегий весь, обрывками листвы, хвоинками облеплен, муравьями обсле— дован по здоровью, улита его обслюнявила, но радовал сме— лым достоинством. Как не вспомнить?! Он теперь в сравнении с молодяшками на самого старшего похож, за— бурел слегка в ожидании достойного человека. А срезал Григорий его — подивился внутренней ядрености: корень уже синеватенький, однако без червоточины; когда прошел дополнительный срез по самому венчику, матово белизна засветилась. Спасибо, старичок, надоумил грибника, навел на тропу. Теперь пошло дело, только кланяйся!

И слева шуршащее движение. Оттуда нет — нет да и до— летит потрескиванье — Аня там увлеклась, она это — по вздохам безошибочно узнаешь. Вот промурлыкала чего — то — в настроении, значит, на песню потянуло, не повторяется, другая мелодия слышна. Вот, кажется, про весну: пойдем, любимая моя, березкой полюбуемся. Да была такая весна, вместе тогда пели . Помнит, не забыла, а говорят: память девичья...Ну вот, вспугнул — замолчала.

— Раз, два, три, четыре, пять, — за еловой низкой грядой шепчет Анюта, близко она, совсем близко. — Вышел груздик погулять.

— А его никто не знает, даже груздем не считает. Чур, находочка моя! Этот груздь срезаю я!

— Вот и нет, я так не согласна. Кто первый увидал этот милый грибочек? Я!Я! Чур, чур! Не подходи пока. Я поняла, что он, самый лучший, мой. Во — о — он, еще оттуда, от той самой красивой сосенки. Честное слово, Гриша...

Взгляды их встретились — удивленные, радостные, многозначительные! Но брызги рассыпанного сверху яркого света ослепили Григория — не успел разглядеть, что там, в глубине глаз Анюты? А она уже смеется и сквозь веселый смех зачем-то говорит:

— Заяц струсил, не посмел, а потом о том жалел. Он бы мог ее догнать, удержать — поцеловать. — Самый прекрасный гриб, одновременно найденный, она обеими руками прикрыла. Так получилось: Григорию тоже был нужен именно этот груздь, потянуло к нему особенным магнетизмом, невольно опустился на колени перед ней... и понял, что такие грибы, специально вырастая для двоих, терпеливо ждут, когда он и она встретятся.

Позднее в уютном шалаше на берегу реки Григорий нежно шептал на правое ушко:

— Иногда бывают волшебные грузди... Это ты нашла... Это ты...

— Только в нашем лесу... только в нашем, — ответной нежностью шептала она. — Тише, милый... Тише... кто-нибудь услышит...

На аварийном повороте

Спешить было некуда, но с восходом солнца опять радовало предчувствие: найдутся дела и заботы не только в своем палисаднике. А пока бывалый тихий экскаваторщик Николай Иванович Терпелов решил обстругать по заказу хлопотливой жены простенький шестик для веранды и пошел к недавно устроенному летнему верстаку. Заготовок под навесом предостаточно — любую выбирай. Перекладывал позванивающие деревяшки, чувствовал руками ласкающее дерево, угадывал шершавинки и сучочки, а казалось, что рычаги послушного управления машиной передвигает. На новой штакетной ограде сочувственно тенькала синица, где-то за поселком печально кричали чибисы. Дальний говор механизаторов прислышался. Опять будто бы кто из провожающих навсегда напутствовал: « Ты, Иваныч, талановливый — не пропадешь в одиночестве отдохновения. Но для начала гульни хорошенько. Первенствовал долго, покрасовался в передовиках — отдай другим рычаги насовсем!» Повторно в это утро думалось: ладно, ребята, моя техника и пример мой вам еще послужат. Берите, если настроились отпихнуть на заслуженный отдых, не считаясь с «таланом». Таланливым повеличали — и на том спасибо, зачли. Теперь молодые будут потехаться. Вон сосед — городской долговременный отпускник по безработице с похмела опять колыхается, сейчас одно и то же станет спрашивать. Точно, напрямую через улицу двигает с неотложным интересом.

— Почему, дядя Коля, тебя таланливым ребятишки называют, раньше так не звали?

— Раньше другое время было, — приходится вразумительно и спокойно отвечать. — Что поделаешь. Талан не туман, не мимо идет, если живешь на добром замысле. Таково было мне отцовское наставление последним фронтовым письмом. Ослушаться не могу с давних лет.

А сам прицельно оценивал прямизну шестика, словно зеркальность ружейного ствола просматривая. Уверенно, с легким откидом назад стоял — чувствовал в себе выправку офицерской аккуратности былых приличий. Помедлил в ожидании других вопросов и, не дождавшись, продолжил разговор:

— Ты, Павлик, взялся матери потрафлять, забор ремонтировал вчера. Это хорошо, начало положено. Да поспешал шибко, штакетины беспризорно пришпандорил, теперь они о неудобстве своем каждому прохожему кричат.

— Ерундовина. Городить — не узоры брать, маманя говорила, лишь бы от коз да собак защита была. Не сто лет служить — откачают короткий срок и беспризорно. — Парень манерничает на словах, собственной естественной речи не имея. — А потрясно получилось, прикольно смотрится. Запели провода, мы такого не видали никогда. В мелочах не стоит мельтешить, дядь Коль. К чему хребтину усердно гнуть? Обещанный пузырек маманя все равно до воскресенья не выставит. Свое надо брать там, где весомо, грубо, зримо и наваристо.

— Твое, милок, только то, что отдал, сработал душевно.

— Это древняя философия. А времечко нынче суровое. Берущий удачливей, потому что наглей отдающего. Вот ты все отдал: годы, здоровье, труды, налоги, займы, вклады, ваучеры. И что?

— Опять бойко от штакетины на ваучер перескокнул, Павлик. В другую сторону претензия твоя пошла, а не к себе самому. И совесть твоя освободилась, если когда-ни-будь зацеплена была?

— Совесть — убежище слабаков. Ты, дядь Коль, дороги строил, ремонтировал даже по ночам, а другие раскурочивали. Твоих таланов на всех архаровцев не хватит никогда. Там, на поворотке, легковушке не проскочить, как я поеду? Еще раз пойдешь ли для других дорогу ладить?

— Придется. Не моя нынче работа — да моя забота...

После огорчительного разговора не уютно сделалось, ходил по усадьбе, не зная к чему руки приложить. Тайком от жены две сигареты высмолил, сидя в тенечке под цветущей черемухой. Оглядел небосвод, с прищуром определил в каком часу солнышко и утешительно сделал вывод: распогодилось славно, прохладца облегчает самочувствие, до заката еще далеко. Скорехонько собрался по накатанной канве. Вывел из гаража услужливый мотоцикл «минарик», на буксир приладил садовую коляску на резиновом ходу, зачехлил лопату и топор, чтобы не брякали по днищу прицепа. Форсисто газанул да и покатил уверенными тропами к большаку — привычное направление. Встречно бежали березовые перелески. В былых полях вспархивали из кустов игривые птахи. По небу слева и справа наперегонки сопровождали пушистые облака. Песенка вспомнилась: «Ты не верь, подруга моя, что шоферы не надежные друзья. Дальний рейс, дороги трудны...»

В низинах еще взблескивали росные искринки. А выехал на проселок накатанный — в зеркале заднего вида забелело пыльное вихренье. С таким причудливым шлейфом

катил до поворотки. Только пригасил скорость и осторожно вырулил в новое направление — преграда на пути: поперек дороги развернуты две легковушки, трактор колесный между ними. Поодаль прилично одетые люди толпятся, кричат друг на друга, отношения экстренно выясняют. Притормозил, заглушил послушный мотоцикл, отвел подальше в сторону. Крикливая неразбериха причудливым эхом разбегалась вдаль по оврагам чернолесья.

Оказывается, шедший с городской стороны торопливый «Жигуленок» уткнулся в присыпанную гравием канаву, содрал поддон, пробил картер — масляное пятно под ним чернеет. А следом прибыл праздный «Москвич», он пытался оказать помощь ; еще никто не углядел утечку масла из картера и потому дергали препятствующую движению машину. Попытка проскочить стороной привела к новой неприятности: «Москвич» по песчаной обочине съюзил в кювет и пропорол валежиной радиатор. На радость или на беду пришлепал какой-то разгульный трактор, он мог бы взять на буксир обе пострадавшие машины, но похмельный тракторист при развороте не удержал малый газ — надежный дизельный мотор без чуткого управления затих. Невелика беда, когда техника в комплекте. А трактор этот, как часто бывает, оказался без пускача, потому что угнан с ремонта по прихоти слесарей, возжелавших беспричинного праздника. За «водярой» в лесной поселок. Вот и столпились бедолаги на тихой дороге. Бранят дорожников , местное и областное начальство, часто мелькающих по телевиденью политиков приплетают, за которых — теперь активисты спохватились — голосовать бы не следовало. Но и в этой панической толчее нашелся спокойный голос, напомнил о губернаторе, обещавшем улучшение жизни, о толковом его заместителе.

— Вспомните мои слова, — настаивал успокоитель. — Деловые ребята и за дороги возьмутся, настроены капитально приращивать ко всему лучшему, что область имеет. И связь через спутник раскручивают, и четыре программы телевизионные везде будут... Сейчас вот за одно лето школу в райцентре поставят — заинтересованы строители. Двадцать лет умники проекты перекраивали, фундаменты зализали. И вот будет школа средняя, просвещайтесь дети, не отставайте от компьютерного времени.

Успокоителя поддержал высокий лобастый мужчина лет пятидесяти:

— О других говорить не хочу, — начал он, пыхнув папиросным дымком за правое плечо. — Но первого зама давно

знаю. Натура у него нашенская, во благо области действует. Мобильный. Вице-губернатор все-таки...

— Сгоряча в новой должности они все мотористые. Кресло занял — надо что-то изображать из себя за хорошую зарплату, за пособия, почести, привилегии. Входят они в азарт на поклонах просящих. Сколько таких перебывало.

— Да, за эти годы колонны чиновников промелькнули. Однако есть хорошей закваски мужики, не теряют совесть. Уклончивых обещаний не раздаривают. Упомянутый зам не ноет, нытью приспособленцев не потворствует. Согласитесь, мы все наловчились скулить. Многие шага без толчка не сделают, а зарплату шикарную просят. Не толкни — не шевельнуться.

— Разуверились, видать, — прогнусавил взбодренный тракторист, надеясь найти оправдание своей застарелой бесшабашности, бодро продемонстрировал протрезвление: мол, был бы пускач, то какой разговор.

— Вот-вот, с себя надо начинать, свой бескорыстный интерес иметь и заботу о продвижении общей жизни, — вступил в ослабевающий разговор застенчивый Николай Иванович. — У каждого свой талан имеется. Талантов и звезд огромные миражи, — он хотел сказать про созвездия, но так уж слетело почему-то с языка. — Покоя нет от этих миражей. И места таланливым людям не остается.. Я вот просто таланливый — так называют, — сказал и сам удивился: занесло в этот раз на словах, общей говорильне поддался?

Его не услышали, может, не разглядели. Или внимание перехватила вышедшая из временной затаенности в тени дородная дама с кудлатой белесой прической, обладающая властным голосом:

— Руководителю без таланта нынче невозможно в должности удержаться. Но ему и таланливым, без буквы «т», не мешает быть. Талан — удача, счастье, участь, рок, судьба. В словаре так поясняется. Перед командировкой смотрела. Для очерка требовалось живое слово. Не ошиблась. Вот и поталанило сейчас. На ловца — и зверь: таланливый человек предо мною, я узнаю его по стилю поведения. — Она, энергично перешагивая через колеи, поспешила к Николаю Ивановичу с намерением задавать вопросы, резким взмахом руки достала микрофон из угловатой сумки. — Скажите, пожалуйста, кто вы, где работаете, давно ли, почему здесь, при аварии оказались?

— Отдыхаю заслуженно, катаюсь на прогулке, — тихо, почти шепотом, начал он отвечать, но вдруг мягко отстранил

подсунутый микрофон. — Нет, не мое это ремесло — раз-говоры с черной трубкой говорить. Извините, голоса не имеется, — притворно прошепелявил Николай Иванович. — Першит, понимаешь. Квасу ледяного попил и запер-шило — перехватывает. С женой поутру на пальцах объяс-нялся, так и не знаю, поняла чего или нет, располагает ли теперь необходимой информацией или волнуется за меня суетливого.

— Говорите тихонько , по возможности — усилим. Ваше мнение о новой администрации? Курс правильный, забота о людях региона чувствуется в чем и когда?

— Какой прок от моего мнения безголосого. — Ива-ныч ребром ладони подтолкнул подбородок. — Все, крышка! Откукарекали, теперь нас можно не учитывать, — будто бы с трудом выхрипел он. И отступилась испытательница, к любопытно молчаливой публике перешла, назойливо об-ращается:

— Ну, кто смелый? Кто выскажет мнение о дорогах на-шей области?

— Нынче весна сухая. Не так страшно — переживем. — Тракторист начал рассуждать, но тут же пожалел пе-чально. — Раньше по веснам каждую субботу буксировкой бутылок восемь-десять вытаскивал. И бумажки при них давали. Был приработок. Теперь, вишь, пустоход получил-ся. Приехал , подежурить хотел гибэдэдешно, а тут — об-лом. Сам сплоховал, понимаешь. Кукуем на развилке до вечера, авось лесовозы пойдут в ночь .

Журналистка посуетилась, хотела записать рассужде-ния тракториста да передумала — ни одного вопроса не воз-никло больше. После паузы и хождения вокруг машин попыталась разговорить еще двух-трех человек, сконфу-зилась, намотала провод на пухлый кулачок, с поклоном по-желала равнодушным представителям электората дальнейших молчаливых успехов в непредвиденных обстоятельствах но-вого времени и энергичной возвратной походкой устреми-лась на семь километров до главной магистрали.

Наступило неопределенное затишье-ожидание. Рас-селись путники по машинам. Тракторист, словно на цепи, сбивчиво топтался возле трактора в поисках точки опоры — то в одну сторону по кругу пойдет, то в другую. Терпелов тоже приблизился к колеснику и понял, что мотор еще не остыл, живинка парит от него. Вздохнул и отчетливо чис-тым голосом высказал давнюю свою печаль:

— Что же вы делаете, ребята? Почему сами себя со всех сторон повсюду готовы затюкать? На какие еще аварийные

повороты вынесет при такой погоне бестолковой? И все мало. Все чего-то не хватает то одному, то другому поклоняются. Вот и натворили путей.

— Обратного ходу нет и вперед никак нельзя, — буднил тракторист свои неопределенные мысли. — Забурились — нечего рыпаться. Сижу, значит, курю в удовольствие, жду у моря погоды. Авось как-нибудь рассосется. Стопарик бы для смазки. Посошок, подорожничек бы. В заначке нет ли, товарищ дорогой, четвертиночки на двоих?

— Ласковый больно. И рукотряс тебя не страшит. Ну-ка, пусти! Освободим проезжую часть для начала.

Терпелов в новой задумке определился на местности, глазомером оценил поворотное пространство и начал действовать под удивленным наблюдением посторонних. Спешно и сноровисто вырубил хорошую вагу, притащил подходящие валежины на подкладки, лапнику накидал в колеи. Окликнул, вызвал на подмогу мужиков. Те выбирались из уюта без особой охоты-активности, но бригадирские распоряжения начали исполнять. Общими усилиями с помощью ваги высвободили первую машину, по настилу откатили, чтобы образовалась свобода для трактора, пока еще неспособного двигаться. Но и это для догадливых не беда. Оглядись — увидишь поблизости плотно накатанный уклон. Такой-то оравой можно раскатить теплый колесник, сцепленьем да декомпрессором толково сварьировать — зацепится мотор с двух оборотов, только не зевай управляющий. Самозванец — бригадир и это тонкое дело взял на себя:

— Толкайте, ребята, дружно и прилежно — будет удача!

Так оно и вышло: вздрогнул, заработал мотор. Рули теперь, тракторист аховый, если сам-то оклемался! Цепляй обе машины, буксируй на ремонт до ближайшей мастерской. Не сидеть у моря до погоды, ругая всех на свете, а действовать надо.

— Дока ты, мужик. Мозговитый, удачливый. Чего такому не жить!

— Ладно, ладно. Улыбайтесь, ребята, в свое утешение. До мастерских доберетесь, а там — ваша воля, по возможностям, возьмите варианты.

Буксирами сцепленный состав потянулся выручателей искать. Одним будет выручка, другим — убытки немалые. Тракторист сорвет с автолюбителей, ремонтники отхватят, торговцы запчастями — тоже не промахнуться, а там энергетики, общества с ограниченной ответственностью подоят друг друга. Так думал Николай Иванович, глядя из-под руки на уходящий к большаку состав. Вот вам и «паровоз вперед

лети» по новой моде. Вот вам и рыночная магистраль. От одной канавы все при деле. А про себя он подумал тоже: ехал на поворотку грязь окончательно утихомирить, чтобы у людей из-за пустяка в дороге дальней проблем не возникало, но получилось иначе: разветвилась забота, с людьми повстречался, разные интересы в народе почувствовал. Не временщик какой-нибудь, а местный коренной житель.

Взялся опять за лопату. Гравий скрежетом огрызается, глина тянется — не размашешься. Бульдозер мигом неровности проутюжил бы, грейдером можно поравнять. Где такую технику для всех дальних проселков возьмешь? Миллионы нужны. На свои жилы надейся всякий радетель дальней земли. Предприятие твое приватизируют, технику твою перепродадут не один раз, свет у тебя отключат, дров тебе больше не выпишут. Живи как знаешь.

Выровнял, присыпал колеи. И щебенка растерянная по кюветам нашлась. Складывал на сооруженную из веток волокушу посильными кучками, таскал к месту ремонта. Один в лесной тишине радовался продвижению задуманного, дивился удачливости своей: надо же, без особых трудностей ликвидировал аварийную канаву.

Вечерело. Солнышко в синелесье опустилось, прохлада туманная потекла. Дышалось хорошо. Оживил мотоцикл, приладил инструмент в надежной привязи. Можно, пора и к родному дому, чтобы жену дольше не волновать. Еще раз огляделся, притопывая, погулял по свежей подсыпке: плотненько получилось, легковушка пробежит и колею не набьет, неспешный лесовоз прошел бы деликатно — уплотнил основательней. Лишь бы дождя пока не было. Осядет, возьмется грунт с гравием, прикатается. Заимеет безработный Павлик шикарную машину, пусть уверенно да почаще к матери приезжает. Конечно, следить надо за каждым изменением пути. Заботливые дорожники нынче во всяком деле нужны, не только на аварийных поворотах.

И опять у него ладно получилось, хорошими думами обласкал душу, воспоминаниями согрел сердце. Форменку отряхнул, оправил, ремень на деленье подтянул, ладонями пошуршал, чтобы чувствительно за руль взяться. Но тут шумок вдали послышался — кажется, «уазик» бежит. Точно, углядел сквозь кусты, не ошибся в определении машины по звуку. Вот и тормоза скрипнули возле ремонтной нови, дверцы на обе стороны расклацнулись. Людское движенье, деловой говор. Двое — расторопный парень с треногой под мышкой и тяжелой аппаратурой на плече да бойкая указчица сожалеют о неожиданной перемене:

— Чудеса! Была яма — нет ямы. А мне документальные кадры нужны. И скопище техники исчезло. Напрасно, значит, возвращались, — сожалела бойкая обладательница черного микрофона.

— Подумаешь, пром—блем—ма. В другом месте засни—мем. Грязи везде хватает. Только вот действующие лица нужны, а кого скличешь. Разворачиваться, что ли? — шофер крикливо спросил. — Зачем в глуши мотаемся, канавы счи—таем. — Он сердито обхлопал пыльные джинсы, для само—успокоения дважды пнул в переднее колесо. — Ездим, виноватых ищем, бескорыстных героев для эффектной по—дачи. Втюхались в житейское бездорожье, душу людям измо—тали плюрализмом этим, реформами беспредельными...

— Сенечкин, потише на поворотах. В кустах тоже уши есть, — загадочно приложив палец к губам, дама на цыпочках догадливо продвинулась туда, где таился усталый дорожник, способный интересно и рационально ответить на любой вопрос. — Тут был рассудительный мужик, только поче—му—то от проблемного разговора уклонялся. Поговорить бы с ним о жизни вообще, а не только про аварию на даль—ней дороге.

Время свиданий

Не старайтесь сразу все разложить на полочки собственных идей и представлений, не спрашивайте ни о чем, не тревожьте праздными вопросами таинственного странника. Не следите с банальным любопытством, увидев сосредоточенного человека второй, третий или даже деся—тый раз где—нибудь на побережье. Куда идет он, что ищет возле большой реки, где конечная цель его пути — никто не знает и не должен знать: кому какое дело до того, что на душе идущего в одиночестве. Но праздное или завистливое любопытство люди не научились сдерживать, активны в ми—нуты коллективной беспечности. Среди них обязательно найдется недовольный тем, что имеет для пустого веселья, ему подавай еще какие—нибудь особенности, какой—ни—будь объект, чтобы прицепиться. Странник издалека чув—ствует таких и предпочитает в людных местах оставаться неприметным да не всегда удается.

Весенним вечером в тихом городке возле озера веселые ресторанные гурманы обратили внимание на скромный ужин сидящего в стороне незнакомца, начали переговариваться, среди них нашлись видевшие его трижды на берегу реки

вдали от жилья, от дорог и тропинок. Женские и мужские голоса предполагали:

— Наверно, геолог или ученый. Лесоустроитель или писатель...

— Вернулся на родину, где детство прошло, тут и грустит.

— Интересно, сколько ему лет, за бородой не видно — вот и гадай.

— Сорок или пятьдесят. Человеку столько — насколько он выглядит. Седина уже вокруг. А не хмурной. Держится как, бывалый — видать.

— Нынче и молодые седые. Модно... Благородная седина украшает.

— Чего гадать. Пригласить его к нам. Свежий человек. Интересно.

— Свеженькие вам нужны. Разневестились, ишь вы, гулены. Щас, пригласим, полюбопытствуем деликатно, пощупаем — попытаем и — расколется.

Он с благодарностью отказался от назойливых приглашений и предложений составить компанию, выпить за знакомство, сказал, что имеет свой особенный смысл на каждый день — обет у него такой: трезво радоваться.

— Все ясно, девки: выпил человек свое, — резюмировал главенствующий в застолье басистый усач с видом штангиста — тяжеловеса. — А мы еще по единой, много не надо, по единой, по единой, по единой и так далее.

После приема и бренчания вилками застолье не забыло объект внимания: веселых вопросов было много — не успеешь отвечать. Пришлось отрицательно или утвердительно кивать, выстраивать улыбку. Мужики и парни уже не смотрели в его сторону, а прекрасная половина местного человечества с многозначительным переглядыванием собиралась под желание потанцевать с новеньким, но чего-то еще не хватало для решительных действий. Совещательное перешептывание со взрывами визготка перешло в сдержанный деловитый разговор. А потом зародилась песня. «Ой, цветет калина в поле у ручья...» Нельзя было не заметить искреннее любопытство в глазах не желающей петь смуглянки — и он отвечал ей таким же откровенно любопытным взглядом. Усатый тяжеловес перехватил этот взаимный интерес двоих и, перекрывая затихающую песню, басисто предложил:

— По единой хряпнем! И чтобы все — до дна. Никто не отвертится, даже Катюня. — Он требовательно взглянул в сторону смуглянки. — Грусть спадет, печаль увянет, каждый сможет быть самим собой лишь когда пойдем домой.

Катя — ее, оказывается, назвал тамада — глядя на странника, впервые подняла хрустальную рюмочку с вишневым напитком и пригубила, сладостно облизнулась, мимикой для него, неслышно для других произнесла «за встречу!» — нет не за общую застольную встречу, а за другую, тайную, встречу взглядами сквозь напускную коллективную беззаботность, над бравадным весельем бритоголового усача, двоих его услужливых адъютантов и четырех молодящихся дамочек. Давно уже обстоятельства не дарили таких случайных взглядов, может быть, странник на какое-то время разучился замечать интерес к себе. Он искал одиночества и всю зиму считал себя одиноким, никому неинтересным. Но вот эти удивленно распахнутые глаза, нашедшие его в сумраке ресторанной бутафории. И этот рассыпчатый свет от стекляшек включенной над ним люстры в тот момент, когда приглашали к общему веселью, радужно обласкал незнакомку. Катя приободрилась, востребовала музыку. Дамочки бурно поддержали ее, хлынули между столов тревожить засидевшихся кавалеров приглашениями на дамский вальс. Громыханье столов и стульев, сдвигаемых поспешно и неразборчиво. Звяканье посуды, общий возбужденный перетряс атмосферы под низким потолком. Перестук нетерпеливых каблучков. И суматошное кружение спешно созданных пар. Раздвинулось трапезное убранство, прижалось к стенам. Все переменилось вдруг. Уединенный странник оказался в качестве охранника сдвинутой мебели — конечно, почувствовал себя неуютно. Выручила Катя. Она обеспечила для всех дамочек свободу выбора партнеров, светло-охровой лозинкой (платье такое весеннее на ней) проплыла, словно прошила тесную толкотню.

— Что же вы? К вам обращаюсь, — шелковисто шелестящим шепотом упрекнула она и взяла за руку — упираться-отказываться невозможно, что-то невнятно пролепетал по поводу своей неподходящей для вальса экипировки. Невзрачная выцветшая куртка с капюшоном, видавшие виды джинсы и тяжелые ботинки на «протекторе» при таком росте — метр восемьдесят два, должно быть, выдавали явную нездешность этой фигуры и концентрировали внимание. Даже лихое кружение замедлилось, высвобождая срединный пятачок для новой пары.

Дамы наперебой приглашали кавалеров — отхлопывали. Вокруг требовательными очередями строчили шлепки-хлопки, короткие восторженные фразы, иногда — сожаление со вздохом: «Ну уж, так сразу, мы только настроились!» Но танцующих в центре круга не беспокоили — не разбивали

пару, так здесь принято. Правда, Грише и не хотелось пре-вратиться в эстафетную палочку, он даже побаивался, что пе-рехватит-пригласит какая-нибудь разгоряченная тиритумба и тогда придется бесчувственно качаться до пол-ного затухания плавного несения амурских волн.

— Вчера и сегодня вы долго сидели на берегу. Вы лю-бите смотреть на течение? — взволнованно-неровным го-лосом проговорила Катя, едва ощутимым движением ладошки разглаживая складки на рукаве его униформы.

Со своей почти двухметровой каланчи он удивленно встретил ее любопытный взгляд и сам разглядел, увидел рядом, в новом единственном для двоих пространстве, милое открытое, доверчивое лицо не смуглянки, какой она казалась в застолье, нет, нет — это была другая, где-то давно про-мелькнувшая особенным видением для него. Русые волосы тяжелыми локонами спадали, скользя по тонкой шее, на ху-денькие плечи. Высокий лоб и отчетливый пробор белой стрелочкой до затылка, и этот распахнутый взгляд снизу вверх... Свежая молочная белизна с легким румянцем на щеках — бледное сияющее лицо не знает никакой косме-тики. И брови и ресницы в естественном цвете, о таком шир-потребные модницы нашего времени давно забыли. А глаза не жгуче черные, не карие даже — вот тебе и смуглянка! Переливчато зеленоватый свет лучился от них; словно от прозрачной воды, журчащей по замшелому камешнику не-великой речки лесной, иногда в доверчивой распахнутости взгляда скользила небесной осенней голубизны поволока...

— Не хотите отвечать — не отвечайте. Буду считать, что это молчание — уверенность в себе, а не гордыня.

— Ах, да, — спохватился он. — Река все течет и течет, только берега переменились. И уплывают пароходы. И ос-таются берега.

— Течение каждый день разное, цвет его зависит от всего, что вокруг. Я заметила: река бывает согласна с моим на-строением...

— С моим тоже.

— Как легко мы кружимся, каблуки не касаются пола.

Он понял: приподымает ее, чтобы не сутулиться, — улыб-нулся.

— Григорий Федорович, вчера вечером... на реке... под березами я хотела к вам подойти. Можно вас Гришей звать?

— Мы еще не знакомились. Я... я еще ни с кем здесь не разговаривал.

— Мама сказала, она дежурит в гостинице, нет, не сказала, а спросила: не приходил высоченный читатель Григорий

Федорович, он библиотекой интересовался, где она теперь, на какой улице...

Григорий в удивлении промолчал, но сбился с линии танца. Пухленькая дамочка бесцеремонно толкнула его ватным бедром — поклонился ей, извиняясь. На повторном заходе в центральный круг дурашливым восторженным голосом она пропела: «А лес такой загадочный...» Катя, чтобы отвлечь его, повелительными эластичными движениями направляла подальше от наступающей определенно пошловатой соседки.

— Гриша, нельзя молчать. Скажите что-нибудь или спросите меня. — Она шептала и смотрела умоляюще. Он сказал, что люди предпочитают верить не человеку, а собственным представлениям о нем, потому ошибаются в поведении. И самому не понравилась такая нравоучительная рассудительность: не о том надо говорить, не о том. Как-то странно, неестественно чувствовал себя, словно перед первым давним выходом на сцену, даже наставительный суфлерский голос из прошлого послышался: «Не забивайте голову личными частностями, решительно входите в роль! Избавляйтесь от всего собственного!»

— А прошлое — самая непосредственная часть нашего настоящего, — Гриша произнес не своим голосом и, чтобы сгладить странность не связанной с моментом фразы, добавил: — В настоящем человек ищет неполученное раньше, ищет то, что ему предназначено давно, судьбой предусмотрено.

Она смотрела на него улыбчиво. И он ответно улыбался. Они медленно кружились, не замечая отсутствия других танцующих, отсутствия музыки. Именно в этом кружении Григорий чувствовал странную свою личность, сознавая, что в ней есть ощущение чего-то такого, что выше и сильнее его самого. В нем снова прорастало когда-то сценически выстроенное рыцарское самочувствие — ничто новое невозможно без такой уверенности в себе.

— Извините меня, Катя. Просто волнуюсь. Когда-то я играл в самодеятельном театре, вот и впадаю в прошлое настроение.

Маленькой энергичной рукой она сжала его правую ведущую руку:

— Мы еще встретимся, поговорим, — Катя обещала или спросила — по интонации он не определил. — Я знаю, помню тот увлекательный театр. В десятом классе тогда училась. Вас называли тогда не Гришей — Леонидом Иванычем...По спектаклю пошло ласково: Леня, Леонид ничего себе на вид...

— Сотри случайные черты, и ты увидишь: мир прекрасен... Часто повторяю с тех пор, присочинил даже: и станешь, друг, сильнее ты, и будет труд твой не напрасен. Пойдет везде молва: есть у парня голова.

— Со мной здесь никто так не разговаривает, — призналась Катя и, чтобы поддержать показавшееся ей поэтическое настроение Григория, прочитала:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Дружные аплодисменты ресторанной публики вернули уединенно танцующих в реальность неразборчивого веселья. Они поняли, что оказались в центре внимания, поняли, что зрители притихли в ожидании эффектной концовки затяжного танца без музыки. Замедленно танцующие ждали момента, чтобы вырваться из-под любопытства. И сумели все-таки согласованно без объяснений исчезнуть, и радовались свободе.

При свете луны Григорий увидел ее бледное сияющее лицо и вспомнил: именно такое часто снилось в самый трудный год одиночества, на него он готов был молиться. А теперь она, живущая в мечтаниях, сама пришла...

Блуждали в узеньких улочках приозерного городка. Много и беспричинно смеялись, даже дурачились, наперебой читали стихи — без всякого повода, что в сей момент на ум придет, высказывали отрывочные воспоминания и все чаще говорили о дальнем поселке, о несостоявшейся, но вполне тогда еще возможной, встрече по обоюдному ожиданию.

Из прошлого восставши, молчаливо
Ко мне навстречу тень моя идет...

Она, высвобождая лицо, встряхнула тяжелыми волосами, восторженными взглядом осветила:

Там все теперь сияет, все в росе
И небо забирается высоко,
И помнит Рогачевское шоссе
Разбойный посвист молодого Блока.

Удивительно, все было удивительно в этот вечер. И случайная компания, и танец, и поэтическая перекличка, и

воспоминание о поселке Рогачево, который далеко, очень далеко от упомянутого Ахматовой шоссе, и рассказ о давнем спектакле. Григорий весело рассказывал о своем театральном и реальном прошлом, Катя задерживала внимание на спектакле, просила рассказать о самочувствии в роли Леонида Ивановича.

В готовности исполнить любое желание заинтересованного неравнодушного человека, этой милой слушательницы, легко проигрывалась давняя сдвоенная ситуация, он мог все повторить — проиграть наилучшим образом.

Тогда рыцарские доспехи пришлись Григорию по плечу, многозначительно изменили внешность и превратили его в Леонида Ивановича. Пожалуй, он готов был постоять не только за себя, в случае необходимости мог метнуться с либительской сцены на улицы поселков, на городские площади, врываться в учреждения, в самые высокие кабинеты, чтобы защищать униженных и оскорбленных. Нет, он не стал бы изображать показную добродетель, воевать с ветряными мельницами. А требовательный суфлерский голос все громче твердил:

— Ничего нет в жизни, а есть только смерть, но ее не должно быть.

Не хотелось повторять за суфлером эту странную фразу, можно и пропустить такую, заменить вялым движением руки и потупленным взором.

— Нельзя устремить человека к прекрасному, если не покажешь ему всю глубину его мерзости.

— Вот — вот, именно так, — радовался подсказчик, — можно и словами Чехова... ну, продолжай... Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть...

Однако за кулисами нашлись несогласные: «Надоели эти нравоучения. Человек, человеческое в человеке, человек — не скотина. Но человек без души, без чувства, человек без культуры рано или поздно становится носителем зла».

— Люди не хотят слушать друг друга. — Леонид подготовил, а не произнес еще эти слова. — Не умея и не желая слушать других, люди полагаются на руководящие идеологические указания, они не живут по-своему, изображают верноподданическое трепетание, голосуют так, чтобы не проиграть.

— Кто вам сказал, что наш народ раболепен?! — возмутился стоящий напротив. — Вы утверждаете, что народ утешается подачками с барского стола, любым обещанием и готов на все? Готов голосовать сердцем во имя скорой стабилизации? — Молоденький партнер с приклеенными

усиками краснел и кипятился почти в натуральной горяч—ности: такому только под руку попадись.

— Именно так, мой милый. Именно так, обманутый и заблуждающийся. — Леонид Иванович качнул плечами — звякнули встревоженные доспехи, но уверенности в соб—ственной правоте не прибавилось. — Вот я, например, и моя Машенька...Нет, вы ее не знаете, мою Машеньку...

— Стоп—стоп! — явился режиссер—постановщик с ценными указаниями и, угловато жестикулируя длинными руками, словно шатунами, прошелся вокруг участников диа—лога. — Не забивайте голову, Леонид Иванович, личными частностями. Давайте же играть что положено, нести важ—нейшие мысли общечеловеческого свойства. Мы не в пив—нушке по случаю получки, а на сцене! Играем спектакль, чтобы пробуждать сознание заблудших. Ради этого, только ради этого мы здесь, на сцене, дающей право...

— Понимаю. Скоро премьера. И надо играть как в день премьеры, ничуть не хуже. Но из этого Леонида Ивановича выпираю я сам и слова другие лезут!

— Вот именно, — режиссер хлопнул в ладоши. — По—ехали. Сосредоточились и поехали. — Он зыркнул по сто—ронам, отпрянул к густо размалеванному занавесу. Тяжелая ткань мелкой дрожью отреагировала на это хозяйское дви—жение и вдруг всколыхнулась с холодным дуновением. Длиннющий актовый зал фабричного клуба загудел, слов—но вагонный состав—порожняк, и скрылся в сумраке про—шлого.

...Влажный ветер гнул березы прибрежной аллеи, осве—жал и бодрил идущих к весенней реке. Кате нравилось идти впереди, она подталкивала плечом тяжелые локоны, а ветер словно понимал эти жесты — тоже играл волосами. Григо—рий смотрел на нее, вспоминая сценические эпизоды из спек—такля восьмилетней давности. Иногда произносил вслух реплики с удивлением: все еще помнятся. И — о, чудо! — Катя понимала его странное возвращение из реальности этого вечера в давнюю театральность, с которой все началось: тогда он прожег ее взглядом со сцены.

— Было так: играл самого себя, а не Леонида Иваныча какого—то, вот и трактовал текст по—своему — в словах трепетало незнакомое чувство.

— Это все понимали, — просто сказала Катя. — Все, кто знал, даже школьники. Я — тоже. — Она спохватилась, что ушла одна вперед, резко оглянувшись, позвала: — До—гоняйте, я жду. Эй вы, двое! Леонид Иванович — Григорий Фе—до—ро—вич, идите же скорее.

А ветер шумнул в ушах Григория словами режиссера:

— Гриша, ты опять потерянный и смущенный. Ты опять играешь только самого себя, надо же раздваиваться. Время двойных стандартов.

— Да полноте, милейший. — Теперь уже и молодой усатик начал по-своему усложнять суфлерский текст. — Оставим чужие мысли о показной добродетели. Услышав суд глупца, вспомним все сделанное от души. И пусть «суд глупца и смех толпы...» Пусть добрые книги нам помогут. Погорим, вспомним о книгах... К сожаленью, нынче в них не ищут доброты. Смакуют бытовизм, обнаженность и цинизм.

— В отношении к книге у каждого своя страсть, — признался Леонид Иванович, степенный фабричный инженер, а не теперешний странник.

Молодой напарник фыркнул — приклеенные усы вспорхнули по-воробьиному и, кажется, чирикнули даже:

— Не считайте, рыцарь, себя исключением из правил. Как и все, выбирая книгу, вы совершаете поступок по зову сердца, словно идете на первое свидание...Вот-вот, уместно думать о встрече...

— Да, да... Но не об этом речь. Не о книге только. Лучше — о долгожданной встрече. До сих пор я жил трудами и заботами о поддержании доброго имени. Но вот увидел ее и переменился. Все, что занимало раньше, показалось странным, напрасным. Я понял, надо изменить себе привычному, однообразному. Изменить направление и смысл существования. Если я только для себя — зачем я?! Бывает первая любовь. Но бывают и другие свидания. Время свиданий еще не прошло, оно только начинается. — Мысленно повторив давний диалог, ощутил себя под ветром у реки в настоящем ночном времени, произнес:

— А время свиданий еще не прошло.

— Время свиданий может быть бесконечным... Слышите, Гриша, как разговаривают березы, шуршат облака, позванивают на песчаной кромке мелкие волны. И среди всего этого — наше взаимное дыхание...

Что-то там светит

Лето разыгралось и запело в солнечные дни. Одноклассники, одноклассницы решили провести несколько дней вместе.

— Ура, братцы! Вдохнем полной грудью воздух подлинной свободы! Эх, брызги шампанского, которого нет. Пусть играет фонтанами речная вода! Айда к Синему омуту! — хорохорился Ваня Хрупов, красуясь перед девчонками. — Искупаемся, каждый покажет достижения. Для вас, девочки, выхожу на рекорд. Не верите? Сегодня ныряю через весь омут в самом широком месте. Раньше никому не удавалось...

— Что ж, посмотрим, посмотрим. Это любопытно, очень даже интересно. У каждого бывает звездный час. — Леночка Светланова будто ждала подходящий случай, чтобы полюбоваться на Ивана, оценить его превосходство перед

другими парнями. Не поймешь, серьезное это было желание или насмешливое, ироническое. Саша Громов, уступающий дружку Ивану в росте, красоте и силе, конечно, завидовал ему, замечая соревновательное неравнодушие девчонок.

На реку спешили дружной ватагой. Но Ваня Хрупов придержал Сашу:

— Ну, малыш, сегодня опять работаешь на меня.

— Это как? Тогда лестницу подставлял с другой стороны дома, а теперь...

— Объясняю, малец: я —ныряльщик, ты — ширма. Только и всего. Понял? Сегодня вода холодновата для рекорда, а слово сдержать надо. Даю раскладку поэтапно — засекай и веди медленный счет.

Это означало: непревзойденный ныряльщик не уверен и подстраховывается. Если он собьется с ритма, а попросту — не хватит у него силенок и вынужден будет разделить дистанцию на две. Хитрость, конечно, наглая, подстава откровенная. Дойдет ныряльщик до середины омута, где как раз в это время его напарник — партнер по «номеру» неторопливо, будто нежась, гребет на спинке и, пожалуйста, за этой живой «ширмой» высовывая нос, дыши ныряльщик, сколько хочешь, а потом — дальше пошел.

— Понял теперь? Ну, будь другом, — просил Иван. — Мы с тобой за одной партой девять лет отстукали. — Будь... Вот девки поохают.

— Смешной ты, Вань. Зачем это? — Саша искренне удивился. — Чего хочешь — то... Я могу, конечно, проплыть просто так.

— Молодцом, Саня! Держи петуха. — Ваня в благодарность сильно пожал смуглую руку партнера.

— Побежали. — Иван сдернул цветастую рубаху, размахивал ею, словно флагом.

Возле омута оказались первыми. Не мешкая, разделись. Девчонки еще копошились за кустами, прихорашивались перед выходом на пляж — они всегда так медлят, а потом важничают, грациями гордятся. А Сашка Громов важничать и красоваться не умеет, хотя к этому сезону стройность и бицепсы выкачал — любо самому себя чувствовать. И Леночка могла бы оценить...

В условленный момент он разбежался, высоко подпрыгнул и дельфином врезался в обжигающую воду, вынырнув, шумно отфыркнулся и легко поплыл «саженками» на позицию, потом перевернулся на спину, распластался, чтобы облака разглядывать. Смотрел на облака, а видел на ярком песке всех одноклассников. Леночка в ярко-синем купальнике, с

желтой лентой, обтягивающей прическу, смело прошла к воде, проверила ногой, какова водичка. Приложив руку над бровями, посмотрела против солнца — на противоположный высокий берег, поросший цветистой травой:

— Где ты, чемпион? Давай, показывай мастерство!

Иван толкнулся с низкого старта, упруго разбежался, высоко подпрыгнув, вымахнул стрелой вперед красивые натренированные руки, взбрыкнул ногами и тут же копьем вошел в воду. В начале ныряльщик — Саша в этом уверен — размашисто шел на глубине, работал честно. Девчонки пытались угадать, в каком месте Иван, и , конечно, ошибались. А он уже на середине омута, ткнулся головой в Сашкину спину — значит, пора колыхаться, чтобы с берега ничего не заметили.

Иван шумно подышал под прикрытием, тихо погрузился и поплыл дальше пересекать омут, а девчонки — в восторге приплясывают:

— Вот это да! Ох, здорово! — Они табунились, глядели на секундомер, когда Иван акулой развернулся на мелкоте. — Ой, ай! Человек-амфибия!

А Лена, эта форсистая, высокомерная Леночка, с выразительным пренебрежением махнула рукой и ушла подальше, легла на песок.

Саша быстро подплыл к песчаному берегу, резко развернулся, опять замахал саженками, чтобы разогреться. Иван, догоняя, что-то бубнил сзади, в чем-то упрекал — разве разберешь при таком плеске.

— Чего ты? — шипел Иван. — Чего так сильно бултыхался? Весь кайф испортил. — Выходя на берег, громко сказал: — Прошу прощения. Эксперимент затянулся, рекордного времени не получилось. Не рассчитал и наткнулся на этого охламона, сбился с ритма. А вода нормальная, нырял до самого дна.

— Не бахвалься, пожалуйста. — Леночка даже не взглянула на него. Пожалела ныряльщика заботливая и нерадушная к нему Ольга Баринова:

— Холодно тебе, Ваня. Давай-ка разотру, сразу согреешься.

Иван напряженным движением культуриста охотно подставил спину. Ольга виртуозно прошлепала ладошками от плеч до поясницы:

— Ой, какой загар у тебя ровненький...

— Весь май на крыше сушился, вот и вышла шоколадинка. А Сашке, тощему африканцу, загорать не надо. Мать, видно, в баню редко водит. Вишь, негром стал. Любуйтесь индивидом с острова Галапасог.

Раньше такие шуточки Сашка не принимал близко к сердцу — всегда Иван подшучивал: что поделаешь, если смуглым уродился. Но сейчас адресное паясничанье кольнуло его — все это заметили.

— Эх ты, Сашенька, отшить как следует не можешь, — упрекнула Леночка Светланова. — Подцепил бы его на неточности, чтобы не красовался, не строил из себя. Возможно ли, чтобы коренной индивид с острова был африканцем, если упомянутые острова находятся в Южной Америке и называются Га-ла-па-гос?.. Эти острова открыл епископ Томас де Верланга. А Дарвин считал их музеем эволюции.

— Вот это познания. Ну, энциклопедия Светланова! Завидую и преклоняюсь пред светлым разумом. — Иван тоже пытался иронизировать.

— Так-то будет лучше. Ученье-свет, а неучи не перевелись. Читать надо, Ваня, читать. И поменьше трепаться. — Леночка помолчала, как бы ожидая реакции, может быть, оценивала интерес одноклассников к географии далеких стран. Чтобы не утомлять рассказом об открытых на островах Галапагос интересных видах — было такое желание, она закончила так: — Категоричность суждений свойственна подросткам. Они переоценивают свои возможности, ставят себя выше других. Верно, товарищ Хрупов?

Иван не ответил. Пошел к волейболистам, но игра, как только он встал в круг, расстроилась — была у него такая манера: будет бить по мячу, чтобы улетал как можно дальше, чтобы другие бегали по кустам.

— Глядите, себя показывает. — Леночка оказалась возле Саши. Она сняла ленту, распустила волосы. Ветер колыхнул их, перекинул на Сашкино плечо.

Это прикосновение ему показалось прохладным. Леночка что-то веселое говорила, словно бы случайно при поворотах задевала Сашу то рукой, то бедром, а он съежился, напрягся весь. И вдруг ругнул себя, назвал размазней. Вспомнилось ему, как ребята постарше ведут себя с девчонками. Можно бы брать пример с тех, кто в армию собирается или уже отслужил. И представил почувствовал себя сильным, уверенным, достойным внимания. Даже мог бы вечером Леночку пригласить на танец. И тут, как назло, вспомнил: не вышел ростом, меньше всех одноклассников, может, на целый сантиметр ниже той, которая лучше всех на свете. Опять вернулось острое желание высоты. На песке стоять — маленьким кажешься, подумал он. Так ведь рядом есть высокий деревянный мост над рекой, с которого прызывники ныряют!

— Я сейчас, ребята! — бежал к мосту уверенно, как другие парни бегали.

— Куда ты, малыш? — Крикнул, конечно, Иван — угля-дел, бдительный он, знает, что бегать Сашка Громов умеет, са-мый скоростной в классе.

Если видит окликнувший Хрупов, — значит все смот-рят. Саша чувствовал, смотрят на него и потому даже по насыпи поднялся размашисто, будто ему ничуть не трудно было и дыхания хватало. Прошел к середине моста, ловко вспрыгнул на перила точно в том месте, откуда ныряют са-мые смелые парни, набрал побольше воздуха, развел руки... И, подпрыгнув, долго, очень долго — так ему казалось — па-дал в коричневую темноту.

Словно зазвенели далекие колокольчики. Понял этот звон — сигнал к возвращению. Его потянуло на свет, без каких-либо усилий легко и стремительно он летел вверх, чувствуя под собой страшную холодную темноту — в такой и спазмы могут схватить. Не сразу вернулось остановлен-ное дыхание. Ноги и руки не слушались, а надо было быс-трее грести к берегу.

С превеликим трудом дотащил себя до спасительной отмели. Поднялся в полный рост и ощутил, что стал выше. Пошатываясь, выходил на песчаный откос в стороне от со-чувствующих зрителей. В напряженной тишине отчетливо прозвучал завистливый голос:

— Вот дает малый! Когда-то натренировался. — Ваня явно сгорал от зависти, потому что сам еще ни разу не ос-мелился прыгнуть с такой высоты даже «солдатиком». За-видовали, удивлялись и другие ребята. Девчонки взволнованно суетились: принесли Саше аккуратно сло-женные джинсы и рубашку, вызвались наперебой согревать массажем. А он смущался, увертывался — началась беготня по кругу, словно игра в догонялки. Тоже не зря — согрева-ло. Но Хрупов в такой игре не участвовал, а помешать лов-чился: то ногу подставит, то за руку кого-нибудь схватит. Наконец успокоились, ромашкой расположились на песке — хорошо было всем вместе. Долго молчали.

Ольга Баринова призналась:

— Мне даже теперь страшно... А если бы там, на глу-бине, бревно или коряга...Не прыгайте больше, ребята, — го-ворила для всех, а смотрела умоляюще только на Ивана.

— И в порядке эксперимента нельзя? Сначала вниз го-ловой, а потом — ныром через весь омут. Рискнуть, что ли?

— Ты уже экспериментировал — насмотрелись. Экспе-риментатор! — Леночка произнесла это слово с расстановкой,

насмешливо. — Она взглянула на Сашу — никогда так не смотрела. Он в ответ невольно улыбнулся...

Когда расходились по домам, условившись встретиться вечером на танцах, Леночка взбежала на мост, к тому самому месту, откуда Громов рискованно нырял. Облокотилась на перила, посмотрела вниз. Наверно, испугалась высоты и подумала: какой Саша смелый!

Река в ослепительном капризном изгибе перед мостом и розовое клеверное поле по всему правобережному увалу, и едва видимые крыши родной деревни за бугром, и кучевые недвижные облака в пронзительно-ясном небе, и белесая теплая тропинка через ржаное поле, и голубое свечение васильков по закрайку, и зовущие розовые огоньки шиповника на утине — все казалось ласковым. «Цветы шиповника — дикие розы, — говорила Леночка. — Удивительные цветы. Вот такие, с мелкими шипами, очень нравятся. У нас в палисаднике тоже расцвели. По утрам на лепестках росинки крупные-крупные...»

Сумрачная синева просветлела вдруг, свежо и нежно зазеленел пойменный луг. Все виделось и слышалось отчетливо. Бывают такие минуты, когда в особом настроении человек слышит по-новому и лепет листвы, и шуршание травы под ногами, и журчание воды, и стрекот кузнечиков, и собственное дыхание.

— Мне кажется, мы летим, — едва слышно прошептала Леночка.

Саша был уверен, что теперь ему достаточно взмахнуть рукой, чтобы изменить направление полета и подняться над лесом.

— Ой, страшно тут над обрывом, — призналась она.

— Не стой так близко. — Саша несмело прикоснулся к ней и почувствовал, что она качнулась в его сторону.

Внизу, под обрывом, куда не доходило зеленоватое серебро лунного света, стояла бездонно-темная вода.

— Там серебристые рыбки играют. Смотри, смотри...— Разве ты, Сашенька, не видишь? А я вижу. Да вот же. — Она еще ближе приклонилась к нему.

За омутом в зарослях ивняка шевельнулось, еще раз, еще. И шумно зашуршало там, но опять притихло — затаилось. Значит, там кто-то есть, может быть, раздвигая ветви, выглядывает и прислушивается к шепоту на противоположном берегу — любопытствует? Леночка хотела так спросить.

— Возле реки днем и ночью шуршит: листва, осока, мышка, птичка, зверьки какие — нибудь.

— Я знаю, я слышала много раз. Я люблю одна бывать возле переката.

Искристо, с едва уловимым треском мелькало какое — то свечение, иногда оно касалось воды, с шипением гасло и снова появлялось совсем в другом месте по — над водой, пронзало туман, будто ярко — зеленый искристый наконечник стре — мительной стрелы, но вдруг опять падало на воду, а выскочив над кустами или над травой, превращалось в крохотную зо — лотистую птичку.

— Интересные превращения, — сказал Саша, хотя уже догадался кто там.

— Ой, что это? — с дрожью в голосе спросила Леночка.

— Не бойся, там две стрекозы весело гоняются друг за другом. Они играют, резвятся на рассвете.

— Правда? Стрекозы умеют играть?

— Когда им хорошо...

Луна спряталась за облаком, будто завернулась в пухо — вое одеяло, и просвечивает его.

— Здесь все как во сне. Тихо, туманно, загадочно. А я не хотела ехать.

— Наверно, мне назло. Помнишь, возле машины спорили?

— И на реке тогда. Ты не сердился, а надо было. Не думай...я не вредная, так получается, когда другие наблюда — ют за мной.

— Ага, так получается, — повторил он. — Я тоже бываю вредным эгоистом. И на себя сержусь...Сейчас мы с тобой. Над обрывом, внизу вода и кусты... Будто бы летим, да? Ты чувствуешь этот воздух? Тебе нужны крылья?

— Хорошо бы...Стихи помнишь? Знаю — потому лета — ют птицы, что землю ощущают под собой. В детстве мне очень хотелось стать птицей...

— Я и сейчас иногда во сне летаю. Мама говорит, расту...

— Это правда. Моя мама сказала: когда летаешь — учишься дышать. Люблю хорошие сны. Когда сюда соби — рались, хорошие были сны. Все — праздник, везде празд — ник... Просторно. Всем людям хорошо. Когда им хорошо — мне радостно, будто бы хорошее сделала... А куда мы идем, нет реки уже, не журчит вода и стрекозы не шуршат больше.

— Куда? И сам не знаю. Можно в любую сторону идти, но лучше к рассвету. Вон там березы какие, будто Высокие фонтаны.

Бредут они по влажному лугу без дороги, без тропинки, своим необъяснимым путем. Неповторимый этот путь нельзя

провешить, пока он обозначен двумя едва видимыми зеле-ными полосками на траве, а высохнет роса и не останется следа, но запомнится навсегда необъяснимое волнение, тре-петная робость будет сладко вспоминаться через многие годы.

Саша и Леночка идут нехоженым лугом, удивляясь бы-стротечности времени: был волглый вечер, светила луна, а теперь алеет утренняя заря.

Но опять сгустился в низине туман. И ничего вокруг словно не существует. Только проснувшаяся береза про-хладными ветвями касается волос, обсыпает мелкими ро-синками. Щекотно и смешно. Они смеются и с противоположных сторон обнимают теплый ствол старой березы. К ним незаметно подошли свободно гуляющие смирные лошади, прядали ушами и вытягивали шеи, норовя прикоснуться к Сашкиной спине чуткими бархатными гу-бами: одна — Матильда, рядом — Карий, он, наверно, запом-нил кучера по недавней поездке за подкормкой для телят, потому касался все настойчивее , дотянулся и до головы, по-шевелил волосы на затылке, стукнул копытом о корень бе-резы и, склонившись, вызвал короткий влажноватый звук ботала, подвешенного к недоуздку.

— Саша, они любопытничают, а между собой шепчутся.

— Может быть.

— Они давно за нами следят?

— Просто завидуют.

— Почему завидуют? Им хорошо, они тоже вдвоем. Те-перь нас четверо.

Леночка вышла из-за березы, но лошади не отпрянули, а покорно опустили головы, словно приготовились выслу-шать возможные упреки за подсматривание и подслуши-вание.

— Умница ты, смиренница, красавица. — Леночка при-ласкала Матильду — а она ответно встряхнула гривой. — Ты очень хорошая, добрая, умная. Ты, наверно, скучала одна во дворе, вот и пришла, чтобы своего Карего повидать.

Понятливая лошадь отозвалась на сочувствие приглу-шенным ржанием. И вдруг молодо рассмеялась. Она ткну-лась бархатными губами в нежные ладони, дохнула теплом и легким движением подтолкнула девушку к Саше...

— Ой! — вскрикнула Леночка. Потеряв равновесие, не-вольно прильнула к Сашиной груди и... приоткрытыми гу-бами коснулась его горячей щеки...

Он вздрогнул, на какое-то время замер. И не сразу ответил тем же...

Рядом за кустами мелькнул яркий свет фонарика. Жел—тое пятно заметалось по траве, удаляясь к реке. За ним — последовал такой же свет.

— Кто это? — шепотом спросила Леночка.

— Не знаю, — тихо признался Саша.

— Я боюсь, мне холодно и страшно.

— Не бойся. Чего тут бояться. Наше поле, наша река, наши кони.

— Слышишь, люди рядом. Вот разговаривают. Вот... А—а, я догадалась. Олечка Баринова хихикает. Давай подкра—демся и напугаем.

— Они купаться на заре пришли. Помнишь, вчера со—бирались?

И верно, кто—то шумно бултыхнулся с берега и, от—фыркиваясь, словно бобер, поплыл, считая взмахи рук — сразу стало понятно: Ваня Хрупов хочет знать сколько потребу—ется взмахов, чтобы переплыть Широкий омут — так делает, когда впервые купается в незнакомом месте.

— Оля, плыви ко мне, — приглашает он. — Чудесно, на спине лежу — хорошо вода держит. Водичка — что парное молоко. Я замер, я недвижимый жду тебя... Стрижи мель—кают высоко... Плыви скорей, ты обещала...

— Лена, пойдем и мы на стрижей с воды смотреть, — предложил Саша.

— Ладно, я согласна. Только ты держи меня за руку. Смотри, смотри, опять что—то там светит и светит...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Веселья час, или приглашение в Кострому, роман 3

Бывают дни такие
рассказы

Медовая дорога 178
Прощание 184
Синица у окна 189
Сиверко 199
Виноватая Костромиха 201
Грузди 217
На аварийном повороте 223
Время свиданий 230
Что-то там светит 239

Михаил Базанков

Книга вторая

ИЩУ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ ПОКЛОН ЗЕМЛЯКАМ

Пусть вам будет так
же хорошо, весело и
счастливо, как и мне,
когда я жил в этом
благословенном городе

Виктор Розов

Кострома
2005

© М.Ф.Базанков. Авторское издание, 2004.

ИЩУ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ ПОКЛОН ЗЕМЛЯКАМ

Удивительно, даже в глуши забытых селений до сих пор люди иногда вспоминают песню: «Край родной, навек люби — мый, где найдешь еще такой?» Умеем ли мы видеть, понимать и ценить таких певцов, бескорыстно убежденных: «кто — то дол — жен курлыкать в глуши, чтобы мир устоял под грозою»? Не обольщаясь наивной надеждой на временщиков из кабинетов на бюрократических этажах, спрашиваю надежно заземлен — ных современников и не жду утешительного ответа — давно знаю, не успеваем увидеть, поклониться, отдать должное по до — стоинствам, не находится материальных крох на поддержание вдохновенных устремлений и замыслов.

Многие сегодня надеются на долготерпение провинции, даже видят в ней всеобщее спасение: продержится она — спасемся «в корневой крепости». Экономисты, писатели, философы все надежды всесторонне и часто возлагают на провинциальные возможности, на живых людей — энтузиастов, рассеянных по всей России, но «дающих свою дань в богатую сокровищницу обще — русского развития». Та самая корневая крепость заключена в терпеливых, работящих и творческих натурах. Значит, остается надежда на людей — носителей народного самобытного та — ланта, непреходящих нравственных и духовных ценностей, ко — торыми пока еще богата и Костромская область.

Новые и давние встречи, длительное заочное и очное знакомство с привлекательными земляками в определенных обстоятельствах вдруг обязывают писателя отодвигать дав — ние замыслы, изменить планы и возвратиться к блокнотам, чтобы обратить внимание на достоинства конкретного человека, на его трудовую биографию и судьбу, на уроки его жизненного пути. Общество, запрограммированное ценить скорые эконо — мические выгоды, не успевает вовремя разглядеть тех, кто вне коммерческой и рыночной благодати. Появилось сословие мер — кантильно устремленных «законодателей моды на все», даже на образ жизни и способы самоутверждения. И вот уже многое

в искусстве, литературе, кино делается на потребу. А потреба — грубость, развязность, пошлость, извращения, насилие, успех любой ценой. Будни и праздники в провинции обходятся без этой разрушительной «моды». Здесь еще жива естественность, правда и природная красота. Здесь еще не вытравлена сердечная отзывчивость...Литература способна ее оберегать и культивировать.

Однажды на районный праздник в Вохму приехал известный поэт, лауреат Государственной премии РФ Владимир Костров, выступал перед бывшими одноклассниками, перед соседями и родными, вспоминал детство, лучшие дни ранней юности. Заполненная центральная площадь замерла — до каждого чуткого сердца доходили слова любви к стороне, что «репьем богата...Да еще грачами да ручьями, круглыми протяжными речами, как ручьи журчащими в крови... Грустная и кроткая природа , вот она — стоит у огорода маленькая седенькая мать... — Читалось трудно, с придыханием, картаво — першило в горле, сглатывались иногда слова и приходилось поэту их повторять. — Вашими трудами, вашим хлебом я живу между землей и небом...Мамочка, ты узнаешь меня? Я твой сын! Я овощ с этой грядки. Видишь — плачу, значит, все в порядке: если плачу, значит, это я».

Народ понимающе молчал какое-то время. А потом тяжелый вздох выразил наше общее душевное состояние. Позднее, отвечая на вопросы школьников, Владимир Андреевич доставал из «поэтической кладовой» убедительные ответы. Получилось так, что и на вопросы ко мне можно было отвечать его стихами. Признался, что не первый раз удивленно обнаруживаю отражение собственной «жизненной прозы» в поэзии. В подтверждение процитировал:

Я сам нашел себе заботу, что не важней других забот.
Я сам нашел себе работу, не денежней других работ.
Пишу. И радуюсь, и маюсь, и, словно бы иглу и нить,
я чувство с мыслию пытаюсь между собой соединить.
Не обольщаясь быстрой славой, я каждый день несу свой труд
на твой, читатель, скорый, правый, а иногда неправый суд.
Но, как и ты, я часть России, ее снегов, ее огня.
Поверь, я не жалел усилий, чтоб люди поняли меня.
Одними нас ветрами било здесь, на крутой щеке земной,
и все, что с Родиною было, все это было и со мной.
Уже осенний ветер дунул и лист пожухлый заплясал.
Над всем, что чувствовал, я думал.
О том, что думал, я писал.

...Писательские этюды, очерки, публицистика, эссе без по—шлой, уже канонизированной, «занимательности» нынче на полосы периодики не допускаются. Новые костромские и залетные «летописцы» нашего времени, не утруждая себя уз—наванием речевых, бытовых, психологических, культурных и других особенностей жизни на этой земле, в служебных воз—можностях приватизировали темы, постоянно и многословно крутятся возле одних и тех же имен. Потому считаю своим долгом и в этой книге хотя бы заметками из блокнота или несколькими штрихами обратить внимание на судьбы тех примечательных земляков, кого все реже благодарно упоми—нают в будни и праздники.

По праву памяти и любви

Бывают счастливые минуты, когда вдруг почувствуешь свое соответствие предназначению, осознавая при этом, что любовь, добрые отношения с другими достойными людьми, вдохно—венная работа и что—то там еще наполняют жизнь смыслом. В таком настроении привлекает открытое пространство, смот—ришь далеко за горизонт туда, откуда начинались все твои пути—дороги...

Однажды ясным воскресным утром на берегу Волги у самой кромки спокойной воды я подобрал принесенный те—чением ярко голубеющий цветок с густым набором лепестков.

Этот чудный знак родной природы возвратил к тропинкам давнего детства, к встречам и разлукам. Отчетливо предста-вилось первое самостоятельное путешествие: маме сказал, что все мальчишки собрались на вечернюю рыбалку и мне обя-зательно велели быть возле переката, а сам отправился узна-вать самую короткую дорогу из своей деревни в соседнюю, но сбился с главного направления, не попал на просеку и по мелколесью долго не мог выбраться на просвет к ржаному полю, которое хорошо было видно с нашего домашнего взгорья.

Когда спешишь, дорога удлиняется, волнение нарастает и холодок его постепенно затрудняет дыхание, обостренно воспринимаются шорохи в кустах, зрение отмечает за ко-лыханьем ветвей косматые тени, а капли росы зеленовато взблескивают словно звериные глаза. Слышалось при-глушенное рычание то слева, то справа, чудилось коварное преследование. Страшно было оглянуться. Впервые так чувствовал какую-то липкую слежку.

Через много лет не раз вспоминался этот лесной поход: первый опыт самостоятельного передвижения, поиска соб-ственной тропы подкреплял уверенность, если необходимо было принимать решение, сохранять свой взгляд, свое отношение к событиям, фактам, личностям. На развилках и перекрестках взаимоотношений между людьми, о каких мы не ведали в дет-стве, многое настораживает и вызывает подозрение, приносит ощущение несправедливости, завистливой и коварной возни вокруг естественных трудов. Потому однажды в прологе к роману прорвались у меня строки о том, что даже в мальчи-шеском возрасте под вечерней грозой в незнакомом лесу не испытывал уничтожающего страха, не приходилось так на-стораживаться, но в повседневных обстоятельствах другого времени иногда не робость охватывает холодом, не страх за собственную жизнь, а нечто большее, вселенское, не пред-сказанное нашими мудрыми прадедами, способными ясно определять смысл отведенного земного срока, всех роди-тельских забот. Многострадальный опыт родителей до сих пор проглядывает в судьбах интересных мне земляков.

В тот памятный летний вечер впервые по собственной тропе я вышел к ним из-под липкого холода и коварного наблюдения. Двигало вперед единственное спасительное желание — быстрей бы в поле, там просторно и вольно, сво-бодно дышится и потому можно стремительно бежать в гору к деревне. Трижды пересекал похожие овраги, уже отчетливо чувствовал запах печного дыма и слышал петушиный пере-клик, но не мог определить свои или чужие петухи поют. Идти в неизвестность все труднее, но возвращаться тоже

страшно: наверно, волки напали на мой след и подстерега-ют...Нет уж, только вперед во весь дух! Выбиваясь на подъем из очередного оврага, скользил и падал, хватался за высокие цветки, подкреплял уверенность напряженными стихами, даже песню декламировал: «На границе тучи хмуро, край суровый тишиной объят...» Слышал только себя и потому гуляющее по лесу эхо казалось мною разбуженным и меня подбодря-ющим. Но это кричали люди, кричали земляки, идущие с четырех сторон искать заблудшего, они аукали, звали кого-то моим именем. Вдруг посветлело, показалось спаситель-ным свечение нежных и теплых лепестков, облепивших мои растопыренные пальцы. Выпрямился и, гордо подняв голову, увидел хорошо накатанную через поле дорогу, увидел кры-ши и трубы домов озаренной закатом деревни, похожей на мою родную, и понял, что выбрался из сумрака куда нужно, где озабочены моим исчезновением...

Недавно найденный на берегу цветок напомнил о тех, кто кликал меня, звал иногда на помощь, искренне сочувствовал и поддерживал в трудные минуты. Высветились судьбы многих привлекательных земляков, способных по велению души в эк-стремальных обстоятельствах действовать во благо других и не менять на фальшивые золотые все, что дорого в неповто-римом единственном краю, который не выбирают. И вот по-степенно слагаются очерки, зарисовки, этюды, заметки, находятся в блокнотах короткие записи — все они, словно разноцветные камешки, может быть, сложатся в мозаику коллективного пор-трета моих современников.

Ожидание

Помню недоступный детскому пониманию день всеоб-щей небывалой тревоги. Под грозовой устрашающе низкой тучей разгоряченный белогривый конь спасительно скакал ржаным полем к деревне — домой! Нам было не тесно в одном седле, ты прижимал меня к груди левой рукой, а правой высоко держал поводья. Вихрились березовые перелески, косо падали под них сбитые с полета птицы. Весь посевной хлебный простор то белесо застывал на мгновение, то вновь порывисто волнился. Вихревыми столбами поднималась над дорогой пыль. Сзывая людей, словно на пожар, кто-то ба-рабанил возле бригадного дома. Конь скакал во весь дух, но ты все равно подгонял: «А ну, вперед, вперед! Никто за нас, только мы сами! Никто, только мы, братишка...» Теперь я знаю, в каком смятении была твоя душа, Сережа, о чем ты думал тогда.

Мы с тобой, когда страшно, когда твои ровесники забывают о тех, кто уже не придет никогда, не встанет на защиту, не устыдит. Ты возвращаешься, когда трудно в полосе одичания, нельзя рассчитывать на порядочность, когда проповедуются подозрительность и насилие. Молчание твое, даже молчание возвращает чувство чести и достоинство. Молчать — верить самому себе и любить. В основе всех добрых, справедливых дел и поступков лежит любовь. Правда, никто за нас, только мы сами. Мне помогают твои слова. В минуты молчания для других разговариваю с тобой, и ты понимаешь меня. Мы с тобой...

Душа вздрогнула и оглянулась... Сережа, старший брат... Все известно. И место рождения. И год призыва. Мать многие знают и отца. Сестер и братьев. А он, Сережа наш, без вести пропавший. Писали, искали. Никакого ответа. Где захоронен? «Скажите, дяденька начальник...»

Гулко и грозно проползла над жестяной крышей низкая свинцовая туча. Кабинетный сумрак постепенно расслоился, тягучим табачным дымом поплыл в окно, застрял меж близких ветвей черемухи и, прошитый сеяньем зачистного дождика, превратился в клочья тумана. Человек в новенькой военной форме положил «беломорину» на край стеклянной граненой пепельницы, поскрипывая хромовыми сапогами и портупеей, вышел из-за массивного двухтумбового стола, чтобы искусственно смягченным, сочувствующим голосом повторить сказанное минуту назад:

— Все проходит... Понимаю, памяти не прикажешь. Много пережито, в документах мало значится. Да, был, призывался. Но архив районный сгорел, область раньше другая была — Горьковская. Запрашивали: ни в живых, ни в мертвых не обнаружен. Как теперь без вести пропавшего искать? Под Москвой-то тяжело складывалось... Разве это горе только твое, малец? Разве только ты брата своего не можешь найти? Сколько их без вести полегло, потеряно — не учтем...

Другой человек, с восковато блестящим лицом, старается утешить.

Мы рядом стоим у распахнутого окна, видим памятную дорогу из-за реки к приземистому, несуществующему уже, военкомату. Она не такая торная, как прежде, на другом берегу едва проглядывает тропиночкой узкой. И тропа эта скоро исчезнет: вместо тридцати девяти тысяч жителей в предвоенные годы теперь в районе всего-то около семи тысяч. Исчезает тропа, в нежилых деревнях потерялась.

Расстаемся до встречи в надежде: может быть, кто-ни-будь знает, видел, помнит моего брата в том огненном подмосковном году.

Когда я очутился за рекой — оглянулся: мой ровесник все стоял на берегу, будто ждал, что оглянусь и посочувствую ему. Отца и старшего брата все еще ждет он с войны... Он понимал меня — и короткий взмах руки его многое мне сказал...

Неспешным шагом миновал я четыре растерзанные отчуждением и беспамятством деревни, а перед следующей настигла лохматая, взбудораженная гряда облаков, ведущая за собой повторную устрашающую непогоду.

Облака нависали, ослабляя свет. Постоянно казалось: кто-то цепко следит за мной, будто бы читает мои мысли, предугадывает каждое мое движение. Страшно было оглянуться, но и впереди подозрительно качались, потрескивали кусты, взметывались напуганные птицы, тенью прошмыгнул какой-то страшный зверь. Даже в детстве не приходилось так настораживаться на привычной тропе. Не робость охватывала меня, не страх за собственную жизнь колотил в виски, а нечто большее, всеохватное властвовало надо всем вокруг и надо мной... Но ударил по вершинам берез тугой ветер, облаком вскружил желтую листву, раскачнул нависающие над тропой мрачные лохмотья высоченных елей — сразу стало свободнее, светлее. И деревня родная увиделась на взгорье. Жилая, давняя. Голосистая хромочка вывела песню за околицу, будто старший брат играл... А ноги не слушаются — не могу на взгорок взойти.

Вижу себя маленьким, будто бы стою на широкой скамейке под зеркалом. В избе, вдруг ставшей холодной и тесной, полно взволнованных, но странно молчаливых людей. Незнакомые, да добрые вроде бы. Все они из разных деревень, через наше Тюково шли, зачем-то в нашем доме собрались. И под окнами — люди. Ждут... Кто-то сказал: «Собирайся, Сергей, пора», словно на работу позвал. А Сережа и заторопился.

Вот он прощается. Таким я его никогда не видел: голова наголо стрижена, на щеках блестят дорожки от слез. «До свиданья, братишка, — говорит он. — Ты только не реви, не надо. Не надо реветь, ты — мужчина». О, сколько раз потом без него приходилось утешаться такими словами, когда обидчики давили несправедливостью, ложью, подтасованными подозрениями, когда невинного обвиняли, над безотцовщиной и бедностью издеваясь.

Женщины просят Сергея поиграть на прощание. Он берет нашу родную гармонь с красными мехами, с белыми и черными кнопочками с одной стороны, с желтыми да красными пуговками — с другой. Ремешок — на плечо. Разошлись, раскраснелись меха, кое-где по ним беленькие цветочки.

Играй, хромочка, прощального, играй последний раз. Печально получается, до слез печально.

Брат глядит на меня, будто завидует, что я дома с мамой остаюсь. Он и на маму прощально взглянул. «Ой, Серёженька! Ой, сыночек! Вслед за отцом уходишь...» — заголосила мама.

Хромочку с плеча опустил, пискнула она растяжисто... Сережа маму приобнял и успокаивает какими-то ласковыми словами. Что он шепчет — не понять и не догадаться: не бывало у нас такого прощания. С братьями и сестрами стал прощаться. А потом снова про меня вспомнил, берет на руки и шепчет:

— Не скучай без меня, братик. Как доеду, письмо пришлю с рисунками. И стихи напишу новые. И ты мне пиши, хоть по буковке утром и вечером — вот и получится хорошее письмо. Осенью, как только снег выпадет, я и приду. Во-о-он оттуда, как раз из этого окна дорогу видать...

— И папа с тобой придет?

— И папа. Ты в окошечко гляди. — Он поставил меня на скамейку возле того окна и «луночку» на запотелости прочистил, чтобы лучше было видно. — Я сейчас во-о-он туда пойду. Ты гляди, я тебе от березы рукой помашу. Ладно? А на улицу не бегай. Только не плачь, не расстраивай маму...

Дождь ли хлещет, вьюга ли гуляет, туман ли утренний приподымается — всегда, если даль в нашем поле непроглядна, кажется мне, будто бы Сережа в зеленой тужурке напористо идет обратно против жестокого ветра, домой идет... Сколько раз, обманутый виденьем, выбегал я в поле встречать, стоял в холодном напряженном одиночестве часами и ждал, порываясь навстречу при всяком ветровом шевелении кустов вдали... Иногда приходила почтальонка. Оттуда приходила. Но не было писем, долго не было первого письма. А потом такое было (теперь думаю, как же надсмотрщики его пропустили, этот «треуголь-ничек»?): «Дорогие мои родные... Теперь я совсем другой. После лагерей нас погнали на передовую, а ветром шатает. Со мной друг из Васиялова, Николаем его звать. Помнишь, мама, он в Преображенскую у нас ночевал. Все бы ничего, да есть хочется по ночам. Сейчас бы загорелую корочку после Миши...».

Мало было писем. Да и те пожаром отняло. Осталось свидетельство о рождении да маленькая фотокарточка. Старший брат. Молодой, красивый, бравый. Веселый, улыбчивый взгляд. Скрученная челка достает до левой брови. Широко разложен воротник белой рубашки. Значки с цепочками — на пиджаке. Листочек бумаги в нагрудном кармане полосочкой белеет, и карандашик торчит. Наверно, красный карандашик.

Сережа любил красный цвет, флаги да землянику рисовал. Учительница рассказывала: «Все давалось ему. Способный... А сочинять начнет — любо послушать. И споет. И спляшет. И сыграет хоть что, быстро на слух брал».

Каждое лето хожу той тропой от одной несуществующей деревни до другой в сторону райцентра, где не сохранился старый военкомат. И слышится мне в порывах сочувствующего ветра голос хромочки, на которой Сережа играл. Где она, хромочка с красными мехами? Кто на ней играет? Знаю, Сережину хромку мама тайком от нас променяла в сорок седьмом на три буханки городского манящего хлеба да на фунт сахара, похожего на синий вешний лед.

Был Сережа. Кто-то видел его там, на передовой. Кто скажет, что видел его, восемнадцатилетнего связиста...

Часто оглядывается душа на тропинки детства. А память выводит брата зримо в мой самый родной дом, которого давно уже нет. Мы встречаемся там и, все понимая, глядим друг другу в глаза. Мы знаем, кого винить, но не сгорела в нас терпеливая способность прощать. Помнить, понимать и, стиснув зубы, скрывая слезы, прощать!

Се-ре-жа! Тебе еще все восемнадцать... Что ждало тебя в этой жизни? Какие были бы у тебя сыновья, внуки и правнуки? Друг твой тоже не вернулся оттуда... И ровесники почти все не вернулись. Жизнь горька. Правят ею оставшиеся, непризванные или уцелевшие. Или дети уцелевших. Безотцовщина, сам знаешь, чем красна... Все еще надеюсь на чудо, дорогой мой... Спешные военкоматовские записи по каким-то причинам проскочили тебя. Обещано в дополнительном томе обозначить отдельной строкой. Может быть, кто-нибудь что-нибудь знает. Родителей наших давно уже нет. Мама до последнего часа ждала тебя. Много раз по ночам слышал, как она причитала:

— Сережа, сыночек. Кровиночка моя. Отписали про тебя: без вести пропал... Как же так, без вести, раз в убитых не нашли? Может, жив ты, Сереженька, только лиходеи далеко запрятали. У Марьи Витюшка тоже долго пропадал, да вдруг отыскался, пришел, только изломатый весь. Ох, сыночек, сыночек...

Как в детстве, закрываю глаза плотно сжатыми ладонями, чтобы не разреветься...

_____

Все еще повторяет, повторяет душа через невзгоды и расстояния:

— Возвращайся скорей, возвращайся скорей, Сережа. Очень трудно в этом мире без тебя, мой старший брат.

Дерево в саду

За околицей ветер гоняет пыльные вьюны над дорогой, похожие на зарождение смерча. Эта пыль мешает увидеть железную крышу моей сельской школы возле фруктового сада. Когда — то он казался огромным...

Иду от реки на увал через былое ржаное поле и пред — ставляю человека в глубине аллеи. Вот он распрямился, смотрит на вершины высоченных берез, одной рукой придерживая очки с выпуклыми стеклами, а другой — давнюю выцветшую кепку. Спешу к нему с трепетным волнением. Александр Ильич продвигается навстречу, тихо и тоже с волнением го — ворит:

— Ну, вот и еще один приехал. — Проницательно и лас — ково поглядывая, ведет по саду. — Видишь, помнишь? Здесь яблоня твоя росла...

Уже бывало именно так. Бродили по аллеям с останов — ками и говорили про школьный сад, вспоминали начальную работу на пустыре. Разговор прикоснулся к тому, с чего на — чинается хороший человек в деревенском труде. Каждый школьник был из крестьянской семьи, почти все вырастали без отцов. Александр Ильич в те давние годы загадывал наши судьбы, а в старости огорчался, если по каким — либо причи — нам его предположения не сбылись. А что мы раньше знали

о нем? И разве могли знать, если сам он длительное время замалчивал свое происхождение, принадлежность к знатному роду Толстых через родство с Януарием Ивановичем, графом Никольского поместья, с которым, по свидетельству учителя, поддерживал связь Лев Николаевич Толстой.

Взрослое знание позволяет иначе видеть его судьбу, о многом хотелось спросить. Предполагая вопросы, он вдруг заговорил о своей школе, о коллегах. Приходили прямо с фронта настоящие мужчины, чтобы учить и воспитывать. Бывший танкист с тяжелой походкой на протезах Алексей Алексеевич Тяпкин преподавал физику, парашютист — дезантник Геннадий Васильевич Румянцев — литературу и русский, артиллерист, участник боев на Волге, дошедший до Берлина майор Павел Владимирович Шумов — военное дело, ПВО, всегда военно-патриотическое воспитание было на высоте. А еще работали у нас прошедшие многие испытания Петр Константинович Невзоров, Николай Сергеевич Воскресенский, Иван Владимирович Волков, Дмитрий Павлович Крутиков. Только назовешь эти имена и переносишься на уроки географии, немецкого языка, логики, истории. Были среди мужчин педагоги и помоложе, тоже испытанные солдатской службой, крестьянским трудом и бытом. Мужской гвардии по знаниям и приличиям соответствовали сельские учительницы. Непростительно мало мы знали о них, потому что инфантильно беспечны и невнимательны в школьные годы к жизни наставников.

Осознавая собственную вину, в каждый приезд я заходил к Александру Ильичу. Он всегда жил в селе, а других уже не было. Легко, непринужденно складывался разговор вечером в его доме. Разглядывали старые записи, альбомы, тетради, книги, давние документы, помогающие представить пережитое. Нет, не собственное детство занимало меня, а судьба сеятеля доброго, мудрого, прошедшего через переломные события века.

Наш директор творил «чудеса» в кабинете биологии. Но в школьные годы не знали мы, что он проводил агитационную работу по всей округе, с оружием в руках гонялся по лесам за бандитами; возглавлял Верхне-Межевской волостной исполнительный комитет рабочих, был членом уездного комитета. Привычно было видеть его в саду, когда ранним утром сажал цветы и деревья. А теперь говорим о той напряженной жизни, требующей от сельского интеллигента активности и самоотдачи по уровню авторитета.

— Это, наверное, самые напряженные, самые лучшие годы? — осмеливаюсь спросить и предполагаю, что учитель прощает наивность вопроса.

— Трудное, захватывающее было время. Революция, граж—данская война, коллективизация. И всегда мы здесь, на этой земле, посреди лесов, правильнее сказать, среди людей, кото—рые ни в чем не виноваты, но оказались втянутыми в траги—ческий круговорот. Иногда и сам отчаивался. Но школа, но вот вы, разлетевшиеся по свету, — самое дорогое.

Да, мы спешили вырваться из этого лесного мира...Уез—жали, чтобы найти иную, отличную от родительской долю, но не каждый из нас повинен в долгой разлуке, в невозможности оберечь родную сторону от многих испытаний. С чувством вины и долга все—таки многие из нас возвращаются в луч—ший на свете сад, чтобы отыскать свое дерево, посаженное двадцать, тридцать, сорок лет назад. Увы! Не все деревья со—хранились, кто—то содрогнулся уже, узнав как сад вырубали. И каждую весну в памяти многих зацветает наш сад — символ труда учителя. Иногда и во сне спешишь туда на дежурство по графику.

Странно слышать нынче кислое хныканье школьников, не желающих поработать на школьном участке: «Опять две недели маяться». За десять—пятнадцать километров, будто на праздник, бегали мы работать на школьном поле, и никто — ни председатель, ни бригадир, ни родители — не имел права удержать, хотя в послевоенную пору и в колхозе наши руки были нужны. Словно настоящие садоводы, наблюдали мы за развитием растений, делали записи в дневниках, ра—ботали, не жалуясь на мозоли и ссадины, а вечером возвра—щались по темному лесу домой. И снова с нетерпением ждали свой час, свой день, чтобы примчаться в сад, удивлять учителя новостями, наблюдениями, открытиями. Родители наши тоже обращались к Александру Ильичу с просьбами и за советом, разъяснением, потому что образованный, добрый и справедливый.

А сколько всего интересного, в свое время недооценен—ного, рассказывал по истории родного края, о знаменитых земляках. От него впервые услышали о «запрещенном» Иване Касаткине, известном писателе, хотя тогда произведения его не издавали, он не был еще реабилитирован. От Александра Ильича узнали, что Федор Толстой—«американец» родом из наших мест, тот самый «проказник» и дуэлянт, сильный и страстный человек, один из представителей особенно живу—чего дворянского рода. Не какой—то Колумб или другой из—вестный путешественник, а наш земляк — вот удивительно! Как же обидно было, что за всяческие проказы его высадили на малоизвестный остров. В Россию вернулся через Америку «Алеутом». С него писали своих героев Пушкин и Толстой —

рассказывал учитель. Естественно возникали у нас вопросы и на уроках литературы. Геннадий Васильевич дополнял:

— В книге «Федор Толстой Американец» есть, например, такие строки: «Кто знает, может быть, при другом воспитании и в другой среде его страстность и его выдающиеся способ—ности обратились бы на другое дело, на полезную работу и на служение людям». Вот так—то, ребята. Опять мы говорим о среде и воспитании.

Было понятно, в каком направлении ведут нас учителя биологии, литературы, истории. Верилось и мечталось хоро—шо. И дорога в школу нам нравилась, и школьные будни были радостными, и весенние работы в саду ожидаемы с нескры—ваемым нетерпением. Трудное было время, но возможности мирной жизни были очевидны: появились дороги, мосты, элек—тростанция на реке, двухэтажное школьное здание, столярная мастерская, спортзал, кабинет биологии, добротные дома в селе появились. Приятно вспоминать, да теперь и сожалеть при—ходиться. С беспокойством писал мне Александр Ильич: «Все здания, в которых вы учились, в полуразрушенном состоянии: рамы частично выломаны, в других выбиты стекла. В здании, где был чудесный кабинет естествознания, — скотный двор. Каждый раз, когда прохожу мимо, слезы глотаю. Теперь школа в новом кирпичном здании. Есть котельная, теплица, появился в отдалении детский комбинат. Вроде все как надо. Да вот перспектива не радует. Во всей десятилетке школьников мень—ше, чем было у нас в двух начальных классах вскоре после войны. Неперспективной стала сторона, под новый научный эксперимент попала. Захирела деревня, вырождается. Село Никола—граф еще держится пенсионерами.».

А встретились, на ту же тему его справедливое размыш—ление слушаю:

— Расшатана сельская жизнь. Руководство за красно—байством засиделось, лишь бы время шло, — говорил старый учитель. — Лишь бы отчитаться. Ретроградов хозяйствовать не приучишь — залетные они: очередь отбыл — в другой район переведут. Деятельные люди вместо ретроградов нужны, чтобы эта земля их согревала, чтобы из прошлого могли взять лучшее и свое чтобы способны были сотворить. А были, были надежные ребята. Их оттеснили от своей родины. Я вот вы—пускниками нашей школы горжусь. Из тех, кого мы воспи—тывали, шестеро стали кандидатами наук, двое лауреатами Государственных премий, есть и лауреат Ленинской премии, многие земледельцы орденами награждены, художники, пи—сатели, журналисты известные — тоже есть, по многим про—фессиям наши земляки имеют почетные звания. Благотворная,

значит, лесная сторона, да вот сиротеет. Пригласить бы всех видных земляков для совестливого совета: как нам дальше?

Нельзя не понять его справедливых упреков тем, кто сажал здесь свое первое дерево. Разве в отдаленном благополучии никогда не спохватимся, не почувствуем, что там, где родная деревня была, даже памятного столбика не поставлено? Разве не вспомним об утраченных садах и пашнях? Разве не осознаем и не расскажем детям о том, что, отворачиваясь от прошлого, утрачивая неповторимое, изменяем самим себе? Было время, когда считалось, что заслуживающая внимания история есть только в местах особых событий, и мы сами в патриотическом воспитании своих детей уповали на историческую значимость, называли только самых видных деятелей прошлого и забывали добрым словом помянуть скромных тружеников, на которых держалась эта земля, и потому снижался интерес к малой родине.

— А помнить надо. Когда помнят, значит, ценят свою землю, сердцем ее понимают, — продолжал Александр Ильич Соколов, прошедший здесь земной срок от первого дня до последнего. — Без любви к родному краю как прожить? Я вот даже деревья многие помню. Нет, не только в саду выращенные. Видал клены в Черемисской, суховские лиственницы, старовский дуб? Чудом сохранились рощи! Реликтовые леса, корабельные. И в Кологриве, и в Парфеньеве, и в нашем районе. Побывай, побывай пока есть возможность. В Первомайском к месту бывшей усадьбы Фигнеров зайди...Марьинская усадьба километрах в шести от райцентра. Не оберегли ее новые хозяева. А деревья заметные там...

Возле церкви был найден заросший надгробный «камень» — памятник из черного мрамора с отчетливой гравировкой: «Владимир Фигнер скончался 18 июля 1858 года. Каролина Фигнер скончалась в январе 1841 года». Местные краеведы установили родственные линии. Владимир, брат партизана Александра Самойловича, был известным в Москве человеком, выйдя в отставку, поселился в Марьинском. И сын его Аполлон, выросший здесь в окружении слуг, много знал о судьбе дяди с партизанской известностью, должно быть, читал хранившийся в усадьбе семейный архив и, по предположению Александра Ильича, мог рассказывать подробности Льву Николаевичу Толстому в период создания романа «Война и мир», в частности, в образе Дорохова такие подробности читающие люди усмотрели.

— Каждое дерево не только свою судьбу оберегает, если присмотреться почему оно у дороги выросло, — едва слышным голосом произнес учитель.

Александр Ильич заговорил о приметных деревьях у проселочных дорог, в местах былых поселений, о реликтовых и корабельных рощах, предчувствуя и понимая скорое разрушение выращенного им сада. Он понимал, что прошлое и настоящее связаны не только событийно, но еще и кровно, эмоционально, взаимосвязь эта обусловлена памятью и тревогами, чувством вины и долга, осознанием необходимости вернуться к истокам, приводить туда сынов и внуков. Вспомнив учителей, мы иногда все-таки возвращаемся, ищем памятные меты, осознаем и ценим мудрость наставлений.

Не за отдохновением от суеты, городского шума, от дальних заокеанских дорог возвращается совестливый человек туда, где росло посаженное им дерево и где тропинки , кажется, еще хранят тепло его босых ног. Ностальгия с годами все острее. Но издалека можно и не знать, что твоего дерева там уже нет, бывший сад иссох, округа стала нежилая и поля не засеваются, хотя графское село по-прежнему красиво и церковь подремонтирована, старые деревья скрипят на ветру, а редкие первоклассники играют под ними — не спешат домой после школы. Сохранились еще приметы прошлых лет, даже представить можно, как идет по селу старый учитель, проверяя тропу тоненькой тросточкой, похожей на указку, останавливается перед каждым встречным, памятливо через выпуклые стекла подвязанных очков всматривается и вспоминает...

Иногда он присылал письма или открытки. Прочитает очерк в журнале — отзывается четкими бисерными строчками: «Молодец, Миша. Правильно жизнь видишь, трудовое детство сказывается и в этом деле». После длительного молчания Александр Ильич радовался: «Здравствуй дорогой наш ученик Миша. Ты не можешь себе представить, как я рад, что снова пишу тебе после операции на глазах. Пока только открытку посылаю. Сколько времени прошло с тех пор, как я потерял с тобой зрячую связь, какие перемены случились. Об этом надо писать большое письмо, скоро напишу все подробно. Извини, что я так тебя называю. Ты в моем представлении тот студент Миша, который был у меня...» Вскоре — еще приходит весточка: «Было такое намерение: как только получу ответ на предыдущее письмо, сразу же напишу о своих думах по самому больному для меня вопросу — о наших деревнях. Ведь ты знаешь, что я истинный крестьянин, с детства жил в деревне, в пятнадцать лет пахал сохой, был главным работником в семье, а старшие четыре брата находились в солдатах с четырнадцатого по двадцать второй год...И сейчас кровно связан с деревней. О многом болит душа. О том и

написать тебе думал, даже план составил. Как только чуть полегчает, сразу же возьмусь, а пока извини».

И последнее письмо: «Четыре года пролежал в твоей книге мой отзыв на нее. Обнаружил вот и посылаю. Только при — был из Костромы после операции, вспомнил повесть, наду — мал перечитать — понравилась она мне, очень понравилась, потому что правдива, близка к жизни, сердечно увлекательна, для меня (подчеркнуто — М.Б.) в ней все родное, знакомое и такое близкое, что, читая, вместе с тобой шел по тем местам, которые описаны, любовался вместе с тобою, слышал твой сочувственный разговор с понятными мне людьми...»

Песни для сына

Женщины в нашем краю разговаривают певуче и лас — ково, словно ребенка баюкают. До недавнего времени жили они открыто, доверчиво, незнакомых путников на ночлег и даже в постояльцы пускали. Заходи в любой дом, в любой час — приветливо встретят, усадят поближе к теплой печке, если осенним дожжем тебя промочило или насквозило метелью, угостят молоком с рассыпчатыми сухарями, а то и пыхтящий медный самовар на стол поставят для неспешного чаепития. Когда расслабишься ты, когда отойдет усталость и —начнется доверительный разговор, исподволь выспросят: чей да отку — да? Женат или холост? Живы ли отец с матерью? Как тепе — решнюю жизнь понимаешь?

Сам не заметишь, как расскажешь обо всем, что не так часто приходится вспоминать и рассказывать другим. Да и тебе поведают немало: что пережито, какие несправедливости притесняют деревенского жителя, куда разъехались дети, в каких краях исковерканы судьбы наивных неудачников. Посте — пенно и сам выскажешь свои тревоги — печали, выложишь все, что на душе. И далеко за полночь вдруг покажется тебе: на кухне, за перегородкой сидит возле печи, плачет сухими слезами самая родная на свете, плачет твоя мать. У каждой матери свои воспоминания, свое горе. Многие печальные признания помнятся, есть в них трагическое сходство. «Не сладко живу...Одинокая теперь. Старший сын в лэтэпэ на исправлении после опойства. Дочь за растрату посадили, сама ничего не брала, а вот насчитали ловкачи. Двое внуков только — надежда на них теплится теперь. Колюня, может, уцелеет, придет из Афгана. Пишет: бабушка, не болей, я скоро приду. Скоро ли, придет ли...»

Солдатка, солдатская вдова. «Возила, копала, пахала — да разве же все перечтешь. А в письмах на фронт уверяла, что будто б отлично живешь. Бойцы твои письма читали. И там, на переднем краю, они хорошо понимали святую неправду твою...» Повторяются встречи, повторяются признания все реже, но слышатся тихие голоса, в минуты раздумий высвечиваются прекрасные лица. Перелистываешь блокноты, страница за страницей напоминают давние встречи. Все отчетливо видится и слышится. Вот новая бревенчатая изба наполнена запахами свежего с поджаристыми корочками хлеба. Отдыхающего после жаркой печки под влажным рядном. На столе разложены фронтовые письма не пришедшего с войны.

— Знать бы, в какой земле захоронен, и то легче было в молитве, — еще раз повторила Зинаида Ивановна Зайцева. Лицо русской крестьянки: широко поставленные большие светло-карие глаза, высокий лоб, побитые сединой волосы собраны на затылке в «луковичку», щеки обветрены, иссечены мелкими морщинами, но сохраняют легкий румянец, чуть вздернутый нос придает лицу оттенок задора. После долгого молчания она продолжала: — Сон недавно приснился. Сидим будто бы с бабами на завалинке. Вроде ни забот, ни хлопот. Нарядные сидим, в сарафанах, кофтах и платках веселеньких. Видим, прямиком через поле целая процессия с цветами: начальство всякое, школьники, учителя. Батюшки светы! Да что же это за праздник такой? Вас, говорят, чествовать пришли. Внимание всякое оказывают. И говорят, значит: «Вы солдатки по званью. Жены солдатские. У вас тоже заслуги немалые».

Ой, да что я рассказываю. Во сне-то чего не увидишь. Размечтаешься в поисках радости, вот и приходит... Как стареть начала в долгом ожидании, часто своего вижу. Будто пришел, по ранению... Мечталось, чтобы поскорее пришел. На войну призвали, а дом недостроенный остался. Сначала жили у свекрови в обветшалой избенке. Дети пошли. Затеяли свою избу поставить. А тут Михаил-то в гущу общего дела увлекся — колхозы начали создавать. Вскорости его председателем избрали. В председателях ходил, а чинности на себя не напускал, не гнушался любой работы — и косить, и на жатву, и пахать, и срубы ставить мог примерно. Углядели в нем справного руководителя — в район отозвали под другие поручения. Переехали с тремя малыми детьми. Поработал, помотался по району, говорит: извините, я — крестьянский сын, надо к своему полю возвращаться. Вот, на возвратном пути обрели свои радости. Год от года, шаг за шагом к лучшему продвигалась жизнь. И дом свой под крышу подвели. Цветы на окнах, зеркало в среднем простенке, новые часы в

деревянном шкафчике, стол посередине залы, на большую семью. Жить бы да радоваться.

А немец наглый напал. Война загрохотала, защищаться надо. Мой высказал готовность, пошел. И сразу под Москву...И стала я по ночам, когда детки спали, письма писать, Старательно адрес выводила: «Полевая почта. Зайцеву Михаилу Арсентьевичу»...Полевая. Все как-то полегче — вроде в поле своему мужу письмо посылаешь. А навстречу — от него письма, не дожидаясь моих ответов, идут и идут с наставлениями по жизни. Так и слышится мне его утешительный голос: не волнуйтесь, скоро вернусь с Победой.

«Здравствуйте, дорогие мои жена Зина, дети Боря, Катя, Коля и мама Анна. Спешу сообщить, что жив и здоров. Прибыли на новое место, проехали благополучно, были только две бомбежки. Встаем на рубеж, готовимся к службе, чтобы честно выполнить свой гражданский долг — не допустить фашистскую гадину к нашей столице. Ну, как положение на фронте — услышите по радио или смотрите по газетам. Фашистские налеты на Москву наша зенитная артиллерия и авиация отбивают. Верьте: враг будет остановлен. Не теряйтесь, не беспокойтесь за меня. Зина, живи ровно, не расстраивайся и других добрым словом ободряй. Главное — береги детей. Не опускай голову, держись гордо и на людях и перед детьми печали не выказывай. Работайте дружно. Как дела в колхозе? Передавай всем по привету. А бригадиру Веселову надо сказать: пусть не зарывается, не дергает людей понапрасну, они и сами видят обстановку, нечего глотку драть, гором не возьмешь — подход нужен...»

Каждое письмо с признаниями и советами. «Очень жалею малых ребятишек, они, наверно по утрам спрашивают, где папа. Трудно вам без меня. Но, Зина, детей по пустякам не наказывай, не срывай обиду на них, а лучше, если и натворят чего, уговаривай ласковыми словами, объясняй, особенно Боре, он с характером, пусть помогает тебе на колхозной ферме, в поле и по дому. Зина, ты знаешь, что зимой в новом будет холодно. Нужно сложить еще маленькую печку в комнате, уплотнить и обмазать рамы...Зина, получаешь ли мои письма, я пишу через день, а есть возможность, то и два раза в день. Сообщаю, что меня перевели на новое место. Стоим рядом с деревней. Место очень красивое, уютное для жизни. В поле жито неубранное. Глядишь — будто и нет войны. Думаешь, чего-то хозяева запоздали с уборкой, вот-вот полетят белые мухи...»

Накануне праздника. «Дорогая моя семья, вот приходит наш главный праздник. В трудных условиях будем отмечать

его. Ребята в нашей роте это понимают. Избрали меня партор—гом. Надо твердо и решительно вести себя, быть примером—...Посылаю три фотокарточки. Со мной рядом товарищ, который работает писарем. Тут и такие должности есть. Это он рас—писался. Малов...Зина, видишь, мы одеты хорошо и выглядим так же. Посылку не посылай, не успеет».

1942 года января 3—го дня.

«...И на фронте мы отметили Новый год по—особому. Конечно. Ставила ли, Зина, елочку для детей? Им нужна ра—дость. Ох, как я по ним скучаю! Часто вижу во сне, будто я пашу свое поле на увале, а они бегут босые по теплой пашне ко мне, в мареве будто летят и никак долететь не могут — сон всегда на этом и обрывается. А вот ты, милая, всегда за реч—кой будто стоишь и улыбаешься и шутливо упрекаешь, что не нравлюсь я тебе такой с автоматом на плече, боишься ты автоматчиков».

Зинаида Ивановна отодвигается от стола, тяжело встает со стула и медленно идет к передней стене, на которой, в застекленных рамках, семейные фотографии. Протирает глаза уголочком головного коленкорового платка.

— Ротой командовал, командир роты автоматчиков. При—выкла теперь к таким страшным словам... Ездила в Москву на сельскохозяйственную выставку, как хорошая доярка, вместе с другими ударниками. Когда поезд к столице приближался, все в окно глядела. Все о нем думала: где—то на берегу реки стоял он с автоматом. Сказывают по радио, на лыжах под Новгород ночью пошли. Ушли...И никакой весточки. Зап—росы писали...И в большой газете наше письмо печатали: может быть, кто—нибудь что—нибудь знает. Люди отзывались, как же. Один, Павлом звать, из Вологодской области, вроде как ви—дывал нашего—то, может, однофамильца. А другой так два письма прислал, о детях беспокоился, помощь предлагал, даже одежонку мальчишкам прислал великоватую. А они подросли — пригодились брючки и пиджаки... Выучились...Скромные работные. Катя педучилище закончила, потом — институт. При деле все трое, дети у меня порядочные. В трудностях росли без отца. Что и говорить, отец — и кормилец, и заступа, и наставник, и пример. Безотцовщина чем красна?

Много таких встреч было у меня в деревнях вдали от проезжих дорог. Сколько совестливой искренности в воспо—минаниях женщин. Сколько наивной надежды теплится во взгляде, когда они смотрят из окна на дорогу: все еще ждут пропавших без вести, даже погибших ждут, не веря казенным похоронкам. Но не жалуются, не просят каких—то привилегий, почести особые им вроде бы ни к чему. Только бы выслушали,

посочувствовали. Не раз писал я о том, что и в глубоком тылу был фронт, труженицы тыла заработали право на внимание и хоть какие — нибудь льготы...

В небольшой деревне Ивановское возле крайнего дома на низкой широкой скамейке сидела Мария Григорьевна Со — зинова — к ней иду еще раз. Столько лет прошло, а вот узнала меня и порадовалась, что все — таки сдержал обеща — ние, заехал проведать, не проскочил мимо по новой асфаль — тированной дороге.

— Одна живу в ожиданиях. Судьба, видать...Все мы, сол — датки, одинаково лучшие годы прожили: в заботах да в труде, — рассказывала она. — Смолоду так. В семье родительской шесть ртов безотцовщины было. Отец две войны оттрубил, а до деревни не доехал, сил не хватило. Не суждено ему было свою землю пахать. Дочерям эта доля досталась. В нелегком труде возрастали.

Помню, рано просватали меня. Матери зять понравился — работник, с таким не пропадешь. Ладно, стерпится — слю — бится. Надо хозяйство вить. Люди — в колхоз потянулись, в первую очередь самые бедные. А он, Павел — то мой Кузьмич, гляжу, на сторону метит, на производство его тянет. То в лес пойдет, то в Нею на заработки, с дружками — приятелями бри — гадой то туда, то сюда, а меня у свекрови на хуторе держит, от людей на отшибе. Не вытерпела, сколотила деньжонки и взду — мала дом покупать при дороге, вот этот значит. А на совет и с ревизией к нему все — таки поехала. Деток (тогда уже двое было) у матери оставила. Приезжаю, а ему уже все известно, председатель Андрей Павлович Смирнов сообщил, мол, так и так! Пояснил доходчиво: приезжай в колхоз, жене дом помоги купить. Будешь жить в своем доме при дороге и плотничать в колхозе. «Какое право ты имела без мужа дом у колхоза покупать?» — спрашивает.

«Жить бобылкой на хуторе надоело, — резко так говорю и ему же вопрос: — Ты поедешь в колхоз — то аль нет?» «По — думаю»,— отвечает. Подумал, может, месяца два думал. При — ехал да и остался насовсем. Сначала в кузницу пошел, опосля плотничал, склады строили, затем на дорогу призвали — тогда возле нас каменку выкладывали. Ну, значит, в ожидании но — вой надежной дороги и зажили было по — хорошему.

Да вот... война. «Кабы знать, что так повернется, иначе бы жить надо, семьей, из одного котла, спорее получалось бы, — так повинился мой на прощание. — Теперь, говорит, Ма — рьюшка, нигде мне без вас покоя не будет». Ушел Павел Кузьмич, оставил да и навсегда. Смертью храбрых в не — равном бою...

Мария Григорьевна проводила взглядом бегущий над дорогой машинный свет и продолжала:

— В деревне ведь как? За что ни возьмись — мужицкие руки нужны, а мужики все на фронте. Не покличешь полосу вспахать, дров наколоть, мешки да бревна ворочать, топоры да пилы точить, быков бороздой править. А тут еще председатель бригаду взвалил, воюй с бабами за хлеб. Так и сказал: «Вое—вать будем. Фронт — он везде теперь». Приняла бабскую артель. С рассветом дом свой на замок (в избе четверых оставляла, самому старшему — восемь). Бегу по деревням на работу людей закликать при любой погоде. И на пахоту, и в лес, и с хлебным обозом на станцию. Горе за горем, беда за бедой, а работы не убывает. Где раньше семеро стояло, теперь две да три бабенки Привыкли, обвыклись в работе и в ремесле, оно всякое давалось: валенки подшивать, хомуты шорничать, сапоги тачать, топоры насаживать, колеса тележные шино—вать. Косы клеплем—отбиваем, тес пилим, щепу строгаем. В оглоблях тоже хаживали. И по дереву и по железу — мас—тера. В кузнице сама сколько раз молотом весеннюю радость выстукивала, как время придет плуги, бороны готовить. А горе да беда так на плечах и висит. Бывало, туда придешь — ба—бенка горемычная по полу пластается—катается в отчаянье. Сюда прибежишь — малышня от голода ревмя ревет. Одна молодуха и вовсе жизнь свою покончить хотела: печную трубу закрыла рань—прерань — для угару и легла. Вбегаю — сине от угарного дыма. Встряхнула бедолагу хорошенько да на улицу выволокла откачивать. А сама уж не помню что и как, в небо гляжу с мольбой да шумлю на всю деревню: «Глядите, синева какая! Растолкаем тучи мрачные навсегда». Откачали ведь бедолагу, молоком парным отпоили. Опомнилась — ви—нится: «Дура я полоумная. Да разве не переживем горе—то, сообща переживем».

Оклемались, притерпелись. Идет моя бабская артель в любое дело стеной. На Победу день и ночь работали да еще с песнями. И настал светлый победный день! Пахали как раз. На быках, на коровах да и сами в оглоблях. Вот, значит, поле допахиваем уклонное, возле речки там. Слышу — звон и крик. Обернулась — убегают мои работницы в деревню. Что это, думаю, не пожар ли? Гляжу, над деревней — флаг! Слы—шу: «Ура!!! — кричат. — По—бе—да—ааа!!!»

Думала, последнее горькое поле допахали в тот ликую—щий день. Последнее бабское поле. Да мужиков—то вер—нулось мало, который кое—как до дому на костылях доковылял. Опять все на наши плечи: калек выхаживать, работать от зари до зари, распоряжайся, отчитывайся, налоги

плати, займы, самообложения. И всем командуй, и все обеспечь по планам да в сроки. Двадцать пять годков бригадирила да два года — в председателях. Могла, умела, никакой ноши не страшилась. Теперь вот все, замена нужна. Старики доживают свое. Совсем захирела деревня без молодой подкрепы. Думала, мы старухи сведем на нет Ивановское. Дорогу — то асфальтовую провели — встрепенулось маленько да на короткий срок. Сначала даже новые дома появились. Кошару для овец построили. Работники, хозяева земле нужны. А хозяев сызнова начали притеснять да обманывать — разладилось житье опять...

Ранним безветренным утром Мария Григорьевна провожала меня к проходящему автобусу. Еще не проснулись, кажется, деревья, ни один листочек не колыхался. Роса дымилась на траве. Издали нарастал гул машин. Вскоре этот гул перекатывался то в одну, то в другую сторону — проносились грузовики с гравием, цементом. кирпичом.

— Так и снуют, так и снуют целыми днями. Но и бездельников немало катается. Начни легковушки считать — в глазах замелькает. Поглядишь, один катит, горючее жгет. По пустякам, небось, ездят, для бахвальства. Чудно, на одного — машина. А мы на всю деревню лошадку сберечь не смогли. Теперь локти кусаем. Помнишь. Как я тебя в соседнюю бригаду на лошадке в тарантасе откатила? Понравилось больше, чем на машине. — Мария Григорьевна поудобнее уселась на скамейке, сложила руки на коленях и совсем о другом заговорила. — Поедешь через Середнюю, не забудь на левую сторону взглянуть, там белые — то наличники приметные — от вашего дома взяты. Большой дом стоял, бывала я у вас, ты вот такусенький без штанов бегал, — она опустила руку на уровень моего давнего роста. — Забавный был, любопытный, разговорчивый, чего ни спроси — на все ответ давал. Теперь изменился с лица — то, не такой курносый, теперь больше на матерь Настасью похож. — И вздрогнул у нее голос, глаза притуманились собственной печалью. — Спасибо, навестил. Будто с сыном поговорила, со старшим...

Она замолчала, склонив голову, — словно былинку сорванную разглядывает, а мне кажется, что это моя родная мама сидит рядом. Такой же платок на плечах. Седые поредевшие волосы закручены на затылке в маленькую луковичку, прижаты гребеночкой с золотистой полосой. Вот поднялась, пошла по скрипучим половицам... вижу ее при слабом свете керосинки возле стены, на которой в рамках много фотографий — семья у нас большая была, родственников много и фотографий накопилось.

«Господи, где мой сыночек? — слышится мамин тихий молитвенный голос. — Отписали: без вести пропал...»

— В первую военную зиму, в самую метель в селе мы с ней встретились, с покойной Анастасией Ивановной, царство ей небесное. Ударницами нас тогда собрание величало: больше всех гектаров травы косами вымахали да снопов навязали. За то нам обоим ситчику на кофты преподнесли. На радостях мы даже частушки веселые пели, а потом песню про си-ненький скромный платочек, — печально нараспев сказала Мария Григорьевна. — Падал, значит, опущенный с плеч. И другую про непогоду. — Срывающимся непослушным го-лосом она попыталась вытянуть: «Зашумела, разгулялась в поле непогода; принакрылась белым снегом гладкая дорога. Бе-лым снегом принакрылась, не осталось следу».

После этой песни долго молчим в утренней тишине. Бе-лесый туман сползает с дороги. Пташки начали окликать друг друга, тоскливо прокричал чибис.

— Возле нашей деревни тоже чибисы кричали, — говорю.

— Так они везде слышатся, когда горюет памятливая душа, — отозвалась Мария Григорьевна. — Много нас го-ремык на земле. Куда ни пойди, не миновать вдовьих домов, которые уже без труб. Ни дорог, ни приметных тропинок. Зарастают они. Заметает... Белым снегом, белым снегом. Все реже поминают вдов да солдаток. Которые чины скажут иногда, мол, званье есть особенное — солдатка. Юбилейной победной весной пошумели, пообещали женам погибших фронтовиков запоздалые льготы разные, как ветеранам войны. Зачем теперь? Молодость не вернешь, другое детство детям не подаришь. Внуки в своей жизни про нашу не забыли бы... Помнить будут — и хорошо.

«Ой, какие светлые дали...»

Юный рыбак фантазерски путешествовал в морях — оке-анах. Он рисовал на песке карту той страны, где идут бои, понимая, что не в силах преодолеть расстояние от Буя до Мад-рида. Промелькнут три года и уже в институте вспомнится: «А у речки Вексы, может быть, тот костер, что мной оставлен, не успел еще остыть». В Москве и Ленинграде бывал, а вот в Костроме, что с Буем почти рядом, не был. В школьные годы собирался плыть по притоку до Волги. И все-таки заветная мечта осуществилась...

Студенты ехали из Ярославля на практику по геологии. Пароход с названием «Рабочий» доставил их к месту назначения на восходе — «солнце вставало где-то за городом». Буевлянин Юрий Баранов записал в дневнике: «И над домами поднимался дым, было прохладно, стукали колеса машины, мерно плескалась вода. На солнце светились главы костромских церквей. Вот я увидел устье нашей любимой Костромки, Ипатьевский монастырь, потянулись белые дома Костромы, полого сбегающие к реке. Город мне показался каким-то близким, почти знакомым. Здесь жила и училась Лора».

Девушка из Буя — «самая обыкновенная девочка,.. Но весьма неглупая» — вошла в его дневники, письма, стихи. Валерия Лебедева вошла в его жизнь и стала любимой. Он с этой любовью учился, работал на литейном заводе, воевал под Калинином и Тулой, командовал взводом в бою под Новгородом... В ноябре сорок первого молодой лейтенант писал милой Лоруньке о ночных тревогах, о строгих порядках в новой роте, о том, что получил от родных посылку: носки, рукавички, рубашку и маленький мешочек сухарей — радостная была посылка. Признавался: «Часто гляжу на твою фотографию...»

Было много писем одноклассникам и одноклассницам, друзьям, остались дневниковые записи с 1936 по 1942 год. В заветных тетрадях записаны стихи, поэмы, отрывки прозы, размышления о времени и о себе. Через много лет они вошли в книгу, продвигаемую к изданию тернистыми путями. Дыхание напряженной юной жизни чувствительно трогает читающего сборник «Голубой разлив» (издан в 1988 году). Помнится наша общая радость, вызванная таким редким изданием. Кроме всего самого важного, эта книга свидетельствует о нашем сочувствии, о нашей печали и боли утрат.

Герой этой книги был мало кому известен, имя его появлялось на страницах ярославских предвоенных газет. Участник войны писатель Евгений Старшинов близко к сердцу принял судьбу талантливого мальчика. Перед войной — так случилось по каким-то высшим закономерностям — в литературном альманахе напечатали рядом стихи двух поэтов Ю.Баранова и Е.Старшинова. Оба ушли на фронт. После дня Победы автор многих книг и романа «Левый фланг» считал своим долгом вернуть землякам достоинство не пришедшего с войны, чтобы искреннее слово его помогало оценивать происходящее, остро чувствовать историческую правду. Сегодня, завтра, всегда.

Известный критик Игорь Дедков в предисловии к подготовленному изданию материалов обращал внимание читателей на, здравый, непричастный к политической казуистике ум

провинциального мальчишки, точно фиксирующий нелепость больших и малых событий сталинской эпохи. «Эта книга до-казывает: наш был мальчик и даже больше наш, чем, скажем, те, кто допрашивал и убил его отца или отца его школьного друга... Если, разумеется, под нашим понимать не личную рабскую преданность вождю, а верность революции, ее не-замутненному октябрьскому свету, ее нравственным идеалам. Понимаю, что мальчик посредством таких именно слов не думал, — написал критик. — Понимаю, что эта книга ничего нико-му доказывать не должна. Она должна явить образ мальчика, потом юноши, и ничего более».

Обыкновенный мальчик, потом юноша не имел никаких иллюзий по поводу собственного будущего, он чувствовал: война близка. Он догадывался, что победа достанется большой кро-вью. Он жил в серьезной увлеченности не только своим ин-тересом, знал общее — самое важное. Удивляет его собранность, устремленность, желание жить серьезно и правильно. Про-явлена энергия роста, способная преодолевать хмурое, суровое, страшное. Вновь смотрим на эту судьбу, на эту юность, не отторгнутую от нас ни расстоянием, ни временем .

Школьная жизнь не заслонила огромного мира. На бе-регу Костромки Юра устраивал с мальчишками фантасти-ческие путешествия, живописуя подвиги своих героев. Фантазия его не знала границ: работал над поэмой о кон-голезце, воображал себя сподвижником отважного Кука, под влиянием событий в Испании «проигрывал» поэму «Месть Хасимо», пересказывал накануне написанное о героических полетах советских летчиков, о поджоге рейхстага. Но не признавался и самым близким друзьям в том, что записал в дневнике: «Папу арестовали по обвинению в самом страш-ном — во вредительстве».

В октябре четыре дня шло судебное разбирательство по законам 1937 года. Отца приговорили к расстрелу. «Мама уехала в Москву, подала телеграфное ходатайство во ВЦИК и Верховный суд. Дело может поправить только постановление правительства об увеличении возможного срока заключения для вредителей до 25 лет, — Юра записал на пятнадцатом году жизни.—Как тяжело это писать. Постараюсь забыть хотя бы на время». Он прервал дневниковые записи, но забыть об этом не мог. Не скоро появилась новая запись: много собы-тий произошло, самое главное то, что лишился своего друга. «Утром приехал грузовик, и всю их семью выслали неизве-стно куда».

В такие годы формировалось мировоззрение ученика средней школы. Подозрительность окружающих была

чувствительна, но не перечеркивала юношеских устремле-ний. Футбол, шахматы, литература, рыбалка. Мечтания. Друж-ба. Интерес к мировым политическим событиям. Перепись малограмотного населения, гулянья «с девочками на улице». Фантазерские игры. И вдруг опять запись: «Недавно от папы пришло письмо. ВЦИК заменил расстрел 25-ю годами ли-шения свободы. (Как это хорошо!)». А чуть ниже — другая печаль: «Отца В.Ш. уже расстреляли. Жаль В.Ш.». Изредка появлялись и другие заметки. «Вчерашний вечер был вече-ром воспоминаний. Написал много стихов...»

Когда готовилась книга-возвращение, Нина Николаевна Корнева (Григорьева) сообщала по просьбе Евгения Стар-шинова, бережно и с любовью собиравшего эпистолярные материалы: «1939 г. Обычный учебный год. Зимой после уроков или в выходной — катание на лыжах. Юра все свое свобод-ное время отдавал шахматам, много читал. Он уже не при-нимал участия в ребячьих забавах и проделках... На экзамены за десятый класс часто ходили втроем — Юра, Вера Веснов-ская и я, мы были в одной подгруппе. После выпускного ве-чера разошлись около 6 часов утра. Днем ходили за документами в школу, и очень не хотелось расставаться».

После десятилетки Юра поступал в МИФЛИ, а потом был доволен, что не попал в этот «гордый» институт. Его устраи-вала учеба в Ярославском педагогическом на географическом факультете. Любимые предметы: география, минералогия, гео-логия. Интерес к судьбам исследователей, встречи с поляр-никами. Литературные вечера Суркова, Санникова, концерты Утесова, поэзия Маяковского, Ахматовой и первый собствен-ный литературный вечер в школе, участие в областном со-брании писателей. Пархоменко — доцент литфака анализировал стихи студента Баранова.

31 декабря тридцать девятого года познакомился с Мар-ком Лисянским в редакции ярославской газеты «Северный рабочий». Лисянский подарил книгу «Наши люди». А ру-копись посмотрел — «и разнес до буковки». «Я прочитал «Прощание со школой», — это ему понравилось». Приняли в литобъединение. На первой встрече он читал: «В семье ры-баков у речных сторожек я лучших друзей нашел».

Юра начинал студенческую жизнь как поэт и романтик. Преподаватель считал его заправским геологом и был уве-рен, что Баранов будет специализироваться по этой науке. Записано в дневнике: «Я не прочь бы быть геологом, но...летом будет война». Есть и такая запись: «Стипендия кончилась. Занял пятерку у редактора стенгазеты. Осталось на завтра 2 рубля. В комнате очень холодно. Ночью страшно озябли ноги

— одеяло у меня хреновое. Не знаю, что будет дальше. Осень, 1940 г.». Общался с литфаковцами, они удивлялись, почему он на другом факультете. Намечался его творческий отчет на областном съезде писателей, поэтому решил переписать рас — сказ «Быстряк». Появляются публикации: в «Сталинской смене», «Северном рабочем», в альманахе.

Трудная, интересная жизнь. Но снились военные сны. Он умел соединять анализ исторических событий с пред — чувствиями. Наверно, сказывались поездки по стране, в Фин — ляндию, влияли исторические романы и кинофильмы «Чапаев», «Суворов». В январе сорок первого приснился «пророчес — кий» сон. В мае сорок первого появилась запись: «Начало большой войны, в которой придется мне участвовать и в ко — торой я погибну. Так должно быть». 20 июня готовился к экзамену по геологии. «Сдаем 23 — го. Повторил весь па — леозой и прочитал вступительную часть». Стихи тоже ока — зались пророческими:

Сколько нас погибнет в сраженье!..
А годов через сорок пять
Наше светлое поколенье
Будут с гордостью вспоминать.
Но, — прекрасно все понимая,
Но, — готовый идти на рать,
В этот солнечный вечер мая
Я совсем не хочу умирать.
Вот поэтому я печален,
Вот поэтому я молчалив.
.....
Ой, какие светлые дали,
Ой, какой голубой разлив!

Начинался интересный поэт, начинался и лирический прозаик — это чувствуется в рассказах и письмах, в привле — кательном облике. Сосредоточенный юноша смотрит с во — енной фотографии. Серьезное и твердое лицо. В этом лице, по замечанию известного критика, спрятано горе, но есть и ясное предчувствие будущего, и все — таки надежда на жизнь. Это лицо собранного, целеустремленного человека. Старший в разрушенной семье, и ему не на кого было рассчитывать. «Он жил серьезно и правильно, он хотел и дальше жить серьезно и правильно, а это в иные времена — героическое стремление».

...Открытка, извещающая о том, что он стал лейтенантом, — последняя весточка Юрия Федоровича Баранова, ушед — шего после училища на фронт. В день гибели был в разведке под Новгородом. Талантливый мальчик, шагнувший в Вели — кую Отечественную. Поэт и солдат. Знаем и помним его, чувствуем характер, предполагаем творческую судьбу. Если бы... И заносим на счет добрых дел областной писательской организации память о тех, кто не вернулся, но до сих пор в наших рядах и действует в необходимом нравственном на — правлении. Они не пришли... Горькие строки Бориса Слуц — кого еще не раз повторим: «Писатели вышли в писатели, а ты никуда не вышел... ты просто пророс травою». Не только памяти Михаила Кульчицкого посвящены эти строки.

Вчитываемся в книгу Юрия Баранова «Голубой разлив», изданную старанием фронтовика Евгения Старшинова. И думаем о не пришедших с войны: давно «проросли травою». Может быть, при них наша жизнь сложились бы иначе. Но мы все — таки живы. И не ропщем на свою судьбу, скорбно помним тех, кто не придет никогда. Составляя антологию ко — стромской поэзии, в число памятно драгоценных свидетельств времени я включил стихи Юрия Баранова. Он, романтичес — кий поэт, возвратился в Кострому с песней о светлых далях...

«Живите лучше нас...»

На окраинной улице пригородного поселка дошколята собирают желтенькие цветы. Павел Константинович любу — ется на малышей, играющих дружным детсадовским вывод — ком под ласковым солнцем, и представляет своих детей на поляне неподалеку от Дубровинской школы. Не пришлось отцу видеть своих детей в раннюю пору — вернулся после войны только в 1948 году. Работал директором восьмилетки, стремился, как мог, скрасить сиротство и безотцовщину де — ревенской детворы. Даже коллеги иногда упрекали за чрез — мерную мягкость к дерзким баловникам, но дети вознаграждали отзывчивостью. А через годы, взрослея, при — сылали благодарные письма.

Сейчас, глядя на детсадовскую малышню, вдруг подумал, что тут могли быть внуки не пришедших с войны. Молодые однополчане вспоминаются часто. И сегодня, проснувшись чуть свет, перед встречей в сельском училище механизации, думал кого назвать в первую очередь из тех, с кем начинал армейскую службу. В конце сентября сорок первого после

подготовки в стрелковом полку помощник командира взвода Павел Звездкин на Карельском фронте принял боевое крещение. А тридцать первого октября в ночном бою возле реки ранило в обе ноги...

Чем дальше уходит война, тем острее желание рассказать о пережитом — Павел Константинович чувствовал себя обязанным: не все еще знают люди о том, как это было. Горька и слишком тяжела правда войны, порой непосильна для понимания теми, кто не прошел суровых испытаний. И хочется иногда о чем-либо умолчать, не для того, чтобы навсегда уклониться от полной правды, а чтобы не бередить раны, не терзать сердца солдатских вдов и матерей.

Ой, сколько видано-перевидано на Карельском, Волховском, Западном, Брянском, Белорусском фронтах. Начинал войну сержантом, начинал в разведке. А потом — семимесячные курсы в первом Ленинградском артиллерийском училище. Учился и радовался: юношеская мечта сбылась. Мечта сельского парня, познавшего радость земледельческого труда, и самому теперь кажется странной, но ведь было именно так — передалось от предков. Весной бы к севу надо готовиться вместе с отцом, а вышла необходимость снарядами бороздить землю. От апреля до одиннадцатого июля сорок третьего года полк выполнял функции истребительного противотанкового, занимал оборону на различных участках Западного фронта в районе Курской дуги.

Воины 1314-го легкого артиллерийского полка за два месяца с двенадцатого июля прошли с боями около 400 километров. Уничтожили и подавили восемнадцать артиллерийских, двадцать две минометных батареи, десяток противотанковых орудий, сорок пять пулеметных точек, семь наблюдательных пунктов противника. Полк вел тяжелые бои за город Карачев и село Речица на Брянщине.

— В этих боях отличилась наша вторая батарея, — рассказывал мне Павел Константинович. — Отличилась, легко сказать...Ранило капитана Паньшина, командование принял лейтенант Алексеев. Рядом была батарея под командованием старшего лейтенанта Верещаги. Мне и в этих боях пришлось организовывать разведку целей, держать связь батареи с огневой позицией и с командиром дивизиона...Там во время Курской битвы был принят кандидатом в партию...Через тридцать лет в августе побывал на встрече ветеранов в городе Карачеве. Бывший командир полка Гисматулин привел нас на место наблюдательных пунктов, откуда направлялся огонь наших батарей. Вспоминали, повторяли имена погибших. Приклонился к брянской земле и не сдержал слез...

Вспоминали павших в бою за Речицу. И в этом селе в день тридцатилетия освобождения района был открыт па— мятник. Со всей округи, несмотря на ненастье, пришли стар и млад, чтобы поклониться героям. Велики были потери в ов— рагах района Ружное — Речицы. Павел Константинович по— мнит многих однополчан. Но особенно ноет сердце, когда вспоминается девятнадцатилетний сержант разведки Вла— димир Белов. Брат его Константин Евгеньевич, проживаю— щий в деревне Долгово Ивановской области, отвечая на просьбу прислать фотографию для общего альбома, написал: «У Вла— димира не было фотокарточки. Не успел сняться перед от— правкой на фронт».

— Трудолюбивый, смелый и находчивый был парень, — печально говорил Павел Константинович. — Молодой, а хват— кий, дотошный, с крестьянской жилкой. Я не раз принимал его подсказки, догадки, советы и предложения в разведке. Ог— лядится на местности, скажет, где и как лучше пройти, чтобы незаметнее для противника. Он дорогу выберет и пойдем. Вот я и написал благодарственное письмо родителям: спа— сибо, такого парня воспитали. Отец отозвался, сообщил, что на колхозном собрании читали это письмо.

Павел Константинович жалеет погибших: кто геройски, а кто по какой — то случайности, по своей неосмотрительно— сти, многие полегли из — за просчетов командования — вся— кое бывало. Столько доверчивых, патриотических парней Отечество призвало от родных полей на поле брани. Если бы не война, остались дома ребята, пахали землю, сеяли хлеб, растили детей. Очень хочется, чтобы повсюду, откуда они родом, долго помнили этих ребят, ушедших воевать прямо со школьной скамьи. Потому и начал ветеран писать воспо— минания.

Отвечал на письма — просьбы через двадцать пять лет. Пионерам Клинской восьмилетней школы рассказал о жен— щинах, которых спасал сам, вывел на свет и накормил. Лишь через восемь лет из школы сообщили: две женщины из тех нашлись. Одна — Дмитриенко прислала Павлу Константи— новичу в письме фотографию свою и сына, которого тогда, в день освобождения, она держала на руках. Теперь он сам стал отцом, живет в Краснодарском крае.

По каждому году войны отчетлива память. В сорок чет— вертом, завершив освобождение Родины, наши войска всту— пили в пределы Польши. Так рассказывал ветеран: « Тяжелые были бои для нашего полка. Недаром в книге «Студзянки» полковник Войска Польского Януш Пшишановски дважды упомянул наш полк с благодарностью за поддержку первой

Польской армии. А в новом январе полк перешел границу Германии, форсировал Днепр».

Но и после Победы суждено было задержаться в Европе. Офицер Звездкин три года работал учителем в советской школе на территории Германии. Когда вернулся на родину, учительствовал и учился: в пятидесятом году окончил заочно Костромской учительский институт, а в 1956 — Московский заочный педагогический. Работал учителем биологии, директором в нескольких школах, инспектором районо, а потом заведовал Мантуровским отделом народного образования и опять учительствовал, возглавлял педагогический коллектив. Как сам определил, всю жизнь заботился о подрастающем поколении. Землю пахать умел, все деревенские работы знал, воевать пришлось — быстро научился.

Лучше бы не знать этой науки детям, но видно придется. Теперь о внуках — забота. Иногда приезжают погостить, радуют, конечно. Жена вера Алексеевна всю жизнь учительствовала в начальных классах, от нее к дочерям передалось: Альбина преподает английский, Татьяна — литературу. По направленности образования складывается семейный микроклимат.

— На судьбу свою, мы, старики, не в обиде. Дети живут хорошо. Да и нам, ветеранам, не на что особо жаловаться. К фронтовым наградам прикладывается благодарность многих людей. Не забывают, дома в одиночестве не засидишься. Вот за других печально, растерялись люди в новых условиях. Есть и фронтовики забытые, и солдатские вдовы, оскорбленные невнимание. Не умолчать об этом, не простить равнодушие чванливое новых начальников.

Сам он своими наградами не козыряет, хотя иногда можно бы: достойные ордена, многие медали, среди которых — «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», сохранны одиннадцать благодарностей от Верховного Главнокомандующего. Награды и благодарности — не только свидетельства боевой доблести, но и вехи памяти. Все складывается в единство, определяет достоинства личности, теперь они в званиях — ветеран войны, ветеран педагогического труда, активист—общественник с высоким авторитетом, пропагандист с отчетливой патриотической позицией, уверенный в том, что наши люди отзывчивы на искреннее слово, на правду. Через приметы и вехи своей судьбы он дает новые факты для осмысления великого подвига, для понимания истоков советского патриотизма. Факты из его фронтовой биографии, закрепленные в воспоминаниях, несут нравственный потенциал. В них отражен поход одного солдата по дорогам

войны, сквозь смрад и пекло, через потери, страдания, с не-угасающей верой в возрождение мирной жизни. Неизбывным патриотизмом привлекает этот путь к Победе. Как же внимательны должны быть люди к свидетельствам ветеранов, как толково и бережно надо ценить и беречь все, что написано фронтовиками, хранится в семейных архивах. Не каждый человек берется записывать пережитое, но тот, кто взялся, по словам Константина Симонова, обычно пишет потому, что он любил и ценил тех, о ком необходимо написать, чтобы закрепить память об ушедших добрыми словами. Воспоминания эти учат человеколюбию, дают нравственные ориентиры, они оживляют поименные списки, внесенные в «Книги памяти», помогают отыскать однополчан.

В день тридцатилетия Победы, встретившись в Москве, воины 1314-го легкого артиллерийского ордена Александра Невского полка получили именной список разысканных ветеранов. На экземпляре у П. К.Звездкина написано: «Береги как зеницу ока». Как зеницу ока хранить память о тех, кто в жестоких боях отстоял Отечество и честь советского воина, кто прошел через все испытания, не утратив чувство ответственности за все, что происходит в стране.

Павел Константинович прислал мне письмо с размышлениями о жизни, позволив его напечатать в писательском ежемесячнике «Литературная Кострома». Ветеран войны, педагог не мог отмолчаться в период реформенного шума, задавал себе и другим вопросы: понимаем ли мы теперь, что происходит с нами, какие ценности утрачиваем, какой опыт зарастает бурьяном? На личную жизнь не жаловался. «А вот происходящее в государстве печалит. Кощунственны нападки на Вооруженные силы. Нет ничего святого. Самоотверженный труд и боевые подвиги осмеянию подвергаются, ветеранов войны перестали приглашать в школы, пионерия и комсомол оказались не нужны. Везде заметно наплевательское отношение к работному человеку, не в чести земледельцы, «деревенщина» под осмеянием, деревню охаяли, измотали. А надо бы для пользы всего государства деревенскую жизнь подкрепить».

В его заметках — не утраченное в долгие годы испытаний почтение к деревенскому быту, к семейному ладу. «Не грешно вспомнить то хорошее, что было в прежней жизни, — писал Павел Константинович. — А сейчас о том вроде и говорить нельзя — сразу крикуны рот затыкают: «Не хватитесь, старики!» Вот он и обращался к тем, кто умеет слушать, рассказывал какой был порядок в семье. Мать и отец неназойливо воспитывали в детях скромность, честность, доброту,

трудолюбие. Когда жили единолично, в хозяйстве были две коровы и хорошая лошадь. На приусадебном участке выращивали все необходимое. Отец выписывал журнал «Сам себе агроном».

Земля была в чести и заботе. Перемеры участков по едокам проводились каждый год. Иногда достанется полоса не лучшая — заросшая кустарником. Отец ведет семейство на работу: очищать площадь, выкорчевать пни, выжигать мусор. А потом — сеять рожь, ячмень, горох. Такой вырастет урожай, что все завидуют. Однажды рожь выросла густая, встала стеной, но завистники сожгли. Так бывает: ладится, выстраивается жизнь — надо палки в колеса вставлять.

Завидовали многие Звездкиным. Отец не пил, не курил. Дети с ним и в работу, и на рыбалку, и на охоту. Бывало, на зиму заключат договор с леспромхозом и вчетвером — отец, две дочки и сын — ходят на заготовку древесины. Не лежали на печи, не считали кирпичи с вечера до утра и с утра до ночи. Пойдут в лес и ружье при себе на всякий случай. Между делом, смотришь, пушнинки накопится. А ее, пушнину, — сахаром отоваривали. Все к делу и к месту получалось, когда по уму да при каждодневном труде. Много было доброго, но слушать об этом теперь не хотят. Молодым неведомо и не надо, не сочтут примеры такие за науку. А оттуда, от семейного лада, от труда согласованного растет человек, способный ценить родное, знающий ЧТО от врага защищать.

Много светлых дней было. О том и вспоминали в год трех юбилеев, когда отмечали семидесятилетие жены Веры, семьдесят пять лет Павла Константиновича и пятидесятилетие супружеской жизни. Годы — то как летят. Хорошо прожили, всего повидать пришлось. Всю войну был на фронтах, дважды ранен, а вернулся к мирному воспитательному труду — много лет учительствовал, успел порадоваться за своих и за чужих детей. Вот уже и внучка окончила медицинский институт, внук — пединститут, вторая внучка в науку пошла. И правнучка толковая растет. Получилась жизнь: с любовью работали, с достоинством прошли испытания. Если ничего не вспоминать, вся жизнь в одном коротком абзаце укладывается. Пусть и другие люди пишут о пережитом, о своих лучших днях рассказывают, может быть, кому — то и помогут такие воспоминания укрепиться характером. Обращаясь к молодым, Павел Константинович высказывал пожелание: «Живите лучше нас, служите Отечеству, берегите честь смолоду...»

Палитра генерала

Впервые узнал Николая Михайловича Буланова четверть века назад, когда он держал творческий отчет перед земля—ками в Шарье. Интеллигенция проявила особый интерес к его живописи и графике. В редакции районной газеты жизнера—достный и щедро открытый генерал охотно отвечал на воп—росы, вспоминал молодость, военные трагедии, рассказывал о родителях и пояснил: «Если есть у меня добрая веселость, об—щительность, если чувствую в себе любовь к жизни и тру—долюбие — значит, это во мне по наследству и потому благодарю отца Михаила Сергеевича, мать Лидию Андреевну».

Второй раз мы встретились летом 1989 года в день праз-днования городского юбилея на правах приглашенных гостей. В праздничной толчее, хотя и с перерывами, последовательно разговаривали о жизни. Пришлось и мне отвечать на его любезное внимание — Николай Михайлович не по праву старшинства, а по глубокой заинтересованности хотел знать, как и чем живут люди в деревенской стороне, на каких впе-чатлениях выстраивался только что опубликованный мой ро-ман, что волнует костромских писателей и художников, в каких условиях они работают. И сам он много рассказывал не «по-генеральски», не по-военному сухо. Интеллигентность, рабочая основательность, крестьянская сметка и особая муд-рость бывалого человека выразительно сочетались, опреде-ляя тематику и тональность нашей беседы, сглаживая разницу в возрасте и опыте жизни. В подтверждение заинтересо-ванности он подарил каталог персональной выставки, ос-тавил адрес для переписки, пригласил к себе домой и в мастерскую.

А московская встреча в костромском землячестве под-крепила мой интерес к талантливому собеседнику, проне-сенный через время и расстояние. В этот раз я получил с автографом изданный на 1997 год в Киеве альбом-календарь, оформленный репродукциями с картин художника Н. Була-нова (Костромского). Он сам акцентировал на этом внима-ние. Были еще открытки, теплые земляческие и благодарные письма. Одно из них Николай Михайлович начал так: «По-лучив от родных сообщение, что Вы звонили и выслали мне газету из родной Костромы, с нетерпеньем ждал почты. Вчера получил долгожданную бандероль. Спасибо! Я и все мои близкие с большим интересом и огромными чувствами бла-годарности читали Вашу статью и рассматривали рисунок... — Он писал естественно и деликатно, желая знать мнение читателей о нем самом. — Но возраст и чувство земляка извинят меня, если я скажу Вам спасибо за интересную и правдивую статью о человеке, неизбалованном похвалами (пе-чатным словом). Читал и радовался (как бы не за себя): сколько интересного (и много не раскрытого) в этом одном человеке вложено природой и общественной жизнью. Богата Земля Русская, Костромская, талантливыми людьми (сохранена ав-торская орфография — М.Б.) Видите, как Ваш очерк затронул потаенные струны ветерана... Мы обедняем себя и жизнь своих близких тем, что редко, а чаще и совсем редко говорим друг с другом добрыми душевными словами».

Та первая публикация показалась военному ветерану очень ценной по доброте. «Она дороже еще и от того, что

виделись мы мало, общались еще меньше, а оказалось, что остался добрый след в Вашей душе — за это низкий поклон и мужские объятья! А рисунок очень хорош. Прост, выразителен и очень похож». — Писал мой герой в исторический и памятный день. (Этот день пятьдесят лет назад он встретил в бою на границе). Невозможно было не вспоминать о пройденных дорогах. Активный член Советского Комитета ветеранов войны, член военно-шефских комиссий Союза художников тогда был занят работой с молодежью. И, конечно, рисовал, постоянно участвовал в выставках. Присланный буклет «Московские художники. Н.М.Буланов» сопровожден надписью: «Земляку и доброму товарищу — с уважением! Москва. 22 июня 1991».От этих нескольких вех и рассказываю о привлекательном земляке.

Виделись редко, к сожалению, общаться приходилось не так часто, как хотелось бы, но личность прочитывалась в суждениях, в манерах, в творческих работах, в пройденных дорогах. Привлекательную судьбу умеющего гордиться талантливыми земляками нельзя оставить без внимания, надеюсь и в суетливых обстоятельствах этими заметками оберечь ее от скорого забвения. Она, эта судьба, выстроена трудом и талантом от добрых истоков. Отец Николая Михайловича был трудолюбив, могуч и пытлив умом. «Он служил лесничим, плавал на теплоходе по Ветлуге, видел и понимал природу, умел рассказать о ней. Конечно, многое передалось от отца. А душевное, доброе отношение к людям — от матери. Скромная, почти неграмотная женщина, труженица терпеливая, всегда сочувствовала кому-нибудь, кого-то жалела...» В родительском отношении к жизни и есть «ключ» к пониманию эстетических пристрастий.

Пятнадцатилетний Николай Буланов работал в Шарьинском депо, затем помощником машиниста на тепловозе. В девятнадцать лет по комсомольской путевке встал в солдатский строй да и надолго. После сражений на границе, после нескольких боев в Карпатах и под Киевом угодил в госпиталь — тяжелое ранение. После госпиталя — лечение на Кавказе. А туда тоже пришла война. Напряженные военные действия сорок второго. Горы, скалы, ущелья. Горные дороги, обвалы, лавины. Кавказ превратился в горное поле битвы. Требовалась способность преодолевать неимоверные трудности. Личные качества человека здесь приобретали особую ценность. Укреплялось солдатское мужество и солдатское братство. Люди разных национальностей в горных особенностях войны, по словам генерала, сами становились непреступными скалами. Удивительная стойкость духа, решительная

самоотверженность. И через пятьдесят лет после войны он восхищался мужеством и героизмом однополчан, фронтовых друзей Павла Босого, Михаила Зверева, Ивана Соколенко, Павла Ивко и других — это время породнило с людьми стойкими, преданными Отечеству.

А дороги генерала ветвисты: из пограничного училища по дальним окраинам великой страны и зарубежья — Карелия и Закавказье, Дальний Восток и Украина, Прибалтика и Средняя Азия, Камчатка и Эльбрус. Все отразилось в размышлениях о жизни, в графических сериях, в картинах — воспоминаниях, в названиях художественных работ: «Старая крепость», «Обелиск в горах», «Маяк в Варне», «Край земли». «Хозяин ущелья», «Милан», «Дуб запорожский», «Дед» (Красноярские камни), «Эльбрус», «Ипатьевский монастырь», «Пястовский замок. Польша», «В космос», «Сосна Чернобыля»...В годы войны и на послевоенных дорогах при службе во внутренних войсках давали силы и впечатлительную зоркость воспоминания о родителях, о костромской природе, о боевых товарищах. С помощью такого «ключа» можно объяснить совмещение двух биографических линий — воинская служба и работа художника — пейзажиста.

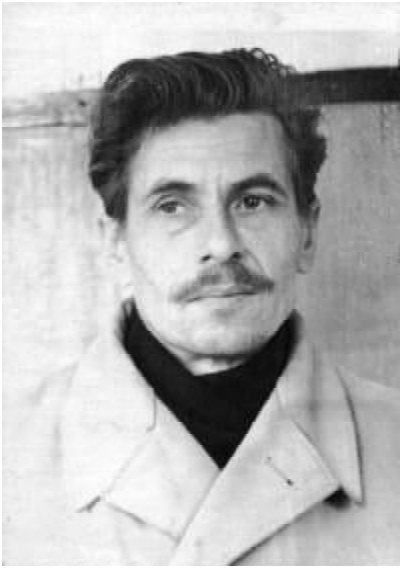
В местах сражений он зарисовывал безымянные высотки, искореженные деревья, только что воздвигнутые обелиски. Несколько серий живописных и графических работ посвящены историческим памятникам и выражают философскую, эстетическую, нравственную позицию автора, они представляют художественную и фактографическую ценность. Историзм, соотнесенный с личными впечатлениями, имеет особое гуманное и эмоциональное наполнение. Картины с удивительным географическим разнообразием позволяют чувствовать единое пространство, наполненное смыслом человеческой общности. Специалисты благодарно отмечали: отдельные памятные знаки, поставленные сразу же после Победы в местах сражений, художник вовремя зафиксировал графически, ибо в скором времени они были заменены более выразительными и масштабными. Например, вначале просто уцелевшей пушкой была отмечена высота в районе Понырей на Курской дуге, где проходили ожесточенные танковые бои. Это первый памятник — наше боевое орудие среди хлебов, над исковерканной вражеской техникой. В картине, написанной маслом, бирюзовое небо и набегающая туча с дождем, свежий ветер и неубранное жито. Надо ли объяснять сущность композиции, эмоциональное содержание...

Некоторые циклы, привезенные из дальних странствий, воспринимаются графическими военно-патриотическими

репортажами, в которых сливается современность с дыханием истории. Общечеловеческая трагедия и отдельные героичес — кие судьбы — в этом диапазоне динамично, свежо мыслит воин и художник. Стоит подметить, что не изображает он в картинах великих, всемирно известных мемориалов, сердцем и памятью останавливает взор на скромных обелисках, часто поставлен — ных без проектов и высших утверждений. Художник высоко ценит подвиг солдата и память народную — очень при — влекательной показалась мне эта особенность творчества генерала.

Тяга к изобразительному искусству жила в нем с детства, но только в возрасте после сорока лет пришел в студию са — модеятельных художников при Центральном ДК железнодо — рожников (вспомним начало трудовой биографии в Шарье), учился у педагога Танклевского. Наиболее удачлив был в гра — фике, но потом пошла и живопись — подтвердилось это на многих выставках (одна из них — в Костроме, 1984 г.). «Мо — его друга, — писал полковник госбезопасности М.Г.Зверев, — природа наделила многими завидными достоинствами и удивительнее всего в нем становление художника». И вот другое авторитетное суждение: «Живопись и графика Ни — колая Михайловича Буланова производят глубокое впе — чатление по художественному достоинству и по содержанию, — написали академики Ф.П.Решетников и Л.И.Бродская. — Художник обладает замечательным даром при любых обстоятельствах брать от природы все, что красиво». О том же писали Кукрыниксы.

Ветеран войны, бывший командир отдельного батальона и начальник штаба полка отмеченный ранениями и тремя орденами Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, другими наградами (всего 48, среди них — 16 инос — транных), выпускник Военной академии им. М.В.Фрунзе, кан — дидат военных наук (диссертацию защищал в военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР), ав — тор более тридцати научных трудов, генерал — майор внут — ренней службы создавал и возглавлял Центральный музей МВД СССР. А потом перешел на заслуженный отдых, но под — вижнический характер талантливого человека опять увлек по путям — дорогам к новым замыслам. Вдохновение радужно освещало палитру.



Сумрачный лес

Молодой журналист предложил ответить на мудреные вопросы какой-то «датской» анкеты. В ироничном отношении можно бы скрещивать руки на груди, глубокомысленно взглядывать то на потолок, то на едва видимый за окном синеющий заречный лес, через который тянет туда, где все начиналось. Чтобы высказать нечто свое, я вспоминал других писателей, не соответствуя газетным интересам, заходил издалека. А парень проявил привлекательную способность слушать, не утыкаясь в блокнот, высказывал несогласие или сомнение. Оказалось, он знает и ценит деревенскую — «почвенническую» литературу, сожалеет, что в обстоятельствах нового времени по вполне понятным причинам почти не упоминается о высших достижениях культуры, исходящих от людей, нравственно и эстетически укрепленных деревней.

— Великая национальная литература по духовному содержанию выстроена от провинциального быта, — журналист пользовался заготовками. — Художественный взгляд и философию она взяла не только в Ясной Поляне, от Бежина луга или в станице Вешенской. А лучшие современные писатели? Еще не прочитанные, как того заслуживают, почти все

от сельского происхождения. И костромская литература в этом смысле имеет преемственность. Максимов, Писемский, Ост-ровский, Касаткин, братья Алешины, Воробьев на каком мате-риале работали, кому сочувствовали? Деревенский лад в душе, крестьянское у них мировосприятие. Плохо это или хорошо? Будет ли востребована теперь такая литература, когда кресть-янство, призванное хозяйствовать на земле, столько лет душили налогами, выбивали, выселяли, оставляли без земли, без оплаты труда, когда сельское население, этот главный для России об-щественный слой, в катастрофическом положении? Найдутся ли в сельской жизни прототипы тихих героев добра, захочет ли читатель знать о них? Не зарастет ли деревенская сторона сумрачным лесом? Не останутся ли стога недометанными?

Это он воспользовался печальным сюжетом Леонида Во-робьева, чьи рассказы помнят не только кологривские жители.

— Этот рассказ — шедевр. Один день и вся жизнь Та-тьяны Арсенихи...

Журналист обрадовался, что зацепил меня:

— Никуда не денешься от правды. Кажется, так назы-валась ваша статья?

— Именно так. Да, рассказы эти не забываются, — гово-рю. — Есть в них документальные признания... Воробьев свое мнение имел... Возникало начальственное недовольство. Была метода: не выступай, молод еще! Вот в рассказе и упомянуто: приезжему литератору сказали, что плохо тут складываются отношения. А он — в ответ: если так, в случае чего, рванет отсюда. «Ковыряйтесь вы тут без меня в вашей каше, у меня своих забот полно. О себе подумать надо...» Такое лиричес-кое отступление в рассказе.

— Так сказать, писательская хата с краю. Башня из сло-новой кости, — догадливо определяет журналист. — Спаси-тельная избушка в сумрачном лесу, — опять наворачивает на свою задумку, учитывая эпизоды из романа «Вольному воля».

Мое молчание, конечно, его не устраивает. Появляются другие вопросы — продолжение заданных. Я сам готов кого-нибудь спросить: сохраняются ли добрые качества у простых людей, способность любить, терпеливо преодолевать трудности и несправедливость, остается ли совестливость, искренность взаимоотношений, могут ли они противостоять коварству и злу, бескорыстно работать на общее благо или в условиях другого сумрачного леса, все будет придавлено бытом зве-риным да трудом бесплодным, как писал Иван Касаткин, на-зывая родные места волчьей сторонкой? Можно ли согласиться с людьми, считающими тихих и скромных жи-телей провинции основой нации? Этим ли бедствующим ныне

большинством и держится Россия, в нем ли сохраняется осо — бенность многогранного, неожиданного и выносливого рус — ского характера? Сохраняются еще нравственные истоки общинного крестьянского уклада жизни, веками питавшие культуру и литературу?

— Вот — вот, сейчас нужны ответы, — настаивает он. — Такие вопросы возникали у школьного учителя, благодарно упомянутого вами в выступлении на областном учительском съезде? Можете предположить его ответ сегодня?

Подготовленной «любознательности» его не было кон — ца. Если бы не вопрос, словно бы предназначенный препо — давателю литературы Геннадию Васильевичу Румянцеву, можно было укоротить беседу. Действительно, о чем печа — лился бы сегодня, что сказал бы наш учитель, какие шедевры использовал в рассуждениях, как оценивал роль современной литературы?

Перво — наперво, разложив на столе тетради с лучшими сочинениями на свободную тему, он сказал бы:

— Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сум — рачном лесу. — Повторив эти слова поэта и философа, после театральной паузы признался. — Не вижу светлое будущее всего человечества, но твердо знаю: сегодня каждому чело — веку необходим прожиточный минимум хлеба, доброты, тепла и ласки.

Не трудно предположить, что влияло тогда на его на — строение, о чем размышлял любимый учитель, несколькими ранениями и наградами меченый на войне. Высокий и стройный парашютист — десантник, по праздникам ходивший в выцветшей гимнастерке, перехваченной широким ремнем, украшенной едва заметными круглыми заплатками на пра — вом рукаве. Худощавое скуластое лицо, тщательно подкру — ченные усы, русые волосы в прямой прическе от высокого лба к затылку, отливающий синевой мечтательный взгляд. «Ре — бята, сегодня мне это необходимо — признаюсь: начал пи — сать большое произведение о нашей жизни под условным названием «Сумрачный лес»».

Знаю теперь: увлекательные экспромты Геннадия Васи — льевича и философские беседы на уроках — черновые ва — рианты глав из будущей книги. Дух и таинство творчества приносил он на занятия, чтобы возбуждать наше воображе — ние. Тема сумрачного леса возникала и в театральной студии при сельском доме культуры: режиссер — наш учитель ста — вил серьезные спектакли и сам исполнял вспомогательные роли, чтобы участвовать в действиях и при необходимости помогать нам. «Вообразите, почувствуйте: волею обстоятельств

или каким-то долговременным насилием загнаны люди в непроходимые леса, утрачена надежда на спасение. И вот кто-то неприметный до самого критического момента тихо предлагает: «Успокойтесь, слушайте свое дыхание. Все слышат? Теперь слушайте свое сердце»... Присмирел народ, а неприметный человек советует прислушаться к биению сердца стоящего рядом и взять его за руку, постараться понять его состояние — понять ближнего необходимо, чтобы идти по единственно верному направлению.

— И вот неприметный человек вырвал свое сердце и высоко поднял его над головой, — саркастическим голосом журналист вспомнил легенду о Данко.

Снисходительно не замечаю его интонации — Геннадий Васильевич учил прощать непонимающих. Возможно, говорю, до сих пор живут среди нас люди, способные на самопожертвование...

— А «Песню о Соколе», «Песню о Буревестнике» вы тоже учили наизусть?

— И сейчас помню. «По темно-синему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения», — повторяю бархатистым голосом учителя.

— Это откуда? Из «Сумрачного леса»? — предполагает спрашивающий.

— «Море огромное, лениво вздыхающее у берега, — уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, — в той же тональности продолжаю, не желая ни возражать, ни упрекать. — Мы... варим уху из только что наловленной рыбы и оба находимся в том настроении, когда все кажется прозрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать».

Молодой человек смущенно утыкается в свой блокнот, но быстро и ловко обретает профессиональную форму, откидывается на спинку кресла:

— М-да, извините, наше лирическое отступление затянулось и самые острые вопросы остаются без ответов.

Соглашаюсь отвечать кратко и, понимая горькую тщетность беседы, все-таки сбиваюсь опять на откровенность с воспоминаниями, удовлетворяю дополнительное любопытство утратившего вдруг амбициозную уверенность профессионала — все сказанное можно сложить в монолог:

— В прошлое не сбегаешь, чтобы воздать должное обидчикам и притеснителям нашего учителя. В пережитом не восстановишь справедливость. Но правду помнить необходимо

ради детей, ради будущего. Каждый из нас, рожденных перед войной, испытан безотцовщиной, голодом, притеснениями, бесправием. Дети ждали отцов с фронта и не дождались, ждали и все еще ждут пропавших без вести старших братьев...

Помогая матерям таскать плуги и бороны, иногда падали от истощения, потому что лепешки из липовых листьев да щи крапивные не очень-то бодрили тело и душу. За детские оплошности нас пугали отправкой вслед за осужденными родственниками туда, где Макар телят не пасет. Помнится, наивные детские жалобы Ворошилову, отправленные тайно от взрослых, были поставлены в долговременную вину родителям.

Был в нашей жизни день и час, когда мы всем классом вместе с учителем рыдали, узнав о смерти Сталина. А в ночном катанье на санках с высокой горы лихо орали: «Берия, Берия вышел из доверия. Маленков, Маленков, надавай ему пинков!» Геннадий Васильевич не запрещал орать, он молча курил. Когда возвращались в село, затеял походную репетицию четвертого акта уже разученной пьесы «На дне». Остановились под старыми березами передохнуть. Мой голос неузнаваемо зазвучал под низкими «сводами» — впервые, как мне казалось, произошло перевоплощение, я уверенно чувствовал себя в роли: «Молчать! Вы — все — скоты! Дубье... молчать о старике! — какие-то слова выпадали у меня из памяти, но линия держалась верно. — Старик — не шарлатан! Что такое — правда? Человек — вот правда!.. Кто слаб душой... и кто живет чужими соками — тем ложь нужна... — одних она поддерживает, другие — прикрываются ею... А кто — сам себе хозяин...кто независим и не жрет чужого — зачем тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев...Правда — бог свободного человека!»

Журналист счел разговор оконченным, суетливо собрался и раскланялся, на выходе кому-то сказал «Привет». За дверью хихикнули. Что ж, наслаждайтесь кавалерийской уверенностью — молча говорю сам с собой. Только мне за вас обидно. И учитель мой огорчился бы. Опять слышу его давнее наставление: «Надо терпеть, когда вас не понимают. Придет срок понимания».

Нечто особенное выстраивал он в нашем сознанье. Талантлив и терпелив был, неравнодушие и порядочность его сегодня особенно очевидны. Но как сложна была жизнь. Пройдя большую часть своего пути, остановишься на очередном перекрестке, вспомнишь наставления учителя и начинаешь многое видеть по-другому. В неоконченных главах, доверенных мне перед выпускными экзаменами, особенности его судьбы можно было почувствовать, но только теперь

оказываются очевидными причины и следствия. Найти бы рукопись повести «Сумрачный лес». Найти бы, если сохранилась от коварного служебного любопытства, если в дни подозреваемой опасности не уничтожена родными...

Вечерний сумрак за окном соответствовал настроению, не хотелось никуда идти. Я задержался на работе, просматривал рукописи, предложенные для альманаха. В коридоре шаркали усталые шаги, цокали энергичные каблучки, дежурными фразами перекликались уходящие из кабинетов соседней конторы. Знакомое хихиканье повторилось. И вдруг голос моего собеседника выразил брезгливое возмущение: «Трешься под дверью опять, подслушиваешь, завистник!». Дверь скрипуче открылась, молодой журналист вернулся извиниться за поспешность, неподготовленность к интервью, сказал, что вообще надо было не так и не то спрашивать.

И все пошло по-другому. Теперь он отвечал на мои простые вопросы: кто родители, где учился, какие были учителя в школе, что читает, почему пошел в журналистику, хватает ли заработка на жизнь? Он признался: опыта нет, но без работы нельзя, в институте факультативно получил кое-какие знания, но вообще-то профессиональная теория для него — темный, темный, даже сумрачный лес, на практике все оказывается иначе, хозяева изданий требуют критичности взгляда. Но бичеванье трудовых людей с экрана и на страницах пестрых изданий, ернические наскоки и обзывания соотечественников, все эти ярлыки, крики о фашизме, о «коммуняках и урапатриотах» ему противны — так нельзя, злые слова продиктованы одной целью: разъединить народ, разрушить его самосознание. Понимая сбивчивость своих суждений, он обращался к вычитанным мыслям и уверенно цитировал: «Мы должны понимать и помнить, что всякое давление с Запада, откуда бы оно ни исходило, будет преследовать не русские, а чуждые России цели, не исторический интерес, не благо русского народа, а интерес державшей державы и вымогающей организации... Поэтому поведение русских людей и партий, потихоньку сговаривающихся с той или иной иностранной державой или закулисной международной организацией о будущем устройстве России, представляется нам проявлением или безответственного политического легкомыслия, или прямого предательства».

— Ну как это вам? — он настороженно глядел на меня с готовностью что-нибудь еще процитировать.

Пришлось уведомить его, что труды философа мне известны:

— «Ни идея «народничества», ни идея «демократии», ни идея «социализма», ни идея «тоталитаризма» — ни одна из

них не вдохновит новую русскую интеллигенцию и не по-ведет Россию к добру. Нужна новая идея, религиозная по истоку и национальная по духовному смыслу. Только такая идея может возродить и воссоздать грядущую Россию». — И от себя добавил: — Наверно, по такому направлению надо выходить из сумрачного леса. Но требуется время.

Сказав это, я опять вспомнил неизданную повесть Ген-надия Васильевича: может быть, он писал размышления о послевоенной жизни. И вдруг решился рассказать молодому журналисту: какой был учитель, этот увлеченный, но застен-чивый человек, умеющий тихо, последовательно просвещать и воспитывать литературой, анализом сочинений на свободные темы, режиссурой сложных школьных спектаклей.

Молодой человек понял мое волнение и выказал го-товность идти вместе со мной просеками благодарных вос-поминаний...

Облака нашего детства

Писатели собрались в очередную поездку маршрутами дней литературы. При встрече на костромской улице в раз-говоре о трудностях литературной жизни упоминаю орга-низационные хлопоты. Художник участливо поинтересовался:

— Куда в этот раз большой бригадой?

— Под облака твоего детства, — без всякой задумки легко

так ответил, видимо, впечатления от недавней выставки его картин были еще свежи — не исчезло приобретенное лирическое настроение.

— На родине надо бывать. Давно собираюсь да все никак, — признался Николай Михайлович. — То выставки, то хождения по инстанциям, то «разборки» на собраниях, непредвиденные и плановые заботы с желанием добра для других. Мы ведь как живем? Себя и не помнишь, свои печали глушишь напускной бодростью. А самое сокровенное — потом, разве иногда удается на холст перенести...

— Поедем. Встретишься с земляками. С начальством о перспективе для организации переговоришь, запланируешь выставки. Поедем, лучший случай когда-то выпадет... Может, и не будет такого больше.

— Все, решился. Возьму несколько работ, подарю там.

Поездка состоялась. Буевляне тепло принимали нас. Интересные получались встречи, вечера, литературные и житейские разговоры. Живописец тоже выступал — естественно, душевно, с налетом печали в голосе. Речь его была свежа и живописна, украшала наши беседы с читателями яркими воспоминаниями и создавала особую доверительную атмосферу общения: людям нужны, приятны откровения земляка, наделенного талантом.

После обстоятельных бесед с художником в его мастерской (для радиопередачи) я знал, что Николай Смирнов за многие городские годы чувство живой народной речи не утратил, самобытность в нем сохранилась — примечательная особенность надежной личности, взращенной от истоков в родной стороне, от крестьянской совестливой жизни, деревенского лада.

Отвечая на вопросы земляков, Николай «рисовал» деревню Алешково, родительский дом, свое первое житейское пространство. Признался, что теперь осознанно ценит доброе влияние бабушки, давшей понятие добра и красоты, морали и нравственности по десяти заповедям. Он смотрел на высокие городские окна, а вспоминал давние. И чувствовал опять тепло солнечного света, пролитого в избу через крестовину оконной рамы. Чудное, непостижимое облако увидел он в самом раннем детстве, а теперь видит его как часть мироздания, как меняющуюся тайну мироустройства. Естественно, просто «выстраивал» свою философию, высказывал свой взгляд на происходящие в обществе процессы, на искусство, литературу. Тогда и подумалось: надо же напроситься к нему в мастерскую, побыть в творческом пространстве, которое, по моим представлениям, дает возможность по-особому взглянуть на все четыре стороны света — глазами и душой другого человека.

Родился Николай в буйской деревне Алешково. Очень тревожный был год — тридцать девятый. Он так и сказал: очень тревожный год... «Деревня стояла на красивом берегу, — продолжал живописать для слушателей, чтобы «перебить» печаль воспоминаний. — В полутора километрах — река Кострома. Места лесные. Разнотравье. Поля разливом».

Из родного дома приглядный вид. Просторно. Родители — в работе. Коля оставался в няньках с младшей сестренкой. А старшие — в Покровскую школу ходили. Во время войны был за большака в домашнем хозяйстве. Отец — на войне. А вернулся он с фронта — в колхозные труды «за палочку». Единственную жнейку сам отремонтировал. Починил, зачит. Сам и поехал на двух лошадях. От зари до зари... Там и взяли его. Арестовали в сорок седьмом как врага народа. Живо в болевой памяти самое резкое впечатление детства — при сыне все происходило. Посадили отца на стул среди избы, крикливо допрашивали не понять о чем. Забрали Библию, по которой бабушка учила нравственным основам жизни (рассказчик тяжело вздохнул), удивительно прекрасная книга была, оформлена гравюрами Доре.

— Я очень любил эту книгу. Вообще интересовался библейскими сюжетами. Все, что окружало меня в детстве, отличалось от воображаемого по сюжетам. Воображение активно работало, мечтания уводили в желанные дали — к лучшей, справедливой жизни. Но как жить, если тебя однажды назовут сыном «врага народа»?

А было детство, способное и в труднейших условиях на безмятежные минуты. Был разнообразный крестьянский труд наравне со взрослыми. Косили, пахали, ходили в ночное, сгребывали сено в копны, играли в скирдах соломы. Спасались от грозы в сарае.

Уплотнялся заряд впечатлений на всю дальнейшую судьбу. Детство одаривало не только забавами, но и особым светом, пронизывающим угрозливые облака. Сейчас кажется: светло и забавно выстраивалось любое время года. У каждого времени были свои сказки, песни, стихи. Некоторые из них стали любимыми навсегда.

Взаимные воспоминания, высказанные в доброй, душевной беседе, роднят не только земляков. Позднее встреча в мастерской художника была красива именно совпадающими впечатлениями. Облака нашего детства несли родственную философию мировосприятия. Помню, даже стихи и песни одинаковые требовались. Есенин, Тютчев, Некрасов, Твардовский, Рубцов помогали нам в общении.

Я вырос в хорошей деревне
Красивым под скрип телег.
Одной деревенской царевне
Я нравился как человек.

Пространство мастерской раздвигалось, уходило даль—ними взгорьями к деревням под облаками, наполнялось то тишиной раздумий, то печалью или тревогой. Сложный эмо—циональный строй эпических картин выводил на особые до—роги познания. «Деревня Починки», «Черемуха», «Вечер в поле», «Тишина», «Лето в деревне», «Туча», «Красные облака», «Облако моего детства», «Хлеб 47—го», портрет отца — философский ряд живописца от деревенского грозового лета до напря—женных раздумий о мире и мироздании на исходе двадца—того века...

Заговорило поле, заговорили облака. И свет и цвет прон—зительно ясны. Праздники детства и размышления вечером, накрывающим туманом многострадальную землю. Клубя—щийся вздыбленный свет над рекой и тревожно рдеющая рябина среди снежной белизны. Покой души немногослов—ной, дарующей деятельное добро. И вишневый дым лири—ческих мечтаний, поэтического вдохновенья. И сдержанным цветом сотворенное сказание о картошке. А дальше, даль—ше... Растут и усложняются облака. В них — душа и движе—ние мысли. Слышится собственный голос: «Облако, здравствуй! Я узнаю тебя...» За ним обозначается в дымке «персональное» облако моей первой школьной осени, а другое постепенно превращается в тучу первой грозы. Драматизм прошлых лет, драматизм нашего деревенского быта звучит над исчезнув—шими починками, над разоренными храмами, над зарастаю—щими полями и заброшенными дорогами.

И вдруг из—под горы воздушным кораблем выплывает под напирающую облачную тяжесть высокая изба с рас—пахнутыми дверями сеновала. Тревогой, дерзкой мечтой, предчувствиями, общей судьбой объединены деревенские ика—ры... Среди них — и художник, и я сам, и наши земляки. Так выстроилась картина...

В мастерской без продуманного экспозиционного по—рядка живописные композиции обретают дополнительное со—держание. Они выходят к собеседнику мастера по эмоциональным мотивам, вызванным тематикой беседы. Обы—денное и праздники наши расцвечиваются еще невиданным и неосмысленным разнообразием, несущим отблески забытых желаний и надежд. Иными мыслительными дорогами идешь в житейское пространство, а затем — за пределы доступного

и познанного, начинаешь ощущать себя в невесомости над облаками, и видишь иные дали. Таково оно — действие искусства.

А возвращаясь в современную реальность, вспоминаешь суждения людей о страшном времени, которое переживаем. Оказывается, не только творцы вынуждены переосмыслить себя, изменить отношение к тому, что знают и любят с дет— ства. Но, чтобы познать себя, достоинства земляков, не обяза— тельно прислушиваться к чужим голосам. Доверимся своим достоинствам. «Доморощенные» наши достоинства — в ду— ховном и душевном, в искренности, правде, совести, любви. «Нам здешний мир так много говорит». Верим, надеемся, работаем в осознании: наша жизнь есть то, что мы знаем и думаем о ней. Эти сокровенные думы определяют отношения между людьми, отношение к миру.

Николай Смирнов давно уже определил себя в простран— стве и времени. Поэтому пейзажи, портреты, натюрморты и жанровые картины его независимы от суетливой повсед— невности, неподвластны коммерческим ориентирам и есте— ственно, без преднамеренного философствования передают нравственное состояние художника. Лет пятнадцать назад его причисляли к мастерам лирического пейзажа. В замет— ках о выставке справедливо цитировались стихи Николая Заболоцкого:

В очаровании русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.

На профессиональном языке некоторые ценители, раз— мышляя о технике и технологии, отмечали в творческом стиле Смирнова ярко выраженное тонально—декоративное «письмо» и тем самым занижали уровень подхода к содержательному, философскому достоинству лучших работ. В суждениях об искусстве вообще нельзя спешить с дотошным вниманием к «средствам выражения» — к тому, как и чем «зафиксирова— но» мгновение. В живописи, поэзии, музыке — в этих наибо— лее родственных творческих явлениях определяющее значение имеет дарованная свыше эмоциональная особенность лич— ности, тайная мелодия чувства и мысли.

Пейзажи Николая Смирнова трудно растолковывать, в каждом из них зритель может найти свое место под облака— ми, почувствовать неизъяснимую прелесть природы и воз— вратиться в сложное, взвихренное политикой, бытие с необходимой уверенностью: гуманистические ценности не

исчезли, не извратились, а как бы спрятаны, укрыты, может быть, «в самой земле, в душах ... и продолжают действовать — спасать людей, вступая в бесконечный неравный поединок с жестокостью, с токсичными идеями». (По А.Ремизову).

Лирика по большому счету всегда и философия, в ней обнаруживается глубина мысли, порожденная чувственными переживаниями, печалью пережитого. И каждое мгновение жизни, любой жизнеустроительный труд через лирику живописца может явиться возвышающим душу ритуалом. Усталого, даже изнуренного работой не только ради собственного спасения можно пожалеть, но и возвысить. Мелодия человеческого сочувствия и возвышения дана Николаю Михайловичу. Он защищает простую повседневную жизнь, осознавая неизбежную и неизбывную совестливость одних и неправедное временное благополучие других. Крестьянская мудрость и нравственность определяют свет его искусства. Оно — при свете совести. Крестьянское достоинство — от земли, духовного родства людей одного поля, одного неба. Значит, истоки там, в Алешкове, в деревенском доме и ладе. Они — от бабы Дуни и бабы Катерины, от матери Анны Федоровны и отца Михаила Дмитриевича. От наставлений по Библейским заветам. От Библии с иллюстрациями Гюстава Доре. От явившейся в детстве облачной стихии, от предчувствия простора в выборе дорог... И от уроков каждого прожитого послевоенного дня. Прожитого не только родным домом, но и буйским колхозом «Родина», в котором председательствовал вернувшийся после контузии под Тулой и восстановления в госпиталях Михаил Дмитриевич. От ударов подозрения, несправедливостей. От безотцовщины. (Отец, ударенный сроком в 25 лет, отсидел, оттрубил на гулаговских лесоповалах восемь). Так что в лирических живописных мелодиях звучат разные инструменты.

Можно было только предположить направленность художественного поиска, когда явилась впервые на выставке картина Смирнова «Высокое облако». С ней пришел от вновь пережитого детства новый художник, способный сказать нечто очень важное о жизни на изуродованной Земле под пробуравленным и оскорбленным небом. Философская лирика оберегает искусство от прямых «лобовых» иллюстраций мысли. Она индивидуализирует восприятие и прочтение произведений. Каждый зритель может увидеть и свое «высокое облако» и свою «Калитку», свой «Вишневый снег», свои — Храм, Реку и Дорогу.

Напомним живописные мгновения из ряда вечных тем, которым уделил мастер исключительное внимание. Он,

выпускник факультета монументальной живописи Москов — ского художественного института имени В.И. Сурикова, не ударился в «широкие форматы», не увлекся модной в шести — десятых — семидесятых размашистостью полотен, а сумел в де — ликатных композициях, открывая для себя и для других прелесть Природы, Труда, Земли, Неба и духовного Человека, говорить любовно, широко, убедительно и ярко о Жизни. «В одном мгновении видеть вечность, огромный мир — в зерне песка, в единой горсти — бесконечность, и небо — в чашечке цветка». (Художник и поэт Уильям Блейк так помогает зри — телям, искусствоведам и писателям).

Получается, облака нашего детства полнятся смыслом в зависимости от наших способностей видеть, чувствовать, по — мнить и понимать. Художник пробуждает в нас интерес к познанию. И приглашает к поискам новых дорог. Об этом думалось и в мастерской, и на огромной выставке в Москве (я ездил вместе с костромскими участниками), и на локальной выставке пейзажа у нас в писательской организации. Все, что было увидено, действительно можно назвать искусством при свете совести. Душа без призывов и обещаний трудится при таком свете. Есть в работах Николая Смирнова ныне многи — ми утраченное постоянное мерцание доброты и скромности. Думается, эта нравственная категория в суждениях о произ — ведениях искусства и литературы намеренно отодвинута спе — циалистами. Принято говорить об избранности, элитарности, которые предполагают непременную заносчивую самоуве — ренность. Этакая верховная значительность, не имеющая от — ношения к простой жизни. Но как же тогда придет художник к «необразованному» зрителю, слушателю, читателю? Душев — ный и чувственный как станет близким, родным и понятным? Умение видеть многозначительное в простом и повседневном дается художнику по уровню его нравственной и гражданс — кой самостоятельности.

Николай Смирнов являет этот свой уровень в бытовых эпизодах, выстроенных в картинах и портретах. «Грибная пора», «Хлеб», «Картошка», «Осень», «У колодца», «Сбор поздней ря — бины», опять же — «Моя калитка», «Отец вернулся», «Миха — левский переулок», «Синий вечер». Можно предположить: душевное равновесие и чувство собственного достоинства, творческой правоты поддерживается личным образом жизни в городских пределах да по деревенским нравственным ори — ентирам — окраинное Михалево за Волгой создает такие ус — ловия. И собственный дом. Судьбой все предопределено: самореализация происходит в неразрывной связи с прошлым, с неизбывным в памяти духовным содержанием отчего дома.

Неслучайно тонкой лирикой домашних человеческих взаимоотношений пронизано жанровое полотно «Возвращение». Сильный собственными убеждениями человек на любом новом месте находит способы вживлять родословные корни для жизненной стойкости. Но главное достоинство его проявлено в отношении к другому человеку, в безусловном желании понять его. Это сказалось и в наставничестве, когда художник работал преподавателем университета.

Философия добра и духовного родства между людьми разных поколений привела художника через пейзажи и жанровые картины к необходимости концентрированного портретного внимания. Желание понять личность, проникнуться смыслом ее творческой жизни отражается в созданных портретах критика И.Дедкова, искусствоведа А.Бузина, художников Н.Шувалова, С.Румянцева, В.Окишева и других, в «Воспоминании о Сергее Есенине». А в портретах самых близких — в первую очередь матери, отца — укрепляющее возвращение к духовным, нравственным предтечам, сыновний долг и облагораживающая память. Но диапазон интереса к современникам при этом тоже расширяется. Вот написался еще неизвестный костромичам портрет главы самоуправления Б.Коробова, ответственного за все происходящее в городе на Волге, но и обыкновенного человека, склонного к лиризму в редкие минуты отдыха. Что же привлекает художника в одном из представителей управленческой элиты? Конечно, в первую очередь не послужные достоинства, а душевные. Какие они эти достоинства? Пусть почувствует зритель, раздумчиво вглядываясь и определяя свое настроение по колориту пейзажа ...

О человеке можно судить и по тому, какие любит песни, стихи, картины родной природы. Об этом возник разговор на обсуждении пейзажной экспозиции в нашем писательском доме. Выставка невелика, чуть больше двадцати работ, а получилась интересная дискуссия с разнообразием суждений, мотивов, ассоциаций и раздумий по обстоятельствам времени. Опять пейзажи настроили на искренность. «Лед прошел», «Солнце в лесу», «Пробуждение», «Дорога», «Облако над Волгой», «Избы на родине» и другие картины, этюды задавали движение чувств и мыслей.

Отвечая на вопросы, Николай Михайлович постепенно обозначил творческие истоки, высказал неординарные мысли о любви к Родине, о том, что формирует индивидуальный взгляд на мир и живописный стиль, из чего и под каким влиянием складывается строение души. Разговаривали мы и том, чем возможно облагородить, обогатить повседневное общение творческих людей, принадлежащих к разным профессиональным

союзам, но создающим единую культурную атмосферу, общее духовное пространство. Есть такие заботы у художников, писателей, музыкантов, артистов — у всей художественной интеллигенции, живущей в провинциальных условиях. А руководители творческих организаций (Н.М.Смирнов был председателем костромского отделения Союза художников России) настойчиво озвучивают эти заботы, нарастающие все тревожней под давлением коммерциализации. Нынче атмосферу востребованности литературы, искусства тоже надо заново обрести, чтобы при материальной бедности окончательно не одичать, не впасть в бедность духовную.

Костромской живописец Николай Смирнов своими естественными творениями (помните, как птица поет в весеннюю пору) закономерно вписался в ряд искренних проповедников. Его картины в сочетании с лучшими, известными мне произведениями костромских творцов, укрепляют мысль о том, что облака нашего детства не превращаются в серую завесу, не ограничивают представлений о бесконечности небес, разнообразия явлений в человеческой жизни. Они напоминают о незарастающих тропинках в неповторимый единственный край, который никому не дано выбирать, никогда надолго не закрывая солнце, несут живописный свет в размышления о прекрасном и духовном. Жизнь художника пресеклась, а картины излучают свет...

Лето на севере

Литературная судьба начиналась публикацией новелл в журналах и маленькой, карманного формата, книжицей на три условно печатных листа. В этом сборнике с тонким графическим аккомпанементом Николая Шувалова тридцать два этюда и рассказа, некоторые из них в три—четыре строки, например, про дожди и летящие над ними самолеты, в которые мы верим...

После странствий по стране от столичного шума добирался Юрий Куранов к художнику Алексею Козлову, летел над северными увалами: «Полет от железнодорожной станции Шарья до районного села Пыщуг похож на прыжок кузнечика. Самолет разбежался оттолкнулся, пролетел двадцать минут над лесами, густо обступившими золотые от солнца поляны, пролетел вдоль Ветлуги и мягко ткнулся в широкий

луг сельского аэродрома». Вот и все, с этого «прыжка» и началось вдохновение, определился писательский стиль, жи — вописно и философски подкрепленный сельскими жителями, дружбой с художником и, конечно, его картинами, наполнен — ными «в высшей степени русским ненавязчивым лиризмом, размышлениями...» Они встретились под тишиной на дороге из Трошина в Пыщуг, по ней Алексей ходил тысячу раз и «в каждый новый случай видел ее по — новому, словно впер — вые». Встретились и начали понимать друг друга, обдумывать картины и прозаические этюды. Пейзажи наполняли «сер — дце тонкой музыкой слияния глубоких и неуловимых тонов и линий. Это же чувство, сходное с успокаивающим парением затухающих качелей», есть в движении холмов, изображенных в работе художника «Тишина», пробуждается при чтении ли — рических рассказов.

Отсюда начинались и другие книги Куранова: «Увалы Пыщуганья», «Белки на дорогах», «Голос ветра», «Озарение радугой». Талантливый прозаик, замеченный столичной кри — тикой, оказался именно здесь способным «подслушать у при — роды сокровенную тайну, подсмотреть красоту, недоступную другому». Побывав в путешествиях по Кавказу, Крыму, Запо — лярью, Саянам, Туве, Казахстану, приехал в тихое село по при — глашению художника, удивился многому сам и потому книги его удивляли читателей прозрачной одухотворенностью и предчувствием летящей навстречу радости, поэзией наших родных окраин. С этого и начался наш разговор в дни ра — боты выездного секретариата правления Союза писателей РСФСР в Костроме (да, бывали у нас и такие высокие со — брания — позавидуешь из «провинциального затишья» в но — вого времени). Четверть века прошло, а полезно возвратиться к тому разговору. Для газеты «Северная правда» я спраши — вал, а писатель Юрий Куранов отвечал.

— Здесь, на севере, хорошо ощущается крестьянская при — вязанность к земле. В Пыщуге я получил творческий заряд, этот район Костромской области считаю своей литературной и гражданской родиной. Некоторые проблемы, о которых я пишу теперь, действительно были подмечены еще в цикле ко — ротких лирических рассказов. Новелла «Двигатель внутрен — него сгорания» была подсказана деревенской жизнью, когда мы с секретарем райкома партии Смирновым ездили на Ветлугу принимать грузы во время паводка. Ясно виделись пробле — мы, причем такие, о которых мы говорим сейчас: ответствен — ность за порученное дело, бережное отношение к земле, к человеку, к машине... Там, в Пыщуге, я впервые увидел «золо — тые крыши» — новые, крытые дранкой. Они были знамением

времени, торжества жизни после трудных военных и после-военных лет.

Разговор складывался естественно и просто, можно было и журналисту высказать свои впечатления — за восемь лет газетной работы накопилось:

— Да и сейчас, проезжая в район по асфальтированному шоссе, вижу много новых домов, — говорю. — Строительство — одна из главных примет происходящих перемен. В родные места возвращаются учителя, инженеры, врачи, специалисты сельского хозяйства. Каждый год половина выпускников районной средней школы избирают местом жительства пыщугские села. В одной из новелл двадцать лет назад вы, Юрий Николаевич, писали о том, что молодые люди, получив образование в городе, возвращаются домой и становятся главной силой новой жизни.

— Такое возвращение сельского жителя в новом качестве необходимо, потому что нужны надежные специалисты, которые умеют и любят работать в прочной кровной связи с землей. О таком возвращении мы должны заботиться. В Пыщуге я узнал молодого учителя Сергея Тарабухина. Потом он был на комсомольской работе. Сейчас, оказывается, стал секретарем райкома партии в Поназыреве. Район достался ему, прямо скажем, трудный, надо решать многие проблемы. И в этом деле без организаторов, способных преодолевать трудности, умело хозяйствовать, заботиться о людях деревни невозможно обойтись.

Просматриваю записи в блокноте и удивляюсь: как наивно и перспективно мы оба были настроены, не без оснований просматривали будущее северных районов, романтически смотрели навстречу «летящей радости».

— Сейчас надо, кроме всего прочего, учитывать изменения в характере отношений между человеком и землей, — продолжал писатель. — Чувства нынешнего человека стали богаче, он сознательно относится к красоте природы, даже научно познает воздействие этой красоты на свое самочувствие, настроение, характер, на свои способности творить добро, подниматься нравственно. Он сострадает заросшему полю, мелеющей реке, испуганному зверю...

Ах, кабы теперь так, думаю я сегодня, набирая на компьютере эти пройденные заново мечтательные откровения осторожного коллеги, конечно, и свои очень «правильные».

— Мы знаем немало людей на костромской земле, достойных писательского внимания, первым фактором нравственного бытия которых, безусловно, можно считать труд на земле и единство с природой, — говорил я тогда, в июне 1979 года, с

гордостью и тайным намерением посвящать свои художе-ственные сочинения землякам. — Такие люди могут быть прототипами положительных героев, которые со здравостью крестьянского ума должны разрешать деревенские пробле-мы. Ставите ли вы своей целью создание образа положи-тельного героя? — спросил в наивной уверенности, что этот вопрос в интервью необходим.

— Извечная задача литературы заключается в создании зримого крупного характера, — без промедления сказал он в мою пользу. — Роман «Заозерные звоны», который будет пе-чататься в журнале «Дружба народов», продолжает повесть «Облачный ветер». Сельский парень Енька многое испытал в дни страшной битвы под Сталинградом. Он живет в Не-черноземье (так тогда было принято называть проблемные регионы России — М.Б.), радости и боли этой земли прини-мает на себя. Таких людей открываешь в северных селах... — Когда живешь в гуще событий, — продолжал Юрий Николаевич., — явственно чувствуешь стремительный бег жизни. Иногда ощущаешь, будто ты находишься одновре-менно в трех состояниях: в днях вчерашних, в днях сегодняш-них и в будущих. Это прекрасно, тогда получаешь возможность всесторонне оценивать происходящее...Особенно сейчас, когда переустройство нечерноземной деревни все активнее выяв-ляет в дне текущем зримые контуры будущего, обогащая нашу жизнь и впечатлениями, и глубинным пониманием ее нелег-ких проблем.

Теперь за этими общими фразами можно предположить глубинное течение писательских предчувствий и тревожных дум, какие для газеты тогда не могли быть высказаны. Но в новых реформенных обстоятельствах обнаруживаю подтекст в давнем ответе писателя:

— Без глубинного понимания проблем невозможно со-здать полнокровный положительный характер в произведе-нии о современности. А проблемы видит, знает, чувствует любящий свою родину, талантливый человек.

Жизнь уже давно подтвердила, что только талантливый, сметливый, предприимчивый человек может хозяйствовать сегодня. Я согласен: такие люди есть и на костромской земле, они, умеющие жить заботами времени по высоким нрав-ственным законам.

— Особенно высоки требования к руководителю. А сельский руководитель ежедневно весь на виду... какая у него семья, заносчивая или общительная жена, кто дети, как они учатся, как ведут себя в школе или клубе, каковы вообще эти люди в быту. И сам он должен быть более образован,

демократичен, привлекателен, справедлив и самоотвержен. От того, каким авторитетом будет пользоваться, зависит сегодняшний день нашей страны, но еще больше зависит день завтрашний... Эти люди руководят созданием колоссальных материальных ценностей, но на примере положительном или отрицательном их деятельности воспитываются молодые люди.

Вот мы и приехали: тот завтрашний день — это сегодня. Думайте, анализируйте и понимайте о чем заботились, размышляли и тревожились писатели, о чем они думают сейчас, умолчанием оставленные за бортом областной и государственной жизни, чтобы острое понимание проблем современности не выразили художественной правдой. Страдания наши он предвидел, но состояние нашего духа коллега уже не знает. Мы тоже получаем возможность всесторонне оценивать происходящее. Он талантливо пользовался этой всесторонней оценкой. По словам писателя, его многолетняя жизнь в псковском селе Глубоком так же, как и в Пыщуге, неоднократно это подтверждала. Чувство жизни и правды Юрий Куранов оставил в своих книгах, особо трепетное — в лирической повести на темы искусства по мотивам жизни костромского художника Алексея Козлова. Напряженная, трагическая и эпически возвышенная судьба художника, поэтическая логика его живописи воспета лирическим голосом соратника на теплом берегу родины, а услышана по всему миру.

Алексей Никифорович Козлов никогда душой и сердцем не отрывался от родного теплого берега. Родился на хуторе Трошино. Семнадцатилетним ушел добровольцем на фронт. Тяжело ранен в правую руку. После войны — художественное училище заслуженного деятеля искусств Н. П. Шлеина. Работал учителем рисования в деревенских школах. Несколько лет жил на хуторе один. Как философ и художник состоялся на дороге по увалам, разнообразно воспринимая природу и размышляя о жизни. С начала шестидесятых годов работал в Москве. Одну из самых ранних картин назвал «Родительская изба» — на фоне иссиня-черного неба черный, словно влитой в землю дом, заслоняющий остатки вечерней зари. Расплавленными стеклами светят три передних окна — смелый красный свет, «...этот красный цвет на моих полотнах, который я так люблю, — откровенничал художник, — этот цвет радости, цвет пролитой крови, цвет надежды, цвет силы и праздничной доброты моего народа...»

Невольно думается: именно из окон родительского дома проливается этот красный цвет на эпический ряд произве-

дений «Моя Родина — Отечество мое», в нем звучит древне-русский напев. По признанию художника, основой красоты, которая идет с древних времен через все поколения, он счи-тал речитативы, свободные распевы, которые могут меняться, повторяться. Они звучали в душе и потому звучат в живо-писных циклах «Сказы и сказки», «Холмы моей Родины», «Древнерусские города», «Евангелисты», «Мои современни-ки», «Пушкинский», «Золотой», «Деревья».

На хуторе детства в родительском доме зарождались мно-гие замыслы. «Лето было чудесное, — писал художник од-ному из своих друзей, — много солнца, света, цветов...работаю с большим натиском и восторгом. В Москву ехать не хочет-ся. Жить бы и жить здесь, в избе у меня прекрасно, свобода, тишина, поветь, холсты, у дома были цветы, подсолнухи, маки, настурции и пр.» От летнего раздолья, от теплой цветистости выстраивался его колорит, переходящий от исторического прошлого и мифологического к индивидуально-психологи-ческому настроению, от темных сумеречных тонов, обога-щенных просветами охристого и оранжевого, к серебристо — перламутровым, к прохладно-лиловым с акварельной про-зрачностью. Пейзажные, умиротворяющие, раздумчивые циклы, а за ними — «дожди», размытые силуэты и едва угадывается старая изба. Она в памятливом сердце художника — един-ственный Дом любви и воспоминаний, Дом — символ кров-ной связи с холмами, с историческими далями, с Отечеством...

А были времена, когда и в глухой осенней ночи увалы обозначались издали стаями тусклых огней. А были времена, когда собирались вечерки в больших и удобных для гулянья избах. «Алексей не так уж часто приходил на эти тревож-ные игрища, — по его рассказам написал Юрий Куранов. — Но порою заглядывал. Он где-нибудь садился в углу, не-большой, скуластый, востроглазый, он напряженно глядел на пляску...А время от времени туда, на середину лавки, что у окна в огород. Там садилась высокая, спокойная, темноволосая и темноглазая красавица: она что-то вышивала большими ловкими пальцами по белой ткани, но что — Алексей так ни разу и не приблизился взглянуть...Она спокойно сидела, как сказочная неприступная царевна, и немигающими глазами светозарно и радужно глядела в шитье. Кого она ждала?».

Художник видел и понимал творческой интуицией, какие лучшие чувства может разбудить у зрителей этот образ, воп-лощенный на полотне. Он ждал завершения образа. Эта «де-вушка, царевна, под тяжелой шелковой шалью с алыми да золотыми цветами по темно-синему полю, отливающему в ма-линоватость, складывала шитье, сворачивала его и неторопливо,

стройно выходила вон, на морозный, на чистый, на звездами сверкающий воздух. Ее никто не останавливал, не трогал за руку, не заглядывал в глаза, не просил задержаться.

Алексей уходил тоже. Он долго бродил по селу под низ — кокрылым ветром, оттуда, из — за увалов, со стороны ночного полярного мрака...Порою какие — то отдаленные отсветы под — нимались там, за краем лесов, в это черное небо. И тогда небо вдруг начинало отливать в темную синь, в темную зелень и в темную малиновость. И золотые, красные, серебряные, лазо — ревые цветы загорались на этой бесконечной шали ночи, сквозь которые смотрели умные, спокойные и кроткие глаза, напол — ненные достоинством девической чистоты...».

Зачарованный опять вижу картину Алексея Козлова «Невеста в голубом».Чудесное звучание цвета и света. Му — зыка и мечта, любовь и надежда на сбережение хотя бы части того прекрасного и целомудренного, что подарил в наследство неблагодарным потомкам напевный лад провинциальной страдальческой жизни.

Хорошо, что еще помним, можем возвращаться к карти — нам. Государственный музей Костромы на третий год после смерти художника открыл выставку. Залы едва вмещали по — сетителей, еще способных понимать и сочувствовать. В книге Куранова «Озарение радугой» на долгие времена записано: «Сколько света! Как можно так писать. Неужто человека этого уже нет? Ведь он совсем недавно здесь ходил и здесь учил — ся. Как учимся, и ходим, и размышляем теперь мы. Особенно много на выставке побывало молодежи. Потом выставка пе — реехала в Ярославль. И там она прошла с немалым успехом. Всех удивлял и удивляет праздничный, яростный, необычайно русский, фольклорный даже, но в то же время твердо совре — менный цвет на полотнах...».

А на выставке в Москве, когда принимали А.Н. Козлова в Союз художников по рекомендации Мартироса Сарьяна, «при — емная комиссия во главе с Оссовским сгрудилась у работ», имеющих исток на северных увалах. Даже Борис Неменский, работавший целое лето в Трошине, поразился: так действуют картины, представленные в многочисленности и единстве! Неменский писал портрет Козлова с дочерью на руках и назвал работу «Идущий»... Когда северным летом еду по ува — лам Пыщуганья, чтобы увидеть картины в районном музее, представляю рядком идущих навстречу художника и писа — теля. Так издавна заведено на Руси: писатели и художники понимали, поддерживали, помнили друг друга. «Над каждым сердцем распускается радуга...» Они идут, над ними две ра — дуги, а вдали закладывается еще одна...

Пролог к независимому роману

— Что сказать, когда не уверен можно ли говорить. Ты молодой, не знаешь почему живем словно пуганые вороны. Давненько приезжали строгие люди, сундуки проверяли, ста-рые письма ворошили. — Деревенский старожил, хитровато поглядывая, выспросил чей да откуда, а потом виновато объяс-нял свою застарелую настороженность. — Времена потеп-лели, говоришь. Оправдание вышло, книги Михалыча печатают. А помнишь ли рассказ «Мужик»? На реке Унже дело было... Да-а... Мужик лодочнику на переправе помогал и пытался толковать с барином — надоедал, значит. А грозила опас-ность — кинулся спасать барина. Выкарабкались на берег, барин про спасение забыл, грубую простоту решил наказать — отправил мужика в кутузку.

— Отличный рассказ. Владел Иван Михайлович словом, — говорю. — Много иронии, нежности, сочувствия. Велико-лепные описания природы, речь живая.

— Ладно, сознаюсь: припрятана книжица «Лесная быль» девятнадцатого году — достану на рассмотрение, а подарить не могу, извиняй, молодой человек.

В конце шестидесятых было поручено подготовить сборник избранных произведений земляка Ивана Касаткина — для начинающего молодого литератора дело ответственное, по-тому я отправился по межевским деревням — к истокам ран-него творчества. В походе узнал про письмо Андрея Сиротина: «Я верил, что рано или поздно все будет ясно, правда возьмет свое, будет известна. Иван Касаткин ничего не мог сделать плохого, тем паче изменить своей Родине. Тяжело пережи-вать за то, что он, умирая, не мог понять, что творится в нашей стране. И зачем нападки на лучших и невинных людей...»

Родные последний раз видели Ивана Михайловича и слы-шали его голос в 1938 году — за ним, как это часто случалось тогда, пришли в два часа ночи. Он говорил: «Ничего не по-нимаю, ничего не могу понять...» Жена Зоя Александровна тоже ничего не могла понять, но и спросить разъяснений было нельзя. Много позднее стало известно: по решению Военной коллегии Верховного суда СССР Касаткин был оп-равдан, «вновь открывшиеся дополнительные сведения» под-тверждали его невиновность. Через тридцать лет костромская писательская организация смогла возвратиться к творчес-кому наследию. Составитель имел право выбрать произве-дения, дать название сборнику. Постепенно сложилась книга «Путь-дорога».

«Я костромич, — сказано в автобиографии. — Моя родина, деревня Барановица Кологривского уезда, находится в глухом углу, в верховьях Унжи, на Меже. От нас до железной дороги сто верст, до Кологрива — тридцать верст. Кругом ни фабрик, ни заводов, ни ремесел». Судьба — типична для «левого крыла» талантливого отряда писателей, жизненный и литературный путь начинался в недрах народного бытия. Семья бедного крестьянина Касаткина, гонимая нуждой, покинула родную деревню, но задержалась в имении помещика Свиньина, чтобы добывать хлеб поденщиной. «...Потом уж нас, в качестве «излишних рук», — вспоминал Иван Михайлович, — понесло в гиблый городишко Кологрив и дальше, на Волгу, в Кострому, Нижний, Астрахань, снова в Кострому, снова в Нижний, на долгую нищету, на неописуемую маяту».

После скитаний он перебирается в Петербург. Здесь опять слесарничает. И посещает рабочие кружки, пишет стихи, работает в подпольной типографии. Несколько раз под угрозой ареста выезжает то на Шексну, то на Унжу. Оказывается в артелях пильщиков и бурлаков. За три года трижды попадал в тюрьмы, в одной из них, нижегородской, написал первые рассказы. Весной 1908 года едет на родину, в Кологрив (по данным жандармского управления — «с целью организации рабочих»). Работая машинистом на лесопильном заводе, создал подпольный просветительный кружок.

В период нового революционного подъема нижегородские большевики начали издавать легальную газету «Поволжская быль». Касаткин в редколлегии. За публикацию «опасных мыслей» арестовали. А после освобождения запретили жить в Нижнем. Приютило Кстово Семеновского уезда, служил «культурным надзирателем» при Лыковском лесничестве. Изучал настроение, быт и нравы деревни. В керженскую ссылку друзья присылали много книг, которые Касаткин штудировал, понимая необходимость самообразования. Повседневное общение в многообразной среде, приобретение общей, литературной и эстетической культуры. На такой основе происходило творческое возмужание, художественное восхождение от первых рассказов «Нянька», «Семья», «На барках», написанных в нижегородской «одиночке». Начал печататься в газете «Судоходец», в сборниках «Знание», в журнале «Просвещение»,создаваемом при условии: «беллетристику... пускать только демократическую, без нытья, без ренегатства». В эти издания Касаткину открыл дорогу М. Горький.

Рассказы о крестьянских детях — «Петрунькина жизнь», «Силантьево детство», «Нянька» и другие — во многом автобиографичны. Горький по ним определил дарование:

«Работайте, мне верится, что вы человек способный и серьезный, верится, что у вас хорошая душа». Дело пошло. В начале тридцатых, после издания трехтомного собрания сочинений, известный писатель и редактор Иван Касаткин напишет Горькому: «Четверть века минуло с той поры, как в костромских лесах, в ссылке, я получил с далекого Капри первое ваше письмо, первую критику на мои писательские шаги и ободрение. С тех пор и доныне, где бы я ни был, всюду мне сопутствовал ваш голос неповторимого учителя и друга». Вспоминалось давнее наставление писать мужика крепкими, суровыми словами, резкими красками, не подсахаривая действительность — «она и без того красива и дьявольски вкусна, не смотря на горечь свою». Вспоминалось давнее пожелание: «Был бы рад и счастлив, если б Вам... удалось написать ряд небольших рассказов и очерков на тему о том, чем живет, что думает деревня наших дней, какие знаки оставило в душе ее недавнее прошлое».

От первых рассказов, полных ласкового, детского отношения к жизни, мечтаний и ожиданий, к показу сурового, вылепленного резкими красками мужика продвигался Касаткин. Много страниц посвятил он крестьянской доле. Конечно же, видел и знал жизнь во всем многообразии, но высказывал в первую очередь то, что особенно волновало: обесценивание трудового человека в деревне и в городе, конфликты между городскими и пришлыми, отчаянное стремление «залить водкой ощетинившуюся тоску», судьбы изгоев деревни, почему не удается прирасти к армии наемного рабства, как приходит понимание того, «откуда, что, чего и как». В рассказе «Осенний ветер» невесть откуда появляется толковый парень, врезается в спор с разъяснением: «Времечко придет, и эту твою землю из-под тебя выдернут. И будешь опять на чужого дядю медведем ломить. Так оно и пойдет колесом, пока жернова в твоей башке не обмелются. Раскусил?» Читая любой рассказ, чувствуешь внутреннюю напряженность и энергию авторской речи, доскональное знание народного быта, народных характеров. Понимаешь, что напрасно, а все равно хочется предположить, в какой межевской деревне жили прототипы многих персонажей из тех горестных и удивительно живописных произведений.

Современники высоко ценили художественные достоинства рассказов «Мужик», «Лоси». Горький писал Касаткину в 1915 году: «Читал «Лоси». Очень не дурно, очень!» Сергея Есенина в этом рассказе особенно привлекало точное, яркое, лиричное изображение природы. Критики отмечали мастерство писателя, некоторые из них считали, что этот

рассказ — шедевр пейзажной живописи. Иногда аттестовали Ивана Касаткина бытописателем русской деревни. Но он исследовал не деревню вообще, а «раскрестьяненную» часть. Деревенские изгои предстают перед читателем в городских окраинах, слободках, на унженских, камских, волжских речных путях. Люди покидают родной кров, потому что «утеснены начисто». Безземелье, долги, недоимки — все несет «домоседам» погибель. Уход на сторону, отходничество — возможность «оклематься». А там, где гулом и звоном выковываются деньги, выстоять можно умом да смекалкой. Обездоленность речников, временных работников, нуждой оторванных от земли, с высокой художественной убедительностью показана в рассказе «На барках».

В людском круговороте между городом и деревней, в непрестанном движении «народной массы» Касаткин анализировал и обещающие начала; глубоко проникая в действительность, он видел не только признаки испуга, смятения перед хитро устроенной жизнью, но и пробуждение, рост самосознания. В отличие от многих писателей того времени наш земляк увидел в мрачной деревенской действительности приметы тяготения к единству с рабочим классом.

Было письмо Касаткина к Бунину, опубликованное в журнале «Вопросы литературы» по поводу повести «Деревня». В нем выражено уважение к бунинскому таланту, но и несогласие с неправомерной односторонностью (подчеркнуто — негативного) изображения мужика; потому что, хотя деревня неустроенная и мрачна, ее «сердцевина и силою велика, и духом светла». Свою творческую позицию Касаткин отстаивал в литературно-критических статьях, отмеченных глубоким знанием современного ему искусства слова. Собственные его рассказы покоряют не сюжетными хитросплетениями, очарование — в умении свободно располагать словами, в том волшебном умении, «которым так великолепно владел Касаткин и которое, быть может, представляет главную прелесть его творчества» (Вс. Иванов).

Работать приходилось много. С первых дней Октября был активным борцом за упрочение и защиту Советов, на ответственных постах развертывались его блестящие организаторские способности. Ездил по фронтам, контролировал исполнение декретов, занимался ликвидацией беспризорности. В послевоенные годы был членом литколлегии Наркомпроса, заведовал отделом художественной литературы Госиздата, редактировал знаменитый журнал «Красная нива» и другие издания. Много сил и времени отдавал литературному строительству. Был в числе организаторов Союза

советских писателей, делегатом первого съезда. Возглавлял Всероссийский союз писателей в 1929—1932 годах — одну из трех крупнейших творческих организаций, в нее входили В.Вересаев, Л.Леонов, А.Малышкин, М.Светлов, Н.Тихонов, А.Толстой, Новиков—Прибой и другие известные писатели, а всего около 400 литераторов. Он ратовал за создание в литературных кругах товарищеской атмосферы, за чуткий подход к писателям, одним из главных условий роста молодой литературы считал творческое усвоение классических традиций, видел опасность в комчванстве, групповщине. И постоянно искал, поддерживал новых авторов. Рукописей ему присылали много, но истинно талантливые, как и в наше время, попадались редко. Умел восхищаться удачами, конечно, иногда ошибался в оценках.

Двадцатые—тридцатые годы во всех отношениях были бурными, они возбуждали творческое воображение, приносили замыслы и тревоги. В суматохе явлений не забывалась малая родина. Иван Михайлович всегда поддерживал связь с земляками. По его инициативе в Барановице открыли избу-читальню, почетное шефство решением общего собрания крестьян было возложено на него. Присылал он книги и для создания библиотек. В 1925 году в «Правде» была опубликована заметка «Как я шефствую в одиночку». А когда на Меже организовалась первая коммуна, крестьяне с помощью земляка приобрели трактор «Фордзон» и молотилку. На Меже помнят добрую многолетнюю заботу (в. Георгиевском его именем названа улица). Заботливо собирал материалы историк и краевед Б.И. Хлупин, я получил от него несколько посланий. Он же разыскал интересную переписку Касаткина с земляком Дмитрием Ивановичем Кокаревым. Сколько в тех письмах проницательных советов и наставлений об устройстве новой жизни, рекомендаций по борьбе с неграмотностью, суевериями! Дыхание первых лет советской власти на деревне чувствуется в каждом письме. Избу-читальню назвали именем Касаткина, потому что он первый «бросил в наш темный и далекий от городов угол как бы светлый луч».

«Живется трудненько, — писал он. — Но трусить нам нечего: одолеем! Еще подождите годочков несколько, и особый Народный Дом построим!» Особый дом, чтобы просвещать и культурно поднимать мужиков, открывать им новые жизненные интересы и давать понимание красоты.

А в Москве говорил землякам н товарищам:

— Поеду в свою родную деревню, организую в нескольких селах читальни, школы, подниму уездную газету.

И приезжал. Умел помогать и словом, и делом. И первым радиоприемник прислал, и первый киноаппарат. Находил время посмотреть и оценить местные спектакли, присутствовать на собраниях. Занятый творчеством, редакторскими, общественными делами, все время был мыслью и мечтою около своей деревни. В «Крестьянской правде» (1924 год) опубликовал письмо: «Каждому выходцу из крестьянской среды мне хочется крикнуть: «Не забывай свою деревню! Держи с ней, безграмотной и темной, постоянную и крепкую связь! Если ты не жиреющий нэпман, не безнадежный мещанин, не окончательно усохший чиновник, вспомни свою родную деревню, спишись с ней и сумей придти на помощь». Нет, не сумели выходцы из деревень помочь родной стороне. И государство не уберегло земледельческий лад. Вновь зарастают поля бурьяном. Поучительный опыт земляка, может быть, сгодится еще при общей нашей тревоге за то, что не найдены пути возрождения деревни, сельского образа жизни, подлинно народной культуры.

Писатель, называемый «самородком», по свидетельству Вс.Иванова, задумывал эпическое произведение, имел уже вводную главу к большому роману о высокой любви. Мечтая сделать совершенной жизнь русского мужика, подступал в 1910—1930 годах к этой теме рассказами «Дуняша», «Летучий Осип», «Из жизни странника», «Унжаки». Он признавался: «Порой мне кажется, что я жил тогда ради этой великой темы, которую хочу сейчас разрабатывать». Но замыслу не суждено было осуществиться. Автора будущего романа «взяли» ночью, не оставив права на переписку, чтобы никогда не вернулся... В чем была его вина? В чем виноваты представители левого крыла крестьянской культуры? Почему через тридцать лет межевские знакомые Ивана Касаткина робели показать книги его и письма? Посмертная реабилитация писателя позволяет каждому желающему в новом веке найти свой ответ на эти вопросы...

Только в 1957 году издатели возвратились к Ивану Касаткину: лучшие рассказы из трехтомного собрания сочинений вышли отдельной книгой. Внимание к его творчеству позволяет нам из другого века лучше видеть историю родной земли, чувствовать особенность собственных истоков и понимать подлинные достоинства людей, рожденных в глубокой провинции. Такое понимание укрепляет любовь к землякам, которые нередко в коварных переустройствах оказываются без вины виноватыми, лишенными возможностей на хорошем уровне реализовать свой талант...

СУСАНИНСКИМ ТРАКТОМ И ДАЛЕЕ

По страницам блокнотов

Трудно понять козыряющего нынче тем, что он не испытывает чувства любви к малой родине и отрицает патриотизм, не признает его как одно из наиважнейших достоинств гражданина. Не знаю ни одного истинно русского писателя и поэта, кто умел бы работать без кровной, жгучей связи «с каждой избою и тучею, с громом готовым упасть». Чувство родины ни при каких обстоятельствах, идеологических и клановых давлениях выветриться не может. К сожалению, результаты творческой работы страдальцев за Отечество вдруг оказались невостребованными, назывались мешающими усиленному реформенному процессу. Потому, думается, повторялся некий революционный метод давления на высокие чувства инакомыслящих. Печать активно цитировала давние установки из статьи «Просвещение и революция». В ней высказаны мысли о том, что надо отбросить преподавание истории в направлении сознания народной гордости, национального чувства. Нарком просвещения Луначарский настаивал: обязательно должно быть отброшено преподавание истории, жаждущей в примерах прошлого найти хорошие образцы для подражания.

Такие категорические установки вполне интеллигентного, занимающего высокий пост лидера были рассчитаны на то, что будут сломлены сознание и дух русского человека, потому и предполагалось установочное влияние на всю духовную жизнь, на творчество, в том числе и на литературу. Народный комиссар просвещения называл пристрастие к русскому лицу и русской речи, к русской природе «иррациональным пристрастием, с которым, быть может, не надо бороться, — смягчался он в комментариях «установок», — но которое отнюдь не надо воспитывать».

1. «Когда-нибудь потом...»

Ясным и теплым днем около десяти лет назад два нетороплливых пешехода оказались попутчиками на Проспекте Мира. Давно, с шестидесятых годов, были знакомы как студент и преподаватель, но несколько лет не встречались. Иногда в осмыслении перестроечных событий слышался мне из давней студенческой аудитории голос читающего лекцию молодого ученого: «Никому не дано право переписывать историю. Только научно анализируя подлинные события, документы, факты, судьбы, можно оценивать содержание исторических периодов, через всеобщую связь выверить значение политических и социально-экономических перемен». Не утверждаю, что этим порядком слов была высказана мысль, но именно такая позиция ученого была наставительно обозначена. Видимо, были у меня основания об этом не раз вспоминать в период общественных потрясений.

Увы, так случается: и в одном городе не всегда вовремя окликаешь необходимого человека, ограничиваешься тем, что помнишь, знаешь о последовательной надежности его и преданности главному делу — это говорю в оправдание собственного промедления. Давно возникла необходимость встречи по литературному поводу да все не осмеливался тревожить профессора. И вот удача! Значит, пришел срок. Конечно, заинтересованно разговорились. Оказалось, Владимир Леонидович Миловидов читал мои книги, обо мне знает больше, чем я о своем институтском преподавателе. О, эта ученическая, студенческая невнимательность, не всегда она компенсируется и взрослой благодарностью нашим учителям.

Признаюсь, к стыду своему, еще не прочитал даже документальный очерк профессора о бывшем губернском военном комиссаре Николае Алексеевиче Филатове. Книжка «По убеждению» была издана Верхне-Волжским издательством под редакцией нашего костромского прозаика Бориса Гусева — такие ориентиры могли бы вызвать любопытство, переключить внимание от других интересов. Имеются еще важные тематические совпадения, сближающие труд ученого и писателя: книга памяти, история и люди костромского края, полемика по проблемам провинциальной интеллигенции, широко известные научные труды, многолетний авторитет историка. Знания его необходимы не только студентам, аспирантам, педагогам, но и творческим людям. Перед ним нужно признавать свою невежественную поспешность и верхоглядство в оценке событий XX века, недостаток знаний

по истории родного края. Он с пониманием прощает, но помнится его преподавательская деликатная требовательность.

— Привлекает еще одна интересная тема, — говорит Владимир Леонидович, снисходительно выслушав покаяние, опять демонстрирует талант неназойливого введения в науку, в сферу своих исследовательских интересов, удивляет умением подготовить собеседника к восприятию. — Патриотический энтузиазм, революционный пафос и творческий романтизм в сочетании. Разве порицаемые нынче понятия? Разве история и литература не имеют взаимных связей? — Он клонит рассуждение в необходимом ему направлении.

— История для писателя, имеющего особый дар художественно исследовать мир, возвращаясь к фактам минувшего, может быть удивительным зеркалом, которое дает ему отраженное состояние народной души под влиянием тенденций общественного развития, — пытаюсь сказать что-то в этом роде. — Исторический писатель в пределах эпохи создает типические характеры, обобщенный образ времени, приподымает повествование над фактами.

— Романтические сочинения тоже согласуются с историей. Романтика и приключения. «Красные дьяволята» Бляхина, например...

— Был такой общественный деятель и сочинитель, — говорю. — Писатели что-то редко упоминают коллегу, иногда — только для отрицания романтического опыта по принципу: критикуй всех, чтобы самому в собственных ощущениях выглядеть значительнее.

— Сейчас такое время, многие норовят плюнуть в прошлое.., — тихо сказал Владимир Леонидович и плавно перевел разговор на другую тему.

Через несколько лет получаю книгу с дарственной надписью — подтверждение догадкам: тогда уже Владимир Леонидович работал над повестью «Рожденный временем», посвященной судьбе, жизни и творчеству революционера, администратора, писателя, кинодраматурга, журналиста. Осмысливал материалы центральных и местных архивов, произведения, речи, дневники и письма, воспоминания о нем, газетные и журнальные публикации разных лет, стенограммы заседаний и съездов.

Понимая переменчивые обстоятельства смутного времени, автор обратился к читателям с пояснениями, начав вопросом: «Знакомо ли вам имя — Павел Андреевич Бляхин? В свое время оно было широко известно людям разных поколений. Одни знали его как революционера-подпольщика, другие — как общественно-политического деятеля, третьи

— как писателя, сценариста и журналиста. Но особенно по-пулярным стал этот деятель с появлением на экранах филь-ма «Красные дьяволята», поставленного по его повести. Многие годы фильм не сходил с экранов страны, вызывая восторженные отзывы зрителей. Но прошло столько лет и каких лет. И кто-то скажет:

— Не такое сейчас время, чтобы вспоминать и писать о нем.

— А разве не жили такие люди? — ответят другие. — Разве не интересна и не поучительна их судьба? Разве не были они сынами своего времени?».

Вот эта позиция ученого, высказанная без скучной нау-кообразности, конечно, опять удивила и порадовала меня: она проявилась в развитии новых тем, в любопытном анализе ко-стромской общественной жизни после революции. «Время рождает своих героев. Как цементирующий раствор оно скрепляет конструкции исторического здания...Народ без прошлого — это народ с непредсказуемым будущим. Нра-вится или нет наше прошлое, но это наша история и другой уже не будет. Не торопитесь осуждать время и людей, жив-ших тогда. А постарайтесь узнать побольше о них, о чем они думали, мечтали, как любили и страдали, и понять, почему дей-ствовали так...»

Предусмотрительный Владимир Леонидович с ученой дотошностью учитывает время, обстоятельства, особенности читательского восприятия. «Читая книгу, кто-то подумает, что автор нарисовал образ идеального человека, наделил своего героя такими чертами, которых у него не было, а что-то скрыл. Но это не так. Восторженные отзывы разных людей о Бля-хине не выдуманы. И никто не заставлял их так писать, го-ворить о нем».

Так заявлено с первых страниц и подтверждается увле-кательным повествованием, в котором вдруг обнаруживаю ху-дожественные способности. Для меня важно признание Владимира Леонидовича: «автор нарисовал образ». Радуюсь, потому что оно соответствует моему давнему предположе-нию: хороший ученый — непременно творческий человек, способный не только научными доказательствами показы-вать значение личности, представлять типических участников исторических событий, но и создавать яркие художественные образы. К сожалению, мы стереотипно воспринимаем давно знакомого ученого, писателя или художника. Нам не удается чувствовать все возможности вечно занятого, увлеченно ра-ботающего в одном главном направлении талантливого че-ловека. Но появляется у него новый замысел, постепенно

складывается стечение обстоятельств — и выявляется вдруг, что предвосхищалось. Мое студенческое восприятие интеллигентного молодого ученого было вопросительным: а что интересует его кроме науки, кроме обозначенного в темах программных лекций? И вот пришли ответы — они в интересной книге, особые достоинства которой еще предстоит определить по научной, исторической и художественной принадлежности.

Удачная композиция по главам, убедительное описание переломных обстоятельств, постепенно прорисованы конкретные трудности становления новой власти — все интересно подано. Весной девятнадцатого года бушует гражданская война. В Костромскую голодающую губернию приезжает уполномоченный центральными органами партии большевиков А.В. Луначарский. Он вскрывает недостатки в работе местных органов, порождаемые «непродуманными, противоречивыми, несогласованными директивами центра», обнаруживает вопиющие факты пренебрежительного отношения к жителям деревни: многочисленные реквизиции хлеба, фуража, лошадей, мобилизации крестьян, различные повинности, ускоренное насаждение социалистических форм хозяйствования. «Многие работники допускали грубые нарушения законности, творили произвол в отношении крестьян, злоупотребляли служебным положением». Луначарский резко осудил безобразия и помогал местным органам изменить отношения с крестьянами. Павел Андреевич, возглавлявший Костромской губисполком с января 1918 года, принимал замечания и на свой счет. С уполномоченным он побывал в Галиче, Буе, Красном, Нерехте, Плесе, Самети...

С первой главы выразительно и конкретно задана ситуация. Вот, думаю, напрасно упрекают людей старой закалки за идеализацию прошлого. Представлены руководители в экстремальных условиях. Невольно возникает интерес, а кто он, этот первый «губернатор», откуда родом, кто по происхождению, почему и как попал в Кострому под другой фамилией — Григорий Матвеевич Сафонов, почему в период становления Советской власти часто менял должности, чем привлекательна личность революционера, политического и общественного деятеля, как складывалась его судьба, какие совершал ошибки, в чем особенность его литературных произведений? На многие исторические, краеведческие и даже литературоведческие вопросы нахожу ответы в этой книге.

Удивил, порадовал Владимир Леонидович! А мы — то привыкли видеть его научно сосредоточенным копателем архивов и не удосуживались пересчитать его труды, не оставалось

у нас времени даже на это, потому и стыдно признаваться: «Извините, не читал с подобающим вниманием самые близ—кие по тематике книги и статьи. Но вот эту». Он, широко эрудированный, скромный и предупредительный, опять про—щает и, поняв мое намерение рассказать в большом очерке о нем и его книгах, просит:

— Не надо обо мне писать. В наше смутное время не хочется лишний раз привлекать внимание к себе и своим героям. Может быть, когда—нибудь потом, а сейчас не надо.

Знаю, откладывание на когда—нибудь может перерасти в охлаждение, в забывчивость, в утрату чувства долга. Потому вписываю блокнотные страницы в подборку для новой книги, чтобы обозначить Владимира Леонидовича в общем ряду своих современников, которых называю редкостными земляками. И даю краткую справку. Родился он 24 июня 1931 года в семье сельских интеллигентов (село Введенское Чухломского рай—она). Мать — учительница, отец — ветеринарный врач. С отличием окончил Ярославский государственный педагоги—ческий институт им. К.Д. Ушинского. Первую диссертацию защищал в МГУ им. М.В. Ломоносова. Там же и вторую — на соискание ученой степени доктора исторических наук. Звание профессора присвоено в феврале 1978 года. Трид—цать шесть лет заведовал кафедрой истории КПСС, полити—ческой истории, истории России. В ответах на вопросы очередной анкеты написал: «Руковожу научными направле—ниями «Интеллигенция и общество» и «Костромской край в истории России». Автор и редактор более 200 научных и методических работ. Руководил (совместно с другими кол—легами) авторским коллективом многотомной «Книги памя—ти», исторической энциклопедии «Кострома». Подготовил большую группу кандидатов наук: каждого провел через ас—пирантуру, каждому давал советы по диссертации, внима—тельно читая и редактируя.

Для перечисления всех трудов, званий, наград, принад—лежностей к академиям, участий в научно—методических, кан—дидатских, докторских советах при Минпросе РСФСР, при госуниверситетах и трех страниц не хватит. Хотя это важно, тоже говорит о человеке. Но и по одной убедительной книге «Рожденный временем» можно узнать достоинства личности, особенность таланта, представить и оценить незабвенный вклад Владимира Леонидовича в науку, в судьбы молодых ученых. Когда—нибудь потом, много позднее, изучающие историю род—ного края и Отечества, вчитаются в его научные исследования, документальные произведения и почувствуют историческую правду, подлинное дыхание того времени, когда «старый мир

давал трещины, и все вокруг сдвинулось с места, с шумом и грохотом, как весеннее половодье, понеслось по неведомому пути»...

Объемный исследовательский труд доктора историчес—ких наук, профессора В. Л.Миловидова высоко оценивают ведущие ученые страны. На кафедре истории России под его руководством сложилось научное направление «Интел—лигенция и общество», оно получило признание научной об—щественности и в Министерстве образования РФ. Новое направление для творческих людей интересно разработкой проблемы «Власть и интеллигенция». В русло этого направ—ления вписывается книга «Рожденный временем» — ученый, работая над повестью, перспективно провидел актуальность и социально—политическую значимость таких исследований в настоящее время.

2. И встретимся вновь

Сохранились в переездах и переселениях давние блокно—ты. Сам собой через много лет доволен: молодец был, записы—вал, радуясь встречам с интересными современниками. Записывал, потому что ценил земляков и следовал советам бы—валых людей: придет день и час — пригодятся, будут целебно полезны добрые воспоминания. По заметам в блокноте, как по вешкам, можно выйти к былым разговорам с необходимым че—ловеком, взять в пример для других его судьбу. Такая ноша не тянет, а в трудную минуту помогает преодолеть отчаянное чувство одиночества, когда кажется, что все забыли о тебе, не понимают твоих стараний для них же.

Ностальгически вспоминаю встречи с земляками в Ме—жевском районе. Именно в центральной библиотеке было дано ощутить себя на родине в «кровной связи» под пристальным неравнодушием читателей, задавших много жизненно важ—ных вопросов. Вспоминали, угадывали от каких людей выс—троились у меня художественные образы и драматические коллизии в повестях и романах, чем навеяны сюжеты рас—сказов. Вписался в разговор сравнительный анализ с тем, о чем рассказывал в свое время другой наш писатель — Иван Михайлович Касаткин. Конечно, библиотекари упомянули его заботу о просвещении и культуре в деревнях «волчьей сто—ронки» — в глуши забытых селений. Он присылал книги, содействовал открытию изб—читален, приезжал посмотреть и оценить спектакли народного театра, наставительно пере—писывался с активистами культуры. Слышался, слышался мне

в этих воспоминаниях упрек — вопрос: население в районе после войны уменьшилось в шесть раз, библиотеки и школы приходится закрывать, остаются они только в центральных селах, дорогу асфальтированную построили, а люди почему-то не возвращаются, что надо предпринять, чтобы оставшееся сберечь от разрухи и забвения?

Дотошный народ все-таки, неравнодушный. Библиотекари земляков понимают, но отчетливость позиции для них обозначить надо. Вот и откровенничаешь, признаешься в своих печалях. Но и надежда еще не утрачена. Современные преобразования в России с закономерными потерями определили возрастающую роль библиотек. Вновь надо взращивать почтение к собственным традициям, к родному языку, к искусству слова — художественной литературе. Напоминаешь то, что они и сами хорошо знают: русская литература всегда была одновременно философией, историей, проповедницей морали добра и сострадания. Сколько было на этих встречах здравых суждений, сердечных свидетельств понимания, примеров совпадения трагедийных эпизодов из реальной жизни с происходящим в судьбах литературных героев. Удивило живое прочтение вложенного автором «между строк» — в преднамеренном и самим повествованием естественно выстроенном подтексте. Они хорошо понимают ради чего складывался роман.

Подобные вечера и встречи учат ценить собственные достояния, которые возрастают только от сердечно восприятого на родине. Свое родное всегда дороже чужого. Свой стиль поведения более соответствует состоянию души. Говорят, скорей бы прошло время эстрадной подражательности, выстраиванья неестественной жизни по чужим образцам: в подражательности люди словно бы перестали видеть, слышать и чувствовать самих себя. Им кажется, что поспешно забывают люди простое правило: собственное культурное пространство оберегает самобытность дарований, может преодолеть посеянное средствами информации пассивное потребление псевдокультуры, уберечь от этого увлечения детей и возродить в провинции иммунитет против духовной пустоты, усилиями одаренных и почитаемых земляков сохранить свой взгляд, свой голос, чувство меры и красоты.

Расставаясь, говорим о желаемых переменах и надеемся с хорошим настроением встретиться вновь, чтобы еще раз погоревать об утратах, поискать согласованные пути для сбережения оставшегося, для продления чистой и свежей деревенской молодости — не своей личной, а той молодости деревни, какая совсем недавно еще была образом жизни в глухом краю.

3. А прочитаешь — поймешь...

Работаешь и греет надежда: вот сложится книга, когда-нибудь выйдет из печати, кто-то любопытный прочитает, с претензиями или в благодарности отзовется. Не перевелись еще читающие неравнодушные люди, даже в столице иногда внимательно читают наши хроники провинциальной жизни. Известный критик Ирина Стрелкова, обозревая издания последних лет, остановила внимание на романе «Вольному воля» и книге повестей «Самое дорогое». Профессиональные суждения могут быть полезны тем, кто еще не заинтересовался, не удосужился всмотреться в художественный мир, выстроенный осмыслением конкретного жизненного «материала» из костромского пространства, потому в книге, посвященной юбилею области, цитирую часть журнальной рецензии «Крестьянские хроники XX века».

— Много сейчас выходит книг по истории. И краеведческая литература, и исторические романы. Но есть в этом ряду книг о былом явление удивительное. Это явление — крестьянские хроники XX века, написанные детьми и внуками — теми кому на самом деле досталось куда больше увидеть, услышать, пережить, понять, запомнить...Вот где бесценный материал для историков — чистая правда народной жизни XX века, когда все исторические катаклизмы, переломы и повороты никого не обошли, вторгались в каждый дом, в каждую семью.

Как люди выжили? Как вообще можно было выжить в невыносимой жизни? Свой ответ на этот вопрос находит Василий Иванов, сын Тимофея и Дуняши Ивановых. Находит в лагере, в который попал после войны: «Ты способен думать о других — значит еще есть на этом свете, еще жив, не уничтожен, не растоптан».

К первой главе этой книги дан эпиграф: «Допамятуй до сроку, да напамятуй мне». Мучительный путь человека мимо четырех нежилых деревень, растерзанных отчуждением и беспамятством. Мучительные мысли о старшем брате, погибшем на войне: мало писем, не сыщешь документов в военкомате, одна только сохранилась фотография. А дальше что? «Вот не станет меня — и не будет уже моей памяти, все невысказанное исчезнет, словно ничего и не было...» Неприкаянность как итог XX века. На своем родном пепелище русский человек даже не иностранец, как в известном стихотворении Есенина, а беженец. Надо вернуть неприкаянному память, вернуть опыт прежних поколений, он горек и целебен. «Разве в правде нашей и печали нашей нет положительного? —

пишет Михаил Базанков обращаясь к своему герою хроники Василию Иванову. — Разве терпение твое, Василий, страст—ное желание справедливости — не есть положительное?». И дальше он напоминает сегодняшнему, завтрашнему чита—телю: «Ничто не происходит только сегодня в наших судьбах, все начиналось когда—то раньше». Вернуть человеку па—мять — значит вернуть ему жизнь. В этом история отца Василия Иванова — Тимофея, контуженного в бою, ставшего беспамятным и безымянным. В госпитале установят его имя, найдут, откуда призывался. Но вылечит, вернет свое про—житое только возвращение в родную деревню. И самые яркие страницы у Михаила Базанкова те, где все сущее освещено радостью узнавания.

А рассказанные в книге женские судьбы еще раз под—тверждают известные слова Федора Абрамова, что войну вы—играла русская баба. «На работе искала она облегчения, а на работе и надорвалась», — говорят о жене Тимофея Дуняше деревенские женщины, жалея ее и понимая, потому что каж—дая из них брала на себя сколько могла: чем сильнее тянет, тем больше надеются на нее... И есть в хронике примеча—тельный человек, не из местных, на лесопункте мастер учас—тка Виктор Васильевич Валков. Потом он исчезнет бесследно, но останутся отданные им на хранение Левоновне дневники и копии писем, которые писал Валков в разные высокие ин—станции по просьбам местных жителей. Отдал на хранение — значит, знал ценность своего архива. Вот где материал для историков. И наверняка на Руси еще лежат невостре—бованными такие неправительственные, народные собрания ценнейших документов...

Какие же силы были заложены в русском крестьянстве начала XX века, какие возможности открывались, как много уже было сделано тогда!... Но началась война, позабирали из деревень мужиков....Опять потребовалось терпение святых мучеников — мужество и стойкость. Советские официальные герои и пасынки нашего безжалостного века сделаны из од—ного материала. Это зримо себе представляешь, читая такие хроники. И маршал Василевский был сыном полка, и Ро—коссовский сидел по 58—й... ...Вершок всего в сторону — и другая судьба. Отсюда и присутствие в нашей жизни высо—ких надежд — чего в обществе благополучном не бывает, да оно и ни к чему при благополучии.

У Михаила Базанкова в повести о наших днях, вошедшей в одноименный сборник «Самое дорогое (Книга для родителей, учителей и старшеклассников)», есть эпизод киносъемок на вокзале. Съемка как съемка, с вопросами из толпы, будут ли

платить за массовку. Работают местные кинолюбители, не доренки, не киселевы, но уже в чем-то поднаторевшие, опьяненные возможностью сотворить какую хотят картинку: «Рассказывай, тетка, свои бывальщины... Давай, пока время не вышло. Запишут на вечную память».

От нашего времени потомкам останется тьма фальсификаций, выполненных с помощью наисовременнейших технологий. Но противовес этому существует и существовал всегда, при любом тотальном агитпропе правящей власти, тому примером и такие хроники XX века, в них тоже проявилась национальная самовыговариваемость, о которой говорил на писательском съезде Валентин Распутин, как о коренной сущности русского языка, русской духовности.

4. «Один годик до столетнего юбилея...»

Издалека узнаю, радуюсь: Михаил Сергеевич Колесов — навстречу!

— Куда опять? — спрашивает с прищуренной улыбкой — всегда так смотрит по привычке живописца, на слабость зрения не жалуется еще и память не подводит. Сорок лет прошло-промелькнуло, а вот не забыл мою студенческую активность. — Спешишь, для кого-то стараешься, староста?

Была у меня такая «должность» — староста группы.

Душевный Михаил Сергеевич помнит. И мне его душевность, деликатное наставничество грешно забыть. Стопенность, обстоятельность и требовательную последовательность не только мои сокурсники помнят, любого из тех, кто знает этого художника, спроси — подтвердит: мастер требует серьезного отношения к рисунку, потому что в рисунке, по его пониманию, основа изобразительного искусства. Сам-то он серьезную жизненную и профессиональную школу прошел, потому и требовательность к студентам была обоснованная, убедительная, без придирок и нудных наставлений. Помню, «подкрадется» мягкой походкой и, словно бы затаив дыхание, наблюдает — ждет, когда студент увлеченными взглядами на натуру выверит свой рисунок, сумеет уточнить переходы теней и света по изменениям формы, а спросит очень тихо: «Видишь, карандаш своевольничает в каком переходе?»

Точно, возле обозначенного «шашечками» перехода мы остановились, чтобы оглядеться-определиться в пространстве. Переждали дозу автомобильного потока и согласованной походкой локоток в локоток пересекли улицу, чтобы продолжить путь до мастерской. Конечно, беседовали на разные

темы — все о том же, о жизни: какой была, какая — теперь. На вопросы Михаил Сергеевич отвечает без особого унынья:

— Живу, как положено. Топчу землю. И она меня терпит пока. Работаю вот, этюдная пора. Время старческое, всю зиму просидел в квартире, а пришла пора еще раз этюдная, — так выразил он свое восприятие весны. — Трудновато одному. Быт заедает человека преклонных лет: еду сготовить, прибрать в квартире и в мастерской — на все ловкость нужна, но в руках не стало проворства, как раньше. На кисть и каранда́ш чуткие — привычно, метлу и совок плохо согласовывают.

Мудрость и терпение у него выстраданы были задолго до кончины жены и других родственных утрат. С детства он терпеливый, собранный и аккуратный. Рос в большой семье, был седьмым ребенком. Отец считался лучшим мастером в артели маляров, но был тяжело болен. И потому младший сын рано оставил школу, торговал папиросами — пришлось подрабатывать «побегушками». А учиться хотелось, окончил краткосрочные курсы машинописи, пригодился в конторе загса. Когда подрос, поступил в школу при типографии «Красный печатник» на переплетное отделение. Рисование курсантам преподавал известный художник Николай Павлович Шлеин. С него все и началось: опытный педагог оценил способности подростка и пригласил в свою частную художественную школу «за так» — освободил одаренного ученика от платы за учебу. А дальше и пошло цепляться одно за другое: поехал по командировке Союза печатников в Москву на рабфак искусств, оттуда по способностям продвинули в институт живописи, скульптуры и архитектуры — так оказался в Ленинграде. Не возрадовались студенты в новых условиях от обязанности постигать абстрагированные понятия и авангардистские деформации натуры.

Н.П.Шлеин приехал из Костромы, нашел своего воспитанника на занятиях и спрашивает: «Что вы делаете, Михаил Сергеевич?»

— Ищу конструкцию формы и локальный цвет, — отвечает студент Колесов. Шлеин сочувственно посмотрел на него и, уходя, сказал: «Вижу, мне здесь делать нечего».

Позднее стало известно, что ректор института Маслов приглашал Шлеина на должность профессора. Только в 1932 году, по словам Михаила Сергеевича, с приходом в институт И.И.Бродского, Д.Н.Кардовского, Б.В.Иогансона и других ведущих художников Всероссийской Академии художеств были восстановлены прочные основы традиционной реалистической школы. С третьего курса Колесов был принят в мастерскую по выбору Кардовского, диплом защитил у профессора Павла

Шилинтовского на «отлично» И в 1937 году— домой в Кост—рому, на работу в училище Шлеина. В следующем году был принят в Союз художников СССР.

Это было давно, это было недавно, чуть больше шестиде—сяти лет прошло. А сколько событий прошумело, сколько всего пережить, передумать, перестрадать пришлось. Спасала жи—вопись, выручала любовь к рисунку, поддерживали настрое—ние студенты. Сказав об этом, Михаил Сергеевич опять с прищуренной улыбкой посмотрел на меня:

— И ты, Миша Базанков, никогда не огорчал. Слежу за тобой, читаю и думаю: это тоже хорошо получается, а мог быть и в живописи удачлив...

Он вспоминает других студентов по отличительным осо—бенностям — через многие годы впечатление пронес о тех, кто подавал надежды и кто их оправдал. В художественном училище и на кафедре изобразительного искусства Кост—ромского государственного педагогического института им. Н.А. Некрасова работал он более 50 лет. Многие творческие судьбы складывались при его участии. Михаил Сергеевич умел преподать урок мастерства по рисунку и живописи на долгие годы. Его пейзажи заметно вписываются в живопис—ные традиции А. Саврасова, И. Левитана, В. Бакшеева. Од—нажды народный художник Ю. Кугач на Академической даче, осматривая итоговую выставку, среди множества работ вы—делил самую лучшую — этюд М.С.Колесова «Мартовское солнце». Напоминаю ему об этом, а он говорит про особен—ное весеннее настроение при освещенном талом снеге.

— Надоела зима, засиделся. Редко бывал на вернисажах. Порадовался на выставке своего ученика Владимира Кути—лина. Он силен в жанровых картинах и в портрете, и в пей—заже. Волга постоянно вдохновляет. «Ветер с Волги», «К новому берегу» «Волжане». Философствует по возрасту. За семьдесят перевалило. А мой ученик. Целый ряд седых уче—ников, так—то. — Опять улыбается старина: есть кем гор—диться!

Идем к новой весне по 99—му году его разнообразной творческой жизни. Идем по судьбе, по картинам, словно по вехам событий и трагедий минувшего века. «Казнь Козуева», «Окопная правда», «Немцы прошли», портреты современни—ков, циклы работ «По Болгарии», «Рим и Флоренция», «Египет и Греция», «Музей—усадьба в Щелыкове», пейзажи «После—дний снег», «Пробуждение» и многие другие...

Возникает желание выстроить философско—этическое движение судьбы и названия картин приобретают символи—ческий смысл.

5. «Что ж, поговорим о внучках...»

Позвонила одна из самых приметных на костромском телевидении, последовательно работающая журналистка. Нынешние телевизионщики по столичному примеру не жалуют серьезных писателей, приглашают разве для фона в демонстрации собственной бойкой вольности, потому и пугаешься общения с некоторыми представителями средств массовой информации.

Ася Шароватова, как и обещала, напомнила через год мои слова о внучке Дашеньке, о том, что пора уже «не водить ее за ручку». С гордостью признаюсь: внук у меня подрастает, а внучек даже три — еще одна прибавилась с тех пор. Конечно, и другие неординарные события случались.

— Что ж, поговорим о внучках, — соглашается она и деликатной телефонной краткостью обозначает тему. — Итоги года, внучки, ручки и прочие интересы. В направлении сказанного раньше. Хорошо бы фотографию.

— Понятно, понятно. Может быть, и фото найдется.

Сдвинул на край стола лохматую рукопись, согласился на несколько минут уклониться от «пожизненной сладкой каторги», пойти под объектив: никак не научусь категорически отказываться от того, что самому-то мне и не требуется, привык работать в помощь, для других безоглядно стараться.

Усаженный в глубокое кресло, исполнил требуемый поворот и забыл, что под объективом надо соответственно выглядеть, что-то изображать из себя соответственно летам и общественному положению. Оператор доволен, Ася улыбается, обеспечивает настроение и направляет в «тему». Что ж, скажу несколько необходимых предложений. И обращаюсь к ней, как положено: добром отвечаю приятному человеку — миловидна она, душевно располагает. Благодарю за возможность оглянуться, чуть-чуть притормозить неумолимый бег личного времени и оценить мгновения повседневности. В моей судьбе каждый год богат на события. Уходящий — тоже. Всего не перечислить. Остановлюсь на теме — о внучках. Старшая теперь в аспирантуре. Понятно, мною неуправляема. А Дашенька, упомянутая год назад, теперь второклассница, часто удивляет открытиями. Кстати, прошлогодним сентябрем она была в том возрасте, при каком 24 года назад туманным утром первого сентября пошел в первый класс ее будущий отец — наш Алеша, младший сын. Смотрите фото-документ: счастливые папа с мамой ведут его гордого и тоже счастливого за руки...

— Да, мы говорим о внучках. Обещанное двенадцать ме — сяцев назад и названное зароком — исполнено. Девочка, спо — собная ориентироваться в большом лесу, забегать далеко вперед почему — то медлительного деда и высматривать не кое — какие, а лучшие съедобные грибы, одаривает надеждами. И учится она соответственно, правда, учительница говорит, что не всегда внимательна на уроках. Думаю, пока это не страшно. Увле — кается Даша, творческое волнение имеет. Без дела минуты не просидит, находит занятия сверх учебной программы, сверх до — машних заданий. Занялась самиздатом, печатает рукописно тиражом в один экземпляр, иллюстрирует и редактирует соб — ственные рассказы — издает в тысячи раз быстрее, чем это удается деду. Ну и о хлебе насущном умеет заботиться: раз — рабатывает кулинарные рецепты, чтобы овощной диетой ра — довать домашних гурманов. Уже получила роль наставницы младшей сестренки, плаксиво окликающей мир.

— Скажите о ней, только короче, — просит Ася. — Новое к Новому году.

— О, это еще одно чудо из чудес. Повторяю вновь и вновь свое восхищение: «Ах, женщины! Ох, эти женщины!» Что верно, то верно: они с пеленок являют свое очарование. Малышка на седьмом году, ой, нет, на седьмом месяце (мы невольно торопим время, когда дети малы), так вот эта шес — тимесячная малышка, как только спрошу «Лизавета, где ты?!», отзывается покоряющей улыбкой — значит, узнает. Она ра — стопыривает лучезарные пальчики правой руки, чтобы при — вычно поздороваться, прикладывает целебную ладошку к моей вздрагивающей ладони, а получается — гладит, ласкает душу. Такое ничем иным не заменить. Она утешает и врачует деда.

Журналистка ценит секунды, подает оператору сигнал «закругления», профессиональным жестом от чего — то от — махивается. Время — деньги. Рассказ писателя о прожитом и пережитом за год никому не нужен, умильная откровен — ность деда не впишется в замыслы редактора, житейские под — робности ни к чему: был шутливый зарок — вот и отчитайтесь для развлечения зрителей, скажите хохму или анекдот, что — нибудь о будущей свадьбе, про выбор женихов, например, но поинтересней — в предновогоднем духе.

Не стал деликатничать, отнекиваться. Что — то соответ — ствующее замыслу, запросам телезрителей, подходящее тре — бованию времени пробормотал, уже не боясь ничего, не думая, ни о чем не переживая — поторопился в угоду, лишь бы освободиться из глубокого кресла.

А вечером домашние, ожидавшие откровений с экрана, встретили меня длительным напряженным молчанием. На

следующий день перед повторным показом «Новогодних за—роков» жена выключила телевизор:

— Не смотри. Это тебе вредно. За вереницей бойких говорунов в конце передачи мелькнет кто—то седовласый с выпученными глазами. Испуганный, вдавленный в кресло про—бормочет несуразицу про каких—то женихов. Не твой голос, не твои слова. Ты гордился, хотел рассказать о внучках...

6. «О трудностях знаю....»

Бывали от него обстоятельные и лирические письма, а теперь все реже, печальнее, короче. Недавнее начато кон—статацией факта: в равнодушии к родному слову, к труду пи—сателей общество начало дичать. Разве не заметен такой удручающий процесс? — спрашивал Олег Михайлович и тут же сам приводил вереницу примеров из местной и столич—ной действительности. Понимаю, еще какая—то струна лоп—нула в его чистой душе, не умеющей жить без надежды. И соглашаюсь, конечно: современных писателей, живущих по всей российской периферии, не хочет знать лишь тот, кто считает литературу делом частным, кто думает, что государство, кото—рому нет дела до самочувствия творческих работников про—винции, до воззрений одаренных людей, не может быть просвещенным, цивилизованным. Такое беспокойство тоже было в письмах Олега Хомякова. А теперь он беспокойства свои не высказывает. «Знаю ваши трудности. Желаю пе—ремен к лучшему. В московском альманахе — моя повесть «Над ними Балтийское море». Опять —безгонорарно...»

Книги написаны, книги пишутся, но когда—то еще будут опубликованы, прочитаны. Сделано много и разнообразно: повесть «Сибирский бриллиант», роман—воспоминание «Судьба капитана» в двух книгах (первая печаталась в жур—нале «Урал»), документальная повесть «Гербарий памяти», ли—рическое повествование «Веселое кино» (в журнале «Енисей» по рекомендации В.П.Астафьева), сборники стихов, очерки, эссе, рассказы. Но теперь, по словам писателя, везде тупики: ко—стромская периодика ничего не печатает, альманах «Кост—рома» кто—то тормозит, областная писательская организация со всеми творческими накоплениями бедствует, семинаров давно не было, журналам за публикацию надо платить, если хочешь печататься...

Переменилось настроение. Еще недавно он сообщал: «Взбудораженный», по—своему вдохновленный очень пред—ставительной конференцией в сибирской Овсянке, я решился

(ты же знаешь мою пылкую, где-то и детскую натуру) на лирический разговор... с Россией. И получилось повествование «Семь писем Родине». Известный критик В. Курбатов прочитал — обозначил надежду: «Первые пять писем особенно хороши, последние послабее». Однако пробить два лучших письма на страницы журнала пока не удается».

Весь объемный труд не обеспечивает нищенского прожиточного минимума. Поддаваясь обстоятельствам, настроился на рыночную книгу. «Ну — раз надо, раз все туда — и т.д. Вот вам своеобразный сборник киноанекдотов». Но понял сочинитель, что и с этой «перестройкой» опоздал — на книжный рынок поперла забойная «порнуха», поэтому надо бы из себя нечто звериное сляпать. Олег посылает «к черту» идею рыночной книги и начинает болеть стихами «Русский век», пишет о любви, завершает объемную лирическую дилогию «Сердечной истины кристалл». И все складывает в тайники. Он возвратился на собственную позицию восьмидесятых годов, когда волновало Доброе Имя в литературе, когда перо подчинялось в размышлениях о вечных ценностях, о достойном человеке. Эта позиция — основа личности, уже познавшей востребованность по дарованиям.

Вернулся на родину после долгих странствий душевно спасаться... Здесь, в Шарье, воспитывался в семье потомственных железнодорожников. Было четверо детей. Жили дружно, интересно, каждый со своей мечтой. Олег получил золотую медаль за среднюю школу. Поступил на сценарно — редакторский факультет ВГИКа. После окончания работал редактором художественных фильмов на Свердловской и Одесской киностудиях. Увлекся, конечно, драматургией, но и поэзия не оставляла его в покое. Веселый, естественно эмоциональный редактор общался с талантливыми писателями, актерами — богатый у него опыт общения. Снялся в нескольких эпизодических ролях (фильмы Киры Муратовой). Оказался лауреатом республиканской премии за повесть для детей, премии еженедельника «Литературная Россия», имеет знак «Отличник кинематографии». Была увлеченная и результативная пора. Теперь — в роли пенсионера. В Шарью вернулся по семейным обстоятельствам: тяжело болел овдовевший отец. Остался Олег Михайлович в родительском доме с намерением осуществить давние литературные замыслы.

Трудно живется кинематографисту и писателю в профессиональной принадлежности к двум творческим Союзам. Но на людях по-прежнему он лучисто общителен, блистает эрудицией, артистизмом. Неравнодушный, интеллектуально

обогащенный человек иначе себя вести не может. Писатели, критики советуют чаще встречаться с читателями, раздари — вать благородное богатство словом. Но нет возможности по — ехать даже по Костромской области. «Все накопления ухлопал на ремонт печи да на дрова. Дрова были обещаны, по логике — будь в России хоть мало — мальски нормальная жизнь — родная городская администрация могла бы какие — то де — нежные крохи выделить мне на юбилей, но глава В. П. Не — сговоров (доходит до меня) стонет от перманентного черного безденежья».

Олег Хомяков пишет роман — портрет, роман — воспоми — нание, веселые повести и рассказы. Спасается тем, что ему дано и доступно. Иногда прорывается у него: «пребываю в стойком убеждении, что народ погружается в ужасное без — различие к подлинной культуре. Не будут люди покупать ду — шевные книги. Им сегодня ничего не надо по одной самой существенной причине...Но пишу, надеюсь. А как же иначе? Объемную рукопись посылаю — в подтверждение». В ответ — нет обещаний, только утешения и призывы ждать лучших дней. Сколько уже можно ждать? Потому этой заметкой «фиксирую» сочинителя в нашем времени, чтобы и чиновники знали: иного способа заработать прожиточный минимум у нас нет и быть не должно в соответствии с призванием. На — прасно ориентируют «упакованные» благодетели: «Нечего баловаться стишками, зарабатывайте топором или лопатой, если здоровье не позволяет, собирайте милостыню...»

7. «К своему берегу»

Патриарх костромских художников Михаил Сергеевич Колесов, осмотрев отчетную выставку своего ученика Влади — мира Кутилина, несколько раз повторил раздумчиво:

— Так, работает...Не почивает на лаврах. Работает, не ле — нится. Свою линию ведет осмысленно. — Склонил голову, переходя в первый зал, короткими взглядами скользнул по некоторым полотнам и добавил. — Мог бы лучше, дальше бы шел. — Хмыкнул с неизменным прищуром. — Семь десят — ков прошло, семьдесят...Помню, этого мальчика Вову на ноге качал. В доме у Шлеина часто собирались.

Владимир Александрович Кутилин возрастал под крылом отца — художника, можно сказать, в творческой среде форми — ровался. О нем иногда говорят: счастливчик, в сорочке родился, до пятидесяти пяти при отце. Что верно, то верно: завидуют возраставшие из — под снега войны в безотцовщине. А он это

знает, понимает и чувствует: предъявляется особый спрос, кому больше дано — с того и строже спрашивается. С детства шел торной тропой: художественная студия, художественное учи — лище, Московский институт имени В.И. Сурикова, член Союза художников России в тридцать лет, возвращение в родную Ко — строму, преподавание в училище и на художественно — гра — фическом факультете, успешное участие на Всесоюзных выставках, заслуженный деятель искусств РФ. Но налета ус — покоенности ни в поведении, ни в творческой манере не про — является. Даже юбилейную выставку готовил в сомнениях: что выставить, чем отчитаться? Потому и не успел к своей круглой дате, с опозданием почти на два года отчитывался.

Этапные, акцентированные картины по десятилетиям вы — страивали экспозицию. Среди множественного разнообра — зия теперь они наполнялись новым философским содержанием, в иных общественных условиях бытовые сюжеты приобре — тали особое звучание. Высвечивались иначе характеры, вза — имоотношения, душевные особенности людей. Внешняя привлекательность волжан отчетливее соответствовала тому, за что их ценит художник. Подтвердилось давнее признание Владимира Кутилина: только на Волге дышится и пишется естественно. Он — певец этой Родины, здесь истоки его фи — лософско — этических исканий в изобразительном искусстве.

Однако, почитатели его таланта, земляки, бывшие студенты, бравшие его уроки живописи, приглашенные отчетной экспо — зицией к размышлениям о жизни, творчестве, времени и о себе (я тоже в том числе), признавались, что ожидали от него выход на новый более высокий уровень живописного языка и вспо — минали примеры его былой собственной неудовлетворенности тем, что уже завершено. Например, в Суриковском институте под особым патриотическим настроением написал картину на тему гражданской войны, слегка подражая манере Евсея Моисеенко, вышел с ней на выставку, слышал хвалебные от — зывы, но собственное неудовлетворение не давало покоя и ре — шился «отсечь» верхнюю часть полотна, а передний план локализовал, усилил напряженность ситуации «зноем и пы — лью» боевого дня и получилась новая сочувственная картина о бойцах Гражданской войны под названием «Жажда» — по ней и приняли его в Союз художников.

Общеизвестно: оконченная картина, изданная книга ка — жутся авторам несовершенными, им хочется улучшить про — изведения, но оставляют как получилось — в первозданном виде, чтобы по прошествии времени было очевидно движе — ние — возрастание личности. Однажды на областной выс — тавке, обращая внимание зрителей к картине «Течет река Волга»,

мне пришлось говорить о том, что суть произведения, живописное исполнение, композиция, соответствующие философской направленности, дают возможность для другого названия, например «Свой причал». Осторожно подметил при этом: композиционное и живописное решение еще не выявили всего, что заложено было в замысле, — часто так в любом творчестве . Картина показалась мне незавершенной, но главное в настроении живописца угадывалось определенно. Эти мысли подтвердились под влиянием другого полотна, которое экспонировалось на выставке «Художники центральных областей России».

Именно там картина «К своему берегу» была центральным, заглавным произведением — устроители отвели ей ключевое место, выстраивая направленность размышлений о происходящем в центре страны. Российские живописцы пробиваются к познанию и осмыслению судьбы русского народа, освобождаясь от стереотипов современного массового сознания (об этом писал я в майском номере ежемесячника «Литературная Кострома», 1991 г.), думают о Родине, о месте России в цивилизованном мире. Сейчас важно это вспомнить: по словам одного обозревателя, картина костромича была единственная в своем роде на всех крупных выставках последнего времени, поскольку однозначно утверждает возможность самосохранения нации.

Никакие сложности, порожденные очередными социальными экспериментами в конце восьмидесятых годов, не удержали мастера от этого замысла, от работы на важный социальный заказ. Он сделал «шаг по пути формирования полноценного национального самосознания, свободного от активно приваиваемых комплексов». Особенно важно, что ценители выставки поняли, чем продиктован такой социальный заказ костромскому художнику — беспокойством за свой народ. В критическом обозрении с выставки отчетливо звучало: заказ получен «не вчера со Старой площади и не сегодня из штаб-квартиры «Дем.Союза», но точно почувствован в общественном сознании России, в сознании утомленных обманами...

«К своему берегу» — произведение, выполненное строго реалистически (такова костромская верность традициям неувядающей русской живописи), оно отражает объективную нацеленность в современном изобразительном искусстве: когда реальность ужасно деформирована, крикливо подражательна и разрушительно действует на новое поколение, кто-то должен сохранять правду состояния, нравственные и эстетические ориентиры. Такова позиция нашего мастера. Она прочитывается в неспешных произведениях — в жанровых

картинах, которые создаются не под сиюминутным настроением, а по глубокому размышлению в течение нескольких лет. Несомненна социальная необходимость нравственного звучания волжских сюжетов и в двадцать первом веке. В нынешней нестабильности такие картины могут душевно и философски укреплять. Под естественными простыми названиями открывается выверенная глубина содержания: «Волжане», «Внуки», «Ветер с Волги», «Годовщина», «У своего порога», «Под семейной березой».

Можно вспоминать, называть другие картины из богатого творческого разнообразия и каждая даст убедительное эмоциональное основание для серьезных размышлений в согласии или несогласии с философией художника ... Но бьется с непогодой упрямая лодка, режет пенистые гребни штормовых волн, пересекая возмущенную реку. Но решительно и непреклонно гребут устремленные к родному берегу мать и мальчонка. Но где-то на том берегу в тихий вечерний час после трудового дня мечтательно стоят у своего порога породненные светлыми чувствами молодые хозяева нового дома. Этим ребятам еще предстоит познавать нечто солнечное, прекрасное в естественной трудовой жизни, в которой счастье мыслится не купюрами, не этажами удобств, а взаимностью с природой.

Иногда представляю и самого художника в лодке, упрямо и терпеливо работает он веслами, правит выше того места, куда намерен приплыть. Каждый мастер знает это важное правило: надо брать выше, иначе снесет жизненным течением. Расслабился человек, доволен сделанным, поддается безвольно житейским ветрам или довольствуется устроенным бытом, почивает на лаврах и не замечает страдания других, все реже вздрагивает перед неожиданными мгновениями, перестает замечать торжество света и цвета. Вот потому и спрашиваю при встрече в центре города:

— Владимир Александрович, над чем душа печалиться? — вопрос для начала разговора. Знаю, возвращается он из мастерской после напряженной работы, прогуливается, чтобы освежить зрение, потолкаться среди суетливого люда и подкрепить размышления о жизни. Здесь, «на сковородке», не первый раз находятся у нас темы, сюжеты заинтересованных бесед, перерастающих в философские диалоги.

— Пришел бы в мастерскую, — говорит. — Три холста в работе. По настроению, по степени обдумывания продвигаю.

Знаю, легкие сюжеты не для него. Теперь Кутилин всматривается в характеры и судьбы, а через художественное осмысление образов продвигается в главном направлении. Вот и

появилась новая работа под названием «Жизнь пролетела», можно предположить, о чем заговорил мастер в седом философском возрасте, с какими думами продвигается на пути к истине шаг за шагом. Да, согласен он, недостижимая есть высота, но у подножия с коммерческим интересом топчутся многие, только единицы в обстоятельствах нашего времени остаются верными идеалам, идут на подъем. Кутилин из таких. Он всматривается в каждую интересную личность, чтобы увидеть в отдельном человеке, свободном от потребительского однообразия, еще одну грань бытия. Потому и перед незнакомым интеллигентом сочувственно останавливается, угадывая в нем силу духа, совестливость и честь. Может быть, об этом и слагалась картина «Друг». А какие думы вызванивают свечи, согревающие в сумраке не только букеты роз, но и продавщицу, наделенную терпеливым знанием о пережитом?

8. Решето чудес

Жил в Шарье любитель и знаток природы, душевный рассказчик Николай Сергеевич Шорин. Редактировал заводскую многотиражку, иногда печатался в журналах, наставительно выступал перед начинающими литераторами у нас на занятиях в литературном объединении «Земляки», дельные давал советы, делился любопытными наблюдениями за флорой

и фауной. Редко издавал тоненькие книжицы, одна из них ласкательно названа «Пушинки — золотинки». Помнится, по — эты и журналисты норовили подшутить над ним, писали па — родии на его зарисовки. Автор отшучивался: «Порхайте, ребята, по верхушечкам. Не будет меня — добром вспомните».

В столичном журнале появились его серьезные рассказы на музыкальные темы. В ежемесячнике «Литературная Кост — рома» была напечатана «неожиданная» в психологическом смысле короткая повесть «Спорина» о притворном завсегдатае рынка, носителе скопидомной коварной философии. Николай Сергеевич составлял книгу о земляках «Ветлужские рассказы», работал над романом «Двор на отшибе». Иногда присылал рассудительные письма — жизненные и литературные советы.

Жил — был добрый человек, напоказ судьбу не склады — вал, но забыть невозможно. Что ценил в людях, ради чего выстраивал свои заботы о других, на какие поступки был способен? Когда находился неподалеку, можно было навес — тить или неожиданно встретиться на улице. Наверно, са — мым близким он казался привлекательно интересным, дорогим и родным, а коллеги не знали цены его взглядам и терпе — нию. Но вот нет человека и начинаешь задумываться над сказанным когда — то, некоторые события и явления вос — принимаешь его взглядом, присматриваешься к тому, что его окружало, что он любил в людях, в природе, в серой повсед — невности. Именно с таким настроением прочитываю его газетный отзыв и воспроизвожу для сохранения на пользу читателям — школьникам и родителям.

«Получил книгу для детей «Чудеса в решете» и подумал: а по мне это — «решето чудес»? Вспомнились мудрые слова: «Для детей надо писать как для взрослых, только еще лучше. От этой требовательности меряя, посмотрим на новую по — весть писателя М.Ф.Базанкова, изданную «Литературной Ко — стромой». Общее впечатление от книги (хотя она, наверняка по экономическим соображениям, печаталась в районной ти — пографии, издана на газетной бумаге и без ярких красок — взглянем для сравнения на нынешние развалы шикарных изданий), заслуживает того, чтобы о ней говорить. Юный чи — татель в первую очередь сосредоточится на обложке, на дру — гих элементах оформления и обратит внимание на рисунки, выполненные автором...

Два десятка (в полстранички) рисунков, заставки, концовки, композиция на титульном листе без назойливой броскости, скромно и наглядно сопутствуют главным мыслям книги. Все исполнено в легкой ненатужной манере, четко, ясно, с любовью к детям, с учетом детской непосредственности.

Повесть рассчитана на детей среднего возраста. Точно рассчитана, но прочитать могут и дети помладше, и старшие школьники, даже родителям полезны такие книги. Главный герой повести Ваня Летунов и его братишка Василек зримо и убедительно заявлены автором. Разные по характерам, вроде ссорятся, как нынче говорят, конфликтуют нередко, каждый свою волю проявляет, но какие они дружные братья, краси—вые в родственных отношениях! Ваня незаметно, а все—таки «пыжится», желая выглядеть большим, он берет соответству—ющий тон там, где нужно. Ох, как неприятно, когда зовут «ме—люзгой», да еще и «сопливой». Но в деревне взрослые выражений будто бы не выбирают. И потому Ваня ранним утром спешит в тот мир, где можно самостоятельность про—явить. Сколько всего интересного ожидает его...

Утренняя встреча с игривыми белками благодаря воз—можности рассуждать, отвечая на вопросы верной собаки Арты, обнаруживает и показывает его осмотрительным, разумно бе—режливым: мол, нечего летом зазря зверьков пугать, не бегай, Арта, понапрасну, не суетись. По нашему взрослому разуме—нию, лайку в лесу не надо бы брать на поводок, пусть она учится, натаскивается по пушному зверю, а вот Ваня решает иначе. У него своя логика.

И во взаимоотношениях братьев привлекательная логика. В вопросах младшего, в интересных диалогах и в действиях обна—руживается любопытное начальное мышление — это надо по—нимать, слышать, чувствовать! Оно будто бы не угадано автором, а подслушано в реальности, потому художественно убеждает. Словесная вопросительная игра из этой книги может быть даже использована учителями и родителями в качестве примера. «По—чему собака на лапки не надела лапти?» —спрашивает Василек и, не дожидаясь ответа, сам выстраивает сообразительный ряд, тут же озадачивается другими вопросами. Такая игра удачна, и по возрасту в соответствии с замыслом. Познавательный ин—терес в действиях и скромность в поступках. У Василька она природная, просматривается как семейная особенность. Се—мья—то и есть нынче самая надежная основа, потому и при—влекательна позиция автора, еще и этим примечательна повесть.

Особым согревающим светом домашних отношений на—полнены главы, посвященные утренним сборам, «банной ком—пании». С каким знанием и чувством выписаны отношения детей и взрослых в семье. А чаек с «зам—маникой»? Куда там нынешним рекламным тусовкам до таких семейных засто—лий...А демонстрация диафильма (заметим, вместо всех этих нынешних грохотально—убийственных видошников) как про—писана? А деревенская кузница какова? Вот где начинается

мир и согласие между людьми, где формируется восприятие ценности человека по труду, где обретается собственное самочувствие и положение.

По всей повести автором разбросано так много добрых чудес из «решета народной жизни», что вправду поверишь: решето само и познания в нем чудесные, откуда только берутся они при такой трудной повседневности. Автор не играет в сказочность, он видит детскую способность каждодневно выстраивать собственные сказки без подражания поднадоевшим телевизионным крикливым торопыгам. В написании рассказов о детях и для детей — давно замечено — многих авторов частенько «заумь» уводит или в «сюсюканье», или в самолюбование. В этой книге художественное повествование естественно выдержано в доверительной тональности, передающей радость познания и преодоления первых трудностей. Автор сам провел детство в деревне, ему ли изучать жизнь на природе, «обыденки» сельской детворы. Потому его наблюдениям веришь, как своим...

Описания не всегда бывают лишними. Вот лисенок, он зверь, ему лес нужен; даже прирученный, он туда стремится. А глухарята? Верно, что молодежь из семейства тетеревиных к осени «пробует голос», учится токовать: тетеревята чуфыкать и гурлыкать, а глухарята пока что по-сухому щелкают створками клюва. Но это у них выходит без удачи, а они «как бы смущаются». Или есть у автора синий заяц. Как так? Может, это кроль? Беляк в такое время — серовато-дымчатый, а русак светло-коричневый, если быть точным. Значит, был беляк, да еще в особом освещении-восприятии. Если для образности, то и заяц может быть синим, и солнце черным...»

Так прочитывал наши книги независимый Николай Сергеевич. Помню, приехал я отблагодарить его за понимание, за добрые слова.

— Интересные зайцы получаются, — говорит он. — И медведи — тоже. А люди какие привлекательные выходят к тебе! Правильно видишь и слышишь. Живопись художественным словом — не копия с натуры...

Так по доброте своей он поддерживал во мне творческое настроение.

А я, прощаясь возле калитки, не знал, что видимся в последний раз, и потому бодрился, обещал Николаю Сергеевичу выбрать что-то из его ветлужских рассказов и включить в альманах. Посмотрел вдоль улицы на ярко-багровый закат, с поправкой на цвет процитировал строки поэта:

— Синие в зареве алом зайцы плывут на бревне...

— Все мы, ребята, синие зайцы, — тихо сказал он. — Но кто нас видит такими, кто догадается понять?

9. Сусанинским трактом и дальше

По праву старшинства Виктор Константинович Хохлов инициативно выстраивает земляческие и дружеские отношения в течение многих лет. Часто и благодарно вспоминаю: он приметил меня заочно по очеркам и рассказам в журналах, затем разыскал в Москве на Высших литературных курсах и даже вызвал к телефону, упрекнул: «Не сказываешься, земляк, почему-то не заходишь в редакцию, не присылаешь ни очерки, ни лирические этюды...»

Осознал свою вину, в назначенный срок поехал в издательство «Правда», поднялся высоко — в редакцию «Сельской жизни», из окна секретариата вместе смотрели за московский горизонт в костромскую сторону и душевно говорили, воспевая и оценивая достоинства родной стороны, упоминая интересных земляков, мечтали о возможных творческих перспективах. С того дня двадцать лет промелькнуло — сегодня юбилей. Перелистываю записные книжки, перечитываю письма от него и слышу «незамутненную» столичным профессиональным общением родную речь с округлым «о», ощущаю проницательный, располагающий к откровенности взгляд.

Если долго не удается встретиться, если откладывается запланированный приезд в Кострому, он присылает письма или напоминает о чем-нибудь по телефону: с понятными земляческими заботами или огорчениями, с продолжением начатого раньше разговора или с сожалением о несостоявшейся встрече. Вот так, к примеру: «Был я недавно (июль) в родной Костроме. Рассчитывал повидаться и, в частности, продолжить интересный разговор, начатый тобой тогда в нашем землячестве — о возможном издании книги. Не знаю, насколько это реально, и плохо представляю, каким образом такая идея могла бы осуществиться, но, будучи по природе человеком дисциплинированным, на всякий случай прикинул: что лучше всего в эту книжку включить. Подумалось, самым подходящим в данном случае было бы издать нечто вроде продолжения (или второй части — с другим названием) «Сусанинского тракта», книгу рассказов о земляках, включив очерки о Т.В.Гришиной, В.А.Кошкине, Л.М.Малкове, может быть даже о Б.К.Коробове и других. Все они написаны, газетные и журнальные варианты надо опробовать в периодике; и полагаю, что «доводка» таких очерков для книги не заняла бы много времени. Сюда же можно бы включить веселую киноповесть, написанную на костромском материале... Жаль,

что не удалось встретиться в июле, обо всем потолковать, ну да ведь ничего удивительного: лето не лучшее время для деловых встреч. Все впереди!.. Любезнейший Н.С.Тихомиров пригла — шает вновь приехать в сентябре, дабы я отметил не где — ни — будь, а в Костроме, свой 75 — летний юбилей. Вот думаю, прикидываю (и хочется, и колется)...К самому юбилею вряд ли получится, а через недельку, в середине сентября, видимо, все — таки приеду...Роман твой читаю с большим удовольствием, но, к сожалению, медленно: все лето до предела был занят подго — товкой к печати 4 — го тома «Живой памяти». Сейчас дело идет к концу».

Промелькнуло еще пять лет в постоянной занятости. Вскоре и книга костромских очерков Виктора Хохлова «Зем — ляки. Слово о людях земли костромской», о которой мы не раз толковали, появилась. Капитальная, убедительная, лю — бовно сделанная. Конечно, невозможно было вместить в нее все желательное — достойных земляков много. Представ — ляли это издание (осуществлено по инициативе Костромс — кого землячества в Москве) на высоком торжественном собрании в нашей филармонии — происходило памятное событие: встреча с автором и встречи героев книги. Благо — дарности, воспоминания, похвальные оценки, немногие за — мечания, пожелания и продолжение размышлений о жизни. Все как положено.

Виктор Константинович позднее с огорчением высказал мне упрек:

— Что же ты, председатель писательской организации, не соизволил присутствовать? Ни одного костромского писа — теля не было в зале.

— А нас не пустили, — говорю. — Не положено, оказы — вается. Для писателей места не хватило. Бывает такое в на — шей культуре.

Сказал ему, что и после прямого обращения в кабинеты за пригласительными билетами, писатели отказ получили. Организаторы большого мероприятия почему — то сочли воз — можным нас, коллег автора книги, не приглашать. Сжался бывалый Виктор Хохлов, склонил печально седую голову, сер — дито пробормотал несколько хлестких слов. Огорченные мы расстались: не хотелось множить огорчения...

«На такое головотяпство матюгов не хватает!» — так и воскликнул он повторно в письме. А я ответно утешал: «Не печалься, Константинович. Не первый раз издеваются над нами. Стиль такой теперь: и малую власть нижайшие чи — новники спешно употребляют в унижение тех, кто от них от — личается, возможно, и в этот раз с наслаждением исполняли

порученное восседающими повыше. Так попала эта ложка дегтя в бочку с медом».

Пояснение его не утешило и не успокоило. Без промед — ления присылает бандеролью книгу, которую когда — то со — обща задумывали. И снова — обстоятельное письмо в явной печали: «Пусть с изрядным опозданием, но исправляю про — явленную кем — то из костромских чудиков несправедливость, по поводу которой (верно сказано) не хватит матюгов». Что — бы душевно поддержать, тут же обстоятельно отозвался о по — даренном ему моем сборнике: «А тебя, брат, еще раз сердечно поздравляю с очень хорошей, доброй книгой, которую сразу потянуло почитать, ибо дохнуло с ее страниц, от заголовков, имен, первых прочитанных фраз, чем — то таким близким, зна — комым, родным, словно и не уезжал никуда. Спасибо!» Вот такие мы земляки, коллеги, близко к сердцу принимающие самые глобальные события и местные, для других непри — метные, эпизоды, житейские или бюрократические случай — ности. Всякая малость — к сердцу: одна больно ранит, унижает, оскорбляет чувство собственного достоинства, а другая воо — душевляет, вниманием поддерживает настроение для новых добрых дел.

Как никто другой, Виктор Константинович более сорока лет, с 1960 года, и в Москве живет неразрывно с людьми земли костромской. В его писательском архиве множество благо — дарных писем, теплых отзывов и профессиональных рецензий на книги. Никогда памятью своей, душой и сердцем не рас — ставался он с Костромой, не только потому, что здесь его родные, друзья, коллеги. Отсюда он уходил в Красную Армию сразу после школы в сороковом, оказался в одной из авиационных частей Западного Особого военного округа, а дальше — под диктат долгой войны, в качестве военного радиста участвовал в боях на Западном и 1 — м Белорусском фронтах. Как при — нято говорить, посчастливилось — уцелел, отмечен прави — тельственными наградами. Вернулся на родину, тринадцать лет работал в редакции радиовещания, в районной и област — ной газетах. Был замечен и обычным порядком призван в Москву, но не оторван от Костромы ни на один год, ни на один день — родина напомнила о себе.

Чуткое отношение к происходящему, желание помочь родной стороне, умение видеть и ценить земляков, желание расска — зывать о них и тем самым участвовать в нравственном укреп — лении молодежи — это и многое другое, очень важное, читается в его очерках и рассказах. Он, сотрудник центрального аппа — рата «Сельской жизни», член редакционной коллеги и редак — тор по отделу культуры и сельских школ, ответственный

секретарь, умудрялся в потоке всесоюзных материалов акцентировать внимание на привлекательных событиях костромской земли, поддерживал талантливых молодых литераторов. Только равнодушные к этой земле могут не замечать такое постоянство и подвижничество, подтвержденное творчески. Все его журналистские и писательские дороги начинались здесь, по его словам, от Сусанинского тракта. Потому и вызвался он составлять сборники «Живая память», «Ярославия», «Костромская быль». Потому и предлагал свои произведения в областные периодические издания, в альманахи. Отсюда он родом и душевным строем. Даже названиями книг это подтверждается: «Вид с Молочной горы», «Возле моря Костромского», «Обратите внимание», «Начало дня», «Весенние ветры», «Рядовые России», «Наследники», «Попутчики», «Один день и вся жизнь», «Что посеешь...» и тот же «Сусанинский тракт».

В завершении фолианта «Земляки» напечатан удачный характерный портрет писателя — внешняя привлекательность и душевная красота, творческая индивидуальность в улыбке доброго и надежного человека. Такой портрет на многие времена уже сейчас, без официального оформления, вписан в строй Почетных граждан нашей области. Он гражданин этой земли —своей Родины. Направленность его творчества — люди родной Костромской земли. Кажется, писатель осуществляет всю жизнь главный замысел с чувством любви и долга перед детьми и внуками. Вот и о старой Костроме выстроил рассказы для сына. Получилась опять книга о костромичах, о далеком детстве, о сверстниках, о фронтовом братстве. Писал, как рассказывал когда—то сыну, ничего не прибавляя и не приукрашивая ради художественной убедительности, не придумывая для занимательности никаких острых сюжетов, а сложились зримые, документально убедительные, явно увлекательные новеллы, переданные плавной, чистой и согревающей речью. Таков доверительный писательский стиль, послушайте как это естественно звучит в рассказе «Большая родня» — беру несколько строк из окончания: «...мне начинало казаться, что все жители города приходятся нам ближней и дальней родней. И сама Кострома представлялась тогда большим родным городом, в котором жить было уютно, весело, интересно, хорошо!» Прочитаешь и думаешь: всегда бы так...

10. Тишина в Заболотье

На московской встрече в Землячестве слушаю бывшего министра сельского хозяйства РСФСР Леонида Яковлевича Флорентьева и удивляюсь: памятлив старина, многих людей по именам и фамилиям называет. Спросить бы, помнит ли деревню Пономарево, что неподалеку от Заболотья в Шарьинском районе — знаю, будучи первым секретарем Костромского обкома партии, он и туда заезжал, чтобы ускорить строительные работы. В подходящий момент удалось сказать про нынешнюю тишину в Заболотье, вообще характерную для дальней деревенской стороны. Разрушительная, печальная тишина. А ведь было, было перспективное нарастание жизни. Заболотье прославили на всю страну сыроделы. А в Пономарево, что связь имело с костромским хозяйством «Караваево», к дояркам племенной фермы за опытом бывали соперники по соревнованию, делегации из других областей.

Леонид Яковлевич хотел рассказать:

— Приехала в министерство доярка Анна Ильинична Северухина с поручением от района...Она в Верховный Совет была избрана... — Начал он да, отвлеченный другими застольными вопросами, на другую тему перешел.

А меня от этой московской встречи позвала память к добрым делам шестидесятых — семидесятых годов. Вернулся домой, разыскал давние записи, газетные и журнальные публикации. Вспомнились пути — дороги.

Любитель ходить проселками да кратчайшими тропинками, с расспросами добирался от станции Якшанга, что на Северной железной дороге. Смотрел окрест и думал: люди выросли в такой природной благодати, они не могут жить серой обыденной жизнью, должно быть в них нечто особенное — так настраивался писать задуманный очерк. Чудесным тихим вечером повстречался с Натальей Филипповной, матерью доярки Анны Северухиной.

— Ладится жизнь. Глазоньки видят, душа радуется. Так бы в радости и работала, да вот, — развела маленькие потемневшие руки с полусогнутыми пальцами, — они свое отработали задарма... Только на дочерей любуюсь.

Старые люди любят говорить о жизни, сравнивая «нынешние лета с прежними». И все — то они помнят, эти люди, обо всем то с болью, то с радостью тихой рассказывают, обязательно переплетая общие заботы с личными житейскими радостями и печалями. Вот и Наталья Филипповна откровенно горевала о том, что растрачены, вымотаны силушки трудами военной и послевоенной поры, радостей в молодую пору не много было, теперь на старости лет утешение — глядеть на дочерей: совестливые они, трудовые.

По рассказам, сохраняя некоторые особенности речи, записал я тогда «послужную канву» Анны Ильиничны, а при встрече с ней, сделал портретную зарисовку — пригодилась, напоминает о хорошем человеке. Вот слова матери: «На всякую работу она с малых лет ловка. И на ферму пришла — люди заметили: коровы — то поправились, захорошели. Председатель Семен Николаевич за первый год отрез на платье преподнес». И было за что. Без убытков начали работать, с доходом. А она ему говорит, мол, невелика заслуга: у коровы молоко на языке, будут корма — будет и молоко, порода тоже много значит, племенная ферма нужна. Расстарались, закупили телок костромской породы. Старый коровник подремонтировали. Анне Ильиничне поручили заведовать этой фермой — не ошиблись, значит. Поехала в племсовхоз «Караваево» за опытом. Она такая, на тихом месте не усидит. Надумали новый коровник строить и сыродельный завод. Знамо дело, из хорошего молока лучший сыр получится и масло ароматное.

— На общественной работе пообвыкла моя дочка, куда надо — достучится, — продолжала Наталья Филипповна, — даже к министру Леониду Яковлевичу ездила. Правда, робела.

Мне только в этом и призналась. Поручили ей по колхозным делам обратиться. Кому, как не тебе, говорят. Прибыла в министерство. Дежурный, шутливый такой, видать, простой человек, говорит: «Больно ты, тетка, бойка». «Не тетка, — она ему так же шутливо отвечает, — а невеста, или тебе не приглянулась? Это я от переживаний враз состарилась». Улыбнулся, документы велел для порядка предъявить, но обыскивать — этим деревенские провожатые пугали — не стал, она и сама такого неудобства боялась. Правда, когда у министра сидела, храбрости тоже у нее поубавилось. Сказывала, что кресло маленько подкачивало и мысли никак не собирались, чтобы главные слова сказать. А потом разговорилась по вопросам министра — он про область выспрашивал. Обо всем, что хорошее знала, смогла рассказать. И точку поставила: вот так и живем! Хвалиться больно нечего, можно бы и лучше жить. Тогда министр и спрашивает: «Верно, дело ко мне у вас, Анна Ильинична?» «Конечно, — говорит дочка, — конечно, не по Москве гулять приехала». Высказала просьбу колхозную и от себя лично кое-что добавила...А когда вернулась домой, в контору уже весточка долетела: просьба колхозников принята, министерство поможет. Не зря, значит, Анну к министру посылали. И подумала мать тогда: «Жила Наталья рабой на свете, а теперь дочь в Верховном Совете. Невелика росточком, да знатна дочка».

Работая собственным корреспондентом «Северной правды», по командировкам несколько раз бывал в Заболотье, чтобы рассказывать о доярках и сыроделах. Однажды и рисунок пригодился, 9 февраля 1972 года пошел на первую полосу под рубрикой «Правофланговые» с подписью: А.И.Северухина, заслуженная колхозница колхоза имени Ленина Шарьинского района, награжденная орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции.

Много интересных людей встречалось и в самых дальних селеньях. А теперь былые красивые деревни заглохли, в бурьянах белеют заброшенные фермы, поля мелколесьем затягивает, накатанные дороги стали не нужны. Приходится о многом горько сожалеть, думая под гнетущей сельской тишиной не только в Заболотье. В глуши забытых селений вспоминаешь коренных жителей и задумываешься о том, что имеет истинную ценность в жизни, движет, оберегает ее на долгие времена...

11. В районе Бермудского треугольника

Из Москвы прохладным ранним утром, без провожающих, улетал в неизведанное пространство. Думал о своей стране и сравнительно — о той, куда направлялся. Сравнения имели климатическое и временно́е свойство, не более того: разница во времени, когда прилечу в Атланту, когда в Дарем, какая там будет погода? Еще думалось о том, каким образом буду действовать, добираясь по адресу, если не встретят или прилечу с опозданием? Жалел, что выбран путь до приглашающей меня Америки, не через Вашингтон.

Вспомнились высказывания специалистов: «Буш уходит с высоко поднятой головой, он уже не несет никакой ответственности за то, что произойдет в ближайшее время в бурлящей России (напоминаю, это в 1992 году) и в российско-американских отношениях». Позднее я прочитал в «Литературной газете» предположение Бориса Юнанова: «Клинтону невозможно сдержать обещание о преемственности политики. Ближайшие же месяцы покажут, что Россия или не выполнит, или отвергнет основные условия финансовой поддержки, выдвинутые МВФ. Российские реформы пойдут другими, более извилистыми, но менее крутыми тропками. Российские лидеры скажут народу то, чего

никак не решались (или намеренно не хотели) говорить западные политики: широкая помощь Запада — это блеф, мираж, в лучшем случае — козырная карта в хорошо проду-манной глобальной игре». Через шесть лет у нас появилось достаточно оснований вспомнить это предположение и с воз-мущением заговорить об ошибках реформаторов, об утрате способности учитывать свой опыт, свою историю и еще — об утрате чувства собственного достоинства, о глухоте нацио-нального сознания...

Солнце всходит на востоке, а я лечу на Запад. Российс-кий пахарь всегда начинал свой день взглядом на утреннюю зарю... С высоты десять тысяч метров не видел свою землю, но вспоминал прекрасную Аркадию...

В деревне виднее природа и люди. Там все наши истоки. От нее, малой деревни, отмериваешь свои версты пережива-ний, раздумий, поиска истины и красоты, идеалов правды и добра. О судьбе единственных, неповторимых уголков земли, которые не выбирают, тревожились многие русские писатели — те самые деревенщики, поднявшие на новый душевный уровень исповедальную прозу и всю современную русскую литературу. До сих пор молодые литераторы, прочитав луч-шее из написанного о «привычном деле» в российской про-винции, ищут и не безуспешно своих героев в обкатанном будто бы деревенском материале, все еще изображают, как однажды было сказано, «расхожих стариков и старух». Видимо, есть необходимость искать собственное укрепление в поклонах мудрым законам народного бытия.

Так думаю, пролетая над Европой. Вдруг за редкими хло-пьями облаков проглянули все еще знакомые ландшафты. Очень понятные они: там дорога полевая, там — река меж поросших ивняком берегов, там — стройные перелески. И снова будто бы вижу свою деревню, которой давно уже нет, не отыскать былых тропинок, но в памяти отчетливы они. Оттуда до сих пор приходят наставительные уроки. Слышу, дед рас-сказывает:

«На утренней зорьке отец окликнул — разбудил Ивана:

— Сынок, вставай...»

Иван басисто отозвался, долго потягивался, но встал рез-во. Брякнул раз — другой умывальником и побежал в выгон, где паслись кони. Напрямую росной луговиной на улыбку солнца привел под уздцы пару пахотных коней. Отец тем временем еще раз оглядел оба плуга, приготовил сбрую. Мать вынесла на стол еду и съестной припас в цветастом узелке.

Мужики вернулись в избу. Молча завтракали. Отец смах-нул со стола крошки в ладонь, наклонился, с придыханием

собрал губами, начал жевать. Парня тянуло к окну — по-смотрел... тихонько вздохнул:

— Эх, видно, на весь долгий день наметилась ясная погода.

Отец, понимая молодое нетерпенье, с ухмылкой думал: «Вишь, как о зазнобушке своей тоскует. Ничего, стерпит — подождет. Осенняя пора уже не так далеко. Жито соберем, тут и свадьбу играй!» Сыну ничего не сказал в утешение: сам должен все понимать.

Тихо собрались и отправились в поле. До полудня рабо-тали с короткими передышками. Бессловесно обедали под кустами. Кони гуляли неподалеку, отдыхали от хомутов в воль-ной пастьбе.

Пахари молча впрягали коней. Крякали, засупонивая хо-муты, подтягивая чересседельники. Ободряюще хлопали ко-ней по загривкам. Сын охотно подражал отцу — наука!

К вечеру полько допахали. Вернулись домой по сумер-кам. Вместе проводили коней на пастьбу в выгон. Дома не-которое время сидели не крыльце, приглядываясь к вечерней заревой полосе. Слушали комариное пение.

Иван словно бы спохватился и — в избу. Наспех по-ужинал: полкринки холодного молока с пирожком высадил. Выбегает на крыльцо:

— Отец, я пойду, чего-то Даша махала возле колодца. — И уже от калитки, словно оправдываясь, добавил. — А спать буду на сеновале. Разбуди пораньше, если утро займется под-ходящее. Я боронить поеду, а ты — сеять. К обеду засеем, — сказал о том, что и так понятно. — Разбуди чуть свет, ладно. Надо бы управиться. Отсеемся да и косы готовить.

— А ты как думал?! — Отец выкрикнул вослед. — Ну и многословный, болтливый какой-то задался у нас, не в отца с матерью. Старшие оба повыдержанней... Каково-то им там, во солдатах. Каково-то сынкам-соколикам, — в печали вы-говорил про себя.

— Учишь все, воспитываешь, парню шага не ступить по-своему, — сказалась в распахнутом окне жена.

— Никто не наставит, только мы сами.

— Не перестарайся, смотри. У каждого своя голова и душа.

— Лишнее болтать нечего. Говорунов- бездельников без нас полно.

Так было — я знаю. Так бывало и в нашей многодетной семье. Разве не вспомнишь? Как же в минуты расставания не грустить об утраченном?

...Уже не Россия, но еще родной материк. Качает, под-талкивает на волнах воздушного океана. Скоро начнутся иные

ощущения, иные думы. Может быть, вырвавшись из по—вседневного вращения, человек получает возможность без каких—либо усилий раскрепоститься, стать самим собой. По—другому видится пережитое, видятся родные, друзья и недруги. Перед бездной двух океанов отступает бытовизм, мысли тянутся к глобальным вопросам, к вечным темам бы—тия. Неизменное и мрачное как бы оседает, закрывается ту—манной поволокой и предстает незначительным, даже совсем неопасным, хитрости и коварство завистливых сослуживцев становятся до смешного очевидными. А наивные вопросы сынов из раннего детства оказываются очень значительны—ми и мудрыми.

Думаешь под гудение самолета о том, как растрачива—ются каждодневно лучшие силы, сколько украдено времени в занятиях совсем необязательных, чиновничье—услужливых. Сколько пустячных слов сказано, сколько дурных и озлоб—ленных собраний пришлось перетерпеть в духоте, чтобы «вы—мучить» хитрые основания во славу ханжи—добряка, постоянно напоминающего о своем стремлении добавить жизни добра. Так и хочется крикнуть: «Зачем все это вам, творческие люди?!»

Думалось, каждый костромской писатель теперь совест—ливо понимает, что происходит в России, все мы это не только морально, но и физически ощущаем: действительно «свих—нулся мир», весь белый свет в погоне за призрачным благо—получием, каждого человека мучает своя беда. Но ведь было, было все это в литературе, было и не раз. И пиры во время чумы бывали. Распад мира, выявленный через исследования мучений и падения личности, представляющей не самые низ—шие классы и сословия уже изображали. Ишь, куда отстра—нились думы, куда их занесло. Боялись разве думы мои подступиться к современности, пугающей потенциальным ван—дализмом? Пугала разрушительная психология, культивиру—емая чужестранным кинопрокатом? Пугали неясные пути, предложенные России: олигархический капитализм или что—то безгранично либеральное...

Гул самолета становится привычным и совсем как бы отстает, забывается. Бесшумный полет между двух океанов — воздушным и водным. Полет в космической темноте над кромешной океанской пучиной. На табло высвечивается предупреждение: необходимо застегнуть ремни, приготовить спасательный пояс. «Летим в районе Бермудского треу—гольника». Комфортный лайнер компании «Дельта» со—трясает вибрация. Стюардесса требует: «Сэр, пристегните ремни. Я могу помочь. Где ваш спасательный пояс?» Молчу не по причине упрямства. На какое—то время оказываюсь

загипнотизированным мыслями и воспоминаниями о том, что было читано про этот «коварный треугольник» в океане.

— Сэр, вы слышали?!

—Да, извините.—А сам представляю себя лягушкой — пу — тешественницей, растопыренной над жуткой пучиной в рай — оне Бермудского треугольника. И думаю: ну, зачем спасательный пояс? Если что — то случится, самолет, например, рассыплется от вибрации — вряд ли смогу долететь туда, где пригодится спасательный пояс. Утопающий хватается за со — ломинку, а я вроде бы отвергаю ее. Может быть, уже не будет конечной цели путешествия и не пригодятся несколько анг — лийских заученных фраз? Может быть, я уже в другом про — странстве, в другое измерение перешел и это не я, а душа моя встревожена, очищаясь в покаянии? Где ты, родная земля? Где мои близкие, родные, милые мои, дорогие? А — у! То ли сам кричу, то ли гул самолета вторит.

Вот однажды улетишь насовсем и будет казаться не — скончаемым полет. Полет без возвращения. Простите меня, мои дорогие. Простите, люди, — думается с болью и сожале — нием. — Простите, если обидел словом, невниманием или не — правильно понимал ваше усердие. Простите великодушно. Нет и не было у меня никогда скверных намерений. Я не приучен к этому, не интриган, не умею затевать игры не только против самых ближних, но и вообще против всего живого, су — щего. Люблю всех. И всем желаю добра. Даже коварных обидчиков жалею, сочувствую им теперь: что же вы, ребята, как дальше — то жить будете?

Будто бы кто — то услышал меня в костромской стороне, отзывается лесным эхом и сожалеет о том, что не смог вов — ремя разбудить всех, призвать к спасению разумным пере — устройством деревенского образа жизни. Пораньше бы разбудить — до такого безобразия не докатились бы, не по — спешили бы избавляться от «родимых пятен» своей земли, не утратили бы тайные знаки природных особенностей. Ага, услышали все — таки, вспомнили. Сказать пора вам, коллеги, кое — что откровенное. Не надо кичиться, ребята, ученостью козырять, гордиться отдалением от сельских забот. Ученость ваша сомнительна — вот что очевидно, для общей жизни проку не прибавила за многие годы, сами — то вы давно в нахлебниках, если не в захребетниках. Не поглядывайте снисходительно на других, не делайте ученый вид, будто секрет какой постигли, будто вы не от мира сего. Нечего мудрить друг перед другом, ребята. Если притворством не вытрав — лено еще радение к общей жизни, вставайте пораньше, что — бы чем — нибудь помочь своей бедствующей деревенской

родине, где от наследственных корней получились вы такие умные да хорошие. Серьезно думайте, почему она, провин — ция наша костромская, под угрозой гибели, словно в Бер — мудском треугольнике, навсегда исчезнуть может. Вот в чем дело, дорогие земляки...

12. Предназначение

Возвращаться благодарной памятью в давние студенчес — кие аудитории родного института приятно и освежающе по — лезно. Более сорока лет прошло от первого дня конкурсных вступительных экзаменов по рисунку и живописи, а видятся отчетливо гипсовая модель и постановочный натюрморт с кув — шином на фоне переливчатой ниспадающей драпировки. Все еще слышится за спиной приглушенный заинтересованный разговор строгих экзаменаторов, умеющих художническим опытом определить по первым штрихам возможности каждого из нас. Уединенная сосредоточенность абитуриентов обозна — чает трепетную причастность к искусству, предвосхищение новой жизни в городе на Волге.

В сентябрьские дни 1960 года все было впервые: взаим — ный интерес однокурсников, отличающихся по качеству пре — дыдущей учебы, воспитания, места жительства, еще не проявленными в полном разнообразии характерами. Прелесть общения была обусловлена возрастом, общими ориентирами на пять лет, «географическим» представительством от Клайпеды, Архангельска, Мурманска, Тулы, Ярославля, Кинешмы, Горь — кого, Кирова, Кологрива, Макарьева, Галича, Неи, Нерехты и многих других городов. Конечно, специфика нового факультета тоже сказывалась. Наш курс был первым в истории художественно — графического. Тогда же начиналась исто — рия и музыкально — педагогического. (Иногда мы вместе с музыкантами слушали лекции, сдавали экзамены по совпа — дающим наукам). «Контрастные» были студенты: одни имели производственный стаж, другие — отслужили в армии, тре — тьи — поучились в художественных школах и училищах; но всех собрал в одну группу врожденный интерес к рисова — нию, вероятно, каждому хотелось проявить творческий ин — дивидуализм. Осознанное стремление к искусству или к педагогике привело нас на новый факультет.

Первые встречи с преподавателями, первые семинары, необычные специальные занятия в мастерских. По истории искусств ведет декан А.И.Бузин, вдохновенность речи поддер — живает он плавной жестикуляцией и обилием репродукций. У

каждого художника — преподавателя свой стиль. Последова — тельно требовательный М.С.Колесов учит профессиональным основам рисунка, к индивидуальному колориту открывают путь В.А.Кутилин, А.П.Белых, А.Г.Забагрин, графическую выразитель — ность учит осваивать К.И.Ильин, скульптурную пластику через ощущение материала познаем на занятиях в мастерской у С.Д.Проненко. Кроме основных часов по расписанию уста — новлены дополнительные занятия в мастерских. Свободные постановки, свободный выбор материала и техники. Позднее придут для усложнения учебных задач натурщики и натур — щицы. А впереди — первая отчетная выставка за семестр, затем — первый выезд на пленэр в разведанные студентами художественного училища живописные и благодатные при — волжские места: Плес, Бычиха, Лагерное... Учебные (трудовые) будни стали неповторимыми, разнообразными по содержанию и настроению, праздниками. Новые программы будто бы учи — тывали индивидуальные наклонности, интересы и обязывали, и зазывали то на уроки композиции, декоративно — прикладного искусства, то на занятия начертательной геометрией, то обра — боткой металлов (резьба, чеканка), то обработкой дерева (опять резьба или столярное дело). Разнообразные возможности ис — пытывать собственную наклонность в занятиях для рук, ума и сердца. Был еще и факультет общественных профессий, туда тоже тянулись активисты.

Худграф создавался на хорошей базе училища им. Н.Шлеина. Живописные традиции, атмосфера мастерских, порядок творческого общения преподавателей и студентов приняты в наследство вместе с методическим фондом и спе — циальной библиотекой. С другой стороны пришлись в хоро — шее сочетание традиции педагогического института, опыт ученых, методическая основательность. Богатая палитра гу — манитарного образования была существенно дополнена. История, литература, философия, научный коммунизм, поли — тэкономия, педагогика, психология, эстетика, история русского и зарубежного искусства, методики обучения и воспитания.

Лекции, семинары, лабораторные занятия. Переходы из одной аудитории в другую, из корпуса в корпус, с улицы Коо — перации на улицу 1 — е Мая. От одних требований и препо — давательских привычек, манер — к другим. От научной основательности обаятельного интеллигента В.Л.Миловидова к академическому рисунку художника М.С.Колесова, от ве — селого динамичного занятия у А.К.Шустова — в кропотливую сосредоточенность граверной мастерской или в шумный столярный цех. Помнятся преподавательский стиль Б.М.Ле — вина, привлекательные лекции молодых ученых Н.Н.Скатова,

Ф.В.Цанн — Кай — Си (желающие стремились их послушать не только по своему расписанию, но и в других аудиториях).

Теперь издалека все это разнообразие ценишь понимающе и благодарно. Нет, не напрасным было корпение первокурсников над первоисточниками марксизма — ленинизма, старательное конспектирование тоже учило, закрепляло навыки интеллектуального труда, возбуждало интерес к познанию. Много было возможностей, но не каждый из нас мог и хотел ими воспользоваться. Однако, даже пассивные созерцатели оказались под благотворным влиянием общей атмосферы, активной студенческой жизни. Дискуссии, диспуты, вечера, встречи с писателями, художниками, музыкантами. Собственные выставки, конкурсы огромных стенных газет, спорт, экскурсии. Нередко бывали мы в дальних поездках на зональные и республиканские выставки. А частые вернисажи в Костроме не пропускали, даже «неразрешенные» где — ни — будь в техникуме, в кинотеатре или в редакции.

Для конкретности — примеры. Воспользуюсь цитатой из публикации в газете «Молодой ленинец» по поводу выставки молодой художницы Татьяны Шуваловой: «Студент худграфа М.Базанков говорил об особом звучании натюрмортов, о том, что художница заново, глазами современного человека, открывает мир давних и привычных вещей, о том, что почерк ее ни с чьим не спутаешь; что для создания таких проникновенных картин мало профессионального уменья — нужно еще особое человеческое чувство, душевная талантливость необходима...» А через некоторое время по заказу Игоря Дедкова я писал заметки (первую свою рецензию) с выставки Сергея Румянцева, вскоре мы обсуждали в зале технологического техникума нашумевшую выставку Николая Шувалова.

Такое было время первых открытий, новых увлечений. Дыхание романтики в новых общественных обстоятельствах нельзя было не ощутить. Оставаться равнодушным было невозможно. У первокурсников — самая взволнованная студенческая пора. К тому же так много происходит в мире событий. В стране и над страной... Весенняя земля наша в пронзительной голубизне. Такой увидел ее из Космоса Юрий Гагарин. «Город гудит и поет целый день, — писал я тогда в весеннем репортаже. — А когда солнце нехотя опускается к горизонту, выплывает над лесом луна с очаровательной улыбкой. Мы знаем, почему она улыбается...»

Активная студенческая пора прекрасна, исподволь формирует отношение к миру, индивидуальное самосознание, интерес к жизни. И каждый получает возможность найти

свою тропинку. В зависимости от способностей, самооценки и нравственных ориентиров. Духовное — прежде всего. Скромный быт не угнетает. Два первых года мы жили в общежитии по 10—12 человек в комнате. Не шикарно одевались, не «жирно» питались, но не унывали. До всего было дело. Не только по себе могу судить. Но свой опыт из солидного возраста тоже представляется убедительным. При интересе к учебе, при некоторых успехах и в постоянной занятости успевал много читать, был завсегдатаем городских библиотек, занимался в литературном объединении, ездил в командировки от редакций областных газет, писал рассказы, статьи, очерки, репортажи. Вот ворошу свои архивные материалы, вырезки из газет, фотографии — удивляюсь, как много было интересов. «Прекрасное и сельский быт» — размышление. Видимо, студенту это требовалось, если он размышлял о том, что отделение Союза художников, отделение Союза писателей, филармония, театр должны наладить творческие связи с глубинными районами нашей области. Вот еще мои публицистические заметки: «Не ищи жар—птицу за морем», «Успеем ли мы?», «Мы с тобой ровесники», «Целый мир в голове, человечество целое в сердце» (репортаж из нашего общежития на пр. Текстильщиков). Передана атмосфера «общаги» — студенческого корабля, в каютах которого плывут в будущее мечтатели. Где—то говорят о проблеме пресной воды, этажом ниже слушают болеро Равеля. Кто—то дрыхнет, а кто—то читает стихи Бориса Слуцкого. «Не только энергетика/ решит судьбу людскую./ И этика с эстетикой/ не смогут ни в какую,/ когда не будет хлебушка...» И вспоминает о том, как работали осенью в колхозе.

А в коридоре пахнет жареным луком, горелой картошкой. На этот запах спешат парни усталые — они в запыленных робах вернулись с товарной станции, заработав на разгрузке вагонов на хороший ужин. «Другие студенты худграфа, — цитирую по своему репортажу, — только что вернулись с семинара, где выступали с докладами. Гомо—футурус — тема разговора. Человек грядущего, каким он будет? Не соглашаются с трактовкой буржуазных ученых. Неужели он будет таким, развитым однобоко до безобразности? Нет! Человек станет прекрасным. А.Гусарова и Л.Машукова гомо—футурус интересует своей способностью к творчеству, отношением к обществу. Художник и общество. Для будущих дипломников, увлеченных живописью, это предмет не только споров, но и самой практики. Сталкиваются противоположные мнения. Леонид утверждает: «Художник выражает себя для себя». Анатолий и мы: «Художника вне общества нет.

Если ты творишь только для себя, то и храни свои творения в темном чулане». Спор можно продолжить...

Но достаточно ли нескольких штрихов для представления особенностей наших студенческих лет? Может быть, найдется резон в сравнениях прошлого и настоящего? Были и разочарования, и неудачи, и ошибки, и проступки. Были «незачеты», «неуды», проработки на ученом совете, даже протестующие «отсидки» активных студентов перед кабинетом ректора. Вышел Михаил Иванович Синяжников, пригляделся «к бунтующему народу»:

— Ну, что староста Б а з а н к о в, — говорил он медленно, округленно. — Опять недовольство учебным планом? Опять Министерству для вас программу перекраивать? Значит, в пользу курса специальных дисциплин? Эстетику еще надо? И педагогику другую? Не по желтым лекциям тридцатых годов? Ты, Базанков, студент хороший, вот и делай, чтобы другие хорошими были. Чего тут бездельно время терять пришли?

А староста обязан был не только заполнять безуспешно внедряемые «рапортички» о посещении занятий. Братья-студенты недовольство выражают — доведи его до руководства института. Ну и стипендию вовремя, не позднее других, на всю группу в бухгалтерии получи. Да и раздавай побыстрее — пошевеливайся, надо успеть до закрытия магазина. Холст, картон, краски, разбавитель, даже пластилин — все по норме каждому обеспечь ежемесячно с хозяйственного склада. Было такое доброе снабжение. На пленэр поедем — всем необходимым обеспечат: питанье, палатки, транспорт. В колхоз осенью направят — тут сами, братишки, беспокойтесь. Вот и пойдет староста с колхозным руководством проблемы решать, выписывать продукты, по домам развозить. Опять ты — хозяйственник, учетчик, организатор и бригадир. Не забудь и справку хорошую да благодарственное письмо в институт привезти. Отчитайся на комсомольском собрании, а то на ученом совете. Непорядок случится — с тебя спрос. А в награду — благодарность Александра Ивановича Бузина (с признательностью в воспоминаниях к тридцатилетию факультета), «обозвавшего» меня лидером курса. Как понимаю, не только за исполнение обязанностей старосты, успехи на экзаменах и выступления в диспутах. Было, видимо, еще нечто в моем поведении: до сих пор приветливо встречаемся.

Отчасти характеризует атмосферу тех лет и такой эпизод. Жили мы в обветшалом одноэтажном здании барачного типа на ул. Кооперации. Зимой в наземных комнатах накапливалась неотступная холодища. По ночам за стеной раздражительно скрежетал снег под колесами проходящих на

переправу тяжелых машин. Мы терпели, лишь бы крыша над головой была. Сумрачность быта украшали веселыми аква-релями, даже абстракционизмом увлеклись. По инициативе краснодеревщика Володи Алимова (вполне серьезно его так называю, потому что он на первом курсе сделал покрытый фанеровкой этюдник, а после вуза приехал по направлению в Галич, собственный дом построил, мастерскую и производил изысканную мебель) сотворили акварельными набрызгами да следами домашних тапочек абстрактную композицию «Рас-топтанная любовь». И — прославились, привлекли профи-лактическое внимание бдительных органов. В молодежной газете появилась тревожная статья «Богема за мольбертом». Значит, мы оказались представителями деклассированной части творческой молодежи. Это мы-то, выходцы из корневых семей рабочих и крестьян?

Интересные были на факультете ребята. Увлеченные, са-мобытные и талантливые. Не все прошли пятилетнюю ди-станцию. Иных уж нет. Но деяния прошедших до диплома и последующей реализации полученных знаний имеют об-щественное звучание. Живописцы, графики, художники-оформители, учителя, преподаватели эстетики, руководители школ... Гуманитарное образование всесторонне влияло, со-здавая философский, эстетический, нравственный фундамент каждой личности. Благодарно вспоминаю студенческие годы, друзей, товарищей, интересных и талантливых ученых, твор-ческих преподавателей, обаятельных секретарш и терпеливых уборщиц.

После окончания института, получив диплом с отличием, работал в разных учебных заведениях, в редакциях газет, учился два года на Высших литературных курсах в Москве. И всегда ощущал надежность институтского образования, дополнен-ного разнообразием увлечений, постоянным интересом к спе-циальной и художественной литературе. Полученное в студенческие годы определяет направленность главного дела всей жизни. Думаю, что и в литературных занятиях сказыва-ется влияние изобразительного искусства, научной об-стоятельности историков, обществоведов. У меня достаточно оснований называть родным Костромской педагогический институт, теперь государственный университет. Здесь учи-лась жена Катя, она — историк. Этот институт на историко-педагогическом факультете дал надежные жизненные ориентиры сыну Михаилу, снохе Ларисе, младшему сыну Алексею, получившему диплом с отличием, (он защитил дис-сертацию, посвященную проблемам художественной интел-лигенции, доцент, директор филиала).Закономерно и

последовательно от родников познания происходят самые важные события в личной жизни и в биографии моей растущей семьи. Теперь старшая внучка, получив диплом университета, поступила в аспирантуру.

Благодарная память согревает не только в трудные минуты, но и в дни праздников наших. Даже в самых дальних странствиях на другой стороне земли я с гордостью рассказывал о советской системе обучения и воспитания, о нашем Костромском педагогическом... Лучшие преподаватели многому научили. И все пригодилось. В особенности — обостренное чувство правды, меры и красоты, ответственности перед жизнью, перед другими людьми и серьезность отношения ко всему, что ты делаешь не для себя только.

«Во имя грядущего нашего попробуем не приукрашивать ни мыслей своих, ни заслуг, ни прошлого, ни настоящего... Ужели не сможем, друг?» С помощью поэта здраво и самокритично думаю о делах своих и вспоминаю прекрасные студенческие годы. Многое в нас из того времени, из благоприятных шестидесятых. Теперь твердо знаю: жизнь — познание мира и самого себя. Наиболее плодотворные способы познания связаны с неравнодушными действиями при единственной роскоши — человеческом общении. Жизнь богата именно возможностями общения. И профессия, и увлечения, и должность — все способствует. Пишу рассказы, повести, романы, сборники прозы для детей, литературные портреты писателей, художников, творчески работающих администраторов. Пишу рецензии, статьи, заметки с художественных выставок, очерки о знатных земляках. Интересные современники привлекают меня. Составляю и редактирую поэтические сборники, литературные альманахи, иллюстрирую книги, освоил издательское дело. Возглавляя писательскую организацию, с пониманием отношусь к легко ранимым талантливым людям, анализирую произведения коллег, участвую в творческих дискуссиях, поддерживаю связь с зарубежными интеллектуалами, помогаю молодым литераторам, начинающим авторам, организую Дни литературы по всей области.

Делаю то, на что способен, что по душе, в чем можно реализовать природой дарованное, принятое в наследство. Душевные, нравственные ориентиры произрастают изделека — из детства, из школьных и студенческих лет, произрастают как бы сами собой, без начальственных указаний. Давно определено: в провинции виднее природа и люди. Здесь не утаиться, не спрятаться за красивыми речами, лозунгами, обещаниями. Подлинная ценность человека определяется по делам его.

Иногда окликают меня из родного института, бываю на творческих вечерах, конференциях, имею возможность общаться с преподавателями — и немногословные встречи значительны, когда ты осознал и оценил причастность к собственной судьбе этих людей. Иногда в литературных монологах для студентов цитирую слова классика о переправе через полноводную бурную реку. Говорю так потому, что уже в студенческие годы, как на переправе, следует править выше того места, куда тебе хочется приплыть. Нужно брать выше, иначе снесет. Так и в жизни. О собственной судьбе, как и о художественном произведении (по совету Л.Н.Толстого) надо судить по содержанию — насколько важно и нужно для людей все то, что с новой стороны открывается твоими намерениями, творческими усилиями. Надо учитывать, насколько хороша, красива и соответственна форма (образ жизни) содержанию. Но это образная рассудительность. А житейская практика воздает по достоинствам твоим, по уровню гуманитарного образования.

Институт каждому дал возможность познавать себя и приобрести чувство собственного достоинства. От главного содержания не убежишь, выше своих способностей не прыгнешь, ибо на любую высоту несешь подлинного себя и унаследованное прошлое. Потому и студенческие годы в качестве благотворного прошлого всегда со мной. Многое изменилось с тех пор. В других обстоятельствах задумывают себя наши внуки. Иногда с любопытством прохожу университетскими коридорами, чтобы вспомнить и поклониться всем, кто щедро удивляет и радует до сих пор.

13. «И наконец поднимается бык»

Ожидаемое письмо из Новгорода. Оно пришло на редакцию ежемесячника в ответ на отправленные туда публикации Олега Каликина и Бориса Гусева. «Очень порадовала нас «Литературная Кострома». Хотелось, чтобы и новгородцы познакомились с очерком и эссе о моем отце — Леониде Воробьеве... Решилась дать в нашу «Землю новгородскую» отрывки из статей. Тысячу извинений за публикацию без Вашего согласия...Увы, никто из новгородских друзей отца не смог лучше Вас написать (да и были ли у него друзья здесь?) А Новгород я люблю, не случайно сюда вернулась после Петербургского (теперь уже) университета. Тоска моего отца

по костромским местам мне понятна, и тем более радостно, что его там не забыли.

У нас (я имею в виду семью) все нормально, если может быть еще что — то нормально в наших условиях. Если когда — то Вы все же сможете приехать к нам, то рассчитывать на теплый прием обязаны. Татьяна Воробьева».

В ответ на публикацию вступительной заметки «Никуда не денешься от правды» и рассказа «Земной закон» Татьяна писала мне о переменах и в новгородской жизни, о том, что начала выпускать свою газету «Картинная галерея» («Номер высылаю, забавы ради, вдруг заинтересуетесь. Восемь полос, один раз в три месяца»), учится на дневном в аспирантуре и потому пока нет времени заниматься наследием отца, « а ведь осталось еще кое — что неопубликованное. Брату — юристу, который так и осел в Питере после университета, и вовсе не до того... Мама все еще работает, и вам просила привет в письме передать. Помнит вас и желает всего наилучшего. Приезжайте к нам в Новгород. Все — таки у нас хорошо, осо — бенно летом, как бы ни пессимистичны были взгляды боль — шинства из нас, провинциалов, на теперешнюю жизнь...»

Когда памятливо говорю о земляках, отчетливо вижу тех, кто открыто и честно прошел по жизни, ошибаясь, страдая, винясь, но не упрекая других. Безоглядно полагаюсь на пря — модушных коллег и товарищей, не умеющих демонстрировать сочувствие и доброту. Давно ли «добряки» ради собственной корысти притворялись товарищами, доброжелателями, а вот выждали согласованность между собой, состыковали ковар — ные интересы и начали выкручивать руки с готовностью ра — стоптать за непохожесть. И случилось так: я видел его рядом, стоящего напротив расчетливо действующих, попирающих доброту, истину, правду и не знающих стыда; я слышал при — глушенное рокотание его голоса — откровенность, возмуще — ние и смелость в том голосе...

Как повел бы себя Леонид Иванович в новых спрово — цированных конфликтах? Да так же, как прежде. Перекра — шиваться и менять флаги он не умел, руку в карман не стал бы заталкивать, чтобы кому — то кукиш показать. И тогда он действовал безоглядно. Не все его понимали, но способные анализировать литературную индивидуальность не могли не оценить нравственное направление позиции — терпение и надежда (Игорь Дедков). Первые книги рассказов Воробьева печатались в Костроме, Ярославле, Москве, а писал он «про реку Ломенгу, про волоки, перевозы, лесосплавы и про разных

людей тех северных мест...Этим своим героям он не изменял никогда и вряд ли изменит». Начинал он в пору высокой социальной активности литературы (середина пятидесятых), упоминали его в столичной критике.

«Прошло немало лет, и жизнь то летела, как самолет, то замедляла свой ход. И казалось иногда, что она остановилась и легла посреди дороги, как тот бык». Слышу перекатистый, уже другой, рассудительный голос Леонида Ивановича. Вижу его встречу с Игорем Дедковым: «встретились и вспомнили быка, Леонид шутливо пробасил, что он еще и не такое на-пишет, дайте только срок...» Критик работал тогда в «Север-ной правде», готовил к печати новые рассказы, предвидел возрастающее движение писателя, определял качество «по-чвы», на которой видел будущие всходы.

Помнится, мы, начинающие литераторы, по-особому це-нили каждую встречу с Леонидом Воробьевым на семинаре, в дружеском застолье или где-нибудь в дороге. Не оставлял он без внимания живущих в районах. И в редакцию зайдет, и на квартиру доберется в любой переулок, чтобы навестить молодого поэта или прозаика. Он писал: «Вот уже много лет связан я с редакциями. И люблю в них бывать — в любых, а особенно в газетных. Если хорошенько поразмыслить, то, по-жалуй, на свете есть три места, где я чувствую себя в своей тарелке: природа, — ну, это свойственно многим, стадион и редакция...»(О работе в районной газете написал повесть «Это было недавно, это было давно». Конечно, не о работе, а о том, среди каких людей начинал). Понятны особенности челове-ка: никакой внешней философии, напыщенной мудрености, все естественно...

А ведь сложен был человек. Однажды две ночи мы про-говорили. Сколько стихов он прочитал, былей и бывальщин рассказал. Произведения любимых писателей, иностранных и русских, цитировал в подходящий момент. Ценил он пря-модушную, искреннюю, живописную прозу. Русская лите-ратура, говорил, писалась в усадьбах, рождалась в сельском уединении от сутолоки и шума — учесть это надо, лукавить не может: никуда не денешься от правды и поэзии есте-ственной жизни крестьянства — оно у всех наших исто-ков... Вспоминал опять о быке посреди дороги, наставление мальчику от «сердобольной женщины» повторил: «А ты по-терпи, милок. Потерпи. Ты его перетерпи, он сам пойдет. Надоест ему...»

— Наши деды и отцы терпели, — говорю. — Матери выстаивали в военные и послевоенные годы, умирали в бо-розде, возле начатых стогов.— имею в виду его рассказ

«Недометанный стог», вместивший всю жизнь в последний земной день Татьяны Арсенихи, жизнь ее мужа Арсени — тоже.

— Ничего, у людей и горше бывает. Перетерплю. — Будто бы повторил он слова Татьяны. — Вот попройдет это время, потом легче будет.

Писатель и сам знал цену этому рассказу, потому что принимал, как и его герои, жизнь такой, какая есть, любил ее такую — глубокую, скромную. Леонид Воробьев дорожил ею, по словам критика, но молчаливо признавал ее подчинен — ность, зависимость от какой — то «большой жизни», происхо — дящей в других, более значительных местах. Может быть, полагался на устойчивость этой жизни в местных и личных радостях, заботах, драмах. Но критики усматривали за таким подходом робость мысли, которая потом медленно будто бы изживалась в биографических рассказах.

Разве пронзительные по сути, художественному вопло — щению произведения не вызывают у читателей смелость ос — мысления пережитого? Не рассчитывал ли автор на такое читательское возрастание и расширение мысли? Вряд ли автор стремился удержать свою художественную память в рамках примирения с участью. «Фирменное блюдо», «Дере — вянные винтовки» и другие подобные рассказы, по призна — нию самих же критиков, составляют бесценное дополнение к истории войны и послевоенного времени. «Через память дет — ства о себе и взрослом мире многое в человеческой истории и судьбе видится и осознается яснее и ближе к истине». Сам автор, значит, пробивался к исторической и философской зна — чимости в размышлениях о жизни, воспринятой на берегах Ломенги. Не зря же он помнил совет «не торопить».

Знающим его по жизни и литературе понятен авторский вывод:

— И снова нужно было терпеть. И снова кто — то обгонял, давал советы, уходил вперед. Бросить свой воз? Но тогда с чем ты придешь к дому и как встретят тебя?...— Леонид Иванович повторял для собеседника. — Вот и сейчас... Если почудится жизненная остановка, я не впадаю в панику. Я помню ту дорогу, и реку, и ястреба, и паутину на ветру. И женщину, прошедшую мимо. И не выхожу из себя, не растрачиваю времени и сил на бесцельные крики и ругань, не стараюсь казаться сильнее, чем есть, форсировать голос и силы, совер — шать нечто непосильное, а потому смешное. Терплю и жду. Наблюдаю и жду. И наконец поднимается бык.

— Наблюдаю и жду, — это уже я шепчу применительно к себе, вспоминая встречи, мечтательные и трудные разговоры.

... Студенческим летом я отправился узнавать родную область. В рюкзаке кое-какая сменная одежонка, сухари, две бутылки с чаем, карта, компас, книги, блокноты со стихами и рассказами, программа желаемых встреч. Загорелый, с облупившимся носом, худущий, наивный, но настойчивый в своих намерениях, прошел былыми дорогами и лесными тропами до заповедной кологривской стороны — звало туда многое: акварели Ладыженского, литературные истоки Ивана Касаткина, сказочный мир Ефима Честнякова и, конечно, воспетая Воробьевым, протекающая через его рассказы река. Тогда вышел в Костроме сборник «У реки, у Ломенги», оформлял его наш преподаватель — график Юрий Рыжик, объяснявший нам по иллюстрациям как отпечатываются линогравюры. Книжка была в рюкзаке — нес для автографа. Прибыл, словно очарованный странник. Переночевал за Унжей в Якимцеве, а утром звоню Леониду — объясняюсь: почему и зачем в Кологриве.

— Где ты прячешься, Миша? Приходи сейчас же ко мне.

— Вечером бы лучше, — осторожничаю, чтобы не помешать в работе.

— Сказывают, вечерял на берегу без моего ведома. Вот ты какой, — он что-то сердито пробурчал. — Пять минут жду — не больше. Дуй через парк напрямую! — приказывает. — А то, знаешь, я встречу!

Строго подстегнул меня. Деваться некуда — запеленгован: визит на вечер откладывал, чтобы обдуманно заявиться, а он требует. Спешу по названным ориентирам с извинительным трепетом в голосе: «Здрасьте, это я, Миша...»

— Чего мнешься? Проходи, будем завтракать.

Снимаю пыльный рюкзак, чтобы оставить у порога. Подбегает шустрый мальчонка — тот, который через годы до петербургского юриста вытянулся.

Смелый такой, свойский. Спрашивает: «А у тебя чего? Выпивка?» — для проверки пинает. Пустая бутылка из-под чая звякнула о другую нетронутую — подала сигнал: для встречи по обычаю надо бы купить «московскую» и пацану хотя бы конфетку или пряник! Сигнал-то хорош — да в кармане грош...

— Ой, мальчик, поосторожней, там стекло, — отец окликает сына.

Как-то само собой все и рассосалось: понятливый Леонид Иванович, защитил от неудобства стихами, множеством вопросов, домашним завтраком и еще кое-чем. Легко было общаться. После плотного завтрака идем гулять его излюб-

ленными тропами. Здороваются люди с ним, а он объясняет почему такую рань вышли сегодня.

Прогулялись. На берегу сидим беспечально. Тянется, складывается разговор бесконечный. «Вода кажется неподвижной. Неподвижны и кусты, и ветки одиноких деревьев, разбросанных по противоположному берегу, и мелкие облака у горизонта, — прочитаю потом начало рассказа «В знойный полдень». — Только воздух над перекатом струится, мреет, переливается...»

— В футбол играл когда-нибудь? — вдруг спрашивает. — В воротах будешь стоять? Постоишь — рост вратарский, — утвердительно говорит — знает, что не посмею отказаться, да и характер мой чувствует.

Надо бы признаться: не люблю на воротах, скучно в ожидании острого момента, в нападении по левому краю раньше вроде бы получалось.

Пришли на футбольную площадку. Нашелся припрятанный в кустах мяч. Тут и взвинтился писатель, вихрем носится по полю, только рыжие волосы на ветру нимбом светятся. Разбежался виражами, инерцию набирая, и — хлоп в нижний левый угол! А потом — в правый верхний! Ну, рыжий бык, думаю. Под расстрел, в позор межака поставил. Знает кологривский уезд твои судейские возможности, рассказывали как со свистком среди футболистов бегал. Теперь, значит, роль нападающего на мне отрабатываешь? Ворота мною заткнул, чтобы издеваться. Погоди, землячок, не наскакивай. Сосредотачиваюсь против очередного захода — вылетаю торпедой и подминаю мяч впалым животом, на локтях, как на полозьях, качусь по росной луговине. А он хохочет...Исполосованный, но довольный встаю:

— Ну что?! Два раза обманул, в третий — не вышло.

— Проверим, — говорит. — Попытка — не пытка. — Отступил петушиным стилем, руки растопыривая, зачем-то на небо посмотрел, кого-то наблюдающего из-за кустов оликнул — наверно, внимание мое расслаблял. И без лишних движений, прямо с места, сильно послал дальнобойный.

— Ну, такие у нас, Леня, не проходят.

— Вечером посмотрим. Наши придут — наколотят вашим. — Это он уже две команды, видимо, скомплектовал. — Ну-ка, подай еще.

И вот опять несется с тяжелым придыханием, в лихой дуге проходит перед одиннадцатиметровой отметкой, но по воротам не бьет:

— Заигрался. Передохнуть пора...Не торопи старшего, ты — порезвее...Пройдись-ка от ворот до ворот, прорисуй

траекторию. — Казалось, он подбирает «рычащие» слова — с ними устанавливает дыхание.

Что ж, просит — исполню. Луговина приятная, зеленая, только в центре да у ворот утоптанные пятачки. При хорошем настроении пробежаться можно. Но не заиграюсь, не изображаю бодряка. Покатал мяч туда-сюда. Изобразил несколько проходных финтов по левому краю, пора бы и пробить, но мяч не подчиняется, соскальзывает с наклеенного «пыра»...И все же вбиваю сносную «банку» в пустые ворота. Спешу через кустарниковую ограду за мячом. Возвращаюсь трусцой. Леонид идет навстречу:

— Ладно, хватит. Пробежался и хорошо. Наш парень. Берем в лучшую команду. Сыграем с приезжими. Надо сыграть, пора. — Приглашает к себе на скамью. — Отдохнем и — дальше. А читал твое слово...Намечается, имеешь. Что пережил — о том пока и пиши, что жжет — записывай. Сам разберешься. Важно чувствовать себя корнями в этой земле. Не надо доказывать перед чиновниками право на существование, на возможность высказаться, мы — часть явления, не чиновниками созданного. Мы на своем поле еще поиграем...

Так про футбол и забыли, никакой игры не планировалось на той неделе. И не о футболе он думал тогда. Понятно это стало на областном совещании литераторов. Леонид Воробьев, как и ожидалось, выступил. Его не устраивала организационная работа, возмущал идеологический расклад в анализе произведений, даже смешили повальные «увлечения и поветрия в общественно-литературной среде», «передовые веяния», «пафос восторгов». Он и в братских застольях кипятился, резко говорил о том, что в Костроме принято не замечать, не ценить свои достоинства, чиновники надеются на «варягов», а они, приезжие «назначенцы», поспешно претендующие на гениальность, вылавливают лучшее в наших песнях и под свою идеологию сочиняют нечто вторичное. На такую крайность суждений, видимо, толкали конкретные факты. Уравновешенный в художественном изображении жизни, которую он понимал и любил, в рассказах не дающий возможности злым и аморальным силам развернуто действовать, в реальном общении он выходил на конкретное противостояние. Клокотала в нем тема «коренные и пристяжные», наверно, с намеком сборник ранних очерков так назвал...

Друзья знали причины его возмущений и резкостей. Он чувствовал и понимал в среде художников, писателей и артистов, вообще в культуре действия «назначенцев», претендующих на гениальность по прямой логике: нельзя даже в

бюрократическом раскладе стать первым, когда художествен-ный и философский уровень на перспективу убедительно и широко заявлен местными талантами. Он знал свою силу, но не торопил «быка». Терпел и ждал, ждал и надеялся. Надеялся и работал в литературе двадцать лет. Издавался и переиздавался, но не был избалован местным и столичным вниманием, как бы запаздывал в откровениях — а получилась сложная судьба.

Наиболее верно, на мой взгляд, после всех аналитиков понял, оценил эту «нутряную» личность костромской писа-тель Борис Гусев. Он дружески знал Воробьева и учитывал восприятие его другими: у одних кологривское житие со зна-менательными «набегами» на Кострому вызывало насмешку, другие побаивались его независимого поведения, третьи о нем сожалели. А сам он, по мнению Гусева, в любое время, в любом состоянии жил интенсивной внутренней жизнью, думанием, иногда страдальческим, иногда веселым, но — никогда праз-дным или просто любопытства ради. «Некоторые считали его «нутряным», исходя, так сказать, из оценки внешнего об-раза, редко презентабельного. Но рассказы его, всякий может убедиться, отмечены высокой литературной культурой, кото-рая дается непрерывной работой духа, неутомимым самооб-разованием». Высказано в эссе удивление: когда же Воробьев успевал писать, читать, обретать знания по истории русской культуре, медицине, биологии и по другим направлениям?! Уверенно обозначено для недругов и почитающих потомков: «Все мы знали, что он талантлив».

Они водились больше пятнадцати лет, но Борис, являясь к нему в Кологрив и в Новгород неожиданно, без предупреж-дения, никогда не заставал его праздномыслящим или с жа-лобами на бестемье. «Живя в стороне от официальщины, литературной и политической, он находился как бы в третьей вершине треугольника и всегда ясно видел, насколько поли-тическая и литературная официальщина уходит от действи-тельно повседневной жизни. И за это он платился», оказался оттесненным от литературной и гражданской родины....Не дождался при жизни достойного официального признания, «не дождется, видимо, и после смерти, хотя для русского советс-кого рассказа он сделал немало нового и полезного, и среди современных модернизаторов русского языка он, один из не-многих, сумел остаться чистокровным русаком второй поло-вины двадцатого столетия».

Гусев пошел дальше критиков, упомянув, что в последние годы Леонид Иванович от живописи потянулся к философии, открыл новую струю в русском рассказе. Это подтверждается

и сегодня, стоит перечитать «Много в колодце воды», «В гости к Щепову» — второе название «В Песково за Библией», «И поднимется бык». Он болел именно «проклятыми вопросами» бытия — и такие болезни укорачивают земной срок.

Последним своим летом Леня предчувственно проехал по дальним костромским районам, навестил знакомых, друзей. Сообщая мне после очередного расставания о своем «облетном» передвижении (30 августа 1976 года. Л. Воробьев — так подписывал письма) он кратко делился новостями: «Только что появился дома. Был еще раз в Костроме, Ярославле, Москве... И в Ленинград (к матери заехал)...Получил верстку из «Сов. писателя», выкручиваюсь...Книга с автографом за мной...» Собирался прислать книгу «Это было недавно»...Она и повторное — посмертное издание в большем объеме через три года представили его «новгородским писателем, автором семнадцати книг, объединенных темой села...»

Возвращаюсь к рассказам, они — долговременная ценность, облагораживающая жизнь тех, кто это понимает. В сборнике «Долгая жизнь» одноименный рассказ кончается последним чувствованием, последней думой прошедшего свой земной срок. «И видя, как наяву, и этот вечер, мягкий, майский, и шумящую березу, и девушку, и себя со стороны, ощущая радость от встречи, чувствуя каждое дуновение ветерка, обоняя все запахи, слыша даже самые слабые шорохи, продолжая клониться назад, неожиданно со страшной отчетливостью, с полным последним пониманием, с горечью от невозвратимого осознал... — до чего же короткой была его жизнь».

Леонид Воробьев закономерно по-своему видел и знал в людях не только сильные характеры и преданность работе, как писали некоторые «ценители-назначенцы», даже из новгородского далека, скучая по своей Ломенге, он видел события и явления глубоко, слышал и чувствовал повсеместную трагическую какофонию, не угасающие в ней родные тонкие звуки и самые потаенные шорохи прорастания, доверялся им и надеялся на понимание.

14. «Жизнь — это все-таки то, что всегда...»

На берегу волжского притока Унжи краснокирпичный храм в белеющих строительных лесах — ремонт и реставрация этими лесами засвидетельствованы. Неподалеку за деревьями недавно построенная средняя школа, уютная, обихоженная руками учителей и учеников с чувством меры и

красоты. Около двадцати лет назад, сразу же после института, Александр Анатольевич стал директором школы и посте-пенно «пробивал» строительство нового здания, познавая все невзгоды сельского бытия в узаконенной «неперспективности». При поддержке администраторов, выходцев из этих мест, как видим, труд не пропал даром. Оцененный труд — немало-важное условие для выбора места жительства.

Дом директора школы находится под горой в начале де-ревни Усолье, обыкновенный, с хозяйственными пристрой-ками и палисадом. У самой дороги. Тещин дом. Свой на учительскую зарплату не выстроишь и за двадцать лет. Вот и теснится директорская семья из пяти человек в старенькой крестьянской избе. Живут дружно, ведут хозяйство, возде-лывают приусадебный участок — натурально спасаются от безденежья. Бывало, учителя и полгода не получали зарпла-ту. Но не озлобились на директора, настроение не срывали, ученикам своей печали не выказывали.

— Достойные и терпеливые у нас педагоги. Хороший коллектив. Живем педагогическими заботами. Своя жизнь, особенная и в то же время общая — деревенская, — расска-зывал Александр Анатольевич при первой встрече, когда ко-стромские писатели приехали в район проводить Дни литературы и, конечно, эту школу не миновали — новый ав-тор ее возглавляет. А жена его Вера Викторовна, учительни-ца начальных классов, взглядывая на притихших дочерей Настю и Машу, говорила о семейном ладе, о том, что у каждого свои обязанности, при этом и школьный коллектив назвала большой семьей с общими печалями и радостями...

На деревенской длинной улице по дороге от школы к дому директора встречались праздничные школьники раз-ных возрастов, как в давние добрые времена, здоровались с каждым знакомым и незнакомым человеком, охотно отвечали на мои вопросы, радовались: последний день занятий, завтра выдадут табеля! Местные жители смотрели вслед уходящим детям, заодно узнавали, приглядываясь из палисадников: кто это там директора приостановил опять?

За взгорьем на шоссе снуют автомобили — по звуку оп-ределишь: «товарные» машины, с коммерческими притяза-ниями и обманным товаром спешат из одного города в другой. Такая жизнь. А здесь — устойчиво особенная, в нарастающем драматизме обделенности и унижения трудов на земле. Доб-рая душа видит затаенную крестьянскую боль, невысказан-ную тревогу: что будет завтра с близкими и родными, с этой деревней, с этой землей. Не о том ли повествует автор пред-ставленной рукописи? Да, возникают согласные с авторскими

вопросы. Каков нынче облик сельского жителя? Что отличает его от разбогатевших и беззаботно вроде бы преуспеваю—щих? Чем спасается обманутый, ограбленный, обездоленный житель дальней провинции? На какой основе преодолевать отчужденность между людьми, расчетливо—потребительское отношение ко всему окружающему, какие ценности обере—гают душу, пробуждают лучшие человеческие качества, из чего выстраивается смысл жизни? По каким ориентирам пре—одолевать дошедшие сюда, преднамеренно взращиваемые, спровоцированные развратительной пропагандой пороки? Вопросы, вопросы... Короткие рассказы, этюды ставят много вопросов, за ними авторское понимание неучитываемой го—сударством жертвенности, каждодневных тихих подвигов. Пониманием и добротой записаны сюжеты А. Хлябинова.

Такая житейская сюжетность нынче предпочтительна. Один известный критик, размышляя о «производстве» жур—налов, лет восемь назад писал, что в оценке сочинений на первое место надо бы ставить сюжетность. Если произве—дение не выдерживает испытания простым пересказом, то это надо учитывать как первый признак бесполезности. Он и стихам в периодике отвел большое пространство именно по признаку сюжетности, пусть в чем—то неуклюжим, поскольку гладкие (или по—модернистски выпендрежные) беспредмет—ные медитации осточертели. Упоминаю эти суждения пото—му, что усматриваю в них полезность для поддержки таких вот деревенских сюжетов, в которых проглядывает то характер, то судьба, то бытовая ситуация с далекими последствиями. Тот же критик, ставя себя на место редактора, предполагал свои действия: если в рукописи вещь читается безотрывно — тут же в набор ее, не думая, что скажет снобствующая княгиня Марья Алексеевна.

Вот и я беру из рукописи один рассказ, второй, третий. «Зацепляет» автор, не мудрствуя лукаво. Из первого рас—сказа «Беда», из обыденного сюжета проступает общена—родная трагедия. За бегло обозначенными биографиями в других зарисовках нетрудно увидеть пройденное, пережитое, в чем—то определяющее нынешнее самочувствие местных жителей. Автор говорит о том, что необходимо всем видеть, знать, помнить и понимать. Он не приспосабливается к мод—ным запросам общества, потворствуя коим, литература, как и другие искусства, может стать пустым развлечением. По мнению Альбера Камю, высказанному более сорока лет на—зад, общество, равнодушное и усталое, хвалит и хулит по чи—сто случайному выбору. Интеллигент может подстраиваться под этот выбор, уклоняясь от жизни общества, творить во—

ображением, фантазией собственную реальность из чув-ственной и душевной практики, из осмысления субъективно познанного и пережитого. «Однако в одиночестве, — считал французский писатель, нобелевский лауреат, — он создает лишь формалистические и абстрактные произведения, ин-тересные как опыт, но лишенный плодотворности истинного искусства, призвание которого — объединять людей». Ни один художник не может обойтись без художественного во-ображения, без эксплуатации всего диапазона чувств. Что же еще необходимо всякому сочинителю, кроме состояния души, дарования фантазии, личного жизненного опыта? Ко-нечно, свобода выбора, умение видеть, слышать, сострадать и понимать, оправдывая, а не проклиная. Умение быть за-щитником, а не судьей. Обретаемая способность говорить со всеми и обо всех через внимание к знакомым всем ве-щам. «Нас сближает то, что мы вместе видим вокруг, от чего вместе страдаем. У каждого человека свои мечты, но реаль-ность мира — наша общая родина» (Альбер Камю). Обра-щаясь к высоким суждениям, надеюсь возбудить на будущее у автора первой книги новые стремления и сверхзадачи.

Пока же находятся основания для претензий и пожела-ний. Автора можно упрекнуть за однообразие ретроспекций и сходство композиций, сюжетов, за чрезмерную сдержан-ность в описаниях ради краткости. Представляется предна-меренно приглушенной палитра в передаче состояний природы, в обрисовке персонажей. Можно заметить жанровую нео-пределенность, уклонение от художественной прописки пре-дыстории случая и заглавного центрального эпизода. Но даже дневниковые истории убеждают в умении выбирать картины быта, факты, слова и жесты, время и место действия, в умении «обрывать» диалог, пользоваться байкой, анекдотом, фольк-лорной речью. Автор пишет понятную, обусловленную жи-тейскими обстоятельствами атмосферу бытия. Он передает его как преодоление невзгод долготерпением, силой духа, со-вестливостью и надеждами.

Вспоминается известный поэт, способный, по мнению критика, прожить жизнь, «как прозаик, не корчась и не то-ропясь». Не торопясь красиво высказаться, удивить газет-ной крикливостью или эстрадно-издевательской нелюбовью к людям. Упомянутый поэт Владимир Корнилов однажды сказал: «Жизнь — это все-таки то, что всегда...» Давние и новые стихи этого столичного поэта заставляют говорить чувство, потому автору доверяешь «на основе внутреннего ощущения того, что все написанное ... правда», никто не бу-дет обманут. Вот эта художественная правда и есть основа

плодотворного искусства, объединяющего людей. Деревенские сюжеты Александра Хлябинова, живущего прозой, не обманывают, они окатывают горечью и печалью правды. Имеющий незаемный слух услышит уже сейчас собственный голос прозаика. Своими малыми сочинениями он встал в ряды тех, кто не отступает от праведности, обозначил себя среди способных искренним родным словом позвать от чувства безысходности, душевного смятения на утверждение достоинства.

15. «Я видел Сусанина»

По-разному складывались жизненные и литературные судьбы писателей старшего фронтового поколения, были в этих судьбах особые нравственные ориентиры, эстетические критерии, идеологические установки. Одни из них, так и не познав мирной жизни, не вернулись в родные места после долгих скитаний на огненных дорогах. Не вернулись домой долгожданные с полей сражений или из военных госпиталей, но стали известны и почитаемы по таланту через много лет; другие, пришедшие при орденах и медалях, непременно попадали на высокие должности, с первого сочинения получали ореол гениальности и породили спешный поток не правдивой народной, а генеральской прозы; третьи по разным причинам через Литинститут и Высшие литературные курсы соприкасались с мирной жизнью в установочной отстраненности, тоже получая определенные издательские и прочие привилегии, отчего в литературном смысле позднее и сами пострадали, но до сих пор ревностно следят за тем, чтобы не упустить и самую малую премию или почесть. Надо учитывать и оговориться вслед за Виктором Петровичем Астафьевым, что есть какие-то закономерности в движении общества на том или ином этапе жизни, продолжающие себя и в отдельной личности, потому что, как давно известно, никому еще не удавалось жить от общества отдельно. Постепенно и нам дано было узнать других, искренних работников литературы, которые не торопились писать свою войну.

Есть во фронтовом поколении такие, кто без шума, грома (это не раз подчеркивал участник войны тот же Астафьев), без ужимок и бития себя кулаком в грудь упрямо прокладывали свой путь в литературе. «Вчерашние бойцы, порой стиснув зубы от душевной боли, недоумения, досады, но сохраняя вы-

держку и достоинство, веруя, что только трудом, глубинным вкапыванием в родную землю, соленым потом, от которого ломаются гимнастерки на спине, до костей изнашиваются ладони, ломит грудь, стонет сердце, ноет кость, — только такой работой достигается победа, пусть на этот раз вроде бы только твоя личная». Вот почему правомерностью стало, что к зрелому возрасту бывшие фронтовики в спокойном, вдумчивом, часто мучительном наступлении заняли ведущее положение в литературе, взяли те высоты, на которых «какое-то время кривлялись, отплясывали и чего-то там пели и провозглашали на заемном языке новаторские писцы в пиджаках заморского покроя». Сказано это было 20 лет назад.

Но вот опять хлынуло в Россию повторное кривлянье и отплясыванье в радости от наших бед. И потому в особом почтении надлежит вспоминать людей терпеливых с негромкими судьбами, сформированными обстоятельствами сороковых и пятидесятых годов. К таким отношу и костромских писателей фронтового поколения, ушедших из жизни: Е.Ф.Старшинова, В.А.Старостина, Н.П.Алешина и его брата Александра, В.А.Бочарникова, А.Ф. Румянцева. Они без особых известностей и почестей тоже были заняты тяжелой, неотмолимой работой, которую могла оборвать только смерть.

Алексей Федорович Румянцев родился в судиславской деревне Аниково за пять лет до революции. Участник Великой Отечественной войны. Учительствовал в сельской школе. В автобиографии, написанной при вступлении в Союз писателей СССР, он вспоминал: «А в 1924–25 годах мы, ватага пацанов, пристрастились посылать в уездную газету письма-заметки о деревенском житье-бытье. Подписывали так: «Молокососы»; или еще — Малиновский кружок юнселькоров». Когда Румянцев учился в пятом классе, губернская газета напечатала его стихотворение «Делегатки приехали», рассказик «Исповедь».

В семнадцать лет он пустился «по белу свету», работал грузчиком, токарем, избачом, чернорабочим, архивистом и газетным сотрудником. Характерные для того времени прошел университеты. Учительский институт окончил заочно. Война, конечно, внесла коррективы в судьбу одаренного человека, увлеченного с детства литературой. После контузии в 1944 году и «ремонта» в госпитале, как он сам писал, военно-фронтовая страда закончилась. Вернулся в деревенскую школу, но по болезни и учительство пришлось оставить в 1954 году, который он считал для себя черным. Но самое лучшее, самое дорогое воспоминание — это школа, деревенские мальчишки и девчонки. Помнились литературные кружки, где, обучая

детей, он и сам исподволь вернулся к давнему увлечению творчеством. Помог ему поверить в себя известный писатель, наш земляк, Василий Смирнов, автор романа «Сыновья», эпопеи «Открытие мира». Литературный успех намечался давно, еще в сороковом году на конкурсе в Ярославле были отмечены премией давние рассказы Алексея Румянцева. Серьезно занимался литературой двадцать лет с 1955 года — до последнего дня своей жизни. Он, незаметный как будто бы работник литературы, возделывал свое поле, писал книжки для детей, наиболее близких ему читателей. Никогда не претендовал на роль философского проповедника, но как обнаруживается теперь, создал достойное завещание молодым своей неоконченной книгой «Я видел Сусанина», которая учит и призывает не только познавать и хранить прошлое Отечества, но искать и находить в нем то, по словам прозаика Бориса Гусева, что долго и умело скрывала барская история.

Румянцев заинтересовался сусанинским подвигом в тридцатых годах и многие годы вынашивал замысел повести, собирал материалы. Автор пишет: «В архивбюро Костромы напал я на один следок, а вернее — полунамек, примету и ключ к поискам правды о Сусанине... Легенды и сказки, слышанные под Судиславлем, начал я оснащать фактами научно-проверенными, копил да копил всякие материалы, списки с древних документов, грамот...» Укрепленный выводами самодеятельного историка, свой замысел пронес через полные драматизма десятилетия до наших дней... И дальше — в других десятилетиях будет работать эта книга, созданная русским впечатлительным человеком двадцатого века. Это главная книга. Но и в других очевидна любовь к милой родной окрестности, к детям, трудолюбивым землякам.

«Неспокойное детство», «Незабудка», «Гриб-путешественник», «Ромкины зигзаги», «Первая охота», «Белые ласточки», книга повестей и рассказов «След моей юности» — книги, заслуживающие внимания критиков и литературоведов. К сожалению, повесть «След моей юности» осталась незаконченной. В издательской аннотации сказано: страницы повести настолько свежи, так живо передают атмосферу 20—30 годов, что становятся подлинным «документом эпохи». В своих произведениях с заботой о том, как будут жить люди новых поколений, с интуитивной заботой талантливого человека об этом, рассказывал Алексей Федорович о детстве и юности своих сверстников, родившихся перед революцией и прошедших через многие испытания, но сохранивших жизнелюбие, доброту, совестливость и чувство правды, любовь к родине.

Впечатлительный, легко ранимый, неумеющий лебезить перед чиновниками, он имел трудную судьбу. Испытывая настоящие «муки слова», работал не для успеха и славы, а ради искреннего осмысления своего жизненного опыта, народного долготерпения, исторической правды.

Предваряя сборник рассказов «Белые ласточки», он писал: «Особенно любили выспрашивать очевидцев, участников гражданской войны и трех революций: рассказы их окрыляли нашу мысль и фантазию, формировали взгляды, жизненные устремления. Вот почему книгу о детстве моем и моего поколения мне надо было начать непременно с событий 1905 года. Листая исписанные страницы, вызывая из тумана времени милые сердцу образы, я как бы вновь и вновь дышу воздухом озорного нашего мальчишества с его проказами, встречами, происшествиями...

Давным-давно отшумели весны мои и моих сверстников, многим не похожи они на весны нынешние, юный читатель. Но если нам в двадцатых годах не терпелось побольше узнать о жизни и опыте старших, то разве тебе знать это не интересно? Разве прошлое, настоящее и будущее — не единая цепь, звенья которой соединены накрепко?»

Услышим из наших дней этого беспокойного, чувствительного человека, услышим и поймем в искреннем радении о национальном достоинстве, в заботах об исторической правде. И скажем свое правдивое слово о времени, в котором страдаем, взращивая надежды для своих детей.

В литературе долговечен лишь тот, кто живет не для себя, а для других без натужного самолюбования и напускной важности. К такому писателю, даже если он находился в забвении немало лет, люди доверительно возвращаются из новых житейских обстоятельств.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

«Все такое узнаваемое, близкое...»

Ненастным затяжным вечером перед играющим в печи пламенем ожидаю согреванья по всей избе. Только что дочитал книгу «Салют в Стрижатах» и потому слышится на улице радостный зовущий крик:

— Вставайте! Вставайте! Победа! — это председатель сельского Совета Клавдия Бурцева скачет на коне вдоль деревни, хлещет березовой веткой по пролетающим избяным простенкам, сзывает к общему ликованью. Многоголосая радость: ПОБЕДА! И мальчик Лева Кузьмин кричал. Автор так и заканчивает книгу: «И я — кричал. И я — будто пел. И честное слово, я в эту минуту рос!» С Победой, конечно, все мы воспрянули, в рост пошли...

За окнами нынешняя синеющая темень, посвисты ветра в черемухах. Вспоминаю свои давние дороги, представляю себя ликующим посреди поля между деревнями — спешу торжествующе к другим людям. Навстречу тяжело движется против ветра незнакомый подросток. И вот уже заметает проталины, клубится возвратная коварная метель, бросает колкий снег в

лицо, сбивает дыхание. А путник все-таки идет и тянет за собой легкие саночки. Встали вплотную при встрече.

— Не бойся, — говорит. — Я не боюсь и ты не бойся...Вот здесь, — он показал на внутренний карман кургузого пальтеца, — записка. Что в ней сказано, помню наизусть: «Астя, милая. Договорись с кем-нибудь поменять мою шубку на крупу, на муку или хоть на что. Поддержи нас с ребятами».

А в другом времени, по столичной улице возвращались мы после утомительного заседания — остановился Лев Иванович, чтобы заслоняясь воротником от шума и ветра, договорить еще эпизоды из своего детства.

— Школу-семилетку окончил в самый разгар войны и вот решил: пойду в трактористы, в колхозные пахари. Для начала можно подсобником к Валентине Громовой, она научит.

Призвали меня и Валентину к директору. Стою и глаз на Валентину не смею поднять. Она, смелая. Сердитым голосом говорит не только то, чего я в перепуге жду, а говорит и то, о чем я не успел еще подумать: «Этот Левка-шкет, что ли, хороший мой знакомый? Из-за него позвали?» А директор тракторный поясняет: «Вижу, малый с огоньком». Так и попал этот шкет в сопровождающие. Горючее в дальнюю бригаду послали доставлять. Пригодилась подростковая деревенская сообразительность, с огоньком по грязюке добирались — впереди трактора с факелом пришлось идти.

Краткий этот монолог впоследствии обнаружил я основой сюжета в рассказе «Огонек» моего нового знакомого, нашего земляка Льва Ивановича Кузьмина, которого по книгам знаю давно, а в земляческом и творческом общении лет пятнадцать, теперь — и побольше...Однажды дотошный читатель-земляк меня спросил: откуда родом автор книги «Щедрое яблоко» про Ефима Честнякова? Говорю: наш он, костромской, из Парфеньева, сын учительницы Фаины Андреевны. Хотите, познакомлю...На согласие ответил подробным рассказом — все вкратце изложил, что знал. Вспомнил и первую встречу в Москве.

Лев Иванович приехал из Перми на съезд писателей России. Столкнулись в гостинице. Конечно, я узнал его — есть, видимо, такая земляческая интуиция. Он тоже обрадовался, сказал, что знает меня еще по первой повести для детей «Самая сладкая рябина», вышедшей в издательстве «Детская литература», где он сам постоянно издавался. Было о чем поговорить и не только о детской литературе. Как же, оба из Кологривского уезда родом. Детство его, коренные истоки по матери, как он сказал, все начальное, лучшее было-происходило на кологривском тракте. Была такая

деревенька в двенадцать дворов в двенадцати верстах от Парфеньева. Деды по матери оттуда, фамилия их Анохины, а среди них два брата Александр да Андрей, революционеры — ленинцы, погибшие в 1937 году. А прямой дед Андрей Андреевич был первым председателем парфеньевского реввоенсовета, затем председателем совнархоза. «Все мое сердечное, дорогое там, да теперь вот живых — то родных в районе почти уж не осталось у меня никого. Родину вспоминаю лишь в книгах своих через цвет да свет дождиков и солнца, а не так давно издал художественно — документальную книгу «Чудесное яблоко» об известном теперь Ефиме Честнякове, ее переиздание на английском выпустило издательство «Радуга».

Знаменитых земляков вспомнили. Он про нашу костромскую жизнь выспрашивал, о писательских судьбах, о самочувствии знакомых ему по книгам литераторов, а я — о том, что памятно и дорого ему.

В коротких беседах, а затем в переписке нетрудно было почувствовать: человек от деревенских корней, питающих надежную нравственную основу, естественную доброту и характер. Потому и сейчас, в этих заметках о земляке, опять отмечаю деятельную доброту, выраженную в общении, в книгах, в жизненной позиции, в профессиональных разговорах и, конечно, в улыбке. Так увидел Льва Кузьмина и другой детский писатель — Анатолий Митяев, написавший предисловие к однотомнику избранных произведений. А сам Лев Иванович, в размышлениях о современной школе, говорит, что Доброту, Сострадание, Веру и Совестливость — все эти качества в человеке, походя, с позиции показных старших добрячков, то есть без искренности, любви, воспитать не возможно. Веро-ятно, он своей судьбой это выстрадал.

Очень давно в редакцию всесоюзного журнала «Мурзилка» известный уже писатель Виктор Петрович Астафьев вместе со своими рассказами передал стихотворные сказки неизвестного литератора Льва Кузьмина. Сказки сотрудникам приглянулись, потому что были занятно придуманы, ясно и живо написаны. Они решили, что поэт-сказочник похож на своих героев — добрых чудаков. Было понятно: добрые эти герои пришли в сказки, рассказы, повести из парфеньевских и кологривских деревень, оттуда — из неповторимого единственного края, из страны детства. Из лесов, что окружали чудную деревню Задорино.

Мать учительствовала. Отец — из крестьян, но работал на железной дороге, трагически погиб при несчастном случае. Детство будущего писателя прошло под присмотром материной тетки Августы Широковой в деревушке Городище.

«Бабушка Астя, — по воспоминаниям писателя, — никакого сходства с прославленными бабушками из истории русской литературы не имела. Трудилась, билась с утра до ночи за жизнь детей в безотцовщине, вот и все. Но тем не менее большинство хорошего, что есть во мне, я занял у мамы и у нее».Когда подрос и начал ориентироваться между добром и злом, между правдой и неправдой, Лева привыкал к другой жизни на станции Николо—Полома. Трудности военных и послевоенных лет тоже хорошо известны. Кроме него было у матери двое детей. Отчима взяли на фронт, все заботы о младших детях и по домашнему хозяйству пришлось править подростку. Обо всем, чем было примечательно подростковое время, рассказано в повести «Чистый след горностая». Это богатое наблюдениями , событиями и описаниями природы произведение переиздавалось несколько раз.

Лева Кузьмин до восьмого класса учился в Николо—Поломской школе, а потом ушел в МТС — об этом мы уже знаем по рассказу «Огонек». В работе тракториста—пахателя, в этом трудовом еще не пройденном детстве, как он считает, укоренилась основа большинства его книг и основа мировоспри—ятия, мировоззрения, определяющих творческую судьбу. Конечно, жизненных впечатлений прибавлялось: жизнь была интересная, динамичная, требовательная. После техникума участвовал в послевоенном восстановлении архитектурных памятников. Опять были свои трудности и новые радости. «В Ленинграде, послеблокадном, все еще голодноватом и холодноватом, — пишет Лев Иванович, — впервые встретил людей, которые по—настоящему, профессионально рассуждали о литературе и впервые объяснили мне, что литература — не только талант, но и труд...» Там, в Пушкине, местная газета напечатала его первые стихи, соответствующие восстановительному на—строению. Работал тогда лепшиком, строительным мастером. Помнит, как в пустом, опаленном, испоганенном врагами лицее стало снова светло, чисто, как открылись там комнатки лицеистов, как восстановлена была зала, где юный Александр Пушкин читал стихи перед стариком Державиным. Писатель считает, что из всего самого светлого и волнующего в его жизни непременно вспоминаются и эти особенные дни трудовой причастностью в историческом месте — кто же в такой возможности останется равнодушным...

Лев Кузьмин много испытал, изведал, прошел и на строй—ках Сибири, Целинного края, долгие годы отдал тресту «Кам—гэсстрой». И всегда увлекался сочинительством. Может быть под романтическим настроением и рождались веселые сказки для детей. В 1963 году Пермское издательство выпустило первый

поэтический сборник «Апрель». Через пять лет Кузьмина приняли в Союз писателей. Типичный путь формирования творческой личности, в нем — наглядный пример для тех, кто нынче суетливо и поспешно причисляет себя к писателям — профессионалам, козыряя авангардистским формачеством.

Более пятидсяти книг для детей издано у Льва Кузьмина в различных издательствах, не перечислить публикаций в детских журналах, в том числе и зарубежных. По его произведениям снято несколько мультфильмов и диафильмов, поставлена моноопера «Капитан Коко». К сожалению, теперь уже не в каждой библиотеке найдутся его книги: «Край земли», «Как до небес добраться», «Луна над заставой», «Серебряная труба» , «Ранний экспресс», «Избранное» и те, что названы раньше. Сказки в стихах и прозе, изданные на нескольких языках, широко пошли в большой стране и за рубежом. В реалистических произведениях и в сказках с дерзкой фантазией обилие ярких красок, иронии, юмора. В них прочитывается неназойливая дидактика. Книги Кузьмина дважды получали дипломы на всероссийских конкурсах. Некоторые из этих книг Лев Иванович прислал мне с интересными автографами, в одном так и сказано: «... земляку — писателю приятственно от бывшего мальчишечки — тракториста!»

Конечно, радуясь возможности общения и на большом расстоянии, стали мы обмениваться письмами. Послал и я свои издания. Лев Иванович тут же отозвался с ностальгической непосредственностью: «Сразу же вглядывался в текст навыхват, но все равно хлынуло оттуда столько родного, что защемило сердце. Описания природы, селений, портреты и характеры людей, их быт, речь — все такое узнаваемое, близкое, что холодным умом я рассуждать о ваших писаниях, наверное, уже не смогу никогда. Мы с вами — кулики, видать, совершенно с одного болота, и душевная песня наша — одинаковая».Справедливо и это. А что еще требуется для согласия в заботах и печалях о родине?

Коллеги — писатели, сотрудники издательств и журналов воспринимают его как обыкновенного, открытого и доброго человека, а по книгам он — впечатлительный и наивный сказочник, рассеивающий голубые зерна необъяснимой, необыкновенной в наши дни деятельной доброты. По себе знаю, творческий человек в повседневной жизни не всегда обнаруживает на себе доброжелательный свет, но не только у сказочников случаются ласковые солнечные деньки. Лев Иванович вспоминает такие. Была у него жилая комнатка рядом с Александровским парком, рядом с деревянным домиком Александра Сергеевича Пушкина. Это время — особый подарок судьбы.

Приходилось ему выбиваться из беды на огонек, засве-ченный другими. На целинных землях Казахстана это слу-чилось. Был прорабом на строительстве поселков, по большим расстояниям ездить приходилось. В первую целинную зиму возвращались к «штабу» вдвоем с трактористом. Застала глу-хая ночь, начался буран. Сбились с пути, горючее кончилось. Надежда на спасение дотлевала. Вдруг сквозь метельные вихри проглянула желтая точка, ставшая ориентиром. Это в тревожной ночи больной ребенок убоялся темноты. Жен-щина — хуторянка поставила на пугающее окно лампу. Слу-чайность, стечение обстоятельств, слабый огонек, вызванный на окно плачем ребенка. Спасительный факт, ставший сим-волом. Факт, определяющий направленность творческой судь-бы: детям нужны спасительные огоньки.

Идею света, тепла и ласки, деятельного добра писатель Кузьмин проповедует книгами и устным словом, проповедо-вал организаторской работой, когда возглавлял Пермскую областную писательскую организацию — это тоже сроднило нас пониманием нелегкой доли. Читатель, надеюсь, заметил или почувствовал, что названные идеи наш земляк пропове-дует и в письмах коллегам, в беседах при встрече.

Мы, кулики с одного болота, сошлись в убеждении: лако-мая беззаботная сытость, шикарные чрезмерные блага еще не делают человека счастливым. Лев Иванович свое детство и годы восстановительной работы считает собственным счас-тливым временем. Время трудовое, голодное и холодное, когда люди сострадательно делятся всем, что имеют в скудных за-пасах. Не потому ли мальчик Борька и дедушка Ложкин (по-весть «Малахай») раздаривают береженые на черный день яблоки, каждое сопровождая мальчишеским напутствием: «От-дай, дедушка. Вместо меня ему отдай. От одного, сам говорил, не убудет». И последнее яблоко не утаено, для другого маль-чугана оно — спасительная радость, а то и целительное сна-добье, способное врачевать душу и тело. Есть еще, не перевелись, рожденные в нашей стороне, в глуши забытых се-лений, дарители щедрых яблок...

Братья, или одна оттепель на двоих

В годы войны он, необоснованно репрессированный, рыл окопы и противотанковые рвы под Ногинском, где предпо-лагалось наступление немцев. Вскоре Александра Павло-вича Алешина реабилитировали посмертно, восстановили в Союзе писателей СССР и в партии. Длительное время имя

его замалчивалось даже на родине, только в 1969 году была издана книга избранных рассказов с предисловием младшего брата Николая, художника и писателя, творческая судьба которого тоже «сдерживалась» по причине родства. В Костромской писательской организации (она еще только формировалась, возглавил ее человек идеологически осмотрительный) не осмеливались вспоминать талантливого писателя, первого из тех, кто сразу после революции активно участвовал в работе новых творческих объединений.

Составляя антологию костромской прозы, в общий ряд лучших произведений я включил рассказ Александра Алешина «Оттепель», в котором работник — массовик, выходец из низов, в трудное мгновение самокритично размышляет: «А я что? Нет у меня даже самого себя: я — ответственный за круговерть борьбы, и сердце мне давно стало барометром большой погоды...».

Однажды младший брат его Николай Павлович, подарив мне свою книгу «Проня Девяткин», говорил с горьким сожалением, что даже в творческой среде не всегда видят и чувствуют людей, способных быть сердечным барометром общественной жизни. Не трудно было понять: он имел в виду не только судьбу старшего брата, но и свою собственную, судьбы Ивана Касаткина, Анны Барковой, Сергея Маркова и других писателей. Только в период новой «оттепели» к началу семидесятых годов прошлого века было позволено публиковать воспоминания «Прошлое стучится в сердце». И местные газеты заговорили о братьях — «Алешины из деревни Некрасово» («Волжская новь», 1969, 31 мая).

Сорок лет прошло, а подаренная книга напоминает о сокровенной беседе. В автографе — окрыляющая оценка литературных способностей молодого литератора и дополнительная приписка: «На добрую память. 25.12.1963 года. Автор Н. Алешин.» Память действительно очень добрая. И не только у меня. Иногда костромские литераторы и художники признаются, что им не хватает в творческой среде такого мудрого, независтливого старца. Много доброго посеял он деликатным наставничеством и щедрым, искренним, бескорыстным общением. На его оценки прочитанного не влияли ни мода, ни идеологические установки, ни мнение самолюбивых литературных начальников. В каждом из нас, начинающих литературную работу, он ценил прежде всего чувство правды, умение видеть достоинства простых людей, воспринимать народную речь как основу живого русского языка.

Сам Николай Павлович, будучи писателем, художником и сельским учителем, написал немного, но, перечитывая сегодня

его повести и рассказы, удивляешься: как точно сказано, как плотно и драматично передана жизнь десятилетий, как соответствует стиль душевному строю автора. Издательство «Современник», краткой аннотацией представляя книгу избранных произведений «На великом стоянии», сообщало читателям: Николай Алешин — один из старейших советских писателей, это издание является своеобразным итогом народного по характеру творчества самобытного костромского писателя».

Две повести (но какие это повести!) и шесть рассказов — родник душевной чистоты и живописно-емкого слова. На творческих семинарах для современных молодых авторов такие произведения можно использовать в качестве учебного пособия, потому и продолжается доброе наставничество. Первые очерки и рассказы Николай Алешин печатал под псевдонимом Николай Некрасовец. Был принят в местную организацию РАППа, постоянно участвовал в костромских художественных выставках, в двадцать восьмом году был делегатом АХРР, в тридцать втором выдержал вступительные экзамены в Ленинградский институт живописи, архитектуры — ныне Академия художеств им. Репина. Участник Великой Отечественной войны. Только в 1954 году вернулся к литературному творчеству, чтобы записать все сложившееся в памяти. От него, по вполне понятным причинам, не сразу удалось узнать подробности жизни старшего брата Александра.

Родился Александр Павлович в 1895 году в деревне Свято́е, ныне Некрасово. Он был старшим в крестьянской семье, владеющей пашней и укосом на одну душу. Отец хотел отдать сына кому-нибудь в работники , либо на фабрику. По воспоминаниям Николая Павловича, мать возражала: «Чужой запряг да фабрика никуда не уйдут, лучше определить на учебу». Тогда, в 1905 году, и крестьянских детей начали принимать в Костромское высшее начальное училище. После окончания этого училища Александр, единственный из всех деревенских юнцов, выбился на «чистую работу» — поступил переписчиком в нотариальную контору. Много читал, сочинял стихи и рассказы, ходил в Народный дом на репетиции, в литературную студию Высоцкого, который впоследствии возглавлял журнал «Сибирские огни».

Девятнадцатилетним Александра мобилизовали в армию, направили в школу прапорщиков, а потом — на фронт. С румынского фронта откровенно писал родным: «Зябнем в окопах. Образков Николая-угодника много, патронов — в обрез. Грожу из-за бруствера шашкой румынским и немецким артиллеристам и пулеметчикам». В этом сообщении чувствуется его позиция и будущий авторский стиль, который

подтвердится первой публикацией прозы «КВАРТИРА номер последний» (Кострома: Ледокол, 1925). Через четыре года Московское товарищество писателей издаст сборник рассказов под таким же названием.

Появилось время для сочинительства: при недостатке патронов он поднял свою роту в атаку и был тяжело контужен. Очнулся только на третьи сутки в Одесском госпитале, когда оклемался, по решению врачебного консилиума был направлен на излечение в Кострому. Родным разрешалось навещать его в госпитале. Длительное, около двух лет, госпитальное лежание использовал для самообразования, читал Л. Толстого, Короленко, Чехова, Андреева, Горького, Аверченко, и других — «разбирался в стилях», постигал писательскую философию, набирался опыта. И пошли публикации не только в местных изданиях. Рассказы «Партийное собрание», «Сила и удаль» последовательно появляются в журналах. Дореволюционное прошлое родной деревни правдиво и живописно удалось ему изобразить в рассказе «Гусар», к публикации которого написал предисловие А. Серафимович в 1927 году. Тогда же появился и рассказ «Иона Сарычев».

В творческой среде начались перемены: литераторы размежевались по группам, организациям, секциям, ассоциациям, трудно строили свои интеллигентные отношения. Процессы, происходящие в столице, находили отражение и в нашем крае. Александр Алешин оказался в круговерти этих событий. После Октябрьской революции Костромской губпродком поручил ему обеспечение продовольствием отрядов Красной Армии. В начале 20-х годов его принимают в партию и переводят на работу в редакцию газеты «Красный мир», он заведует отделом и руководит литературным кружком. Публикации рассказов и повестей в журналах «Красная новь», «Красная нива», «Октябрь», «Звено» (Иваново) были положительно замечены критикой. Вышло несколько книг в Костроме и Москве. Появился авторитет, с организационными целями перевели Александра Алешина в соседний город руководить Иваново-Вознесенской ассоциацией пролетарских писателей. Там же пришлось возглавить областной оргкомитет Союза писателей.

Накануне первого съезда советских писателей (август 1934 года) состоялась первая областная конференция литераторов, подготовленная этим комитетом. Юридически оформленное отделение Союза писателей Ивановской промышленной области объединило писателей Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областей. Председателем отделения был избран Александр Алешин. Так что литературные силы Верхневолжья собирал и объединял наш земляк — значит,

организационные истоки костромских писателей начинались его деятельностью и не являются заслугой кого-нибудь другого. Он же создавал и печатный орган отделения Союза писателей — ежемесячный журнал «Звено», а затем — «Ивановский альманах».Творческие интересы, объединительная, издательская деятельность определяли содержание и смысл жизни А.Алешина в тридцатые годы.

Появилась пьеса «Волга глубокая», рассказы «Лошадиная эпоха», «Проводники», «Вагон для некурящих», «Третий квартал», «Праздник», «Сто сил», очерк «Стертые лики» (Новый мир, 1930, №5). Творческий опыт формировался в дружеских связях с Демьяном Бедным, Николаем Никадровым, Михаилом Исаковским, Павлом Низовым, Иваном Касаткиным и другими писателями двадцатых-тридцатых годов, под влиянием А.М.Горького...

Был уже вчерне написан интересно задуманный роман о людях Волги, но завершить работу над рукописью не удалось — в конце 1936 года Александр Павлович Алешин был репрессирован. Душевное потрясение и лагерные физические испытания надломили его — незадолго до начала войны по состоянию здоровья был «отчислен» на свободу. Когда началась Великая Отечественная, он пришел в военкомат проситься добровольцем на фронт — можно предположить по каким душевным мотивам он хотел защищать Отечество. И вторично, в 1942 году, ему отказали. Только на третий раз при мобилизации его сына Леона, с которым вместе пришел в военкомат, он попал в ряды защитников правого дела: ему поручили возглавить бригаду на рытье окопов и противотанковых рвов. Там и завершился земной путь Александра Алешина — похоронен писатель в братской могиле. Не дошел он до второй оттепели, не узнал ценой скольких жизней далась Победа, какое будет через пятьдесят лет отношение к победителям...

Жизнь, общественную и творческую деятельность, личностные качества братьев, выходцев из бедной семьи, просматриваем теперь по литературным сочинениям, дневниковым записям, воспоминаниям. Вглядываясь в судьбы земляков, сожалеешь об утратах на исторических зигзагах и задумываешься о том, откуда мы ушли, к чему пробиваемся в поспешных преобразованиях, коих на Россию в двадцатом веке было призвано слишком много. И снова приходится самокритично размышлять, как это делал в трудное мгновение герой рассказа «Оттепель»: «А я что?... Сердце мое давно стало барометром большой погоды?» Именно так тихим голосом и повторил откровенничающий в нашей беседе мудрый Николай Павлович — брат Александра...

Праздник повторится

Бывают все—таки праздники скромные, без лишней суеты и шумихи, но значительные по долговременному содержанию. К таким отношу праздник Славянской письменности и культуры, удалось однажды выстроить его и в Костроме. Это произошло в мае 1996 года. Хорошо получилось: школьники задолго присылали конкурсные сочинения, писатели и поэты проводили Дни литературы в районах, администрация области сделала все необходимое для открытия литературного музея и памятника А.Ф. Писемскому возле дома, где он жил. Помнится, с хорошим настроением мы встречали министра культуры, делегации из других городов, рассказывали гостям о костромских знаменитостях. Теплилась надежда:

праздничное внимание к знаменитым литераторам научит об — щественность ценить талантливых земляков, напомнит о со — временниках, разбудит интерес и к живому слову писателей.

На открытии памятника я говорил о значимости этого культурного события, увидел в нем свидетельство уважения костромичами собственных достоинств, желание в новых ус — ловиях сохранять преемственность традиций, желание и впредь знать, ценить, всемерно поддерживать людей талантливых, са — мобытных, но по многим обстоятельствам еще неизвестных широко в России. Я утверждал, что у нас есть произведения высокого звучания, в них виден человек — не супермен, не исполнитель разрушительных заказов, а душевный и сочув — ствующий брат всего живого, способный работать ради кра — соты, добра и порядка на родной земле.

Давно сказано: порядок выстраивается благодаря совер — шенным людям, а смуту и накопительную суету вызывают люди ничтожные, равнодушные к радостям и печалям большинства. Радость одухотворенной жизни в основе всех наших лучших праздников. Есть праздники на все времена, они возрождают и укрепляют внимание, интерес к народной глубинной жизни, к некрикливому труду и здравому смыслу. С помощью празд — ника, отдающего предпочтение Слову, не получает ли пре — имущество провинциальное наше терпение и наше старание обратить взоры на естественную речь, на каждый честный совестливый голос? Но обстоятельства были таковы, что при — ходилось настойчиво напоминать: за рыночной суетой, в борьбе за экономическое оздоровление не забывайте о душе, нрав — ственности и культуре, не забывайте, что рядом с вами живут, работают, сжигают себя в мучительных раздумьях ради дру — гих и Отечества скромные люди, владеющие божественным глаголом. Не видеть, не знать их , не помогать им, давно зна — ющим цену родного Слова, — обкрадывать себя, свою землю, свою Родину.

Тогда же появилась тревога: вот прошумит трехдневный праздник и все забудется под оправданиями и ссылками на бедный бюджет. И потому требовалось напомнить о про — должении праздника способом постоянного внимания к твор — ческим судьбам земляков. Талантам всегда трудно, скромные и не нахрапистые, они могут радоваться удачам других и постоять за униженного и оскорбленного, но себя защитить не умеют даже с помощью литературы, хотя она (по Л.Н. Толстому) есть высшее проявление духа и потому может учить других, ее же учить никто не может.

К таланту всегда относятся придирчиво, случается, совре — менники поверхностно судят о творениях, даже малые неудачи

ставят в строки досье. Есть такое поветрие: прилетные це-нители спешат унизить коренных певцов родной земли, чтобы самим выглядеть позначительнее. Действуют эти спецы (Ле-онид Воробьев называл их «варягами») как тот подсаженный в гнездо кукушонок, расталкивают птенцов из родного гнезда, льстиво окапываются возле временных чиновников, прислан-ных воеводами. Уже подмечено, услужливого подлеца не сразу разглядишь в такое шумливое время. Но возникает вопрос: защищая скрытных подлецов, не становишься ли сам подле-цом? Конечно, у каждого свои грехи. Одни открещиваются от них ловким ханженством, другие очищаются в покаянии. Нрав-ственное борение происходит между расчетливостью лука-вого ума и врожденным совестливым чувством вины. Об этом невольно думаешь, читая лучшие произведения знаменитых земляков.

Богатый фонд созданных за последние годы, но не из-данных, произведений художественной прозы сохраняет ес-тественную связь с достижениями костромской литературы и конкретно — с наследием одного из самых видных зем-ляков девятнадцатого века. На этой основе можно бы ори-ентировать внимание к нынешним достижениям. Так появилась мысль об открытии в Костроме музея Писемского, об учреждении ежегодной областной литературной премии его имени за лучшие произведения художественной прозы.

Начались хождения по инстанциям. Кураторы «куль-турной отрасли» соглашались с доводами, но поступали по принципу: если нельзя отвергнуть идею, нужно «оконфузить» ее носителя. Один из самых лояльных все-таки сказал, что будет постепенно продвигать замысел «по этажам», хотя всегда было так: предлагаешь — делай , сочиняй обоснование, усло-вия конкурса, положение, всю необходимую документацию, собирай подписи в поддержку, обивай пороги, если нужно. А кому нужно? Разве только автору идеи? Культурное ведом-ство не заинтересовано в серьезном отношении к творчес-кому наследию? Что ж, пришлось ходить, доказывать, писать бумаги: так и так, открытие памятника и литературного музея в дни славянской письменности призывают не ограничи-ваться «галочками» в планах мероприятий, должно следовать почтительное продолжение.

Составил подробное обоснование с информацией для тех, кто и не слыхивал о таком писателе. А.Ф.Писемский ро-дился в начале марта 1821 года в сельце Раменье Чухломского уезда. Эти места раньше назывались классическим захолу-стьем. Выходец из глубокой российской провинции. Учился в Костромской гимназии. А после окончания Московского

университета вернулся в родное Раменье, но вскоре (январь, 1845 год) поступил на службу в костромскую палату государ—ственных имуществ. Много писал, долго не имел возможности публиковаться. При добром проницательном участии А. Н. Островского наконец—то была напечатана повесть «Тюфяк», встреченная дружным хором похвал. Автора провозгласили одним из основателей «чистого и независимого творчества».

Знаток провинциального быта сочинял рассказы, очерки, комедии, литературно—критические статьи (вспомним и Павла Катенина, его «Размышления и разборы»), овладел большими эпическими формами — повестью, романом и сильно в этом преуспел. Театральное произведение «Горькая судьбина», например, было признано одним из совершеннейших в рус—ской драматургии. Романы «Тысяча душ», «Люди сороковых годов», «Мещане», «Масоны» и другие сочинения, в том числе «Очерки крестьянской жизни», свидетельствуют о справед—ливости мнения тех, кто считал его одним из самых после—довательных и оригинальных писателей—реалистов. Писемский осуществил художественную разработку круп—ных и цельных характеров, ставил насущные социальные и моральные проблемы. Самобытное творчество знатока на—родного быта, народной речи и после долгого замалчивания остается неотъемлемой частью классической литературы.

У костромичей есть еще один повод для пристального внимания к его произведениям. В романе «Люди сороковых годов» (опубликован в 1869 году) выведен широко образован—ный, острый на язык и крайне строптивый человек, прослыв—ший на всю губернию за большого вольнодумца, насмешника — некий Александр Иванович Коптин, отставной генерал и забытый литератор, характером, речами и манерами, напоми—нающий «с одной стороны, какого—то умного и ловкого свет—ского маркиза, а с другой — азиатского князька!». Известно, что читатели поначалу не узрели в облике Коптина одного из видных и авторитетных литературных деятелей начала де—вятнадцатого века — поэта, переводчика, владеющего несколь—кими языками, энциклопедиста, драматурга и критика Павла Александровича Катенина, того самого, который в истории рус—ской поэзии занимает самостоятельное место и тоже обладал особой чуткостью к народной жизни, был уверен, что каждый народ обладает своеобразием, исторически сложившейся ин—дивидуальностью, своим «духом и характером». По мнению Пушкина, он никогда не старался угождать господствующему вкусу в публике, был одним из первых апостолов романтизма и первый ввел в круг возвышенной поэзии язык и предметы простонародные.

Поучительный опыт предшественников нынче востребован. Сейчас особенно важно опираться на классическое национальное достояние. Потому во многих регионах России открывают музеи, учреждают по три — четыре «земляческие» премии, чтобы поддерживать преемственность с классиками девятнадцатого и двадцатого веков. И нам такое почтение к землякам необходимо. Значение лучших сочинений Писемского не ограничено эпохой их создания. Он с любовью воспроизводил характеры деятельных, правдивых и честных людей, работал с мечтой о хорошем человеке. И эта человечность дорога наследующим все лучшее из литературы предшественников...

Оснований для создания музея, учреждения премии предостаточно. Но паутина препятствий плетется годами. Как тут не вспомнить жизненный путь Писемского и судьбу творческого наследия. На литературном юбилее при Московском университете ораторы говорили о незаурядности и самобытности его таланта, о заслугах перед русской литературой. В ответной речи юбиляра были откровенные слова: «Пройденный путь, как и путь товарищей моих, был нелегок...» Единственной путеводной звездой у него было желание сказать стране, может быть, несколько грубую, но все — таки правду. Провинциальная обстановка научила видеть за бытовыми подробностями социальную несправедливость, а в судьбах простых людей — воплощение лучших качеств нации. Отчетливо читается уверенность: повсюду, и в костромском захолустье, человек может познать свою силу и достоинство в процессе созидательной работы, внутреннюю независимость личности дает труд.

Восторженный поклонник Пушкина, пламенный последователь Гоголя Писемский испытал, по его словам, убийственную жизнь провинциального чиновника, но не утратил энергию духа, способность видеть народный быт во всей непосредственности, сохранил в литературной работе эпический тон. Через полтора века ушедший мир провинциальной и столичной России, сохраненный художественным словом в произведениях А.Ф. Писемского, оживает перед внимательным читателем. За внешним благодушием размеренной жизни в маленьком городке скрытно царствуют ненависть, злоба, зависть и скука. С первых страниц романа «Тысяча душ» в такой атмосфере начинается путь «наверх» — драматическая история Калиновича, понимающего, что деньги обладают почти магической силой: они могут наделить качествами, которых человек не получил от природы; урода превратят в красавца, вознесут в идеал добродетели

безнравственного проходимца. А без денег истинный та—лант, работающий на общее благо, искренний добродетель—ный человек может оказаться отвергнутым и забытым.

Года два назад в летнюю пору поздними вечерами радио России транслировало спектакль по этому роману. И хотя в инсценировке пропало много авторского текста (о чем со—жалела и сама Вера Андреевна Малышева, режиссер спек—такля), полузабытое и малоизвестное произведение нашего земляка, названного Тургеневым профессором литературного рисунка, притягивало художественным стилем , множеством персонажей, живописной деталировкой, естественным дви—жением сюжета и нравственными ориентирами. Каждый вечер мы включали радио в назначенное время и семейным вниманием извлекали из мелодраматического действия ак—туальное звучание. Главный герой, наделенный силой, умом, ведомый уязвленным самолюбием, переезжает в Петербург, чтобы последовательно выбиться из положения смотрителя училища в заштатном городке. Человека без имени, связей и средств постоянно преследует мысль о «первом шаге». Он ищет удачное начало карьеры, жаждет богатства и комфорта, мечтает о женитьбе на прекрасной княжне, надеется на ка—федру в лицее, на успех литературной деятельности, но семе—нит у «подножия золотого тельца» теми первыми шагами, которые сам называет подлостью. Удивительны психологи—ческие и бытовые совпадения с происходящим сегодня. Потому и вспомнился давний праздник в Костроме на той самой улице, где жил Алексей Феофилактович, где был открыт ему па—мятник среди неприглядности и нынешних свидетельств убого быта в забытых переулках.

Вспоминалось, что сам автор романа, явившись из про—винции в столичное общество, ни в чем не изменил своей привычной физиономии, не принарядился морально, сохра—нил верность самому себе и оказался в ряду лучших писате—лей, потому что душевно проникал в самые затаенные уголки, пользуясь приемами «физиологического очерка», и вскрывал при этом общие закономерности жизни. Этот писатель со—четал черты крестьянской грубоватой непосредственности и чисто дворянского изнеженного стиля.

Первое большое произведение «Боярщина» было оста—новлено цензурой, но не остановило писательское стремле—ние говорить правду, с помощью литературы облагораживать жизнь. Эпическое дарование наиболее полно проявилось в романе «Тысяча душ». Подтвердилось в драматургии «Горь—кой судьбиной». Современники ставили Писемского в один ряд с Тургеневым, Гончаровым, Островским. Вспомним, что

Островский тоже любил литературу и дружил с писателя—ми, наиболее близкие отношения сложились с А.Писемским и Л.Толстым . Однако, забывчивы костромичи или память у них избирательна. Может быть, и причина оправдательная найдется? Есть и такие ловкачи.

В 1863 году вышел роман «Взбаламученное море», изме—нивший отношение высшего света к признанному автору. Из нашего времени специалисты находят объяснения: с давних пор в России нередко современники относятся к творцам не по достоинствам, а по недостаткам и просто в угоду задетому у кого—то самолюбию или по «групповым» соображениям. Последний роман Писемского «Масоны» тоже кое—кого за—дел. Но в памяти костромичей пусть сохраняется лучшее из творческого наследия земляка. Нам дороги его талант, худо—жественное слово, человечность, искренность, умение оста—ваться самим собой при любых обстоятельствах, в любом окружении, при любой сутолоке.

В проекте условий конкурса было сказано, что премия имени А.Ф. Писемского, учрежденная губернатором и обла—стной писательской организацией Союза писателей России, присуждается за произведения художественно и общественно значимые, созданные с глубоким знанием народной жизни, живого народного языка, социальных и нравственных про—блем. Диплом, Знак Лауреата и соответствующую сумму предполагалось вручать в день рождения А.Ф. Писемского на литературном вечере или на открытии музея его имени, или на премьерах в драмтеатре, на чтениях в областной на—учной библиотеке, Специальный Комитет должен был начать работу 1 сентября 1997 года по утвержденному регламенту.

Идея автора проекта была поддержана единомышлен—никами, большинством участников обсуждения в Департаменте культуры: свое ближе чужого. Чем ближе художник подхо—дит «к свойству, быту и краске избранного места, времени, народа и лица», тем превосходнее бывает произведение. Это важно не только для писателей, потому целесообразно ори—ентироваться в культурном строительстве на знание, почита—ние собственных имен. И что же? Кому—то уже не нужны праздники костромской земли, от которой возрастают само—бытные таланты? Если мы не Иваны, не помнящие родства, если мы — не перекати—поле, не можем забывать от каких истоков возрастает нравственное и эстетическое содержание жизни, в чем особенность родной земли, какие художествен—ные ценности созданы предшественниками. Подлинная куль—тура повсюду выстраивается так, что очевидна преемственность. И достойное продолжение следует...

Какой должна быть следующая глава нашего почтения к талантливому земляку? Не пройти мимо разоренного дома, не отвернуться от установленного в праздник бюста, устыдиться собственного равнодушия, допускающего небрежность к достоинствам родной земли. И почувствовать, что памятник достойному земляку может быть перенесен в другое место для напоминания — к зданию на просторную площадь. От этой «корректировки» может быть и начнется наше благодарное внимание к тем, кто живет и работает на долгие времена с любовью к своей родной земле.

«Сочти сейчас мои скитанья...»

От усталости в необязательных делах иногда спасаюсь книгами редкостных земляков. Среди них — двухтомник прозы и сборники поэзии Сергея Маркова. В последние годы читатели и библиотекари редко его упоминают, в периодике редко появляются публикации даже к памятным датам. Давненько был подготовлен специальный выпуск ежемесячника «Литературная Кострома», напечатали стихи, статьи, очерки, воспоминания, страницы рассказов о жизни писателя «под надзором вьюг». Материалы из семейного архива присылала жена писателя Галина

Петровна. Просматриваю эти материалы и вновь слышу теперь уже далекий голос искателя живой воды: «Всю жизнь я верен звуку «о» — на то и костромич!»...»И говор предков сохранив, я берегу слова: «Посад», «Полома». «Кологрив», — покуда речь жива. Мне не к лицу пустая спесь...»

Истинный поэт, обладающий дарованным свыше метафорическим мышлением, очень долго живет «широкой свободною речью». В одном из самых ранних рассказов С.Н. Марков высказал суждение: «Вероятно, боязнь забыть слово и породила поэзию». Первый его поэтический сборник «Радуга—река» вышел в 1946 году к сорокалетию автора — раньше он не смел объявиться в ряду поэтов или были другие причины? А позднее пошло. Столичные издательства выпустили восемь поэтических книг. Но это малая часть из того, что успел он высказать в прозе, поэзии, науке и вообще для истории русских географических открытий. До сих пор знатоки творчества Сергея Маркова говорят об ощущении недооцененности им сделанного для будущего.

Этого нашего земляка называют редкостным, имеющим собственную вселенную. Он с высоким достоинством олицетворял собою одновременно и поэта, и прозаика, и ученого исследователя—географа, путешественника, историка, чей вклад в отечественную культуру объемен и многообразен. Художественная проза органично смыкается с историко—географическими и этнографическими изысканиями. Он создал исследовательский эпос, наполненный описаниями путешествий, экспедиций, совершенных более чем за тысячу лет. Он и сам сделал немало славных открытий, написал интересные, поучительные книги, роман о русских, обживающих берега Америки.

Среди героев его произведений — Лаврентий Загоскин, Чокан Велиханов, Семен Дежнев, Николай Пржевальский, Миклухо—Маклай, Николай Судзиловский, Василий Мамалыга... Капля по капле всю жизнь собирал Сергей Николаевич фактический материал, дающий нынче возможность по—новому взглянуть на историю географических открытий, на великие подвиги исследователей и путешественников. Еще двадцатилетним журналистом он выступил в «Правде» с проблемным очерком о горнорудных богатствах Средней Азии, который обсуждали в Госплане страны, а вскоре в Кремле обратили внимание на другое исследование по обводнению безлюдных солончаков с помощью подземных рек. Он выступал инициатором восстановления Кутузовской арки в Москве — памятника народному подвигу, предлагал присваивать имена открытым островам, спасал музеи,

парки, библиотеки, памятники зодчества, отстаивал доброе имя деятелей культуры и общественной жизни. Его называли и хранителем народной мудрости.

Судьба Сергея Николаевича сложна, многотрудна, иссечена ветрами подозрений, наветами, оговорками. Немало лет находился искатель живой воды «под надзором вьюг». Прислушаемся к его голосу еще раз: «Было два снегопада в бренной жизни моей./ Гнетом стала отрада ослепительных дней./ Не надеясь на кровлю, что меня сохранит,/ Сердце к снегу готовлю — облекаю в гранит»... Спецслужбы не оставляли редкостного человека без придирчивого внимания, потому что он обладал голосом правды, способным защищать других. Он состоял в переписке с трудовыми людьми, учеными и художниками, зарубежными историками и географами. Однажды, взятый в заключение, сказал: « Объявляю голодовку до тех пор, пока мне не скажут, где поэт Павел Васильев! И тогда я получу формальный приговор за то, чего я никогда не совершал».

На третий день, по его воспоминаниям, когда уже галлюцинировал борщами, бифштексами, приходит начальник тюрьмы и говорит, что по секрету может сообщить: Павел Васильев отпущен распоряжением Коллегии ОГПУ. К исходу дня Маркова «волокут в Бутырки. А там уже другой мир»... Нынче известна трагическая судьба молодого поэта Павла Васильева. Впрочем, тогда в подозрении находился каждый писатель, имевший личное знакомство даже с «буревестником» А.М. Горьким...

Еще в Сорренто Горький прочитал рассказ Маркова «Голубая ящерица», опубликованный журналом «Сибирские огни» в 1928 году , и сразу же определил, что выходец из Парфентьева посада — прирожденный рассказчик. Через год была издана первая книга прозы, о ней специалисты литературы и читатели говорили похвально. Молодой писатель был заинтересован сотрудничеством с журналом «Наши достижения». Ответственный секретарь издания С. Б. Урицкий писал Алексею Максимовичу: «Мы также заказали писателю С. Маркову статью об обновлении племен, о культуре и быте нацменьшинств. Думаем, что он напишет хорошо и что эта статья могла бы пригодиться для первого же номера». Заметим это участие опытных литературных деятелей в судьбе нашего земляка.

При первой встрече Горький шутливо и ласково спросил:

— Откуда происходить изволите?

И сердце Маркова, как он сам писал, дрогнуло: больно уж хорошо получалось в речи нижегородца исконное парфянское

«о». Услышав ответ, Горький тут же вспомнил о другом парфянине — писателе С.В. Максимове. И, расспрашивая о детстве, юности самого Маркова, несколько раз цитировал описания обычаев нашего края. Заинтересовал, конечно, расположил к беседе. Пришлось пуститься в подробности о своей родине и о том, почему и как попал отсюда в Акмолинск, начал работать с четырнадцати лет в различных учреждениях, затем — в газете.

Теперь известны факты, осложнявшие судьбу писателя, ученого и поэта, путешественника и романтика, подробности литературных и политических баталий в Новосибирске, где некоторое время жил и работал Сергей Николаевич. Здесь творческие силы к началу тридцатых годов оказались тоже под особым контролем. Отрицатели художественной литературы из лефовской группы «Настоящее» вносили подозрительный политический оттенок в полемику. Появилась статья «Почему Шолохов понравился белогвардейцам» и другие доносительские материалы. Тогда и Горький, защитивший молодых писателей Васильева, Мартынова, Маркова, других поэтов, тоже попал под хулиганские наскоки. Там начались «снегопады» и в судьбе нашего земляка. Нынешние биографы Сергея Маркова сочувствуют ему, в частности, Ст. Золотцев, с удивлением вглядываясь в «крутые и опасные повороты», признает: «Начинающий писатель тогда в буквальном смысле еле спасся от физической расправы над ним, готовившейся троцкистами и лефовцами, засевшими в сибирской верхушке РАППа».

Уже в двадцатых годах поэзия Маркова была широко известна в Сибири, но в центре России она замалчивалась. Позднее и проза — тоже. Теперь книги о путешественниках и первопроходцах известны всему миру, точнее сказать, пользуются спросом заинтересованных читателей многих стран. А поэтическое наследие еще не издано в полном объеме, не проанализировано с достаточной последовательностью и глубиной. Есть у него программное стихотворение «Современник», завершенное такой строфой: «Сочти сейчас мои скитанья,/ Мои заботы и труды/ И награди высоким званьем/ Искателя живой воды!»

Романтик, подвижник и заступник за все справедливое обрел этот единственный желанный титул. Поэт, художник слова, не искал иных наград, иных званий. С детства в его сознании было ключевым слово «землеустроение». Обустройство родной земли, Отечества своего. Культура — возделывание. Писатель родился в семье землемера, землеустроителя, занятого межеванием земли Северных увалов. Детство прошло в провинциально-дворянском культурном

доме под крылом любящих родителей. Огромная домашняя библиотека, заповедный лесной край с корабельными сосснами поблизости, деревянная архитектура в селах неподалеку от реки да земледельческая по сути и торговая Русь вокруг — факторы, формирующие сознание, душу и образ мысли. Потом были Вологда, Грязовец (в стихах Сергей называл его Снеговец), подарившие расширенное восприятие северной красоты, стилизованной в кружево плетеное, резное, тканое.

Начались необходимые долгие странствия и подневольные скитания. Восток, Урал, Средняя Азия, Сибирь, Поволжье. Открытия, творческие удачи. И вдруг — наветы, арест, Лубянка, допросы, высылка на Север, в Мезень. «Ссыльный поселенец», условное затворничество. Активная работа. И вот выпала доля путешествий ледяными побережьями. Было освобождение, но после смерти Горького — снова арест. Однако в особых условиях появляются у него лирические и гражданственные баллады, поэмы, стихи — не только для тех будущих восьми сборников.

Странное и необъяснимое было многолетнее замалчивание многоплановой работы редкостного человека. Удивляет идеологическая придирчивость к истинному патриоту, зафиксированная, к примеру, в «Сибирской советской энциклопедии». Она сообщала любознательным читателям устоявшуюся точку зрения на известного молодого писателя: «В рассказах и стихах Маркова, написанных иногда со значительным мастерством, но идеологически неустойчивых и подчас вредных, рисуется Сибирь, главным образом Казахстанская степь, в период гражданской войны и колчаковщины». В чем проявлялась эта «идеологическая неустойчивость» писателя, причисленного к «правым путчикам», не сказано, но нынешние читатели, видимо, и сами могут определить.

Читателей и почитателей у Сергея Маркова становится все больше по мере возрастания интереса к подлинной российской истории, к правде народной жизни, к подвигам первопроходцев и романтиков, расширяющих не только географическое понятие России. Полезно раскрепощенным взглядом перечитать его книги: «Летопись Аляски», «Юконский ворон, «Повесть о Великом охотнике», «Подвиг Семена Дежнева» и другие произведения. Главным содержанием и смыслом жизни творческого подвижника всегда были почтение к предшественникам, поэзия и романтическая проза бытия. Рукописи его терялись, горели. Картотеки попадали под бомбежку, в том числе и «Тихоокеанская картотека», созданию

которой посвящены многие годы. Эшелон, в котором ехала семья Марковых, дважды бомбили. Галине Петровне чудом удалось найти среди руин драгоценный ящик с архивом.

Марков был солдатом. В 1943 году его демобилизовали по причине крайнего истощения. После окопов попал в госпиталь на «подкрепление» — бывали и такие «счастливые случайности» по чьей-то воле. Затем многие годы с архивными хлопотами бедовал в Москве без своего угла. Лишь за два года до смерти Сергей Николаевич смог разместить свою гигантскую картотеку, ценнейший архив и редкостные издания в новой квартире. Тогда он мог хвастливо приглашать друзей. Приезжали и незнакомые люди повидать одного из основоположников русской советской литературы о Востоке, создателя научных биографий и поэтических откровений о том, что другим людям увидеть не удалось.

Сергей Николаевич завершил свой скитальческий земной путь в 1979 году, не дожив нескольких месяцев до выхода двухтомника избранных произведений. Предисловием к одному из поэтических сборников поставлено его поклонное «Слово парфянина». Автору сладостно вспоминалось детство. «Тихий Парфентьев в базарные дни шумел и пел». Велика была радость мальчика, когда бабушка покупала ему игрушки, лакомства и вместе с ними — книжки в издании Сытина, Ступина, Саблина. Особенно нравился сытинский календарь « в пурпурно-золотой, как жар-птица, обложке! В нем — рассказы о героях Русской земли и стихи, стихи!». От этих истоков полезно пройти еще раз по судьбе. Сочтем скитанья искателя живой воды, научим потомков с гордостью понимать его заботы и труды во благо Родины...

Поклон Волге и Костроме из Белоруссии

Однажды известный и всеми, кто его хорошо знает, ува-жаемый искусствовед, профессор Александр Иванович Бу-зин, бескорыстно принимающий доброе участие в судьбах многих творческих людей, рассказал мне с определенным подтекстом о встрече в Минске ветеранов Великой Отече-ственной войны. Тогда же он сфотографировался в домаш-нем саду с Евгением Григорьевичем Чемодуровым, эту фотографию искусствовед подарил мне. Воодушевленный до-верительным рассказом о земляке, чье творчество представ-ляет одну из самых замечательных страниц в истории театрально-декоративного искусства, я внес этого худож-ника, Лауреата Государственной премии СССР, в список ред-костных современников — тех людей XX века, кто личностно

представляет особую творческую, гражданскую и нравственную ценность, кто делом и почтительным отношением к родной костромской земле, к нашему городу кажется привлекательным на многие годы.

Талантливые люди ценят свои истоки и через всю жизнь проносят в памяти ранние впечатления, необходимые не только для творческих замыслов. Что же помнит и ценит этот художник? С таким вопросом я отправил ему письмо, вложив писательский ежемесячник «Литературная Кострома». Вскоре получил обстоятельный ответ. «Редакция начала большое, нужное и благородное дело! — писал художник. — Костромичам есть что помнить, есть чем гордиться, к чему приобщать молодое поколение. Радостно сознавать, что на русской земле начался долгожданный процесс возрождения нашей духовной культуры, появился интерес к славным, ярким и поучительным страницам истории нашей страны». Конечно, знал он и тогда, в самом начале девяностых годов, что «большое, нужное, благородное дело» не всем по душе, не все его понимают и готовы поддержать, часто находятся мастера завистнических, перестраховочных, чиновничьих препятствий. Бывалый и проницательный человек сочувствовал костромским писателям, сожалел, что ежемесячник и альманах «Кострома», как и в давние годы, тормозятся не только финансами. Не рассчитывая на прохождение своих заметок, делился тем, что благодарно помнится. Этот материал я подготовил к печати под названием «На Волге, среди «врагов народа»». В нем — любопытные наблюдения человека из двадцатых—тридцатых годов, сострадание оклеветанным. Неравнодушному юноше запомнились арестованные художники Царнах и Сакс: зримые детали одежды, облик, манеры, творческий стиль, содержание этюдов и картин — все это есть в упомянутой публикации. А требовались еще конкретные эпизоды из жизни самого автора.

Творческая судьба — неразрывная цепь закономерностей, каждый писатель, артист или художник однажды может сказать: с детских лет с ним происходило необходимое для будущих замыслов. Представляется интересным знание о том, с чего начинался удивительный художник Чемодуров, откуда произошел творческий почерк, которому присущи — по свидетельству специалистов: яркая зрелищность, эпичность и монументальность, выразительность образов и режиссерское виденье будущего спектакля, редкое чувство сцены и понимание природы театрального представления, широта творческого диапазона, позволяющая одинаково успешно работать над оформлением музыкальных и драматических спектаклей.

По признанию Евгения Григорьевича, в основе — десять лет на Волге, на Ветлуге, в Костроме, в ближних и дальних селе — ниях, напряженная и радостная учеба в школе Н.П.Шлеина.

Стала тропа дорогой: академия, преподавание в художе — ственном вузе, работа в республиках Союза и за рубежом, чтение хороших книг — все обогащало личность, духовные и эстети — ческие приобретения ложились «отборным зерном» на бла — годатную основу, сформированную жизнью семьи, обстоятельствами времени и места, задатками от природы.

Раннее детство прошло под сибирскими событиями Гражданской войны. Родительские тревоги сказывались в настроении братьев Саши и Евгения. Позднее стало ясно, что эти впечатления — часть личностного «багажа». Рас — сказы деда Александра Федоровича, путешественника и зо — лотоискателя, строительный энтузиазм отца, аккуратность и выдержка матери Зинаиды Александровны, часто упомина — ющей привлекательных костромских родственников, влияли на характер рослого, развитого мальчика.

Познавательная тяга к перемене мест укрепилась в осенней дороге от сибирской станции Шумиха. Ехали с пересадками в теплушках. Ехали втроем— отец остался продавать небо — гатое хозяйство, а потом в поисках лучших условий подался на строительство «Турксиба». Вся Россия была в движении. Тысячи верст изнурительного пути по русской земле, взбу — дораженной революцией, Гражданской войной. Береговая Кострома, увиденная спасительным пристанищем, стала же — ланной родиной. Ранним ноябрьским утром 1923 года, наняв у заволжского вокзала крестьянскую телегу, по булыжной мо — стовой спустились к шумной переправе.

Позднее вспомнится: «На противоположном берегу пред — стала в утренних лучах солнца долгожданная, полная непов — торимой самобытной красоты Кострома». О, сколько вдохновляющих закатов и рассветов суждено было здесь на — блюдать! Евгений откроет и почувствует этот город, познает его историю, архитектуру, особенности быта горожан и жи — телей пригорода, чтобы потом всю жизнь в творениях и в ус — тных рассказах новым знакомым живописать город детства и юности.

На тихой и довольно чистой улице радостно встретила их тетя Наташа. Тут же у порога прошли процедуру очищения от всего, что «наловили» в теплушках, — продезинфицировались дурно пахнущими препаратами. Прибывшим и усталым была отведена светелка с изразцовой печью — лежанкой. Две семьи зажили одним дружным коллективом. Через пару дней в школе «КИМ» новичок был определен за одну парту с хулиганистым

Степкой Ивановым. Наступила романтическая пора мальчишеских «академий», определенная позднее извилистой тропой из глухих костромских лабиринтов, от вольности на волжских просторах к Н.П.Шлеину, в его школу, а через нее — в чудесный, завораживающий, великий и радостный мир искусства. Детская вольница и школьная обязательность — лишь часть жизни, в ней много общего — типичного для тех лет. А Волга притягивала широтой, раздольем, свободой. Мальчишки проводили возле нее лучшее время в играх и забавах...

Мой очерк складывался в короткие морозные дни, когда освещенность быстро меняется, почти ощутимо перетекает из утренней мглы в яркое мерцание снегов и затем синеет по ложбинам, низинам, словно пугается багровой зари. В предзакатные мгновения невольно представлялся напористо бегущий на лыжах отрок. Художник сам это подтвердил: рано утром, а то и поздно вечером даже в морозную и ветреную погоду он часто отправлялся на лыжах с крепениями на валенки. Бежал вниз по заснеженному стрежню и обратно — суммарно двадцать километров. Нравилось бегать серединой реки по застругам, встречать горячим лицом свистящий ветер с колючками снега. В ребячьем азарте представлял себя мужественным полярником — одним из соратников популярных тогда у мальчишек Нансена или Амундсена, в убогой одежонке отваживался бороться с метелью, закрывающей пеленой очертания высоких берегов. Восприятие юного художника ценило переменчивую белизну, восторгалось переливами цвета.

И Кострома ему виделась разнообразно, удивительно живописной в зависимости от освещения. Дымы над крышами, снегири на рябинах по улице Мшанской — в этом сходство с деревней. Там у бабушки Пелагеи большая печь, там чудный мир доброго, скромного и чистого домостроя. Воскресными вечерами с прогулки заезжал к затаенному в сугробах дому — бабушка сама нагребала к приставленным вдоль стен доскам побольше снега для тепла. Призывный свет оконца едва выглядывал поверх сугроба. Памятны и другие зимние картины, дополненные в базарные дни повозками со щепным и прочим товаром, масленичными катаниями, другими эпизодами, по красочности напоминающими картины Кустодиева, Юона...Зима закаляла характер, обостряла душевное зрение. По временам года радовала цветовая контрастность. Но лето было всегда долгожданным.

В теплую пору Евгений уходил берегом до устья Костромки, переплыв ее с плотов, перебегал стрелку заливным лугом и через бурные заросли тогда еще густого тальника

пробирался к перекату. С него начиналось плаванье «саженками». Уставая, переворачивался на спину, раскидывал руки и мечтательно глядел в небо — фантазировал. Подгоняемый течением добирался до пляжа, где собиралась веселая и дружная братия, чтобы выстраивать дерзкие планы путешествий. Одно из них, подготовленное в тайне от родителей, состоялось в 1929 году.

Три дружка, двое городских и один деревенский, в назначенный день будто бы уехали на месяц в село к товарищу, а темной безлунной ночью на подремонтированном ботике отчалили от Костромы с намерением плыть до Каспия. Сколько было испытаний, приключений и впечатлений! — о том могла бы сложиться хорошая повесть с подробностями общения, ночного добывания «подножного корма», изобретательного преодоления трудностей, стоического выживания. Открывались просторы, цвела пейзажная живопись, заманивали архитектурно разнообразные города и селенья, встречались колоритные типы, звучала выразительная народная речь, доносились перебранки грузчиков и плотогонов, по вечерам широко и вольно звучали песни. Даже это чудное разнообразие утомило — не хватало сил. Измотанные и оборванные смогли добраться только до Ульяновска, словно бы враз повзрослев, одумались. Сумели продать состоятельному рыбаку свое судно. Разыскали караван барж, собранный буксирами для доставки в верховья.

Каков был обратный путь против течения в ненастье?! — не каждый фантазер может представить. Но однажды утром северо-восточный ветер разогнал непогодную хмарь. Обозримый мир преобразился! Плывущие навстречу из далеких лесных краев неуклюжие гигантские беляны — баржи, загруженные высоченными аккуратными штабелями свежих досок, в лучах солнца казались волшебными замками из утопических фантазий французского архитектора Леду, сочинявшего красивую мечту о далеком идиллическом будущем человечества. Беляны ослепительно сияли, отражаясь в волнах россыпями золотистых бликов. За ними будто бы таились давние струги Степана Разина. Волга давала ощущение взаимосвязи всего сущего. Природа определяла свет идеалов и новых интересов, заманивала в прекрасные таинства и, как было осознано потом, всегда сопутствовала художнику, увлекала его в полезные путешествия за бодростью духа и вдохновением.

Оказалось, почти везде можно услышать музыку Чайковского, с которой знакомил по вечерам на пристани школьный служащий, коллекционер пластинок Виктор Иванович.

Он много знал и умел увлекательно рассказывать, по гудку мог определить какой пароход скоро причалит, какая приличествует ему песня. У него были книги с автографами Горького, пластинки с надписями Шаляпина, Собинова. Одинокий интеллигентный человек часто просвещал мальчишек на берегу и у себя дома. Хотелось рассказывать ему и портовому богатырю Алеше Клемину о том, что увидено, пережито в пути.

Предыдущие и новые встречи на костромском берегу встраивались в общее течение жизни радостью познания суровой действительности с бесконечными проявлениями добра и зла, прекрасного и трагического. Впервые были испытаны зовущая даль и чувство родного берега, где тебя ждут. Пришло осознание вины «блудного сына» и высокой цены материнского прощения. Мать скрыла недоверие к «правде про месяц в деревне» и, понимая временное затишье сына над копированием репродукций из журнала «Нива», сказала, что в Ребровке у бабушки Пелагеи есть все условия для любимого занятия. Оставшиеся недели «переломного» лета Евгений провел в маленькой, в полторы улицы, деревеньке. Бабушкина сказочная изба была до предела ветха и кособока. Хребет соломенной крыши глубоко просел по середине конька и напоминал старое казачье седло. Солома на кровле темно-сизо-коричневого цвета, местами ее оживляли, по свидетельству художника, новые более светлые проплешины и напластования — следы бесконечных и тщетных ремонтов. Выразительную особенность избы через несколько лет Евгений успешно использовал в дипломной работе по пьесе Н.Вирты «Земля»: именно в такой избенке, окруженной безысходно унылым пейзажем поздней осени коротала свой век в ожидании сына-солдата представленная в спектакле Марфа. Зримая привлекательность окрестностей Ребровки и сама знахарка Пелагея вошли в сюжеты воспоминаний, отразились в рисунках и акварелях: пейзажи, бытовые сцены, портретики обитателей деревни. Восторженное общение с природой возбуждало фантазию. К примеру, подсмотренный ночью на берегу Черной речки буйный чертополох был использован в хореографической картине Мусоргского «Ночь на Лысой горе».

Каждое лето в деревне — пора трудов, юношеского вдохновенья. Да, был и труд, как же не помогать бабуле? Поехали селяне всем миром в отведенную делянку заготавливать лес — Евгений вызвался рубщиком, усердно в полную силу работал. И перестарался: топором ранил ногу — наделал бабушке хлопот. Не растерялась она, обработала повреждение,

принесла из-под пола пригоршню серо-зеленой плесени, промыла в ключевой воде и этой мякотью покрыла рану, об-вязала тряпицей, наказав ее не мочить, неделю не снимать и не бегать сломя голову. Невольная получилась усидчивость.

Вразумительная тишина, музыка Чайковского с пластинок, мучительные попытки с помощью гравюр из журнала «Нива» воссоздать увиденное на реке, беседы коллекционера книг и пластинок, добрая молчаливость могучего грузчика Клемина и веселье колоритных людей — все соединялось. Музы-кальна и живописна была поэзия природы, в ребровских пей-зажах днем и ночью слышались «Времена года». Потом, когда ему приходила нужда, по словам художника, сделать эскиз-образ, несущий в себе силу, могутность, удаль, извечный размах русской натуры, к сценическому персонажу в «Князе Игоре», «Хованщине», «Борисе Годунове», возвращался памятью на Волгу и в деревню, вызывая из ранних впечатлений надеж-ную зримую опору. Ранние наблюдения пригодились и к оформлению драмы Островского «Гроза».

В школе по рисованию не получал оценок выше тройки, а тут увлечение проросло первыми удачами. Соседские дач-ники заговорили при нем о частной художественной школе. Наблюдательный Евгений вернулся в Кострому с богатым багажом впрок — мальчишеское бегство в просторы высве-тило главный интерес на всю жизнь. Он самостоятельно по-шел искать встречу с Николаем Павловичем Шлеиным. И зачислен был на подготовительный курс. Дома, сумерничая в светелке у раскрытого окна, обсуждали как дальше жить: мать получала в поликлинике 45 рублей, за учебу в художественной школе надо платить каждый месяц 17 рублей. Экономить было уже не на чем. Ради дополнительного заработка мать устроилась на сверхурочную работу в хирургическое отде-ление. А сын что же? Бестолковый и слабосильный разве? Вырос, видите ли, лоботряс-иждивенец. На разгрузке барж можно подработать или топографические знания, полученные на курсах в техникуме, применить. Трудягой парень стал: зимой учеба по трем направлениям, а летом — создание матери-альной базы. Другая жизнь пошла под крылом учителя и художника, лично знавшего Коровина, Прянишникова, Ма-ковского, Горького, Луначарского...И с подмогой старших то-варищей по студии.

Особенной была дружба с обстоятельным тридцатилет-ним Серафимом Ивановым. Он шел у Шлеина первым но-мером. Увлеченный и даровитый человек, отслужил в Красной Армии, работал механиком на городской электростанции, но искусством увлекался, имел книги по рисунку и живописи,

наборы репродукций, готовил рисовальный уголь. Серафим считал, что работа кормит интерес, художничеству не помеха. Вместе читали в журналах статьи о борьбе реалистов с футу — ристами, узнали о костромских событиях 1921 года, возмуща — лись наглостью «новаторов». Узнали, что воинственно настроенные люди нашлись и в училище, они коллективно писали в Наркомпрос требование отстранить реалиста Шле — ина от преподавания. А поэт Демьян Бедный решительно и жестко защищал его от «футуристической сволочи».

Журналы просвещали, подсказывали необходимость по — иска своих путей. Привлекли Евгения публикации о твор — ческих поездках столичных художников на заводы и новостройки. Изготовил самый большой альбом из листов изрезанных старых географических карт. Пригодился набор итальянских карандашей, подаренный Шлеиным. Серьезно экипированный пошел на знакомый с детства лесопильный завод делать зарисовки, получил в дирекции постоянный про — пуск. Рабочим занятие парня приглянулось. Рисовал юный художник и портреты в стенгазету «Смычка». Был такой слу — чай: подготовил он к женскому празднику размашистую ком — позицию — изобразил большую группу молодых работниц. «Лица получились милы, похожи и симпатичны, но вот фигу — ры...могучие, с монументально — эпическими формами, словно рубленые, здоровенные, в духе модного журнального стиля». Ожидал похвалы как певец романтики коллективного труда, но женщины искренне обиделись на эти «карикатуры».

Такая производственная практика, художественная школа и техникум концентрировали усилия. Появилась возмож — ность подработки для семейного бюджета по приобретенной специальности техника — инструктора земельной и строи — тельной инвентаризации— вот как длинно и многозначи — тельно звучало. Шестнадцатилетний Евгений в топографы пошел на все лето, рослый и габаритный был хорошо принят рабочими. С шести утра в любую погоду таскался по болотам и зарослям с теодолитом, рейкой и лентой. Когда оказыва — лись неподалеку от Волги, непременно убегали купаться, под — задоренные наперегонки плавали на противоположный берег — на все хватало сил.

Во второй половине дня отправлялся на этюды. «Натура находилась увлекательная, всегда что — то поражало настрое — нием, формой, цветом, характером, что — то с чем — то или с кем — то ассоциировалось» и звучало в душе экзотическое желание запечатлеть, передать, выразить взволнованные чувства. Вспо — минались, были как бы перед глазами, любимые работы заме — чательных певцов русской природы Серова, Левитана, Поленова,

Жуковского, служили «духовным камертоном художественного чувства и вкуса. Работалось радостно и увлеченно!» А топографические походы навели внимание на костромскую архитектуру— к Ипатию, каланче, торговым рядам, театру, дворянскому собранию. Случались удивительные находки в подвалах — забытые картины, редчайшие книги. Расширялся круг интересов, тянуло на спектакли по пьесам Островского, узнал творчество Кустодиева, Максимова, Писемского. «Чудесами» одарила Кострома. Были успехи, даже досрочно оказался на следующем курсе — преподаватель активизировал взросление.

Николай Павлович иногда приглашал на чай, вел наставительные беседы. Он говорил, что для молодого художника опасны самодовольство и успокоенность, бахвальство «набитостью руки». И повторял: « Начнете смотреться в зеркало и любоваться собой, как все успешно постигший, все умеющий и знающий — считайте, что с этого момента Вы как художник кончились». Наставник открывал перспективу, он заговорил о предстоящем поступлении в Академию, о том, как важно и необходимо всю последующую жизнь свято и честно служить искусству, исповедуя идеи русской реалистической школы. Он говорил о необходимости, находясь в Ленинграде, среди широко бытующих там самых различных модных «измов», сохранить веру в себя и «приверженность к высоким, вечным народным и патриотическим началам русского реализма». Наставительная беседа состоялась в марте, за год до поездки на вступительный конкурс, в котором суждено было оказаться принятым одному из тридцати претендентов на место.

Трудовые старания, творческие порывы добрый человек и талантливый педагог Николай Павлович понял, оценил — к следующему учебному году выхлопотал по Отделу народного образования в порядке особого исключения средства на оплату учебы Чемодурова в частной художественной школе. Все складывалось по перспективному предвиденью учителя, способного понять индивидуальную творческую суть каждого подопечного. Судьба Евгения Григорьевича тому подтверждение.

В 1938 году закончил Всероссийскую Академию Художеств, живописный факультет театрального отделения у академика Е.Е.Лансере, профессора А.П.Остроумовой—Лебедевой. Работал пять лет главным художником двух академических театров в Таджикистане, шесть лет в Москве — Большой театр, академический театр драмы. И началось авторитетное движение по стране, оказывался на укреплении и организации новых театров, главным художником в ведущих театрах Минска, Киева, Тбилиси, Ташкента, Алма—Аты. И за рубежом — в

Румынии, Финляндии, Венгрии, Аргентине. Трудно перечислить поставленные в его оформлении драмы, оперы, балеты. Трудно перечислить должности, лауреатские конкурсные премии, почетные звания различных республик и стран, ордена и медали. И не описать путешествия с рюкзаком в просторах Отечества, основательные поездки по материкам. Важно и любопытно было обратиться к истокам творческой судьбы, которые долгое время не принимались во внимание исследователями, не желающими ценить провинциальные условия формирования творческой личности.

На многие годы судьба прикрепила удивительного подвижника и художника к Белоруссии. Он письменно признавался в серьезном намерении сменить минскую квартиру и дачу, чтобы переехать в Кострому или в аналогичный город — пришло время возвращаться в родные пенаты! «Это теперь свербит и гложет мою душу странника и «блудного сына». Болею и переживаю за родную, Великую и многострадальную родину. Пристальнейшим образом слежу за прессой и телевидением, за всем, что касается событий в России». Он писал, что внимательно читает Бердяева, страшно огорчен из-за этого запоздалого обращения. Правда, доводилось и раньше читать Бердяева, Столыпина, Соловьева за океаном, частично в библиотеке у А.В.Бенуа, но тогда это читалось с перерывами, между делом, как-то скользя по поверхности... В завершении письма вопросы. «Как живут костромские художники? Каким идеям следуют? Каким богам поклоняются и молятся? Всем, кто помнит меня — земной поклон!»

Умудренный человек видывал впечатляющие рассветы над гладью Байкала, над волнами в Аргентине, а на самом кончике Зеленого мыса в Африке и в далеком перуанском порту Кальяо на Тихом океане любовался рассветами и закатами. Но закаты и в особенности рассветы на Волге ни с чем несравнимы. Первый, восторженно воспринятый во время волжского путешествия, восход солнца навсегда запомнился неповторимым и многозначительным главным рассветом...

Когда зацветают яблони...

Ольга Николаевна получила диплом с отличием в пединституте, по направлению уехала в Магадан преподавать историю. Затем — молодежная газета, радио, издательство. В 1960 году вышла первая книга. Через три года на Всесоюзном совещании по этой книге и обсуждаемым рукописям приняли в Союз писателей. После высших литературных

курсов вернулась в Кострому, работала консультантом в писательской организации; никто из талантливых костромских литераторов не остался без ее внимания. До сих пор творчески активна. Когда стало невозможно издать повести, романы, вынуждена была писать мелодрамы для периодики, сценарий телефильма, приключенческий роман «Сахарный дом», статьи, рецензии, отзывы на книги коллег. Удивительный собеседник. Независимая личность...

Прочитано у кого-нибудь или прислышалось мне однажды: «Неужели ты не хочешь понять... И когда ты погубишь себя своей неистовой работой, эта душа будет жить... вечно. И с нею моя любовь к тебе...»

Предполагаю возможный диалог взаимного постижения влюбленных, представляю долгожданное одиночество двоих, способных создать неповторимое единство, скрепленное призванием и любовью. Вижу заволжское взгорье под уплывающим к закату солнцем. Земля уже... «источала запахи того, что было посеяно, выросло и созрело в ней, а потом было сжато и снова умерло...» Вспомнилось — точно, именно о художнике было повествование. Это в книге И. Стоуна «Жажда жизни». Это возбужденный, возрожденный духом Винсент видел землю. «Она пахла жизнью — острым, пряным запахом жизни, которая непрерывно рождалась и вновь обращалась в прах, готовый для нового творения». Кто из нас не испытывал весенний восторг, пробуждение и необъяснимую жажду творить после отчаянья, сомнений, неудач? Кто из нас теперь живет без сомнений и вопросов: кому нужны твои труды? Кого радует работа?

И вот случайная, но желанная по предчувствию и долгому ожиданию, встреча — такие бывают раз в жизни.

— Иди сюда... — позвала она гаснущим голосом, словно бы из невыносимого далека. Он понимал, что малейшее неловкое движение могло спугнуть ее, как птицу, присевшую на окно.

Это уже из короткого рассказа «Встреча» Ольги Гусса-ковской. Но почему все-таки сразу же окликнул меня при чтении импрессионистский пейзаж из другого времени, из другого мира?

«Они вдруг почувствовали себя первыми поселенцами на берегу неведомой земли. Нет города, нет изматывающей ежедневной суеты, всего того, что еще вчера раздражало и тяготило. Ни его, ни ее не обрадовала мысль об одиночестве, о фантастическом освобождении. Им уже хотелось к людям. Потому что любое человеческое чувство обретает глубину лишь в сравнении с окружающим миром.

По синей поверхности озера пробежала рябь. Оно дрог — нуло и, прорвавшись через обитый край каменной чаши, хлы — нуло в море. На обнажившемся дне возник утренний город».

Так мог быть закончен даже роман, а не короткий рас — сказик. Он порадовал меня точностью впервые открытого еще наивного чувства.

Есть еще одно сочинение малой формы. В нем происхо — дят экзотические события из другой параллельной реально — сти. «Там на неведомых дорожках...» — авторское откровение, дающее возможность рассуждать об особенностях восприя — тия, изобразительного таланта.

Ольга Николаевна уже не первый раз признается: «В детстве за меня боялись взрослые, я наяву, а не во сне, видела то, что другим было недоступно. Только став взрослой и встре — тившись с писателем И. А. Ефремовым, я узнала, что ничего страшного в моем даре нет. Это эйдетическое зрение».

Упоминание встречи с писателем — фантастом оправ — дано. Она сама в определенной мере фантаст. Из детства, от буйной девочки — фантазерки. Природное чувство слова, чув — ство цвета и света. И богатое разнообразие мыслительных вариантов. И поэтическое звучание прозаических эксп — ромтов. Когда — то она удивляла меня правдоподобными рас — сказами о встрече с видением Сергия Радонежского, о соревновании стрелков в тире районного городка, прикло — ненного к чухломскому озеру. Было. Тогда мы приехали большой группой. В свободное от литературных встреч время осматривали окрестности, набирались впечатлений. Конечно, в тир зашли, как же не зайти, если среди нас были охотники. Соревновались. Ольга Николаевна наблюдала, «фиксиро — вала» психологическое самочувствие стрелков, удивлялась, весело комментировала. Но вдруг затихла, переменилась в лице, упомянула какого — то охотника и вышла в свое необ — ходимое одиночество...

Позднее, когда готовил к печати книгу «Персиковая ко — робка», художественное повествование развернуло родослов — ную. В ней — не только происхождение Ольги Николаевны, особенности рода, но и общечеловеческие перипетии. Вет — висто и причудливо сплетено родовое древо, особое место и значение в нем — деду. Он успешно служил, пел в люби — тельской опере и пропадал на охоте, имел разнообразные интересы, понимал, взращивал внучку, особенно не оберегая ее от самостоятельности.

Перед каждым отъездом на охоту дед заметно менялся, его сборы были овеяны недосказанностью. Случались се — мейные скандалы — непонятные, на чужом языке. Внучка

«вычленяла» в скрежещущем потоке непонятной речи смешное слово «Чухлома».

Через много лет — первый приезд в городок со смешным названием. «Незамутненные ядовитыми дымами лучи солнца заливали неоглядную голубую гладь замерзшего озера. (Вос-приятием очевидца подтверждаю этот пейзаж. — М.Б.). Снег еще не укрыл знакомого с детства булыжника, украшающего склоненную к озеру улицу. Спокойно, вечно и добротно сто-яли вдоль улицы старинные деревянные и краснокирпичные дома. Перекликались петухи. Точно в Костроме давних и па-мятных лет...» Автор признается: «Вдруг я поняла, что в про-стеньком деревянном домике на последней высоте над озером — дальше стремительный спуск вниз — жила дедова лю-бовь. Кто такая — не успела понять, но я и сейчас уверена, что не ошиблась». Более того, ей было дано ощутить в един-ственную секунду запредельного существования присутствие деда: «Оказался рядом и дохнул на меня печалью и страстью своей неистовой до старости души...»

Из ничего, без переживаний не возникают откровения, без глубоких чувств и благоговения перед словом не возникают художественные тексты.

Именно откровениями, стилевыми находками, богатой ин-формативностью и щедростью открытого сердца отмечены лучше книги Ольги Гуссаковской. Особая женская проза, эмоционально специфическое восприятие на себя всего до-ступного переживаниям и предчувствиям. Сейчас это важно подчеркнуть, потому что самое существенное, если не тра-гическое, наше «приобретение» на рубеже веков видится в том, что немалая часть современных писателей в желании преуспеть — «ухватить» отделилась от реальной жизни и реального человека. Одни сочинители лишают героя не только любимых человеческих достоинств, но и работы со-знания, самосознания (где уж там о душе вспоминать), дру-гие заставляют его бесчувственно барахтаться среди физиологических условностей изображения.

В настоящей прозе живет доверительность, чувственная свобода, зримая эстетика повествования. И в пространстве мно-гостраничного романа «Освобожденная Колыма, или Остров любви и разлук» ориентирует героев чувственная память, пе-чаль утрат, несбыточных мечтаний, вступающих в конфликт с тотальными условиями. Все прочитанное позволяет мне ут-верждать: красота непременно участвует в каждом сюжете этой прозы, потому что она — искусство, для которого есть безус-ловный принцип. По «капризам» художественного сознания прекрасное воспринимается интуитивно, без самоцели. Это

так же естественно, как сочувствие, благожелательность, «милость к падшим призывать». Постигая лишь малую часть особенностей таланта Ольги Николаевны, прочитываю иногда, что ей приходится властвовать над своими страстями. Кто-то сказал: искусство может питаться страстями усмиренными, но ему необходимы сильные чувства. Конечно, прежде всего чувственное восприятие. Художественной прозе прямые поучения, лобовое морализаторство противопоказаны.

На пороге открытой двери перед неожиданной картиной полезно прислушаться сначала к чувствам. Проза — живопись словом, в ней тоже колорит, воздух и свет. «В тот день впервые приоткрылась для меня дверь... я и сама не знаю — куда? В другое измерение? Но с тех пор и до сегодняшнего дня изредка я вижу то, что недоступно другим. И увиденное всегда упоительно прекрасно», — записала она. В своем предисловии к ее книге я акцентировал на этом внимание читателей. Упомянул сожаление автора о том, что немногим в повседневной суете дано оставаться с мыслями о прекрасном.

Постепенно прояснилось, откуда берутся достоинства творческой личности, лучшие душевные качества, от каких корней — истоков вырастают устремления. В каждой книге подтверждается совмещение восприятия повседневного мира, житейских конфликтов и загадочно-волшебного мира грез. А вот авторское обращение тридцатилетней давности: «Мне было совсем немного лет, и жила я в тихом поволжском городке, когда в мою жизнь пришел Вечер первого снега, и мир, который до этого существовал словно бы вне меня, вдруг приблизился и наполнился красками, светом и радостью. И с тех пор я смотрю на людей иными глазами, как бы спрашивая, а был ли такой вечер в их жизни?» (книга «Вечер первого снега»).

Собственные трудности на жизненных дорогах Ольга Николаевна проходит, не меняя независимых взглядов, открыто реагируя на лукавые добродетели, групповые козни в творческой среде. Такова личность, такова реализация таланта и предназначения. Человеку реально дан свыше особенный способ душевного, нравственного, эстетического бытия — индивидуальный способ. Всякая теория, педагогика, политика, идеология, которые с этим способом не считаются, рискуют принести вред. Нельзя игнорировать личную раздельность и самоценность человека.

Независимая творческая натура проявлялась уже в детском саду, на прогулках с дедом, в домашних ситуациях, в общении с матерью. Оттуда у нее свои слова, краски, звуки,

экзотические цветы, мелодии, пейзажи. Сказанное матерью пояснение малой дочери о цветах оказалось волшебным клю — чом к жизненному поведению и литературному стилю: «Азалии очень требовательны к воздуху и свету...». Спонтанно при — шедшее в запеве этих заметок упоминание одного из худож — ников — импрессионистов сейчас кажется мне обусловленным, закономерным. Перечитываю привлекательные страницы и невольно вспоминаю Винсента Ван Гога, повторяю его вос — торг перед картиной, написанной после длительного отчая — ния, борения с самим собой и обстоятельствами: «Это хорошо, — сказал он вслух. — Это сделано хорошо».

Однажды, очень — очень давно, узнала девочка в середине мая, ко дню рождения, зацветание корявой яблони. И всегда помнит, как дед поднял на руках в бело — розовый солнечно — прозрачный мир яблоневых лепестков — все ее существо впервые наполнилось ароматом, прекраснее которого нет ни — чего на свете. Снова цитирую слова Ольги Николаевны: «Аромат яблони слышен не всем... Начало моей сознатель — ной жизни — цветущая яблоня». Пусть повторяется цвете — ние! Оно придет к читателям из новых, уже написанных, но не изданных еще произведений...

Не поле перейти...
Беседы в мастерской народного художника

Алексей Павлович Белых иногда приглашает меня в ма — стерскую для общения по взаимному творческому интере — су. Прихожу, вколачиваю визитный гвоздь — для этого предназначен специальный кряж. Начинается откровенная дружеская беседа. Писатели и художники довольно часто находят основания для многолетней дружбы, подтвержда — ется это и нашей костромской практикой. Со студенческой пленэрной практики возникают поводы для встреч не только на выставках или на литературных вечерах. Ездили в Польшу, в музеи Москвы, встречали заокеанских гостей, участвовали в различных заседаниях, советах и комиссиях. Но главное все — таки в доверительных разговорах о жизни, творчестве, служении Отечеству.

Народный художник имеет богатый жизненный, твор — ческий опыт, любопытные получаются с ним беседы на лю — бую тему. Знаю основные факты его биографии. Учитываю послевоенный творческий путь, особенности дарования, этапы судьбы, семейные обстоятельства (четыре художника в семье),

гражданскую позицию, его место в содружестве костромс — ких и российских живописцев, выходы на зарубежные про — странства, достоинства лучших картин. У каждого художника — своя дорога, свой стиль, свое кредо и своя тайна. Но пе — ресекаются судьбы, оказываются взаимно сопричастными люди разного возраста и характера. Земляки, современники имеют точки соприкосновения не только на повседневном уровне, но и в размышлениях о проблемах народной жизни, о реалистическом искусстве. Конечно, и во многом другом, на — пример, в чувстве правды, свободы и красоты. В том, как че — ловек реализует дар, отпущенный свыше, не слишком ли эксплуатирует талант в желаниях преуспеть, забывая идеалы и нравственные ценности.

Каждый из нас, как и Алексей Павлович, может сетовать, что в жизни приходится отдавать много сил бюрократичес — ким и общественным делам. Но совмещение этих дел с твор — чеством бывает даже полезно, потому что участвуешь в жизни, не со стороны ее наблюдаешь. Не потому ли ветеран при — знается, что чувствует себя счастливым человеком среди ху — дожников, писателей, студентов, строителей, учителей и деятелей культуры — среди людей родного города. Именно здесь, в Костроме, сложилась его творческая биография, реализованы лучшие замыслы.

Рожденный на Орловщине в крестьянской семье Алексей Белых учился в педагогическом училище, интересовался ис — торией, литературой, записался в художественный кружок. За биографическими фактами с высоты прожитых лет видятся истоки личности, гуманитарная направленность судьбы. Она проявляется в воспоминаниях фронтовика, в общении с лите — раторами (в областной писательской организации мы устра — ивали выставки его работ), в выступлениях на выставках и творческих вечерах. Есть профессиональная потребность понять удачливость человека, прошедшего житейские хит — росплетения и способного после странствий возвращаться к самому себе в лучших качествах, которые закладывались в дет — стве от родителей. Даже после первого боевого крещения в февральские морозы сорок третьего не угасла его мечта стать художником. Не сразу проторил он свою дорогу к мечте.

Конечно, требовалась стойкость характера, мудрая ес — тественность поведения и, пожалуй, расчетливая хитрость, ко — торая есть признак ума и способна оборачиваться предвидением, может быть, в основе ее интуиция творческой личности. Про таких людей говорят: счастливчик, удачливый человек, везде и всегда ему везет. Войну прошел, себя во времени обозначил, семью творческую сложил: жена Надя,

дочери Люба и Вера — художники. Пригодился не только там, где родился. Кострома гостеприимно наполнила его судьбу художественным содержанием, одарила любовью и благополучием, общественным положением, вдохновляет, обеспечивает роскошью человеческого общения, признанием и почестями. Не само собой все пришло, не манной небесной. Трудом создавалась основа для ощущения счастья, работой с пониманием требований времени. Очаровала Кострома и вдохновила Волга. В первый высокий порыв души после института написал «Волжанку» и «Вечер на Волге», по участию во Всесоюзной выставке был принят в творческий Союз, а в шестьдесят втором избран председателем областной творческой организации, преподавал в училище и в институте, был делегирован на все съезды художников, руководил потоком в Доме творчества Союза «Академическая дача», в нескольких странах бывал. Не многим так «повезло», редко «выпадает» такая судьба.

Все ли складывалось так, как хотелось бы, правильно ли поступал в отношениях с другими людьми, не слишком ли взял внимания на свою персону, какие справедливые упреки коллег и ценителей искусства можно услышать? От подобных вопросов совесть уклониться не может. Перед каждым юбилеем художник оказывается на перевале «Подумай», чтобы предъявить себе претензии, которые иногда прочитываются в глазах зрителей, ожидающих от него свежего взгляда на природу и человека, оправдания надежд и почетных званий.

Восьмидесятилетие — высокий перевал с передышкой для предварительных итогов. Пора уже говорить о личном опыте, о жизненных уроках и о том, как выстраивалась собственная философия бытия. Для того иногда и встречаются творческие люди, чтобы сопоставить знание о жизни. Потому и слушает писатель рассуждения художника, проглядывающего собственные живописные вехи времени — картина за картиной передвигаются по мастерской, высвечивая давние замыслы, былые настроения, кристаллизацию дум и чувств. Особая дань — темам войны и труда. Душевный интерес к людям: однополчане, строители, лесорубы, сплавщики, ткачихи, студенты, художники, дети...Человек прекрасен. Природа его одаривает лиризмом и он природе соответствует. Весеннее пробуждение жизни, краски радостного лета. В пейзажах чаще поется весна и осень. Есть исторические сюжеты. Некоторые полотна при подготовке юбилейной выставки придется «доводить» до необходимого звучания, другие останутся в запаснике, третьи подтолкнут автора к новому замыслу, который хотелось бы осуществить без опоздания и на высоком мастерском уровне.

— Пересматриваешь и вдруг видишь свою работу как бы посторонними глазами, — поясняет Алексей Павлович. — Надо что-то дописать, подправить. И, глядишь, зазвучало. Но можно и напортить.

Многолетний опыт и почетные званья «подправкой» сезонных этюдов не подтвердишь, повторением мотивов золотой осени себя не реализуешь, надо выходить на неповторимое поле раздумий о достижениях и трагедиях минувшего века. Возвращается он к теме русского поля. О том не первый раз говорим. Эта встреча особая — при перспективном взгляде из зимнего холода в будущий юбилейный день. Не потому ли продвигается предо мной вереница картин о родных просторах, о красоте природы, о привлекательных людях, о радостях жизни. Алексей Павлович после операции восстановился, обрел необходимую форму: в привычный рабочий час независимо от состояния природы сосредоточенно подвижен. Взгляд у него лучистый. Появляется на мольберте мифологическая композиция, в ней — обожествленная любовь и красота, исполненная в реалистической конкретности с желанием воспеть воодушевляющее, вечно юное начало. Мутный февральский денек не помеха завершающей прописке полотна, мастерство и фантазия обеспечат уверенность. Пока он ждет зрительской оценки...

Возвращаемся к истокам, к болевой теме. Вспоминается служба победного года. Офицер разведки Белых с группой солдат разведывал обстановку в прибрежной зоне. Выдвинулись на высоту и оказались перед Балтийской панорамой, но с крейсера бортовые орудия залпом ударили по облюбованной разведчиками позиции, крепко ударили — рот не разевай и ушами не хлопай, разведка. Было — из памяти ранения и веселые фронтовые эпизоды не вычеркнешь, для военных рассказов особая тетрадь нужна. Здесь важно его признание: с тех пор живет интерес к морским пейзажам, хотя художник по рождению, натуре и манерам — сухопутный человек, но морская волна дыханье подновляет и к размышлениям о вечном зовет. Он с прищуром глядит на мифологическую композицию, будто видится возрастающее над пенистой волной явление, способное образумить воинствующих политиков.

—На морях бывал много раз, картины памятные есть, на Эльбе с союзниками встречался, Байкал утром видел, в Крыму работал, на Унже сплавщиков писал, Волге и волжанкам уделил немало внимания, а на суше хорошо ли жилось? — спрашиваю, помня о многих его картинах военной, туристической, морской и прочей «водной» тематики.

— Везде хорошо. Любопытно. Интересно. Много путешествовал. Всюду глаз радовался. Всегда хорошо работается.

— А завистники в затылок дышали, враги на мирных дорогах были?

— Как же без этой подмоги...Они возбуждают желание работать, испытывать себя.

— Единомышленники, друзья помнятся?

— Они помогают мне жить, осознавать свои достоинства и слабости, самодовольство срезают.

— Страдать много приходилось? Без этого свое поле не перейдешь. Утраты, ошибки, потери. Родные уходят... Погибали однополчане молодые. Это долгая боль. Писал картину о друзьях — товарищах...

— Какие были ребята...Иногда хочется что-то и за них сделать или хотя бы рассказать о тех, кого помню. Публикую заметки.

— Интересно получается: ума, души и рук творенье рассказывает людям о тебе и, может быть, помогает другим обретать радость, поможет кому-то и в другом веке. Это закономерно, — говорю, — художник, писатель, музыкант, актер, каждый творческий человек творениями расширяет собственное пространство и время. Этим определяется ответственность за свой талант. Трудом увеличиваешь свое жизненное поле. О чем не поплакал, о том не споешь — по пословице.

— Да, творчество — слезы и любовь, печаль и радость. В пейзаже так, в портрете, в жанровой картине. Любовь и радость у меня побеждают. Так жизнь воспринимаю. Один из моих замечательных учителей Виктор Григорьевич Цыплаков говорил: «Живопись свет любит...Писать нужно мощно, чтобы восторг был, чтобы сейчас хорошо было и через двести лет тоже...» А как замахнуться на двести лет? Никто не знает эту тайну. Не дано предвидеть.

— От учителя пошел интерес к пленэрной практике?

— Пейзаж — достойная натура для живописца. Художник, чувствующий природу, ценит мгновение. У меня так, свойство мое такое.

— Все мы осознаем себя в пейзаже, он — конкретная реальность, создающая колорит жизни. Английский писатель Джойс Кэри (помнишь, американка Джуди Хоган обращала твое внимание на его книгу «Искусство и реальность»), размышляя о творчестве Моне, особое значение придает пейзажу, который приглашает к открытиям. Художник, писатель или композитор, созерцая, получают заряд интуиции, вдохновляются. Ты на родине Гончарова написал этюд «Обрыв», пейзаж твой вдохновил американку — она написала поэму, в

которой использует «розовый цвет зари» и бездну «обрыва» как символы — знаки своих чувств и мыслей.

— Было дело. Дочь Вера переводила этот отрывок. Вспоминаю состояние, цвет и свет... Картины помнятся по настроению. Поездки расширяли чувственное зрение. Художники каждой страны идут от цветовой специфики.

— Значит, пространство с преобладающим колоритом выражает характер страны, сказывается в особенностях людей, природа создает и психологическую индивидуальность нации, ее колорит, поэзию, музыку.

— Все отражается в лицах. По ним видишь характер народа, природа и люди вместе — образ страны.

— Искусство — квинтэссенция национальных, нравственных, психологических, социальных черт. Попытаемся, к примеру, твоего «Лесоруба» представить в лесах Амазонки...

— Зачем это? Тогда придется писать другую природу и другой тип человека для нее потребуется.

— Вот и опять согласились: в нашем искусстве смысл, содержание, душа определяют и художественную форму. Смею заметить, нравственная человеческая направленность читается у тебя в лучших работах.

— Хорошо бы так. Смотришь на человека с восторгом, восхищаешься внешней и душевной красотой — требуется не только умение хорошо рисовать, компоновать, работать цветом. Чувство вложи, понимание характера. Потому пишу только то, что нравится, что удивляет и радует. Стараешься написать так, чтобы и другие видели, чувствовали красоту.

— От египтян пошло понятие красоты по отношению к человеку. Да и раньше оно было...

— Издалека на века.

— А видишь ли своих героев в новых условиях жизни, какими они теперь станут? Сильно изменился человек за последние десять лет?

— Ты сам говорил, вспоминая классиков, быстро меняется общественное устройство, а люди меняются медленно. Насильно перекроить душу человека самым строгим указом — приказом невозможно.

— Да, сокровенное не отнимешь. Это не костюм и не прическа. Творцы говорят: в искусстве мы изображаем самих себя, свою сущность. В литературе — тоже. Реализм — не просто направление, стиль, это душевный склад, национальная особенность культуры. Если иначе — не Россия.

— Так думаю: в основе моей работы всегда категория добра, с ней смотрю на природу и человека. Как вижу, чувствую — так и пишу.

— Мысль и чувство выражаем зримыми образами, не поддаваясь нигилизму и пошлости. Но сейчас ощутимы те-оретические попытки отторгнуть художников от реализма.

— Некоторые художники сразу переломились или про-гнулись, будто до них ничего хорошего не было. Рафаэль, Рембранд, многие великие шли от натуры, от реальной жизни, а нынче всем что ли от «черного квадрата» идти? Читаю в журналах, будто бы реализм закончился. Какой-то Гельман заявил: «К власти пришли демократы, а при демократии не должно быть реалистического искусства».

— Говорят, реализм теперь стал «каменным веком», пришла эра авангарда. Из литературы и искусства по пла-ну Даллеса будут постепенно вытравлять их социальную сущность, расшатывая поколения, будут вырывать духов-ные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нрав-ственности... Им это надо, а нам...

— И делают ставку на молодежь, чтобы разлагать, раз-вращать. Нынче никто не слушает мудрецов, все сами с усами.

— Внешнее образование не делает человека лучше. Другой напичкан информацией, а Пушкина не знает и знать не хочет.

— Знал бы, портреты гения не тискал на коробки. Люди по ним, брошенным, ходят, а я поднимаю. И тему поднял — хорошо бы достойно осуществить. Пушкин. 1830 год. Все еще в Болдино... Какое получится решение?

— Все-таки меняются к худшему люди. Быстро ут-рачивается душевность, сочувствие, совесть, честь, доброта.

— Перестроились. А чего мне перестраиваться? Как жил, так и живу. Время идет, в стране очевидные неполадки. Художник мало что может изменить. Не пойдешь митинго-вать. Как писал, так и буду писать только то, что нравится и ласкает сердце — для других пишем.

— О чем писать? На то не наша воля! — говорю сло-вами поэта. — Одним тобой не будет мир воспет...

— В нашем деле душа приказывает. Мне повезло. Многое прошел, узнал, испытывал на себе. Творческое брат-ство укрепляло. Мы ведь друг у друга учимся всю жизнь. От писателей просвещаешься. От художников. Цыплакова, Шумилова, Токарева ценю и помню. От наших костромс-ких есть соревновательное влияние. От искусствоведов. Настоящий искусствовед тоже художник. Как Александра Бузина не вспомнить, его участие в моей судьбе велико, на-чиная с первого дня в Костроме и по сей день. «Акаде-мичку» тоже благодарно ценю — не учебное заведение, а школа большая.

— Кто хочет учиться, всю жизнь учится в работе. Бывает, в начале человек большие подает надежды, но стечение об—стоятельств губит...

— Внешняя сторона жизни переломана, вот суетливому человеку и кажется, что его время пришло, начинает тыр—каться туда—сюда, работает локтями. Говорит, отойди! Ты про—жил жизнь — не пялься. А у меня острота восприятия не ослабла. Глазом вижу, сердцем чувствую, опытом согреваю.

— И новые замыслы есть?

— Как же... — Улыбается он. — Отстою эту вахту. Буду к следующему юбилею готовиться. Люди темы топчут, а я поднимаю... Вишь, какой хитрец...

— Поле тревоги нашей еще не пройдено. Любовь и надежда в том просторном русском поле при всех бедах не выветрилась, не утрачена... И печаль не прошла.

— Помнишь, ты сказал однажды: просветляющая осень. И осень не исчерпана, и зиму я редко писал...

— Желаю здоровья, воплощения замыслов. Пусть ре—алистическая живопись, как и литература, во все времена года сохраняет тропинки к хорошему человеку, наводит мосты по—нимания между людьми.

«Покуда кто—то ждет меня...», или диверсант космический

Сергей! Вы такой нехороший...
С. Есенин «Анна Онегина»

Причудливы и трагичны судьбы поэтов, естественно воз—растающих на периферии. Негромкие, не замеченные в свой срок, отторгнутые за непохожесть—несоответствие диктуе—мой снобами моде или капризам чиновников. Гениальные с мировой известностью и простые пахари—сеятели доброго, мудрого, вечного, призванные свыше и наделенные особым даром, оказываются невостребованными, удивляют открове—ниями, образом жизни. Они оставляют для людей долговре—менные ценности особого эстетического и духовного свойства, добытые страданием. Одни одаривают человечество поэти—ческими шедеврами, другие иногда напоминают о себе час—тушкой, песней, несколькими «простенькими» стихами. Без профессионального образования и элементарных условий для творчества, глубоко задумываясь, сокровенным словом спо—собны говорить «за всех и ради всех».

Помните, Есенин признавался Ширяевцу: «Живу, дорогой, — не живу, а маюсь, только и думаешь о проклятом рубле. Пишу очень мало. С старыми товарищами не имею почти ничего, с Клюевым разошелся, Клычков уехал, а Орешин гля — дит как — то все исподлобья, словно съесть хочет». А как жил Клюев в Вытегре? Он писал Есенину, что ест хлеб с мякиной, запивая пустым кипятком и моля Бога о непостыдной смерти.

Утешаться ли тем, что так было и раньше? Смириться с происходящим сегодня и делать вид, что сочинители Кост — ромской области не бедствуют, не пишут писем — отчаянных признаний? Униженные бытом (голодом, холодом), надруга — тельским чиновным равнодушием, беззаконием шлют сигна — лы бедствия из Вохмы, Шарьи, Галича, Чухломы и других мест. Поэтому обращаюсь к давним и нынешним письмам — от — кровениям из галичской деревни Костомы, точнее — с хутора из — под горы, где одиноко и безвыездно проживает поэт Сергей Потехин. Бывал там у него — знаю житейскую долю, при — чины бобыльского прозябанья, по которым один его давний сборник мы назвали «Молодой бобыль» («Литературная Ко — строма», 1993 г.).

Приехал к нему по осени. С огородных грядок все при — брано, только стебли топинамбура топорщатся и дразнят жел — тыми цветами серое низкое небо. Под сосенками маслята проглянули — тут у хозяина грибной питомник. Два зай — чонка — листопадничка затаились в мягкой отаве. Белка уст — рашающе пофыркивала, сверху бросала сучочки в нарушителей спокойствия. Сергей показывал землянку с «буржуйкой» из бочки — здесь в морозы он спасает картошку и овощи, сам под низким потолком на лежанке ночует, тут и стихи на па — мять записывает. Должно быть, здесь же перевоплощается он то в василек, то в зяблика, то в ершика подо льдом, то в какого — нибудь зверя. Иногда спросонья вскрикивает: «Я не бледный цветок подземелья!» Сам с собой не находит сладу, а «несу — разного такого кто полюбит, кто поймет». Иронично оценивая свой образ жизни, расставляет все по местам в мировом по — рядке... Безжалостен к себе и добр к другим. Сколько скуль — птур своих глиняных раздарил, клубнику не только бидончиками от него носили. Единственный в своем роде та — лантливый абориген не прост: душа нараспашку, очевидная незащищенность при уверенности в предназначении:

Но я не винтик и не гвоздь,
Пусть выгляжу комически.
Я — на земле нежданный гость.
Я — диверсант космический.

Иногда мы зовем Сергея в Кострому, а он отвечает: «Мне хотя б на штаны заплату. Мне хотя бы карман зашить». И сарказно признается: «По иронии судьбы я на данный мо— мент оказался невыездной, проживаю не у дел — в колхозе нет вакансий, даже на должность скотника конкурс, пред— почтение отдают владеющим техникой, идет борьба до драки скрытой и открытой, конкурсантов много, больше чем в теат— ральный институт. Давно уже я был испытан на должности скотника, а ничего иного и делать не умею. Выручает под— ножный корм: целебная травка, рыбешка, картошка. И люди добрые иногда помогают... Вышла в галичской типографии книжонка моя с нелепым названием от составителей «Слеза на песке», а лучше бы окрестить — «Мякина на ветерке». Отобрали туда стихи почему—то старые и слабые, хотя в до— статке было свежих».

Вот так и получилось: вышла книжонка — радости ни— какой, корысти тоже, безгонорарные издаются сборники. Живи как знаешь, стихотворец, никому до тебя и дела нет в Отчизне. Случается иногда подмога бедствующих братьев—писате— лей. Прислали мы ему от «Литературной Костромы» ми— зерный гонорар с тремя нолями, которые нынче надо вычеркивать. Откликнулся с восторгом:

«Подлетели кверху гирьки на тарелочке с нуждой. На— куплю лапши да кильки, побегу, как молодой. Отскребли на сердце кошки, не успел я духом пасть. Разноцветные са— пожки на одну сменяю масть...»

А вслед за такими признаниями на волне «заниженного бытовизма» прорвались и настоящие стихи. Сложилась еще одна книга стихотворений, отсеянных редакторскими тре— бованиями из половы, наметенной отчаянными обстоятель— ствами.

Не чувствуя подвоха,
Скольжу спиной вперед.
Какая там эпоха
За поворотом ждет.

Эти печальные песенки за тех, которым не дано изведать мир всецело, роднятся с истоками от Плещеева, Кольцова, Не— красова, Есенина. Однако находятся основания для упреков. Журналистка из «Комсомольской правды», проведав «смеш— ного соловья» в деревне Костоме, спросила, зачем он пишет стихи. Считающий себя колхозным анекдотом простенько ответил: «Люди просят... « Понимая собеседницу, он мог бы предложить ей несколько оправдательных стихов с отчетли— вой направленностью.

Бывали и почтовые откровения читательниц: «Уважаемый товарищ Потехин! — обращалась девица из г. Орла. — Случайно услышала ваши стихи в передаче «От всего сердца». Пишу, чтобы сказать: поймите же, что первые признаки творческой личности — это врожденный вкус и врожденная культура. (Чувствуете, куда гнет эстрадная «звезда»?). Но откуда они могут взяться в вашей деревне? Зачем вы их пишете? Для чего вам все это?» И вместо подписи — горделивое: «Эстрадная певица».

Люди забывают особый дар волшебной простоты и естественности, лучший порядок искренних слов о пережитом, выстраданных признаний. Камень и снег, пень и солома, вилы и мухомор, крапива и топинамбур могут нести кристаллы мысли и чувства. Среди шуток, самоиронии, сарказма, удачных и несуразных частушек, отчаянных вскриков и неразборчивого бормотанья прорывается и звенит чистый поэтический родник. За чудаковатой простоватостью способный видеть, слышать, чувствовать найдет другие мотивы, проникнется беспокойством за судьбу поэта, по-своему воспримет философию строк о коняге, зяблике, васильке, пьянчуге, волке, топоре, глине. И поймет стихи, в которых «чтоб услышать голос вещий, люди лезут на вулкан», а шакалы да волки ждут, выстораживают тех, кто окажется в покорности овечьей. Поймет горестное признание: «я лишь для карнавала поволчьи нарядился». Поймет, он послушным стал малышом, и воздуха негде хлебнуть. Вспоминается дуб-великан. «Кони мои в навозе, крона моя в грозе». «Грозному великану праведный путь знаком». Если даже и рухнет, то станет новым материком.

Сергей Потехин еще не раз напомнит о привлекательности полевого цветка и надежности дуба. Сам он являет миру добродетельную «диверсионную» способность остепенить и вразумить лезущих на вулкан к последнему извержению. Перевоплощения «василька» приобретают тревожное звучание под давлением обстоятельств отнюдь не материального свойства в первую очередь.

Мир утрачивает естественность и доброту, люди перестают видеть и понимать друг друга, многим из них праведный путь уже не кажется знакомым и спасительным, они свернули на кривые дорожки, указанные лукавыми проповедниками. А поэт, иронизируя над манерно философствующими умниками, наивно зовет себя и других в природную дорогу к радости и согласию, оберегает своей непритязательностью право каждого довольствоваться малым и не потворствовать тем, кто алчно диктует унизительную жизнь для большинства. Еще

предстоит понять и оценить заботливую простоту, вычитать в случайно изданных книжицах главное...

Повторно видится, как уходит Сергей из деревни под гору к своей землянке. Белое заснеженное поле слепит глаза. В нем — едва приметная тропинка с редкими вешками по сто — ронам. Поэт удаляется от назойливой телекамеры, уходит от нас, надоедливо и шумливо внимательных. Только что от — сняты эпизоды его поведения в деревенской неустроенности, в случайных встречах с понимающими односельчанами. И снова слышится его голос из редких писем. «Удалось мне посмотреть снятые в наших краях кадры. Сделано то, что надо. Наплевать на некоторые проколы. Главное показано — не — легкая участь сочинителя в наше время. На меня же теперь, благодаря вашим заботам, милости посыпались манной не — бесной. В сельсовете бесплатно выдали целый узел одежды, пообещали махонькое пособие выплачивать — на хлеб... С крысами, атакующими жилье, расстался — отступил. Ушел в землянку зимовать, но и там от них надо жестью спасаться... Насчет новой книжки не знаю, что и сказать. Конечно, лю — бому автору хочется увидать себя опубликованным. Стоят ли мои сочинительства того? Может, у более достойных ребят отбиваю хлеб и место под солнцем? Смотрите по возмож — ности. Живу помаленьку. Духом не падаю. Писать с грехом пополам можно и при коптилке».

Слышите, люди, этот голос? Слышите, как и о чем пишет мне поэт, чья судьба тревожно напоминает о судьбах многих, живущих как бы вне привычных и новых законов, без статуса творческого работника, без которого писатели оказываются «тунеядцами», утрачивающими право на полную пенсию из — за принадлежности к обездоленному творческому союзу? «Привык надеяться только на себя, — пишет Сергей в другом письме. — Голова и руки пока целы. В снегу барахтаюсь, дрова пилю. Сухари в кипятке размачиваю. Зимние условия для стихов не шибко подходящие, но зима, считай, сломана, сол — нышко пригревает уже. Правда, за зиму одичал до такой сте — пени, что от людей, как заяц, шарахаюсь в кусты. Видеть вас, встретиться было бы неплохо для оттаиванья души, но доб — раться до моей лачуги сейчас не так — то просто. По тро — пинке, словно по жердине, придется топать порядочное расстояние. Да и меня еще унесет куда — нибудь в лес: сей — час как раз дрова запасаю. Лучше летом приезжайте, когда у меня рай земной...».

Однажды, осмысливая свое бытие, прислал длиннющее письмо, в котором благодарил за доброе внимание всех, кто его не забывает. Оценивал только что полученный альманах

«Кострома»: «На высоком уровне получилось издание, прочитал с превеликим удовольствием, теперь сия книжка по деревне путешествует из рук в руки. Есть для меня радость... О своих каких-либо перспективах наивно мечтать. На прозу все-таки не перешел, это она на меня навалилась, как и на многих других граждан российских. Рыпаюсь, конечно, как могу, да силы слишком неравны. Главу районной администрации Елшина упрекнуть не в чем, и так мужик постарался хлопотами о доме. В этом году дали по 50 рублей три месяца — иссякли. Сотня отныне кажется астрономической суммой. Появись она у меня, купил бы на всю хлеба да сухарей насушил: месяц живи — горя не знай. Пока же лук да крапива —основной рацион. Огород, разумеется, посадил; все необходимое. Жду, скоро будет поспевать. Тогда оживу — не для благих дел, так для более достойного существования...».

За бытовыми трудностями, за всем житейским «мусором» приписка: «Стишков» горсточку все же посылаю, чтобы убедились: нечем особо хвалиться. Прочтете и в корзину бросьте. Может быть, летом что-нибудь повеселее споется... «.

Иногда его навещают друзья, неравнодушные журналисты, любопытные дамочки в поисках экзотики. Не оставляют без эпизодического внимания сотрудники газеты «Галичские известия». Приехала к нему Алевтина Лапшина, чтобы уговорить на съемки предъюбилейного фильма. Сергей ответил: «Суета. Кому все это нужно». О нынешнем настроении поэта можно судить по его более подробным в этот раз ответам. Живет он на хуторе, конечно, без электричества. «А зачем оно? Есть печь, лучина. Бояться некого. Для понимания смысла жизни, чувства свободы необходимо уединение. Живи, радуйся жизни. В этом плане я счастлив». К земному плодородию у него интерес — считает спасительным труд на земле, она легкая здесь, супесчаная, хорошо отзывается урожаем. Вот собрал тыкву, около двух тонн отправил. Орешник порадовал. «На двух сотках возделываю клубнику. В июне-июле у меня сладкий сезон». Показал он журналистке и свою землянку, в которой зимовал в прошлом году, теперь там у него кролики живут.

Иногда его навещают ребятишки, но и один Сергей не скучает — «все вокруг живое: и земля, и река, и лес, и солнце над миром. И везде присутствует Бог». Так он и сказал: «Положась на волю Божью, / Я бреду по бездорожью — / С тех, кто бродит без дорог, / Бог не требует налог».

Конечно, летом вольнее, привольнее. Выйдет он за околицу в свои владения, и станет ему легче. «Целый мир удручен тишиной. / Почему-то все реже мне снится / Алый

парус над синей волной». А за кустами речная излучина блестит, волнится березовая роща на берегу, вдалеке сосно-вый бор зовуще темнеет. И повторяется спасительное: «Кто сказал, что я не летаю, что потеряны оба крыла?» Иногда «поют луга, поют леса, / Им подпевают небеса, / А музыка народная».

Но зима-то у нас долгая, затяжная в России зима. «От мороза ли щеки розовы? / Или ветер их целовал? / Ты сто-ишь одна под березами, / Спрятав пальчики в рукава». В предчувствии весны и другие темы проклевываются. Нет, не в поздний зимний час, когда жутко от темноты и безлюдья, любовная лирика ласкает еще не уставшее сердце. Все-таки бывают просветы между осенью и весной. Надеждами человек живет и утешает себя: «Придет весна — посею паль-мы / И буду финики срывать». Под Новый год о пальмах заговорил.

У каждого зяблика свой голос. «В куче неубранных яблок, / Скрытых опавшей листвой, / Ищет взъерошенный зяблик / Голос потерянный свой». И дергачом можно себя чувство-вать или молодым петушком, который летать не умеет, «зато кукарекает знатно». Бывает такая жизненная полоса: ско-вывает страх потерять свою песню.

Сергей сам себя выверяет под надзором небес и ма-тушки-природы, душу свою испытывает на разных диапа-зонах. Идут стихи без названий то на вдохе, то на выдохе. «Не поле перешел — / Полжизни прожил. / И все бы хо-рошо, / Да совесть гложет». Идут стихи негромкой испове-дью, складывается история души. Остановишься, задохнешься на крутой тропе — замолчишь, словно насовсем исчезнешь, забытый, невостребованный. «Тогда лишь я чего-то стою, / Покуда кто-то ждет меня». Пока еще вспоминают, окликают, желая хоть как-то помочь. На окликания наши отзывается он с промедлением.

«Ваша экстренная помощь подоспела вовремя. Спасибо большое! Не мог сразу ответить, так как все денежки потра-тил на продукты (грешен: купил и бутылку — не пойдешь Новый год встречать с пустыми руками), конвертов не купил — почта не работала. Вот и причина молчания. Извиняюсь. Дела мои идут, настроение бодрое, Муза не покидает вторую неделю. Строчу, наверстывая упущенное (благо брюхо не до-нимает своими претензиями). Записывать вирши приходит-ся на амбарных листах — туго с бумагой».

Летом у него день рождения... Хорошо бы подоспела к этому времени книжка избранной лирики. Да вот департа-мент культуры зажимает финансы.

Под народную музыку прислушаются читатели к содержанию избранных стихотворений в пространстве от «а» до «я», сопроводительно разделенном иллюстрациями, и станут понятны несомненные достоинства этой лирики:

искренность, душевность, естественность голоса, дарованного свыше. Вновь и вновь хорошо знающие Сергея Потехина будут вспоминать будто бы мимоходом сказанное однажды:

Вырос в поле глупенький
Василек голубенький...
Не понять ему никак,
Почему же он сорняк.

Живет недалеко от Костомы на хуторе лирический бобыль, звезд с неба не хватает, государству с него взять нечего, разве теперь придется аренду за землю платить. За ту землю, на которой родился да шалаш поставил, землянку выкопал...

Интеллектуальный интерес

Каждый из нас идет своей дорогой. И каждый имеет право сказать: не учите меня жить, свой век я пройду по-своему. У каждого есть заповедный лес, сокровенные тайны, скрытые миры. Человек о себе никогда всего не расскажет, но раскрывается в слове и деле тем полнее, чем активнее живет.

Неудовлетворенность собственной жизнью заметна даже у хваленых американцев. У Джона Джордана и его супруги Маргарет тоже иногда прорывалась. Да, сделано много, простор для бизнеса имеется, ограничивают его только общие обстоятельства, скажем так, места и времени. Вырастив четверых детей (двух сынов и двух дочек), родители остались одни в большом доме при заботах в своем владении — ищут общественную самореализацию. Маргарет — регент церковного хора, занимается благотворительностью, торговлей для бедных — открыла магазинчик. Эстетический вкус реализует в домашнем дизайне, музицирует, составляет коллекции, альбомы, оранжерейные уголки возле дома. Джон — землевладелец, покровитель храма, член каких-то обществ. Каждый день на автомобиле наматывает километры: везде надо успеть. И в колледже побывает и фермерские хозяйства осмотрит, и в компанию по страхованию перевозимых грузов заглянет, чтобы решить «текущие дела», и сенокос оглядит. В этом у него есть некоторое сходство с нашими хозяйственниками деревенской стороны.

А отличает Джона от них стремление к культуре, интеллектуальный интерес. Если выставка живописи открывается — он там. В мэрии выступает костромская хоровая капелла — приедет без опоздания. На все мои литературные вечера в ближних городах приезжал непременно и обращал на себя внимание неожиданными суждениями, новыми и новыми вопросами. Для бесед с русскими, почувствовав особенность писательской речи, всегда находил квалифицированных переводчиков...

С учетом общения в Америке, вернувшись домой, мы тоже думали о переводчиках, с которыми будем принимать Джона и Маргарет. Нам было уже легче: в чем-то гости знакомы, круг интересов, особенности характеров — тоже. Происхождение, привычки, склонности и манеры помнились.

В зависимости от аудитории я представлял костромичам капиталиста по-разному. На приеме у Коробова, например, перечислив всерьез и в шутку основные достоинства Джона, назвал его интеллектуалом. Ему это понравилось. Веселый Джон оправдал и такую характеристику, интересуясь русской культурой, фольклором, судьбой Ефима Честнякова, работами художников, ювелиров, жизнью писательской организации, музеем деревянного зодчества, росписью храмов, разнообразием книг в домашних библиотеках, творчеством умельцев, фольклором. Оркестр народных инструментов удивил его.

Но интеллектуальный интерес контрастировал с какой-то давней психологической установкой на негативное

восприятие «примет» нашей действительности. Вооружен-ный видеокамерой интеллектуал в любой дороге увлекался нацеленностью на покосившиеся заборы и ветхие придо-рожные дома. Фиксировал полигон автомобильной школы, обнесенный колючей проволокой. Норовил взять в объектив обшарпанную стену, решетки в окнах и стальные двери квартир, неустроенный балкон, вход в туалет и закрытый, предназна-ченный к реставрации вокзал.

Так было в первые дни. Вскоре он стал интересоваться красотой наших мест. Восхищался людьми, автоматизиро-ванным ткацким производством, оформлением интерьера ад-министративных зданий, сельскими условиями быта — они оказались для него неожиданными.

В солнечный день на грузовом автомобиле добрались мы до далекой деревни Одноушево. Священник, отец Николай, доставил нас для к часовне-памятнику в честь святителя митрополита Ионы на его родине. Ехали туда грязными про-селками мимо порушенных деревень среди природного раз-долья. Запустение и прах — одна из нынешних сельских примет, таких еще и не бывало никогда в этой стороне, даже после войны так деревня не выглядела. И вдруг — восхи-щенным взором выхватил Джон в пространстве несколько бодрых домов. Один из них явно понравился. Крестьяне, при-влеченные непонятно говорящими людьми, молча наблюдали за нами.

— Чей дом? — с помощью переводчицы спросил Джон.

После некоторого замешательства бойкая женщина на-шла поблизости своего мужа, занятого разговорами с мужи-ками, притащила его за рукав:

— Докладывайся, ежели спрашивают. Сам строил — сам и объясняй.

— А чего объяснять? — коренастый плотный мужик в возрасте, склонном к пенсионному, приподнял кепку и чесал затылок. — Мой дом. От закладного бревна до резного дым-ника — все своими руками.

— Покажи! Интерьер покажи, — просит иностранец, удивленный такими хоромами посреди развала и неустро-енности деревенской.

И вот тут строитель этот — мужик работный Дудин, по-чувствовав неподдельный интерес к его трудам, встрепенулся, приказывает жене:

— Ну-ка, мать, развернись. Что есть в печи, на стол мечи, как говорится. По амбару поскреби, по сусекам поме-ти. А мы покалякаем. — И вдохновенно, радостно, как-то по-свойски увлек Джона, то и дело посматривая ему в глаза,

начал растолковывать что и для чего придумано, сконструи-ровано, прилажено. Оказалось, он — механизатор, много лет колотился на тракторе, в перерывах между сезонными рабо-тами сам заготавливал лес, добывал кирпич, пилил брус и тес, возил от реки мелкий камень для заливки фундамента. Строил, крыл, красил, ладил отопление и водоснабжение, оборудовал котельную в бане, бурил скважину, выпиливал деревянные кружева для наличников. Для всего надо свой инструмент иметь, опять же косы ладить, и полозья для саней готовить, и тележные колеса ремонтировать, гнуть дугу, шить сбрую, под-шивать валенки, тачать сапоги, класть кирпичную печь, каст-рюли да ведра чинить. Наговорил что было и чего не было. Так это ладно, все к месту состыковывалось — любо слушать. Везде повел гостя. И ледник показал, и баню, толково по-ставленную, и огородные парники, и картофельные посадки, и грядки овощные. Хозяйство! Дровяник, сенник, летняя кухня, сарайки, палисадник. Затем — сени. «Ах вы, сени мои, сени», — пропел, притопывая. И в прируб повел, чулан открыл.

Переводчица просила, чтобы не спешил Дудин в трепет-ном рассказе, говорил помедленнее. Но разгоряченный хо-зяин урезонивался, притормаживал себя на минуту-другую и снова торопился объяснить свою жизнь: чем она приме-чательна и чем трудна, печальна даже. Была его горячая от-кровенность в суждениях направлена на то, чтобы приезжие поняли: не всегда так жилось, не всегда делал, что хотел. Ой, сколько притеснений и несправедливостей пережито в кол-хозной доле! Не только управители из района или руковод-ство колхозное досаждало своей необдуманностью, некоторые односельчане по зависти вставляли палки в колеса.

За домашним столом, наспех заставленном угощениями, Джон не унимался в своих интересах:

— Сколько работников у тебя? По найму на день сколько платишь?

— А кому платить-то? Или старухе своей. Мы тут без ведомости. Себя обеспечиваем — и ладно. Медок вот про-буйте с моей пасеки. Грибки, огурчики, варенье, разносолы всякие.

И жена по своим кухонным заботам подключилась:

— Хлеб сама выпекаю. Пироги, булочки, да мало ли чего захочется... Молочко топленое от своей коровы, тушенка из телятины, — тоже обеспеченность показала: не все конкретно, кое-что на словах, чтобы бедности не было.

Разыгралось застольное общение. Водочка нашлась. Ино-странцы, конечно, от крепкого напитка отказались — «не-привычные, что ли?». Так и спрашивали хозяева. И удивились,

что этот рослый, видный американец даже не пригубил — «трезвенник какой». Это похвально оценила хозяйка.

Джон охотно отведал крестьянскую еду. И деревенскую окрошку — все в свой черед, как было предложено, и варенье, и творог запеченный, и медок с вощинкой. Разговорились два хозяина, на крыльцо толковать пошли. Взаимный интерес ра-довал обоих. Мы тоже радовались понятливому разговору богатого землевладельца и безвестного крестьянина россий-ской деревни. Простой русский мужик без всякого напуска и бравады явил свой народный талант, освещенный трудо-любием, душевностью и красноречием. Удивил самоуверен-ного американца. Джон несколько раз переспрашивал меня:

— Это по программе? Это ты, Микхаел, подготовил? — еще не верил он в случайность встречи.

— Сам сюда приехал впервые, первый раз вижу этого мужика. Просто везет нам. Но и в других местах найдется немало таких людей.

Джон приобнял меня, пожал руку и сказал с улыбкой:

— Дудин — интеллектуал. Нет унывать. Есть будущее. Это важно Россия.

Интеллектуальные интересы, видимо, в чем-то совпали. Сходство характеров было почувствовано. «Закавыка» лишь в том, что житейский полет у них разный. Джон может дело-вито парить на собственной земле, доставшейся в наследство от отца-сенатора, а нашему мастеровому мужику давно уже крылья постригли. Много нашлось способов. Система дав-ления на российского мужика программой неперспектив-ности тщательно была отлажена.

— Спасибо, заехали. А то про нас никто и знать не знает, — сказал Дудин на прощание. —Спасибо тебе, Михаил, инте-ресного мужика привез. А дотошный американец своими-то руками чего может, нет ли? К примеру, бревно окантовать, ва-ленки подшить, — улыбнулся, — или лапти сплести?

— Это не требуется. Землевладелец он, работодатель.

— Вон что... работу дает. У нас тут работы бери сколь хочешь, только платить никто не хочет. А вот к хозяйству Джон этот интерес имеет. Пожалуй, получился бы предсе-датель, если не избалован привольностью.

В обратной дороге Джон с видеокамерой не пялился — забыл про нее, а позднее — как я заметил — старался запе-чатлеть на память пейзажи, храмы, привлекательных людей, осо-бенно на фольклорном празднике во время фестиваля «Вехи». Среди красочного разнообразия, среди множества танцующих и поющих коллективов немудрено было и заблудиться, расте-ряться. Женщины приглашали Джона в хороводы, кружили

его, посвящали ему напевы. Жена Маргарет много смеялась, увидев мужа в новом неожиданном качестве. Да и сам зем—левладелец чувствовал себя другим человеком. Позднее, про—гуливаясь по берегу Волги, признался:

— Понимаю, жить можно иначе — не так в Америке. Но в России столько проблем. Трудно. Ремонт. Аренда. Налог. Закон. Конституция. Полиция.

Не только сегодня, в полосе затяжных реформ, русские завалены проблемами, живут с преодолением. Сто лет назад один из идеологов славянофильства И.С.Аксаков, выступав—ший за отмену крепостного права, констатировал: «Как трудно живется на Руси! Есть какой—то нравственный гнет, какое—то чувство нравственного измора, которое мешает жить, ко—торое не дает установиться гармонии духа и тела, внутреннего и внешнего существования, фальшь и пошлость нашей об—щественной атмосферы и чувство безнадежности, беспрог—лядность давят нас...»

И это в классическом девятнадцатом веке. Что же можно сказать о теперешнем самочувствии на Руси? А разве и пре—успевающие американцы обрели гармонию духа и тела? Разве нет у них причин завидовать веселой душевности празднично настроенного деревенского работника, когда он, отмахнувшись от всех бед, воспаряет духом? Когда щедр и безоглядно чис—тосердечен, не желая выказывать печаль, и прихвастнуть мо—жет — о том, что желает, скажет так, будто бы давно имеет и во благо наследников приумножает.

Хочется, чтобы все хорошее повторялось, чтобы так было почаще. Но где господь пшеницу сеет, там черт — плеве—лы. Русская простота, говорят, хуже воровства. Этой про—стотой черти да пауки и пользуются, теперь при делах воровских о взяткоемкости заговорили, а мы милость к пад—шим призываем...

И на милость разум нужен. Доброта без разума пуста. А все—таки ищем добра во всех наших скитаниях, худо и само приходит. Вот и нет: часто не само по себе оно является, злоумышленники его приводят.

— «Новые русские» могут помогать мужику, тебе — ху—дожнику и писателю? — интересуются американцы не зря. — Бизнесмены тоже хотят стать интеллектуалами, готовы к меценатству? Им подходит наш опыт? — об этом спрашивали в Костроме не только Джон Джордан, Джуди Хоган, Сьюзен Бройли, Бетси Роллинс, но и в Америке подобные были вопросы в беседах с учеными и писателями. — «Новый русский» лю—бит искусство? Он — друг писателя? Он хочет устроить визит трех писателей из Костромы в Америку? Хочет знать то, что не

умеет сам — ваше искусство? Или больше всего на свете любит себя и свой карман, да?

Вспоминаю добродетелей из прошлого. Были и в России «миллионщики» щедрые. Среди них выделяется выходец из крестьянской среды наш земляк И.Д.Сытин. Давно и навеч — но признаны его великие заслуги в деле просвещения. Он создал русское книгопечатание, дающее народу самую де — шевую и самую нужную книгу. Перед революцией был бли — зок к созданию первого российского газетного концерна — прообраза тех, что позднее стали привычными на Западе. Американцы назвали его «российским Фордом», имея в виду недюжинный талант делового человека.

— Пока нет новых Морозовых, Мамонтовых, Сытиных, Чи — жовых, Третьяковых, — упоминаю с пояснением кто они та — кие. — И в Костроме нет.

— Тогда теряется шанс и мало будет интеллектуалов. Только робот, бизнес — робот. Вы не хотите, Микхаел, так ду — мать? Бизнес тоже просит талант? Да — а... Но бизнесмен дол — жен знать Ваш роман, если хочет понимать душу своего народа. Надо знать непременно все, что Вы делаете, когда много трудностей. Все знать, что делает Ваша писательская организация. Даже тоненькие книги. Джуди писала о них для журнала. Это было интересно.

Помнится сопроводительное письмо к статье от Джуди Хоган: «Вернулась из России уверенная в том, что есть много хороших талантливых людей. Встречи отпечатались в памя — ти. Поэтому много думаю, пишу и рассказываю другим о Рос — сии, о Костроме. Та работа, которую вы делаете в ваших условиях вообще и через «Литературную Кострому», дана только лю — дям с незаурядными способностями...» Ну, и так далее.

— Это интересно — мы читали, — сказал Джон. — Хо — рошо слушать писателя. Мы приглашаем трех писателей обя — зательно, нет проблем. — «Новые русские» не умеют помогать визиту?

— Не обращался, не знаю.

— Нехорошо обращаться. Писатель не может. Другие его слушают, когда хотят летать выше. Им нужен писатель. Без него — где душа? Без него трудно быть...интеллектуал не бывает один, нет культуры без Вас... Администратор это по — нимает? Он близко, может помогать литературе? А Прези — дент?..

— Провинция далеко, нас пока не видно. Россия боль — шая... Очень большая родная страна.

Лучший памятник нашему адмиралу

Крым, Феодосия, Планерское... Второй раз наивно бла-женствую в стране Киммерии, осознавая свободу «обормотс-кого лета». Улизнул от милого семейства — пусть жена и сын наслаждаются полуденной прохладой в затененном де-ревьями коттедже. Побывал у подножия Карадага, прогу-лялся по феодосийской дороге, «камешком лежу в ладонях Коктебеля...»Спокойный залив лазурной гладью превращен в тихую незыблемость, земное и небесное течение времени сли-ваются вдалеке, размывая линию горизонта. Все-таки пей-зажные состояния иногда повторяются. И снова будто бы ожидаю завершающего километровый одиночный заплыв муд-рого собеседника. Вот он приближается — слышу редкие всплески и вдохи, медленно возрастает витязем на фоне мгли-стого слияния неба и моря, нащупывая усталыми ногами дно, обретает земную устойчивость, расправляет, оглаживает плечи и горделиво возвышает седую голову над бездумно-томным покоем отдыхающих. Тем памятным летом, в год первой встречи, мы часто находили согласованное уединение для продолже-ния тихой нескончаемой беседы. Смотрели на море в сторо-ну Турции, перебирали, словно четки, привлекательные коктебельские камешки, а говорили о Дальнем Востоке — предпочтение было отдано главной теме Николая Павловича.

Знакомство произошло в стечении бытовых и житейских обстоятельств, а продолжалось на основе взаимных истори-ческих, литературных и, конечно, личностных интересов, во вся-ком случае, с моей стороны. В первый день сразу же после размещения в коттедже с крылечками на две стороны, я от-правился изучать пространство Дома творчества, а моя при-мечательная Катя — жена Екатерина Михайловна осталась с раскрытой книгой в плетеном кресле на веранде оберегать акклиматизацию сына, возбужденного впечатлениями даль-ней дороги, морем и солнцем. Неспешные прохожие на нее поглядывали: природная красота и естественность поведения среди претензий на изысканность, угадываемая душевность и благородство бывают замечены понимающими людьми. Вы-сокий интеллигентный и, как она сразу поняла, проницатель-ный мужчина оказался из таких. Он прошел по аллее, приглядываясь. Но вдруг вернулся, извиняясь за беспокой-ство, тихо спросил:

— Ваш муж поэт или писатель? Вы из Костромы? Давно собирался в этот город, по районам проехать. Можно с вами познакомиться, не возражаете?

Конечно, получил согласие: она охотно назвалась. Он уг—лядел в ней учительницу и по исторической книге предпо—ложил:

— Изучаете историю? — И, получив утвердительный от—вет, порадовался, что не ошибся. — Интересная наука...А на Дальнем Востоке не бывали? Тогда могу вам сообщить много интересного не только про Невельского...

Таким образом он провел разведку, определил в нас под—ходящих соседей: на следующий день с противоположного крыльца поселился его сын Михаил, тогда еще только заяв—ляющий свой эстрадный талант. Очевидно он был призван оберегать племянника, но эта обязанность энергичному спортивному и общительному молодцу была в тягость. Вы—ручали соседи—костромичи. Два мальчика — наш сын Але—ша и внук Николая Павловича по дочери, тоже Алеша, легко сошлись. Дети подкрепляли возможность моего общения с известным писателем, лауреатом Государственной премии СССР за романы, посвященные освоению Дальнего Востока. В первом обстоятельном разговоре я упомянул роман—хро—нику выпускника Костромской классической гимназии Вс. Н. Иванова «Черные люди», тем самым подтвердил, что имею некоторый интерес к истории обживания Сибири, казачьих поселений по Амуру и выхода России к Тихому океану. Тут и обнаружилось, что художественные концепции Иванова и За—дорнова роднятся взглядом на мужика: именно стрельцы и пахари, охотники и купцы, все сословия, входящие в понятие «народ», выстраивали пределы государства своим трудом, они, черные, тяглые люди, мирно осваивали земли, после потери выхода к Балтийскому и Черному морям, стихийно продви—гались на Восток. Николай Павлович понял мою мысль об исторической и художественной эстафете, принятой им от Всеволода Иванова. Его переполнял огромный фактический материал, собранный за сорок лет, но еще не в полной мере использованный в серии дальневосточных романов, видимо, писатель нуждался в читателе и слушателе. Ему приятно было вспоминать о дорогах молодости. В памяти и в сердце — необыкновенные люди: исторические личности и современ—ники, первопроходцы и путешественники. Рассказывал о них с деталями и подробностями, будто каждого знал лично. Жи—вописал достоинства писателя, путешественника и тигролова Всеволода Сысоева, которого собирался навестить. Загово—рил про Владивосток, про экспедицию генерал—губернатора Николая Муравьева — обозначил замысел нового романа. И снова, понимая наш патриотический интерес, возвратился к родословной Невельского, даже упомянул его троюродную

племянницу Машу из Галича, воспитанницу Смольного института, которой в романе посвящена отдельная глава, по его словам, ради любовной интриги. И двадцатитрехлетнего Бошняка, члена команды, тоже вспомнил — понятно, для нас.

Естественно и просто складывалось знакомство, подкрепленное вечерними романтическими рассказами о тех местах, по которым шли первые русские первопроходцы и мореплаватели. Лиманы на Амуре, Сахалин, Петровская коса, куда впервые высадился молодой исследователь. Эту косу он называл самым гнилым углом в Охотском море. Именно там установлен обелиск — чугунная плита с гравировкой «Геннадий Иванович Невельской».

Тут мы тоже в меру краеведческих познаний некоторые сведения вставили: знаем, помним из рассказов учителей и краеведов, что была такая пустошь Дракино, где усадьбу родовую построили, там и родился будущий мореплаватель. На месте той усадьбы — памятный знак. Установлены памятники в деревне Лосево, в Солигаличе...

— Представьте своего земляка, устремленного в неизведанный край из Петербурга, от блестящей карьеры и благополучия, от связей и общения, — рассказывал Николай Павлович Задорнов. — Он воспитывался в семье ученого дяди, адмирала Куприянова, в пятнадцать лет был зачислен в Морской кадетский корпус по третьей роте под покровительство Ивана Крузенштерна, был близок с декабристами, дружил с Пущиным, изучал историю и, еще в детстве узнав о важном значении реки Амур для России, постепенно выстраивал планы собственных исследований. В морском корпусе обнаружил недюжинные способности, склонность к самостоятельному анализу, за что отличника прозвали «Архимедом». Окончил Высшую морскую школу Генерального штаба, с великим князем Константином на крейсере «Аврора» прошел через все порты Европы... И вот он сменил блестящий мундир морского гвардейца на одежду простого казака, чтобы ради подтверждения своих идей жить в этом «гнилом углу», пришел на парусном трехмачтовом бриге, бросил якорь в заливе, высадился на низкой полосе суши, входящей в Охотское море, и назвал это место «Заливом Счастья», потому что северные жесткие ветры не терзали корабль. На второй год привез жену из петербургского света...

— В середине тридцатых годов своего века приезжал Геннадий Иванович в Кинешму на свадьбу сестры Марии. — Это прорываются наши скромные познания по биографической канве. — А потом после экспедиций в пятьдесят шестом году приезжал с женой Екатериной Ивановной. На

могиле матери Федосьи Тимофеевны установил надгробие. Унаследованные деревни он потом продал и приобрел в За—волжье усадьбу Рогозиниху...

Задорнов только кивал, понимая наше горделивое земля—ческое отношение к знаменитому мореплавателю. Но назы—ваемые нами подробности образ Невельского не могли дополнить. А речь надо было вести о прочитанном, о досто—инствах исторических романов, о значении художественной концепции в мировых обстоятельствах нашего времени, на—зывать по своему восприятию авторские удачи. Чтобы не оконфузиться, не «козырять» невежеством, возвратились к давно прочитанным романам, с наслаждением вчитывались даже в бытописательские главы, казавшиеся ранее затяну—тыми и просто лишними. Через созданную в цикле романов атмосферу попадаем в широкую панораму российской жизни X1X века, начинаем видеть, чувствовать личность и масштабы дела Невельского, величие исторического подвига.

Амурская экспедиция, динамично прописанная в романе «Первое открытие», воссоздает начало воплощения исследо—вательского замысла, позволившего возвратиться России к Тихому океану, включить в состав государства Приморье и Сахалин. Это сказать легко. Задорнов осмысливал подвиг на основе собственных путешествий, многолетних архивных по—исков и через характеры многих людей, через исследование сближения русских с местными народностями и племенами, через показ борения политических и социальных сил внутри страны и за рубежом. Системой образов он начал ниспро—вергать существующие до него авторитеты и теории, потому что убедился в фальсификации исторической истины. Изве—стно, что до 1914 года честь открытий на Дальнем Востоке историографы приписывали сибирскому губернатору Му—равьеву. Николай Задорнов вынужден был вступать и в от—крытую полемику с новыми оппонентами. В подтверждение он показал свою давнюю статью в журнале «Дальний Вос—ток» (№2. 1967 г.)

«Невельской был не только дальневосточным деятелем, не только открывателем Амура, как рекомендуют его труды до—революционных историков и наша современная энциклопе—дия. Он оказался, может быть, самым замечательным из всех наших известных адмиралов и морских исследователей про—шлого века, и его деятельность была с яркой политической окраской. Он политик, государственный ум. Он доказал, что Дальний Восток должен быть возвращен нашей стране, и он сделал все, чтобы это осуществить могли другие... Он дей—ствовал на Дальнем Востоке, но его деятельность принадлежит

всему человечеству. Я убежден, что со временем наша страна будет все более чтить его имя, и памятник ему будет по — ставлен в Ленинграде, где он созрел и воспитался как моряк, ученый и прогрессивный, по — революционному самоотвер — женный деятель...»

Но это надо было показать в художественных столкно — вениях, в конфликтах идей и характеров, прописать прорас — тание мечты об океанском флоте, обосновать царскую боязнь всякого движения свободной мысли, потому и требовались многие годы. Накопленный материал расширял панораму, иногда давил на автора, затормаживал динамику в двухтом — ном романе «Капитан Невельской». Трудно давался этот роман о русской интеллигенции в тяжелые годы реакции, когда вся — кий инакомыслящий обретал дорогу в Сибирь. Писателю уда — лось доказать, что даже николаевская реакционная эпоха не остановила развитие передовых идей, что аппарат бюрокра — тической власти всегда отстает от прогрессивной мысли. Чтобы пройти, проплыть маршрутами Невельского должен был стать маринистом. Сначала ходил по амурским озерам, плавал на гребных лодках по излучинам, похожим на морские заливы, научился управлять кожаными гиляцкими парусами. «Я по — чувствовал себя гиляком, — говорил Николай Павлович, — и как бы все в понимании этого мира мне стало доступно». А сколько еще было познавательных плаваний, позволивших писателю «обжить» морскую стихию. Все начиналось с ма — лого, точно так и в трактовке, в художественном формировании главного героя. Он тоже пришел на Амур на байдарке с проводником — гиляком, экспедиция все описи проводила на шлюпках. Оказалось, экспедиционные испытания были только прологом к длительной борьбе за признание того, что было открыто.

У Геннадия Ивановича Невельского было много испы — таний, жесткой борьбы, поражений, разочарований. На самом трудном изломе судьбы (по закону жанра) пришла к нему любовь — спасительница. Катя Ельчанинова, едва вступаю — щая в жизнь, поначалу не представляла себя женой тридца — типятилетнего человека с фантастической приверженностью своей идее, но вскоре сумела принять на себя часть его труд — ностей. Воспитанная влиянием Марии Волконской юная Катя сумела выстоять против общепринятых представлений о бла — гополучии, смогла пройти путь психологического сближения и внушить ему необычайное возвышающее чувство. Когда Невельскому грозила царская опала, когда на открытие был наложен запрет, а в Гиляцком комитете торжествовала партия Нессельроде, Катя, считавшая уже капитана своим, пишет ему

о любви и верности, решительно отстраняясь от модели бу—дущей жизни, сложенной родственниками под запланиро—ванным союзом с красавцем Пехтерем. «Дорогой Геннадий Иванович! Все это время я мысленно с вами...Я слыхала про ваше несчастье. Но что бы ни было, я люблю вас и согласна стать вашей женой. Я готова пойти с вами куда угодно, где бы вы ни были. Простите меня, что я так глупо вела себя. Я полюбила вас при первой встрече. Молю бога, чтобы все обо—шлось благополучно. Да пребудет с вами его благословение. Любящая вас Катя». И она была готова следовать за ним буквально на край света, потому что дальше Амура — рус—ской земли тогда не было. Именно в создании тонких пси—хологических отношений, как и в освоении морской стихии, технологии мореплавания, проявилось художественное мас—терство писателя. Через восприятие женских образов уда—ется ему зримо усиливать «специфику» мужского поведения в различных обстоятельствах, показывать восприятие кон—трастных событий. Постепенно жизнь мятежного капитана, познавшего разочарование, непонимание, аскетизм, особый путь, приобретает мягкие, лирические краски.

Теперь герой испытывает особое тепло на душе и все увереннее чувствует себя в чиновном холодном Петербурге среди людей, вышколенных ожесточенной борьбой, не зна—ющих жалости и мук совести. В бездушной атмосфере, про—питанной лестью и корыстолюбием, не теряется отважный, убежденный в правоте своего дела человек, даже на заседа—нии Правительственного комитета держится мужественно, честно и принципиально. Именно здесь он должен был еще раз доказать значение истинных своих открытий и при этом разбить в высших сферах мнение, что русские якобы не спо—собны к практическому делу, ничего не исполняют должным образом, а только строят обширные планы. Вспомним при этом: вместо того, чтобы практически готовить экспедицию (как и в первый раз, когда готовил «Байкал» в путешествие к берегам Камчатки), Невельской вынужден был ходить по ка—бинетам и получать уклончивые ответы, принимать двусмыс—ленность суждений и недоверие. И все—таки ходил, требовал внимания к вопросам государственной важности. А в ответ решено было разжаловать его в матросы «с лишением всех прав состояния, а Николаевский пост снять». Но Геннадий Иванович не сдается, проявляет смелость и находит под—держку, потому что поведение его не носило личной корысти, не было вызовом, а лишь доказывало важность амурской эк—спедиции, ставящей русские посты. Такие доводы в конце концов стали основными во время аудиенции Муравьева у

царя. Начинается признание открытий Невельского, после встречи с Николаем 1 он возвращается на берега Амура начальником экспедиции, с ним едет молодая жена. За три года с преданными офицерами и матросами успевает открыть проходы к новым землям и описать юго-восточную оконечность тихоокеанского побережья, создает базу исторической перспективы, закрепленной современными городами: Николаевск-на-Амуре, Находка, Советская гавань, Владивосток, Ольга. Теперь «заступ и плуг — орудия мирного заселения». Роман о русской интеллигенции продолжается романом о подвиге народа «Война за океан»...

Мастерство писателя проявилось и в изображении политической сферы, которую тоже олицетворяют люди с достоинствами, заблуждениями, слабостями. Без проникновения в эту человеческую деятельность историческая эпопея не могла сложиться, без художественной характеристики разных типов из высшего общественного уровня, что-то созидающих и что-то разрушающих по духовным устремлениям или низменным инстинктам, по героическим помыслам или зловещим движениям подсознания, не получилась бы широкая подлинная картина борьбы взглядов на государственное развитие, на значение флота и морских портов для Отечества.

Задорнов «балансирует» противоборствующие силы, чтобы высветить вельможное безразличие к деятельным устремлениям лучших сынов России. Получается, никого не волнуют героические усилия экипажа, вверенного Невельскому, никого не интересует талантливость народа, прошедшего «с одним топором да в рукавицах» через огромный материк к Тихому океану. Пребывающие на царской службе вельможи, преимущественно иностранного происхождения, рассуждали в салонах о страданиях вверенного им народа, понимая, что удерживают власть на огромных просторах до тех пор, пока народ не пробудился и не осознал своего положения, не ощутил в полной мере свои творческие достоинства. Об этом напоминал Геннадий Иванович Невельской своим героическим последовательным движением по избранному пути, своими географическими открытиям, идущими в разрез с желаниями и настроением верхов. Мог бы жить обласканный царем, но избрал многолетний экспедиционный быт и тяжелый труд, стал душой всего амурского дела. Тем и примечательна его судьба, художественно восстановленная на долгие времена циклом романов, которые являются ядром всей дальневосточной эпопеи, стали теперь лучшим памятником нашему земляку...

Вспоминаю названия романов, составляющих целый свод трилогий: «Амур — Батюшка», «К океану», «Далекий край», «Первое открытие», «Капитан Невельской», «Война за океан», «Золотая лихорадка», «Цунами», «Симода», «Хэда», «Гонконг», «Владычица морей», «Ветер плодородия», «Владивосток». Смотрю на любительские снимки — Николай Павлович позволял мне его запечатлеть. Не верится, что он, крепкий, закаленный морскими ветрами и «архивной пылью» исследователь, знающий цену слову, не сберег силы на то, что запланировал. Дважды мы согласованно встречались в Доме творчества. Он был внимателен, сам с какой-то мудрой и деликатной заинтересованностью пожелал общаться. Задавал много вопросов, выспрашивал о дедах и родителях, о том, как складываются писательские дела в Костроме, как живут костромичи и деревенские жители, чем они отличаются в трудовом и бытовом поведении. Был у Николая Павловича особый интерес к Волге, признался, что во время работы над романами о Невельском, не побывал, не побродил там, где он родился, где могила его матери, куда приезжал с семьей на летнее жительство.

По вечерам я записывал в тетрадь его дневные воспоминания на берегу моря — только главные мысли, без детализировки. Надеялся, не раз еще встретимся — свидимся, о многом поговорим. Он приезжал в Москву, разыскивал меня в общежитии Литературного института. Приглашал в Прибалтику. А потом оказалось, к нему надо ехать как за границу. Многие годы он прожил в Риге. Мечтал переехать в Москву, хотя и там был при многих обязанностях: член правления СП Латвии, один из организаторов секции русских писателей, консультант молодых литераторов, исследователь истории мореходства, ходил в плаванья, работал в архивах Англии, Японии, других стран. Николай Павлович много ездил не ради собственного благополучия, он создавал энциклопедическую панораму, ставшую гимном подвигу русских первопроходцев, простых русских людей, поэтому нуждался в конкретности.

Романтик, исследователь, художник и мыслитель начинался в работе на стройках Востока, он прошел много уссурийских троп и нашел единственный и неповторимый образ жизни, из которого прорастал писательский стиль. Он выполнял свой долг непреклонно и последовательно. Стремление все пройти, испытать собственным опытом, собственными познаниями отличает подлинную литературу от эпигонских сочинений. Николай Павлович опирался на живые впечатления, вникал дотошно в народную жизнь, дополняя впечатления историческими познаниями, вычитками

из книг и периодики разных стран. Он хорошо знал фольклор, нравы и обычаи населения того региона, который исследовал художественными средствами. Потому его романы богаты познавательным материалом и дают читателям эффект присутствия. Предметность разнообразных знаний уберегает эпопею от сухости, академизма и назидательности. Историческая проза наполнена разнообразием жизни и борьбы противоречий, наполнена красками, ветрами, запахами дальневосточного побережья и, конечно, особенностями характеров тех, кто обживал эти земли. Романы наполнены новизной «фактуры» не только исторического или этнографического свойства, они богаты первичностью материала и обосновано нацелены в будущее. Художественные исследования под навалами мертвой породы откопали и разработали пласты жизни, долгое время остававшиеся без внимания историков, географов, писателей и художников. Более четырех десятилетий Задорнов терпеливо разрабатывал эти золотоносные пласты, преодолевая политическую заостренность скрытых и видимых проблем. Он брал на себя ответственность мирового уровня за решение одного из самых глобальных конфликтов девятнадцатого века, порожденного противодействием движению России к мировому океану — особенно тут старались страны западной Европы, а главенствовала в этом Англия.

На черноморском берегу писатель рассказывал мне о своей работе в английских архивах, собирался еще бывать там не раз. Он вникал в самую сердцевину исторического конфликта, вооружался безукоризненным знанием материала, хотя уже имел удивительно богатый исторический кругозор и создал свой «романный материк», который предстоит осмысливать при оценке современных событий на Востоке. Именно осмысливать, прислушиваясь к голосу романиста с национальным взглядом на прошлое, настоящее и будущее России.

Этот добрый, улыбающийся и мудрый человек, только что вышедший на коктебельские камешки после очередного заплыва, сказал мне тогда:

— В работе роман... Название — «Владивосток». Название городу дал Муравьев. Емко и красиво звучит: «Владей Востоком!» работа захватывающая. Это — мое... Вслед за Геннадием Ивановичем Невельским надо идти...

С именем Костромы

Уже не раз приходилось удивляться, встречая на картах мира названия мест, связанные с нашей землей. Она, наша волжская земля, дала России выдающихся моряков и первопроходцев, потому и встречаются такие названия: пролив Невельского, полуостров Купреянова, мыс Чагина, залив Бутакова, ледник Купреянова, остров Жохова, озеро Жохова, скала Бутакова, мыс Кострома — всех не перечесть. Вслед за этими названиями можно пуститься в длительное путешествие по дальним странам, морям и океанам. При этом не без гордости вспомнишь не только именитых земляков, но и то, что наш древний город связан с отечественным флотом, многие морские и речные суда названы в честь одного из самых древних российских городов, есть традиции в наименовании кораблей по историческим событиям или связанным с общественно-политическим строем государств и господствующим мировоззрением. Замечено, что давалось собственное имя достойному творению рук человеческих, имеющему свою историю жизни, свою судьбу, характер, отличающийся от всего сущего. По словам В.В.Конецкого, у автомобилей, самолетов или ракет имени нет, только номера и клички, а каждое судно начинается с именем.

Как же Кострома стала именем собственным более дюжины кораблей и судов? В год 300-летия Российского флота, оглядываясь в гордом патриотическом настроении на историю, полезно было знать, откуда и что произошло, почему, к примеру, в Солигаличском уезде Костромской губернии, на жалованных московскими князьями и царями землях, появилось знаменитое «родовое гнездо» мореплавателей. Участник экспедиции (задуманной еще Петром 1) Камчатской и Великой Северной Д.А.Овцын родом из этих мест. В верховьях Костромы по Буйскому уезду располагались усадьбы потомственных моряков Купреяновых.

Здесь родина известного российского моряка вице-адмирала Т.Г.Козлянинова, капитана первого ранга П.П.Марьина (сподвижника адмирала Ф.Ф.Ушакова) и командующего Каспийской флотилией адмирала Л.Н.Юрьева.

На страницах отечественной военно-морской истории часто встречается род Бутаковых из деревни Пчелкино, что недалеко от Судиславля. А семья Бошняков, а генерал-штаб-доктор Российского флота В.С.Кудрин — в современном названии начальник медицинской службы флота? А уроженец Кологривского уезда капитан-лейтенант Н.М.Баранов? А известный всему миру адмирал Г.И.Невельской? Имя его

связано более чем с десятком географических названий на Дальнем Востоке. Это по поводу его хождения на 100 миль вверх по Амуру было сказано: «Где однажды поднят русский флаг, там он более не спускается!»

...Фамильная святыня царской семьи — Ипатьевский монастырь служил определенным ориентиром для вни— мания к Волге. Императрица Екатерина II решила пред— принять путешествие от Твери до Симбирска в конце 1766 года. Для этой цели на верфи в Твери галерный мастер Михаил Щепин с помощью костромских судовых плотников и казенных, откомандированных Адмиралтейств—коллеги— ей из Петербурга, строил гребную флотилию и грузовые суда.

3 апреля 1767 г. императорскую «Тверь» вместе с га— лерами сопровождения, среди которых была и «Кострома», спустили на воду и сразу же зачислили в состав военно— морского флота России. А второго мая императорская фло— тилия вышла вниз по Волге. Привлекает такой интересный факт: «Едва начав плавание, императрица собственноручно написала указ, касающийся судостроения, обратив внимание, что ее галерная флотилия обгоняет множество стругов под парусами: «..Мне пришло на ум, что их конструкция тому причина, строят их безрегульно, по большей части на удачу...»

Екатерина 11 повелела сделать чертежи образцового струга, а в Адмиралтейств—коллегии порассуждать, как бы сделать струги легче на ходу, «чрез что поспешнее коммер— ция пойдет...». Результаты рассуждений столичных специа— листов, по—видимому, не были плодотворными, и позднее императрица приказала объявить всероссийский конкурс на «изобретение лучших моделей судов». Но конкурс не уско— рил движение стругов по Волге.

Обо всем этом говорится в интересной брошюре, посвя— щенной 300—летию российского флота. Вышла она в С.— Петербурге третьим выпуском в серии «События, корабли, люди». Автор — Александр Александрович Аллилуев, зна— комый костромичам по публикациям в ежемесячнике «Лите— ратурная Кострома». Тираж издания небольшой — всего одна тысяча экземпляров, поэтому книга вряд ли дойдет до тех, кто особенно интересуется костромской историей. Считаю сво— им долгом на правах редактора, имеющего переписку с А.А.Ал— лилуевым, представить любопытное издание, в котором рассказывается и о древнем русском городе Костроме, и о связях с отечественным флотом. Автор благодарит костро— мичей Н.Ю.Бессонова, А.В.Муравьева, О.П.Мухина за пре— доставленный материал.

Опираясь на архивные документы, Александр Александрович дает историю парохода, купленного в Англии на средства Костромской губернии в ноябре 1882 года, который вошел в группу судов Добровольного флота под названием «Кострома». Пять лет это судно выполняло регулярные рейсы на Дальний Восток. Но крупное кораблекрушение у берегов Южного Сахалина оборвало жизнь первого судна с названием «Кострома». Для восполнения потери 15 января 1888 г. в Англии купили новый пароход и с таким же названием поставили на регулярную восточную линию. К тому времени после трагедии было ускорено уточнение морских карт, строительство новых маяков и створных знаков в отечественных дальневосточных водах.

В книге дается история второй «Костромы». Берется во внимание история и других судов: деревянного колесного буксира, буксирных пароходов, танкера, среднего рыболовного траулера, лесовоза «Костромалес», катеров, построенных на Костромском судомеханическом заводе... Любовно и убедительно написанный очерк содержит разнообразную интересную информацию, необходимую для конкретного знания истории родной земле, для воспитания уважительного отношения к судьбам предшественников, для пробуждения чувства национального достоинства и любви к родному краю. Исторические справки, иллюстрированный материал, перечень географических названий, связанных с Костромой, список судов, перечень использованной литературы и даже чертежи — все это делает книжку «С именем Костромы» по-особому увлекательной и ценной. Именно такие издания необходимы сегодня при рассеваемом небрежении к отечественной истории. Важно, что связь костромских достопримечательностей с выходом наших земляков в мировые моря и океаны дает новые основания для гордости. Уместно тут и замеченное внимание в далекой от морей и океанов Костроме к юным морякам. Клуб юных моряков работает с одиннадцатилетними мальчиками, мечтающими выйти в мировой океан, стать моряками и капитанами, руководителями экспедиций. Романтики и в наше время необходимы.

Свежий ветер пролетел

Широкое полотно, переполненное взвихренными фонтами берез, раздвинуло пространство и приподняло линию горизонта — линию взгляда на жизнь. Из повседневной суеты, бытовой и душевной неустроенности, мы вышли будто бы на косогор, под взбунтованные и молодо устремленные к редеющим облакам гибкие березы, под слияние стихий земли и неба. Какие-то таинственные силовые линии объединяли нас всех и обращали в единое настроение. Мы — земляки художника, давно знающие его, и впервые приехавшие в Кострому заокеанские гости, довольные возможностью удовлетворить интерес к загадочной русской душе. В желании понять, что происходит с нами в «медвежьем» краю России, несколько минут назад самоуверенные приезжие задавали трудные вопросы, получали на них простые искренние ответы. И прежние дорожные разговоры, и теперешняя дискуссия, вызванная стремлением соотнести две культуры, два образа жизни, два мироощущения, вдруг затихли под порывами зримого ветра...

В мастерской картины, этюды, показанные предварительно, открыли особенность костромского пейзажа по временам года, подготовили зрителей к восприятию образа жизни и мысли, с каким творит Сергей Сергеевич Румянцев. Американские поэтессы, издатели и бизнесмены высказывали свое понимание свежего российского ветра — оно, конечно, лишь частично совпадало с нашим «доморощенным», провинциальным, за какое нередко упрекают в Костроме искренних ценителей искусства и литературы, способных понимать национальные особенности народной культуры, деревенского лада, здравый смысл трудовой повседневной жизни в единстве с природой. И все-таки пейзажная живопись оказалась интернациональным художественным языком, способным согласовываться с фольклором, музыкой и поэзией. Джуди Хоган, издатель, (нетипичная американка — так она сама о себе сказала), Сьюзен Бройли — типичная, динамичная, журналист и поэт, Джон Джордан, землевладелец, Маргарет, его супруга, интеллектуалы Мария Палонева (Финляндия), Шерон и Джон Юинг из-под Вашингтона, участники встреч не скрывали обостренного внимания к судьбе художника, к его музыкальным импровизациям на баяне и на балалайке, к забавным эпизодам из деревенской жизни.

Восторг светился в глазах гостей, выражался в порывистых жестах, в желании торопливо запечатлеть на фотопленку пейзажи и натюрморты. Мне показалось, что их утилитарно

интересовали изображенные бревенчатые строенья, пред—меты деревенского быта, старинная утварь, дары природы. И все—таки стало понятно, что картины с философской на—правленностью говорили иностранцам о тайнах русской души, о самобытной открытости провинциальных жителей, кото—рых знает и понимает художник.

Он, высокий и могутный бородач с голубыми глазами, поющий песни и частушки то раздумчиво, то ухарски бес—шабашно, только что вспоминал свою деревню, детство, мо—лодость в предвоенную пору, улыбчиво поглядывал на жену, раскладывающую на столе горячие пирожки с разнооб—разной начинкой. А она поняла его:

— Играй нашу любимую. — И запела, не дожидаясь му—зыки. — Ой, цветет калина в поле у ручья...

Только что они дуэтом исполнили раздольную песню и плясовую показали, только что дочка и внучка рассказывали о своих увлечениях, о своем понимании родительского по—ведения, земных и огородных забот на даче, о поездках на родину отца, по живописным костромским окрестностям. И домашнее пространство раздвинулось. Поднебесные дали, храмы на взгорьях над вечным покоем, северные увалы и деревни, каких «не счесть, не смерить оком», — все объеди—нилось, было уместным в согласованной колоритом пано—рамной композиции. Реальность и фантазия выстроенные в мареве нынешних и прошлых далей.

Мы снова вернулись к истокам, к деревенским старею—щим избам, которые не красны углами. Вернулись под воз—рожденные звуки гармони далекого деревенского гулянья и разыгралось воображение, растревожились думы. По дру—гим ориентирам пошел неспешный разговор в мастерской. Да разве приезжему все пережитое объяснишь, разве со—кровенное и выстраданное расскажешь.

Сергей Сергеевич в те дни как раз активно участвовал в реформенных дискуссиях, потому вопросы множились. По—может ли искусство преодолеть обвальные невзгоды, какие идеи будет проповедовать оно, когда под диктат коммерции подмяты литература, кино, театр? На какой основе возмож—но согласие в расколотом обществе? Было, было так: твор—ческие силы оказались расколоты, издерганы попреками и бесплодными дискуссиями, унижены теперь уже экономи—кой, точнее сказать, элементарной бедностью. И все—таки наш художник сохранил веру в тот самый свежий ветер, он думал о нем почти двадцать лет назад. Но в 1993 году, когда состоялась первая встреча с гостями в мастерской, он чув—ствовал себя подготовленным для серьезного разговора.

А зарождалась его авторская позиция намного раньше, в шестидесятых годах, когда творческое движение только начиналось, определялся собственный взгляд и способ самовыражения под влиянием Алексея Козлова и Николая Шувалова — они и тогда умели оставаться независимыми, заказных иллюстраций к партийным лозунгам не писали. С Алексеем Козловым роднило происхождение, чувственное и зримое знание лесного простора, воспринятое детскими доверчивыми глазами.

Сергей тоже, как и Алексей Козлов, когда-то бродил по ночам «под низкокрылым ветром оттуда, со стороны ночного полярного мрака, который наваливала зима из-за Никольска, Котласа, Великого Устюга... Порою какие-то отдаленные отсветы поднимались там, за краем лесов, в это черное небо. (Виднелись они ему из Парфеньевского района). И тогда небо вдруг начинало отливать в темную синь, в темную зелень и в темную малиновость. И золотые, красные, серебряные, лазоревые цветы загорались...» И разгулива-лось нестерпимое гулянье, нарастала и ширилась гармонь, которую Сергей Сергеевич уже хорошо видел, чувствовал и мог изобразить неповторимую мелодию. У него есть своя гармонь, родная деревня Завражье, деревня предков Болотово теперь видится по воспоминаниям и обобщающим образом детской щемящей любви к прекрасной Аркадии запечатлена в картине. Как и положено, память зримо воз-вращается...

Гости завистливо слушали самого художника, спраши-вали уточнений у переводчика. А я горделиво думал: вот и опять подтвердилось понимание прирожденных досто-инств живописца. Студенческая наивная самоуверенность в оценке первой выставки Румянцева оказалась предвосхи-щающей проницательностью. Мы, студенты художествен-но-графического факультета, в начале шестидесятых годов не пропускали ни одной выставки. И вот я осмелился оце-нивать лирические этюды.

Потемневшие деревенские дома возле проселочной до-роги показались разговаривающими между собой: остаться им у дороги или в предчувствии суровой зимы отступить по неглубокому еще снегу под защиту ельника, темнеющего за огородами... Рябина в осенней яркой нежности, оробелые деревья в «Первом снеге» и сказочная пушистая тишина «Инея», радующий жизненным дыханием «Новый поселок» и другие работы радовали зрителя. И надо же было смело написать: «У художника своя лирическая песня, со своими, свойственными только ему, оттенками, и он должен оставаться верным самому

себе. Мы узнали доброго, искреннего живописца. Таким он и должен быть, хотя сохранить непосредственность всегда очень трудно...» Что-то еще в этом роде говорилось в заметках при полной уверенности в том, что пейзаж у Румянцева всегда гораздо большее, чем простое изображение природы.

Интересно вспомнить давнюю выставку и свои студенческие заметки именно для того, чтобы осознать «траекторию» творческой личности. Начинал он как самодеятельный живописец, сохраняющий положительную непосредственность. Вскоре после памятной первой выставки искусствовед Полина Аркадьевна Кульженко профессионально увидела перспективу: «С. С. Румянцев пришел в коллектив костромских художников из кружков самодеятельности. Союз, видя его упорное стремление к овладению искусством живописи, направил Румянцева на академическую дачу. Там он написал ряд пейзажей, в которых проявил себя талантливым пейзажистом. Румянцев северянин, он особенно чувствует красоту зимы — изморозь на деревьях, заснувшие под снегом парки — и в своих пейзажах тонко передает настроение зимней тишины.» («Художники Костромы», 1965 г.) В принципе оценки совпали, хотя выражены разными субъективными средствами.

Помнится, в 1962 году он написал в городском парке этюд «Скамейка». Уходит в снежную замять человек после несбывшейся встречи. Мы, зрители из студенческой поры, по-своему читали авторское размышление. Не от той ли тропки на снегу, думаю я теперь, началось его движение сначала на косогор, затем на высокий волжский берег к широкому пространству? Судьба родной деревни в глубинной провинции требовала более широкого охвата, иной высоты для обзора. И потому постепенно повышалась линия горизонта, менялся угол зрения на природу и человека. Художник пошел к собственной эпичности. Значит, правильным было пожелание в первой заметке с выставки не поддаваться моде и конъюнктуре, сохранить «румянцевское» отношение к любой теме: «Тематическое разнообразие, обобщенность пейзажа непременно обнаружат себя в его будущих работах». Самонадеянно верю: сорок лет назад студенту худграфа по наитью удалось разглядеть то, что характерно для Румянцева сегодня.

Бывал на многих выставках Сергея Сергеевича. Помню и, кажется, правильно чувствую его лучшие работы. Художник остается верен самому себе, продолжает поиск наилучшего выражения пережитого, познанного и осмысленного,

находит свою тропу для продвижения в сторону истины, правды и красоты. Потому и после отъезда очередных гостей возникает потребность общения, уединенной беседы в мастерской перед новой картиной. Общие печали и жажда познания роднят нас, хотя есть дистанция в возрасте, разница в цеховой принадлежности. Но Румянцев и к литературе не равнодушен: много читает, выступал с публицистикой в нашем писательском издании «Литературная Кострома», печатал путевые зарубежные заметки, написал обстоятельно детализированную повесть, интересную прежде всего сочетанием воспоминаний и живописного восприятия жизненных перипетий, судеб родных и знакомых, опубликовал интересные читательские заметки по роману автора этих строк. Есть в его сочинениях понятная мне печаль.

И вот еще раз мы уединились в мастерской уже после рекомендованной мною поездки за океан. Упрекнуть пришлось его:

— Что ж ты, Сергей Сергеевич, когда уже все прорабо-тано, подготовлено было по моей рекомендации, когда би-леты заказаны были, не сказался, что к моим знакомым уезжаешь утром конкретного дня?

— Настроение такое было до последнего момента: лететь — не лететь, работы свои еще не оформил в Москве, — укло-нялся он, не желая обозначать соответствующую благодар-ность за участие.

— Ладно, — говорю. — Все мы действуем по самочув-ствию, забывая о других. Эгоисты мы, Сережа. Вот послу-жить бы тебе в творческой среде не для себя только...

— Не для себя и служим, — буркнул он через бороду. — Смотри вот, придирайся опять. Это ты можешь, а сам попробовал бы... Никогда без обиняков не похвалишь, все зовешь на перевал «Подумай», — упомянул он мои за-метки с выставки костромских художников под таким на-званием.

Слышу, чувствую клокотание его характера, в последние годы проявляемого в категоричных суждениях не только о творчестве коллег. В этом клокотании есть и недовольство самим собой, горение новых замыслов. Шутливо-при-дирчивый диалог не затянулся, но какие-то особые пре-тензии ко мне у художника остались по принципу: а ты сам-то что успел сделать.

—Ты говоришь, печаль твоя светла, а моя, надеюсь, тоже, — уклоняется он от возможного обострения давно уже обо-значенной дискуссии, вдруг, вспоминая один из литературных моих пейзажей, с необходимой интонацией довольно точно

цитирует. — Слышишь, такая же мелодия звучит...

— Правильно сказано: о чем не поплакал, о том не споешь.

— Детализируешь чрезмерно, Михаил. Обобщеннее надо иногда, символичнее, широкими мазками живописное впечатление создается...

Опять пошло рассуждение: индивидуальные особенности художника и писателя, поэта и музыканта, манеры, стиль, изобразительные средства, судьбы и творчество, быт и вдохновение, ситуация в стране и положение творца, формирование областных и зональных выставок, возраст и новаторство, ветераны и молодые — вечные темы. Конечно, опять ценили Николая Смирнова, Татьяну и Николая Шуваловых, новых костромских живописцев. Яркое, вдохновенное, жизнерадостное искусство. Борьба за свободу творчества и независимость художника от бюрократических установок. Нельзя было не вспомнить шуваловский поиск «цветомузыки», «Портрет Скрябина», «Голубую Сонату,» «Портрет Адрея Рублева», «Белое безмолвие», «Ночь накануне Ивана Купалы» — в таких работах Сергей Сергеевич находил школу для себя, оттуда произрастала собственная его раскованность, новая интенсивность цветовых решений, энергия письма. Смотрим давние и новые работы, а говорим обо всех, с кем роднит художественное творчество и желание осмысливать происходящее. Отдаем должное внимание искусствоведам Александру Бузину и Наталье Лебедевой.

Слушаю, желая понять его отношение к другим. Он как бы в отстранении от того, что написал долгой зимой, живет общей тенденцией, продиктованной свежим ветром, сам себя узнает в новом качестве, в новом измерении по более широкому диапазону и цветовому спектру, но почему-то возвращается к картине «Память об исчезнувшей деревне Болотово». Это «плановая»— горизонтальная композиция, построенная по лежащим на земле солнечным лучам, которыми деревня была связана через леса с другими селениями.

Всего-то было 12—13 изб, индивидуальность жителей этой деревни помнит Сергей с детства, проведенного у бабушки. В картине — эмоциональность детского восприятия и взрослое знание, наземное представление о крестьянском образе жизни и космический взгляд на истоки, потому, наверно, и возвращаемся от новых, уже признанных и отчасти «нашумевших» работ в ту сторону, откуда все начиналось. Прорывается тихое признание:

— Во мне живет с нарастанием что-то такое... Это называется, может быть, стремлением к красоте? Может быть, эстетическая потребность все делать по-своему, самобытно,

какая-то жажда освежения жизни, желание перемен, двигающих к лучшему самочувствию, к тому, из чего складывается духовность и смысл жизни? Оттуда и ветер... все варианты моих ветров и зарождающегося обновления происходят. Помнишь: Бог ветра, Бог дождя... Как лучится природа, промытая дождем. А Волга наша как преображается. И облака Николая Смирнова сколько зрителю дают?

— Хорошо ты, Сережа, вспомнил Николая... Началось у него с «Облаков нашего детства». Помнишь у Тютчева — облака другие: «В небе тают облака и лучистая на зное в испарах катится река...» Да-да, леса зеленые после дождя. Да-аа, кто как... Было по-разному... Например, «Прощай, немытая Россия...». Подумаешь о многом перед картинами с внутренним движением, — пытаюсь поддержать ход его рассуждений. — Ушла статистическая декларативность. Миновала пора созерцательного любованья и «телячьих восторгов». Дышит вокруг иное природное движенье, не вогнать его в заказные рамки, под красные или оранжевые бантики...

— Вот писал деревню. Вижу, прилетела сорока в нежилые места — затрещала: вызывает кого или предупредить хочет. Прилетела белобокая, с ней воспоминания детства связаны. Деревни уже нет в реальности, она только на холсте, а сорока все еще прилетает...

Художник выставляет другую картину. Опять пауза. Может быть, он ждет, что я скажу. Нельзя не сказать, когда чувствуешь новое в человеке, когда понимаешь, что и сам он в мыслительном беспокойстве на другом творческом уровне, словно взошел на вершину перевала «Подумай».

— Здесь, — говорю, — не только сожаленье и воспоминание. В этой — тоже больше того, что изображено... Не просто пейзаж.

— Мы пережили такой период. Столько разрушено, перечеркнуто, охаяно. Кому-то хотелось расплескать истоки, вырвать корни. Как об этом не думать, не печалиться. Но иногда вспыхивает желание выписать праздничный вольный беспорядок, в котором выстроен особый национальный смысл и дух, из которого закономерно возрождается торжество народной жизни...

— Но деревни уже нет. И эхо, только памятливое эхо гуляет по лесным увалам. От твоей картины «Эхо» разбежалось оно цветовыми пятнами по сосновым борам и молодым березнякам. Никто такое эхо не писал...

Тогда думалось: для такого письма надо осознать свободу чувства и мыслей, уйти от многолетних канонов, действовать по диктату собственного восприятия и осмысления. И даже

в рамках одной композиции, работая цветом, думать о былом, настоящем и будущем.

Оказывается, художник Румянцев почти всегда за работой поет давние народные песни, когда какая подходит. Открылась ему и классическая музыка. Признается в этом, выставляя «просторную» картину «Вечер на Волге перед хорошей погодой», а потом мы вместе взором уходим по картинной дороге под кучевые облака на взгорье — в село Сусанино... И говорим о литературе, музыке, живописи. Литература, по его мнению, художнику помогает. Есть у него цикл работ «Памяти Бориса Шергина». Читал — возникали виденья: как они с отцом строили корабль, например. Или вот северные хороводы представлялись, виделось драматическое сиянье — предвестье.

— Это нельзя выразить словами, а живопись может... Последние вещи Шергина такие пронзительные.

— Помню, он говорит: «Куда я пойду? Мне никуда не надо. Я здесь все открываю».

— Вот — вот. Здесь все надо открывать — Сергей Сергеевич прикладывает руку к груди — к душе и сердцу... Трудно жил писатель северной земли. И сейчас писателям труднее нашего, — переключается он на сочувствие. — У нас товар есть. Заграничные гости проявляют к нему интерес. У каждого художника стеллажи перегружены. А писатель книгу не издал, будто не написана. Будто и писателя нет. Живи, сын Отечества, как сможешь.

— Ждем, надеемся, что государству будут нужны творцы, живущие по всей российской периферии... Гляжу на твою «Память о Шергине». Паденье света превращается в парус и что — то там светит, зовет, обещается.

— Это конкретно не напишет цвет, а мечтательно ожидать можно, — повторяет художник. — Слышишь, музыка дивная нарастает.

Предполагаю: опять нечто тайное чувствует в себе художник. Предстоит что — то еще открыть в доступном пространстве, когда свежий ветер пролетел, а с каждой новой выставкой зрители все увереннее говорят об особом «энергетическом» поле его картин, находят за внешней простотой сюжетов восхищение и сострадание, любовь и горечь утрат, природную чистоту и первозданность, трагизм повседневности и возможность романтического дыхания под вольным ветром.

О Г Л А В Л Е Н И Е

I. ИЩУ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ ПОКЛОН ЗЕМЛЯКАМ . 3

По праву памяти и любви 5
Ожидание 7
Дерево в саду 12
Песни для сына 18
«Ой, какие светлые дали...» 25
«Живите лучше нас...» 30
Палитра генерала 36
Сумрачный лес 41
Облака нашего детства 47
Лето на севере 55
Пролог к независимому роману 62

II. СУСАНИНСКИМ ТРАКТОМ И ДАЛЕЕ 68

1. «Когда-нибудь потом...» 69
2. И встретимся вновь 74
3. А прочитаешь — поймешь... 76
4. «Один годик до столетнего юбилея...» 78
5.» Что ж, поговорим о внучках...» 81
6. «О трудностях знаю....» 83
7. «К своему берегу» 85
8. Решето чудес 89
9. Сусанинским трактом и дальше 93
10. Тишина в Заболотье 97
11. В районе Бермудского треугольника 100
12. Предназначение 105
13. «И наконец поднимается бык» 112
14. «Жизнь — это все-таки то, что всегда...» 120
15. «Я видел Сусанина» 124

III. НАШИ ПРАЗДНИКИ 128

«Все такое узнаваемое, близкое...» 128
Братья, или одна оттепель на двоих 133
Праздник повторится 138
«Сочти сейчас мои скитанья...» 145
Поклон Волге и Костроме из Белоруссии 151
Когда зацветают яблони... 160
Не поле перейти... 165
«Покуда кто-то ждет меня...»... 172
Интеллектуальный интерес 179
Лучший памятник нашему адмиралу 186
С именем Костромы 195
Свежий ветер пролетел 198

Михаил Базанков

Книга первая

ВЕСЕЛЬЯ ЧАС, ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ В КОСТРОМУ

Книга вторая

ИЩУ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ ПОКЛОН ЗЕМЛЯКАМ

Автор сердечно благодарит губернатора Виктора Андреевича Шершунова, вице-губернатора Юрия Федоровича Цикунова, генерального директора ОАО «Фанерный комбинат» Ивана Васильевича Морозова, начальника департамента лесопромышленного комплекса Геннадия Николаевича Юрзова, генерального директора ОАО «КЛПК» Свинарева Юрия Николаевича, другие организации и лиц, оказавших содействие в издании этой книги.

Авторская редакция
Оформление автора
Дизайн оригинал-макета — **А.М.Базанков**

Сдано в набор 24.01.2005. Подписано в печать 21.02.2005.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. п. листов 28,5. Заказ № 220. Тираж 1000 экз.

Отпечатано в ГП «Областная типография им. М.Горького»
г. Кострома, ул. П. Щербины, 2.

**информации администрации Костромской области,
г. Кострома, ул.П.Щербины,2.**